

ЮРИЙ СИКОВЛЕВ

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ
ЗАПАС

РАССКАЗЫ ▶

ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ ● ИГРА В КРАСА-
ВИЦУ ● СРЕТЕНСКИЕ ВОРОТА ● СЕРД-
ЦЕ ЗЕМЛИ ● СЫН ЛЕТЧИКА ● АВТОПОРТ-
РЕТ ● «ИВАН-ВИЛЛИС» ● КОМАНДИР
РОТЫ

ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ

Лелька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку.

В степи жарко. Ничего не хочется делать. А сидеть совсем без дела — скучно. Вот Лелька и придумала себе занятие.

Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька недовольно водворяет косичку на место — за спину. Она делает это резко, будто хочет забросить ее подальше, раз и навсегда.

Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то входит в

палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Федор Федорович, председатель поселкового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит чемодан, в другой, согнутой в локте, — шинель.

— Здравствуй, хозяйка, — говорит Федор Федорович.

— Здравствуйте, — отзывается Лелька и встает со ступеньки.

Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.

— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.

Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федором Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий.

— Мама пошла в селпо, — отвечает Лелька и краснеет.

Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, раскачивается на нитке.

— Ну, вот что, — говорит Федор Федорович, — ты, конечно, слыхала про снаряды?

Лелька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся. Говорят, что он заминирован.

— Так вот, — продолжает председатель поселкового Совета, — прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира... — Федор Федорович кивает на военного и слегка подталкивает его вперед, — а командира мы хотим определить к вам.

Лелька снова кивает.

— Места у вас много. Думаю, мать возражать не будет?

— Ага, — соглашается Лелька, будто она заранее знает, что мама не будет возражать.

— Тогда знакомьтесь. Лейтенант... — Федор Федорович вопросительно смотрит на военного.

— Шура, — подсказывает он.

— Лейтенант Шура... А это Лелька.

— Очень приятно, — говорит лейтенант, а Лелька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдает его жаром и отравляет Лельке жизнь.

Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль, на его запеченной, коричневой щеке.

— Сейчас мы пойдем в степь, — распоряжается председатель. — Вещи лейтенант оставит здесь. А придет мать, ты предупреди ее.

Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лельку:

— Можно здесь поставить?

— Ага! — кивает Лелька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смутения.

Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель.

— Пошли! — почти скомандовал Федор Федорович. И они зашагали к калитке.

Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно вздохнула и опустила на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку.

Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, а на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки — по две на каждом.

Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула

с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и шинелью в доме остался жилец и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над чем бы посмеяться. Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но за комнатой сохранилось название — «для гостей». Вот туда-то Лелька и решила определить жильца.

По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударился о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним.

В комнате «для гостей» не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Зато из маленького окошка была видна степь.

Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в уголок, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверь, сбежала вниз.

Лейтенант Шура вернулся домой поздно.

Солнце докатилось до края **степи** и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не решался высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки.

Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его возвращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!

Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме

достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице. И вообще, жилец — временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком.

Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках.

Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам, отыскивая хозяев дома. Лельке стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.

— Здравствуйте,— сказала Лелька.

Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит:

— Вот я пришел.

— Заходите,— приглашает Лелька.— Мама дома.

Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил внимание на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит:

— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься. А то весь день в земле копались.

— Сейчас,— говорит Лелька и скрывается в дверях.

Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.

На другой день Лелька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку ползала оса.

Лелька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздались два притопа — он надевал сапоги. Это он пробудился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отправиться к заминированному артогребку.

Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тук-тук-тук!.. Жилец спускается по лестнице. Тук-тук!.. Идет по сеним. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.

— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.

— Привычка, — шепотом отвечает жилец.

Он говорит шепотом, чтобы не разбудить Лельку. А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого угодно.

Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка.

Мамин голос говорил:

— Ешьте, не стесняйтесь.

А голос жильца отвечал:

— Спасибо... Спасибо...

Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо. Мне пора», и сапоги рассказали, что он уходит из дома.

Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну. Она спряталась за тюлевую занавеску и стала смотреть.

Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах. А сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде и снова

превратился в доброго молодца. Сапоги блестели, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два больших внимательных глаза.

Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками. Лелька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут.

Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядях.

Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лелька вплела в косички и завязала бантами.

Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант не спускает с нее глаз, хотя на самом деле он далеко в степи.

Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотечарша Клавдия. А она маленькая и белесая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию. Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры.

Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича.

Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином.

Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под умывальником. И, вернувшись с полным ведром, он зовет Лельку:

— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!

Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сначала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар.

— Побольше лей! Не жалея воды! — командует лейтенант.

Временный жилец моется, как папа. А Лелька поливает ему, как это делала мама. И, как мама, она подает ему свежее полотенце.

Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать.

А потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает. Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе.

— Вот послужу еще годок-другой, — задумчиво говорит Шура, — и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает он серьезно Лельку.

Лелька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе?

— А впрочем, что загадывать? — продолжает он. — Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает...

Лелька вопросительно смотрит на Шуру. И он говорит:

— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты думаешь! Вот ваш артпогребок такая штучка, что, того и гляди, ошибешься... Когда мы разминировали Брянские леса, легче было. А здесь — головоломка.

Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, суший пустяк.

Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил:

— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.

И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату «для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.

Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое — десять солдат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные военные инструменты. А командир шел по дороге. Временный жилец не знал, что Лелька крадучись выскальзывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это время крепко спит.

А она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Потом они спускались в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись вновь на другой стороне. Их фигурки становились все меньше и меньше и наконец терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли.

Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артпогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар.

Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость: тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью и только одиннадцать каждый день ходят на войну.

Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама.

— Ольга, завтракать, — зовет она.

Мама называет Лельку Ольгой.

В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой: солдаты по обочине, командир посередине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь?

Лелька глядит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лельке и не удастся узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войско лейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю. И больше никогда не вернется в поселок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой. Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку.

В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.

Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на своей зеленой машинке заработал кузнечик... Скрипнула дверь... Курица заговорила скороговоркой на курином языке... Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнущий лавандой.

Постепенно к Лельке возвращается покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и колени, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лельку. Никто не тревожит ее. И она засыпает.

И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба. И сразу все звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест.

Лелька открыла глаза.

Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилит его. И тут Лелька проснулась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура ошибся в первый и последний раз... Это артпогребок взлетел на воздух.

У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти — земля, поднятая взрывом.

Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела. Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.

Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру,

лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.

До места взрыва было уже недалеко.

Лелька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от взрыва?

Шура берет котелок и, запрокинув голову, пьет. Вода течет по подбородку. Остаток воды он выливает на мак. Потом он ставит котелок на землю, оглядывается и видит Лельку.

— Ты что здесь? — удивленно спрашивает он.

— Я... я... ничего, — ответила Лелька.

Она недоверчиво смотрит на живого лейтенанта Шуру. Правда ли это? Значит, он не ошибся? Почему же тогда был взрыв? А может быть, взрыв приснился Лельке? Ее большие серые глаза еще лихорадочно горят: еще не прошла тревога за человека, который сидит перед ней цел и невредим.

— Ты что, испугалась? — спрашивает лейтенант Шура. — Взрыва испугалась?

Глаза его смеются. Они замечают в Лелькиных глазах испуг, который не сразу проходит.

— Я думала, вы ошиблись, — признается Лелька, не сводя глаз с Шуры.

Теперь лейтенант Шура уже смеется вслух:

— Ошибся? Если бы ошибся, мы бы уже с тобой не разговаривали...

Шура никогда не обращает на Лельку особого внимания, а тут он пристально смотрит на нее. Смотрит и замечает на ее ноге кровь.

— Что это у тебя с ногой? — спрашивает он.

— На стекло наступила, — отвечает Лелька и прячет раненую ногу за здоровую.

— Ну-ка покажи! — почти командует Шура.

Он усаживает девочку рядом с собой и разглядывает раненую пятку. Ранка кровоточит. Шура кричит:

— Кузьмин, принеси-ка мне котелок воды и индивидуальный пакет!

Он берет Лельку за руку и заглядывает ей в глаза.

— Что же ты босиком по степи бегаешь? — спрашивает он.

Лелька молчит. Разве может она рассказать, как, забыв обо всем на свете, бежала туда, где грянул взрыв?

Кузьмин молча принес воду и бинт. Лейтенант Шура прямо из котелка льет воду на ранку. Он держит Лелькину ногу за лодыжку. Лельке неловко.

— Сама! — говорит она.

— Сиди! — командует Шура.

И Лелька сидит неподвижно. Она подчиняется приказу, но чувствует, что вот-вот покраснеет.

Потом лейтенант Шура с треском разрывает бумажный пакет и достает оттуда прохладный бинт. Белые плотные витки пеленают ногу. Лелька не чувствует боли. Она смотрит в сторону и тербит травинку. С каждым витком бинта ее глаза становятся все теплее и теплее.

— Кузьмин! — зовет лейтенант, закончив перевязку. — Строй людей. Пойдем домой. Сегодня можно и отдохнуть.

— Слушаюсь, — сдержанно отвечает Кузьмин.

Кузьмин большой и молчаливый. Кажется, будто ему знакомо только слово «слушаюсь». Лицо у Кузьмина все в рыжих веснушках. Но Кузьмина веснушки не расстраивают. Так, по крайней мере, кажется Лельке.

И вот они идут через степь. Солдаты — по обочине, а Лелька с лейтенантом Шурой — по дороге. Может быть, они идут не домой, а к морю, как мечтала Лелька?

Лельке трудно идти. На пятку наступать больно, а на носке далеко не уйдешь. Она ступает медленно, припадая на забинтованную ногу, и лейтенант со своим войском тоже идут не торопясь. Как Лелька.

Лейтенант Шура сегодня разговорчив.

— Ты знаешь, что наш погребок шарахнуло? — спрашивает он и громко смеется. — Слышишь, Кузьмин? — обращается он к своему помощнику. — Она думала, что это мы в небо взлетели.

Кузьмин улыбается вежливо, но, верный себе, не произносит ни слова.

— Нет, Лелька, — говорит лейтенант Шура, — это мы половину богатства погребка оттащили в сторону и взорвали. А ты испугалась.

Лейтенант Шура все говорит, говорит... А Лелька идет молча и лишь изредка поглядывает на своего временного жильца. Она думает о том, что все настоящие мужчины должны делать что-то трудное и опасное. Папа воевал, и Федор Федорович был на войне. Вот и Шура тоже... Ей вдруг хочется взять его под руку. Но от этой одной мысли лицо заливают краска стыда.

А солдаты вдруг запели. Они запели сами, без приказа командира. Они поют рядом, и теперь Лелька может слышать слова их песни:

Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.

И Лельке кажется, что солдаты идут с войны и она с ними тоже идет с войны. И лейтенант Шура возвращается домой героем.

Как это случилось, что после взрыва в степи временный

жилец окончательно завладел Лелькиными мыслями? Она забыла обо всех своих подружках и целые дни проводила дома. Напрасно, проходя мимо Лелькиного дома, ее одноклассницы кричали:

— Лель, а Лель, пошли в степь маки собирать!

— Лель, пошли купаться в Сырую балку!

Лелька качала головой:

— Мне некогда!

А какие у нее дела, если вторую неделю идут каникулы!

Сидя на ступеньке крыльца, Лелька тревожно прислушивалась к каждому звуку, который доносился из степи. «Вдруг он оступится, вдруг заденет проводок...» — так думала Лелька, и сердце ее холодело. Ей на память приходила картина к стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Там был изображен Олег у праха своего верного коня. Вот-вот подползет змея и ужалит князя... Вот-вот невидимый проводок хрустнет под ногой Шуры...

А в это время лейтенант лежал на земле и, задержав дыхание, колонковой кисточкой очищал тонкий, как волосок, проводок, от которого зависела его жизнь и жизнь десяти солдат. Взгляд его был сосредоточен, а по скуле ползла тяжелая капелька пота.

Временами он останавливался, переводил дыхание, закрывал глаза. И снова начинал свой рискованный солдатский труд. На то он и был военным.

А Лелька ждала временного жильца. Ей пужно было, чтобы он не ошибся и, если можно, пораньше вернулся домой. Вот и все.

Лейтенант Шура все реже и реже бывал дома. Утром Лелька видела его в окно. А вечером помогала ему умываться. Потом он наспех ужинал и тут же уходил. Усталость уже не валила его с ног.

Куда он спешил? К своим солдатам, в школу?

У лейтенанта Шуры было две пары сапог. Одни тя-

желые, кожаные, боевые сапоги. В них он уходил в степь раскапывать немецкий артвогребок. Другие сапоги — защитного цвета, легкие, сшитые из старой брезентовой плащ-палатки. Вечером, по возвращении домой, временный жилец сбрасывал боевые сапоги и надевал брезентовые. После тяжелых кожаных брезентовые сапоги вообще не чувствовались на ноге.

Однажды вечером, вернувшись из степи, лейтенант Шура торопился больше обычного. Он умчался, даже не почистив свои боевые сапоги. Они так и остались стоять у крыльца — пыльные, тупоносые, с комьями засохшей глины. Вид у них был усталый и обиженный. Сапоги ни разу не подвели своего хозяина: не оступились, не задели невидимых смертоносных проводков. Они преданно служили ему, а он бросил их на произвол судьбы.

Лелька подошла к сиротливым сапогам и остановилась перед ними. Она взяла один из них за ушко, торчавшее из голенища, и подняла над землей. Сапог был тяжелый. От него шел жар. Лелька отпустила ушко, сапог грузно плюхнулся на землю. Казалось, он сердито притопнул.

И тогда Лелька решила привести сапоги в порядок. Она принесла ведро воды, тряпку и стала их мыть. Она поливала сапоги водой и терла их тряпкой. Глина отваливалась. Мутные ручейки стекали с голенищ. Сапоги остыли, кожа стала прохладной.

Лелька поставила их в траву и пошла за щеткой. Она намазала их черным жирным гуталином, а потом терла щеткой. Она терла их так долго, что сапоги не выдержали: перестали дуться и наконец улыбнулись Лельке.

Боевые сапоги были довольны, они сияли. А Лельке почему-то стало грустно. Она поставила сапоги на крыльце и села рядом с ними. Она поджала коленки и закрыла их подолом сарафана. И так они долго сидели втроем: два сапога и Лелька.

В летние вечера поселок засыпал поздно. За день

навоевавшись с жарой, люди подставляют лицо прохладному дыханию степи. Они сидят на лавочках и не торопятся уйти домой.

Фосфорятся белые цветы табака. Верещат невидимые цикады. Где-то навзрыд кричит ослик: жалуется на свою судьбу.

Но вот уже последняя гармонь отправилась на покой. Зажмурились лампочки в окнах клуба: им тоже настала пора отдохнуть. А лейтенант Шура все не возвращается домой.

Лелька не может уснуть. Она ворочается с боку на бок. Закрывает глаза. Сон не приходит.

«Спи!» — приказывает себе Лелька.

Но как выполнишь приказ, если тревожные мысли не покидают тебя ни на минуту.

— Идет один верблюд... Идет второй верблюд... Идет третий верблюд...

«Спи!»

Не помогают верблюды. Даже самый большой караван не может усыпить Лельку.

Где он? У своих солдат? Но солдаты давно спят: им вставать ни свет ни заря.

Лелька лежит с открытыми глазами. Она уже не старается заснуть.

И вдруг в тишине Лелька слышит шаги. Дорожки в поселке посыпаны галькой. Ее привезли с моря. На гальке шаги звучат отчетливо и ясно.

«Он!»

Лелька вздрагивает и прислушивается.

«Конечно, он!»

Она соскальзывает с постели и на цыпочках идет к окну.

Было темно.

Луна еще не взошла, а у дальних звезд не хватало сил осветить узенькие улочки степного поселка.

Лелька затаила дыхание и прислушалась. Морская галька рассказала ей, что по дорожке шагал не один человек, а двое. Рядом со спокойными мужскими шагами звучали другие — плавные женские шаги. Лелька болезненно поморщилась.

У палисадника шаги затихли. И тут Лелька услышала голоса.

— Давай посидим на скамеечке, — говорил Шурин голос.

Лелька сразу узнала его.

— Уже поздно, — отвечал женский голос.

— Ну, прошу тебя.

— Неловко.

— Ничего. Все спят.

Лелька вслушивалась. Она хотела узнать, кому принадлежит женский голос. И она узнала. Это была Клавдия — клубная библиотечка. Лелька увидела ее — высокую, черноволосую, с ровными, будто нарисованными угольком бровями. Лелька увидела ее не глазами, а памятью.

За окном так тихо, что можно было различить шорох каждой травинки. Лелька слышала, как зашуршало платье. Тонко скрипнула доска. Это лейтенант Шура и Клавдия сели рядом на скамейку.

Лельку от них отделяли невысокая глиняная ограда и тонкие стебли мальвы. Но ей казалось, что, если протянуть руку, можно коснуться Шурино плеча. Лелька спрятала руки за спину и попятилась. Лелька слышала, как, болтая ногой, Шура задевал камушки гальки.

Потом она услышала их дыхание. И Клавдин шепот:

Лелька (Шура) ведь ты меня не любишь.

Лелька закусил губу. Она понимала, что подслушивать гадко и даже подло. Но сейчас она не могла отойти от окна. Маленькая надежда удерживала ее. «Шура, ведь ты меня не любишь». Что ответит Шура?.. Может быть, он скажет

Клавдии «нет»? Ладно, пусть он ничего не ответит. Пусть он только молчит.

Но Шура ответил:

— Люблю.

Лелька стояла у открытого окна в одной рубашке. И сердце ее стучало так громко, как тогда в степи, во время взрыва. Но ни Шура, ни Клавдия не слышали ударов Лелькиного сердца.

И вдруг Лельке стало очень холодно. Холодно рукам, плечам, коленкам. И Лелька поняла, что никакие, даже самые теплые одеяла не согреют ее. Этот холод веял не из степи, а шел откуда-то изнутри, от сердца.

Лелька бросилась в постель. Она натянула одеяло на голову. Она закрыла уши, чтобы не слышать ни одного слова. Она почему-то вспомнила, как неделю назад на этой же скамейке временный жилец говорил ей: «Вот послужу еще годок-другой и женюсь».

«Так ведь не прошел еще годок! Что же это он!..»

Слезы текли по Лелькиным щекам. Лелька плакала молча. Про себя. Сейчас она навсегда прощалась с лейтенантом Шурой, хотя он еще никуда не уезжал. Она прощалась с его маленьким войском, и с молчаливым Кузьминым, и с алым маком, который устоял во время взрыва... Лельке было жалко себя и всего, что уже никогда не вернется. И слезы становились все горше.

В какое-то мгновение девочке захотелось вскочить с постели и прогнать со своей, Лелькиной, скамейки временного жильца и черноволосую библиотечку. Но она не пошевелилась.

Утром Лелька поднялась поздно. Лейтенант Шура давно уже ушел в степь со своим маленьким бесстрашным войском. Мама не вернулась с ночного дежурства. Солнце заполнило комнату. От его желтых лучей пахло лавандой. По сиреневым блюдечкам мальвы ползали тощие осы.

Лелька села на постель. Косичка соскользнула с голого плеча. Лелька взяла ее в руку, враждебно посмотрела на нее, но не отбросила. Не выпуская из руки, она подошла к комоду и взяла большие темные ножницы. Она широко раскрыла их и начала резать косичку.

Ножницы были не очень острыми, а Лелька торопилась, словно боялась, что изменит свое намерение. И резать было трудно. Когда одна отрезанная косичка упала на пол к босым ногам, Лелька принялась за другую и вторую косичку тоже отрезала. Потом она отложила ножницы и подняла с пола две отрезанные косички. Она посмотрела на них равнодушно, как на чужие, и без сожаления отложила в сторону. Они были уже не нужны.

Несколько дней Лелька не виделась с временным жильцом. Утром она вставала уже после его ухода, а вечером, чтобы не попадаться ему на глаза, уходила к подругам. И лейтенанту Шуру приходилось умыться под бренчащим умывальником. И если он не успевал почистить сапоги, то они так и оставались пыльными, присохшими комьями глины.

В субботний вечер Лелька и временный жилец встретились в клубе. Лейтенант Шура, который обычно улыбнулся своей маленькой хохлатой девочке, опустила глаза и залилась краской. Но, совладав с собой, посмотрела на лейтенанта и сказала:

— Здравствуйте!

Она произнесла приветствие сухо и даже немного насмешливо. Лейтенант Шура пожал плечами, помахал ей рукой и пошел дальше. Наверно, он спешил к своей библиотекарше Клавдии.

Он даже не заметил, что Лелька отрезала косички...

Игра в КРАСАВИЦУ

Раньше мы думали, что по Караванной улице, побрякивая колокольчиками, бредут пыльные усталые верблюды, на Итальянской улице живут азиатские итальянцы, а на Поцелуевом мосту все делужит. Потом не стало ни караванов, ни итальянцев, да и сами улицы теперь назывались иначе. Правда, Поцелуев мост остался Поцелуевым.

Наш двор был вымощен щербатым булыжником. Булыжник лежал неровно, образуя бугры и впадины. Когда шли затяжные дожди, впадины заливала вода, а бугры возвышались каменными островами. Чтобы не замочить ботинок, мы прыгали с острова на остров. Но домой все равно приходили с мокрыми ногами.

Весной наш двор пах горьковатой тополиной смолкой, осенью — яблоками. Яблочный дух шел из подвалов, где было овощехранилище. Мы любили свой двор. В нем никогда не было скучно. К тому же мы знали множество игр.



Мы играли в лапту, в прятки, в штаандр, в чижики, в ножички, в испорченный телефон. Эти игры оставили нам в наследство старшие ребята. Но были у нас игры и собственного изобретения. Например, игра в красавицу.

Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. И когда наша честная компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал:

— Сыграем в красавицу?

Все становились в круг, и слова считалочки начинали перебегать с одного на другого:

— Эна, бена, рес...

Эти слова из какого-то таинственного языка были для нас привычными:

— Квинтер, контер, жес.

Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, чтобы считалочка кончалась на ней. Она опускала глаза и разглаживала руками платье. Она заранее знала, что ей придется выходить на круг и быть красавицей.

Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой: у нее был широкий приплюснутый нос и большие грубые губы, вокруг которых хлебными крошками рассыпались веснушки. Лоб — тоже в хлебных крошках. Бесцветные глаза. Прямые жидкие волосы. Ходила она, шаркая ногами, животом вперед. Но мы этого не замечали. Мы пребывали в том справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым — дрянной.

Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой — мы выбирали красавицей ее.

Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, мы начинали «любоваться» — каждый из нас пускал в ход вычитанные в книгах слова.

— У нее лебединая шея, — говорил один.

— Не лебединая, а лебяжья, — поправлял другой и подхватывал: — У нее коралловые губы...

— У нее золотые кудри.

— У нее глаза синие, как... как...

— Вечно ты забываешь! Синие, как море.

Нинка расцветала. Ее бледное лицо покрывалось теплым румянцем, она подбирала живот и кокетливо отставляла ногу в сторону. Наши слова превращались в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей.

— У нее атласная кожа.

— У нее соболиные брови.

— У нее зубы... зубы...

— Что зубы? Жемчужные зубы!

Нам самим начинало казаться, что у нее все лебяжье, коралловое, жемчужное. И красивее нашей Нинки нет.

Когда запас нашего красноречия иссякал, Нинка принималась что-нибудь рассказывать.

— Вчера я купалась в теплом море, — говорила Нинка, поеживаясь от холодного осеннего ветра. — Поздно вечером в темноте море светилось. И я светилась. Я была рыбой... Нет, не рыбой — русалкой.

Не рассказывать же красавице, как она чистила картошку, или зубрила формулы, или помогала матери стирать.

— Рядом со мной кувыркались дельфины. Они тоже светились.

Тут кто-нибудь не выдерживал:

— Не может быть!

Нинка протягивала ему руку:

— Понюхай, чем пахнет?

— Мылом.

Она качала головой:

— Морем! Лизни — рука соленая.

Стояли мутные влажные сумерки, и было непонятно, идет дождь или нет. Только на стекле возникали и лопались

пузырьки. Но мы чувствовали близость несуществующего моря — теплого, светящегося, соленого.

Так мы играли.

Лил дождь — устраивались в подворотне. Темнело — толпились под фонарем. Даже самые крепкие морозы не могли нас выжить со двора.

Как-то в наш дом переехали новые жильцы. И во дворе появился новенький. Он был рослый и слегка сутулился, словно хотел казаться ниже ростом. На щеке у него проступало крупное продолговатое родимое пятно. Он стеснялся этого пятна и поворачивался к нам другой щекой: У него был нос с горбинкой и большие — прямо-таки девичьи — ресницы. Ресниц он тоже стеснялся.

Новенький держался в стороне. Мы его подозвали и предложили сыграть с нами в красавицу. Он не знал, в чем дело, и согласился. Мы переглянулись и выбрали красавицей... его. Едва заговорили про лебяжью шею и коралловые губы, как он густо покраснел и выбежал из круга.

Мы посмеялись и крикнули вдогонку:

— Сыграем и без тебя!

Но когда снова встали в круг, Нинка неожиданно попятилась:

— Я тоже не буду...

Мы взорвались:

— Что за новости? Почему ты не будешь?

— Так, — Нинка отошла от нас.

И сразу расхотелось играть. Мы заскучали. А Нинка приблизилась к новенькому и сказала:

— Когда играют в красавицу, всегда выбирают меня.

— Тебя? Почему тебя? — удивился новенький. — Разве ты красивая?

Мы не стали с ним спорить. Мы посмеялись над ним.

А у Нинки вытянулось лицо, хлебные крошки у рта и на лбу стали еще заметнее.

— А меня выбирают.

— Очень глупо, — сказал новенький. — И вообще, ваши детские игры меня не интересуют.

— Конечно. — Нинка почему-то сразу согласилась с ним.

С появлением новенького с ней вообще стало твориться что-то странное. Она, например, ходила за ним по улице. Шла тихо, по другой стороне, чтоб никто не заметил, что она идет за ним. Но мы, конечно, заметили и решили, что Нинка спятила или во что-то играет. Например, в следопыта. Он заходил в булочную — она стояла напротив и не отрывала глаз от стеклянных дверей. Она и утром поджидала его у подъезда и шла за ним до школы.

Новенький не сразу сообразил, что Нинка из седьмой квартиры ходит за ним как тень. А когда обнаружил это, очень рассердился.

— Не смей ходить! — крикнул он Нинке.

Она ничего не ответила. Побледила и пошла прочь. А он крикнул ей вдогонку:

— Ты бы лучше посмотрела на себя в зеркало!

Он приказал ей посмотреться в зеркало. Нас не интересовало, какие у нас носы, рты, подбородки, куда торчат волосы, где вскочил прыщ. И Нинка знала только то зеркало, которым были для нее мы, когда играли в красавицу. Она верила нам. Этот тип с родимым пятном на щеке разбил наше зеркало. И вместо живого, веселого, доброго появилось холодное, гладкое, злое. Нинка в первый раз в жизни пристально взглянула в него — зеркало убило красавицу. Каждый раз, когда она подходила к зеркалу, что-то умирало в ней. Пропали лебяжья шея, коралловые губы, глаза, синие, как море.

Но мы тогда не понимали этого. Мы ломали себе голову: что это с ней? Мы не узнавали свою подругу. Она стала

чужой и непонятной. Мы сторонились ее. Она и не стремилась к нам, молча проходила мимо. А когда ей встречался новенький с большим родимым пятном на щеке, она убегала прочь.

В нашем городе часто идут дожди. Могут лить круглые сутки. И все так привыкают к ним, что не обращают внимания. Взрослые ходят под зонтами. Ребята делают короткие перебежки от одной подворотни к другой, прыгают по булыжным островам.

В тот вечер был сильный дождь, дул сверлящий ветер. Говорили, что на окраинах города начиналось наводнение. Но мы крепились, жались в подворотне, не хотели расходиться по домам. А Нинка из седьмой квартиры стояла под окном новенького. Зачем ей понадобилось стоять под его окном? Может быть, она решила позлить его? Или сама с собой поспорила, что простоят под дождем, пока не сосчитает до тысячи? Или до двух тысяч. Она была в коротеньком пальто, из которого давно выросла, без косынки. Ее прямые волосы вымокли и прилипли к щекам, и от этого лицо вытянулось. Глаза блестели, как две застывшие капли. Гремели водосточные трубы, дребезжали подоконники, трескали перепончатые купола зонтов. Она ничего не видела и не слышала. Не чувствовала холодных струй. Она стояла под окном, охваченная отчаянной решимостью.

Мы кричали ей из подворотни:

— Нинка! Иди к нам, Нинка!

Она не шла. Мы выбежали под дождь. Схватили ее за руки: не пропадать же человеку.

— Отойдите! — Она прямо-таки прикрикнула на нас.

Мы отошли. Повернулись спиной и стали смотреть на улицу. Люди спешили, поднимая над головами зонты, словно на город спустился целый десант на угрюмых черных парашютах. Десант прохожих.

Потом мы увидели, как к Нинке подошла ее мать. Она долго уговаривала Нинку уйти. Наконец ей удалось увести

девчонку из-под дождя в подъезд. Там горела тусклая лампочка. Нинкина мать повернула лицо к свету, и мы услышала, как она сказала:

— Посмотри на меня. Я, по-твоему, красивая?

Нинка удивленно посмотрела на мать и, конечно, ничего не увидела. Разве мать может быть красивой или некрасивой?

— Не знаю, — созналась Нинка.

— Тебе пора бы знать, — жестко сказала Нинкина мать. — Я некрасивая. Просто дуришка.

— Нет, нет! — вырвалось у Нинки.

Она прижалась к матери и заплакала. Мы так и не поняли, кого она жалела: мать или себя.

— И ничего страшного, — уже спокойно сказала Нинкина мать. — Счастье приходит не только к красивым. И некрасивые выходят замуж.

— Я не хочу замуж! — резко ответила Нинка, и мы были согласны с ней.

— Да, да, конечно, — как бы спохватилась мать. — Не обязательно замуж...

Потом они вышли на дождь и пошли по улице. Мы, не сговариваясь, двинулись за ними. Нет, не из любопытства. Нам казалось, что мы можем понадобиться Нинке.

Неожиданно мы услышали, как Нинка спросила:

— У тебя был муж?

— Нет.

— Но у меня был отец?

Мать не ответила. Она как бы не расслышала вопроса. Нинка рассердилась и сказала довольно грубо:

— Что ж, меня аист принес?

— Да, аист, — глухо прошентала мать. — Прилетел, понимаешь, аист. И улетел. А ты осталась.

Они шли по темному переулку, и у них не было зонта. Но им было все равно: дождь так дождь. А нас трясло от холодной сырости.

— Значит, мой отец аист? — произнесла Нинка и тихо засмеялась. — Очень хорошо. Когда я стану учительницей, меня будут называть Нина Аистовна. И может быть, у меня вырастут крылья... Вот если бы ты нашла меня в капусте, было бы куда скучнее.

— Не смейся, — сказала мать.

— Я не смеюсь. — Она и в самом деле уже не смеялась, но голос ее дрожал, дробился. — А где он... аист?

Мать отвернулась в сторону и вытерла со щеки бороздку дождя.

— Он тоже был некрасивый?

Нинка остановилась, крепко сжала мамину руку выше локтя и заглянула ей в лицо. Она смотрела на мать так, как будто произошла ошибка и рядом с ней оказалась чужая, незнакомая женщина. Девочка как бы увидела маму в холодном, безжалостном зеркале. Такой, какая она есть. Какой видели ее мы — чужие ребята, жавшиеся к темной стене дома. Мы были так близко от них, что чувствовали запах мыла и ношенной одежды. И, не видя нас, Нинка из седьмой квартиры как бы почувствовала наше присутствие и совершенно другим, спокойным голосом сказала:

— Мама, давай с тобой сыграем в красавицу.

— Глупости!

— Нет, нет, давай сыграем. Я тебя научу. Ты стой и слушай, что я буду говорить.

Она сильнее сжала мамину руку, приблизилась к ней, тихо, одними губами стала произносить знакомые слова из нашей игры, которые мы до приезда новых жильцов дарили ей:

— Мама, у тебя лебяжья шея и большие глаза, синие, как море. У тебя длинные золотистые волосы и коралловые губы...

Потоки дождя тянулись из невидимых туч. Под ногами разливались холодные моря. И все железо города гремело и грохотало. Но сквозь гудящий ветер, сквозь пронизываю-

щий холод поздней осенней мглы живой, теплой струйкой текли слова, заглушающие горе:


— У тебя атласная кожа... соболиные брови... жемчужные зубы...

И они зашагали дальше, крепко прижавшись друг к другу. И уже ни о чем не говорили. И были спокойны. Им помогла придуманная нами игра. Эна, бена, рес... А мы стояли у стены, держа друг друга за рукава. И провожали их взглядом, пока они не скрылись в темной мгле. Квинтер, контер, жес...

Нинка из седьмой квартиры погибла в 1942 году на фронте под Мгой. Она была санитаркой.



СРЕТЕНСКИЕ ВОРОТА

 декабрям утром на шестой батарее был убит красноармеец Коля Дорожко. Его срезала очередь, которую дал с неба желтобрюхий фашистский штурмовик с черными крестами на обоих крыльях. Трассирующая пуля — красная в полете — попала прямо в висок. Крови почти не было. Только на серой шапке-ушанке проступило алое пятнышко. Будто шапка съехала набок, и красноармейская звездочка очутилась на виске.

Немецкий штурмовик появился внезапно. Он подкүлся с выключенным мотором. Когда разведчик ударил в медную гильзу, а комбат, выскочив из землянки, закричал: «По штурмовику, на батарею!» — самолет с железным свистом уже мчался над огневой позицией. От него к земле тянулся светящийся пунктир трассирующих пуль. Пули ушли в снег. Только одна из них, перед тем как погаснуть и потерять силу, пробила серую солдатскую шапку. Будь на

ее пути каска, а не мягкая шапка, может быть, Коля Дорожко и остался бы жив. Но касок все еще не привезли из дивизиона.

Пока орудийные номера разворачивали неподатливые пушки — смазка замерзла! — штурмовик успел нырнуть за соцгород. Одно орудие выпустило «по уходящему» два снаряда, но они разорвались слишком поздно. Два черных шерстяных клубка повисли в воздухе, и ветер тут же начал разматывать их, развешивая по свету.

Коля Дорожко лежал в трех шагах от орудийного ровика. Он прижался щекой к холодному кристаллическому снегу, а руки застыли вдоль тела. Будто при встрече со смертью он, как перед начальством, вытянул их по швам. В этой позе не было ни суетливости, которую вызывает испуг, ни покорности, которая склоняет человеку голову. Чтò-то наивно-гордое было в его позе.

С командного пункта к орудийному ровику уже бежал заспанный санинструктор Карпенко. Большие роговые очки чудом держались на его красном вздернутом носике, придавая санинструктору сугубо штатский вид. Он был щуплым и узкоплечим. Шинель с оторванным хлястиком висела на нем, как ряса. Карпенко бежал к орудию, неловко волоча по снегу большие кирзовые сапоги. В руке у него болталась брезентовая сумка с красным крестом. Эта сумка — боевая материальная часть санинструктора — еще ни разу не была в действии.

При виде Коли Дорожко, лежавшего на снегу, Карпенко остановился. Губы его дрогнули, а маленький нос сморщился и от этого стал еще меньше. Не отрывая глаз от мертвого товарища, Карпенко механически расстегнул сумку и достал оттуда пузырек с йодом. Он понимал: надо действовать. Но что мог сделать этот смешной батарейный эскулап, который в своей практике мазал лишь солдатские чирья похжей на деготь ихтиоловой мазью и щедро заливал йодом царапины?

Но сейчас товарищи в первый раз смотрели на него серьезно и, как ему показалось, с надеждой. Карпенко отбросил сумку и опустился на колени. Он взял Колину руку, медленно стянул с нее варежку и стал искать пульс. Но он и у живых-то с трудом находил бьющуюся жилку, а Дорожко был мертв. Осторожно, боясь причинить боль, Карпенко перевернул мертвого красноармейца на спину, расстегнул на нем шинель и, припав ухом к груди, стал слушать. Он слушал долго. Порой ему казалось, будто он что-то слышит. Но это отдавались удары его собственного сердца.

Коля Дорожко был мертв. И только в сознании товарищей он все еще по инерции числился живым. И бойцам казалось, что ему жестко лежать на земле и что ему холодно. И вокруг говорили тихо, боясь нарушить его сон.

Так на шестую батарею в первый раз пришла смерть.

Спустя несколько часов, когда уже стемнело, командир батареи велел позвать красноармейца Илюшина. Илюшин был на посту, и пришлось срочно его подменить. Он появился на пороге командирской землянки, замороженный, покрытый густым белым ворсом. Шинель, под которую был затиснут ватник, стесняла движения, а шерстяной подшлемник закрывал все лицо. Были видны только глаза.

— Товарищ лейтенант, красноармеец... — начал было докладывать Илюшин, но командир прервал его:

— Снимите с головы свою хламиду и садитесь.

Илюшин прислонил к стене карабин и непослушными от мороза пальцами стал развязывать обледеневшие тесемки шапки-ушанки. Наконец ему удалось стянуть с головы шапку и подшлемник, и он сразу превратился в юношу с подстриженной под машинку головой, похожей на спелый подсолнух, с темной щетинкой, пробивающейся на подбородке и над верхней губой. Он щурился от света, словно только что проснулся и открыл глаза. Рукой он стирал с бровей капельки растаявшего инея. От холода и ветра его

лицо порозовело, и на губах появились маленькие трещинки. Мочки ушей пылали и были пунцовыми.

— Поедете в Москву, — неожиданно сказал командир батареи, — в политотдел. Отвезете пакет из дивизиона. Им, видите ли, некого послать. А у нас и так некомплект.

Последние слова командир произнес отрывисто и сердито, как будто Илюшин тоже был виноват в том, что в дивизионе некого послать, а на батарее некомплект. Красноармеец решил, что разговор окончен, и собрался уходить, но лейтенант сказал:

— Садитесь.

Илюшин сел.

— Вы, кажется, дружили с Дорожко? — спросил лейтенант, когда Илюшин акклиматизировался в теплой землянке и присел на край табуретки.

Илюшин кивнул.

— Он москвич?

— Москвич.

— А родные у него есть?

— У него сестра в Москве. Родители эвакуированы.

Лейтенант задавал вопросы как бы нехотя, не поднимая на Илюшина больших, впалых от бессонницы глаз. Он никак не мог примириться с мыслью, что его батарея понесла потери — убит красноармеец, — и всячески старался скрыть свою растерянность.

— Вы знаете адрес Дорожко?

Илюшин покачал головой. Ему вдруг стало странно, что он не знает адреса друга. Собственно, Колин адрес был такой же, как и его самого: полевая почта 43895, что на гражданском языке означало — батарея в поле за деревней Фуники. А тот, московский адрес практического значения не имел. До него надо было еще довоевать и остаться в живых...

— Тогда справьтесь у старшины. — Комбат посмотрел на Илюшина большими, словно обведенными темным обод-

ком глазами и заговорил неестественно тихо, другим голосом: — Видите ли, похоронную ей пришлют... Но после политотдела вы можете зайти к сестре... Дорожко. Вы поезжайте в Москву. Возьмите у старшины паек дней на пять. Для сестры. И подбодрите ее. О смерти брата лучше узнать от человека, чем из бумажки.

Илюшин сидел на табуретке и внимательно слушал комбата. Его удивляли незнакомые теплые нотки в голосе командира. Бледное, вытянутое лицо лейтенанта впервые показалось ему мягким и уступчивым, а в глазах пропал строгий холодок. Илюшин всегда думал, что комбат умеет только приказывать, покрикивать, подавать артиллерийские команды, песочить. Сейчас командир разговаривал так, словно под стеганым ватником у него была не гимнастерка с кубарями на петлицах, а простая гражданская рубашка с галстуком. Эта перемена не укладывалась в сознании красноармейца, как и все события сегодняшнего дня.

— Вот так,— сказал лейтенант, и это «вот так» подводило черту разговора. Теперь на командире снова чувствовалась военная форма.

Илюшин поднялся.

— Разрешите идти?

— Идите! Завтра к десяти ноль-ноль быть на батарее.

— Есть!

Красноармеец повернулся и хотел щелкнуть каблуками, но на ногах были беззвучные, подшитые войлоком карaulьные валенки.

Хотя фронт придвинулся к самому каналу, шестая батарея оставалась маленьким островком, до которого в полной мере не докатилась тяжелая волна войны. Была бесконечная изнуряющая бессонница: по десять тревог в сутки. Были короткие стычки с немецкими самолетами. Была осточертевшая мучная болтушка в котле. И вместе с тем шестая батарея не видела ни одного немца — самолеты

не в счет! — и на землю ее огневой позиции не пролилось ни капли крови.

Все это помогало Илюшину — красноармейцу первого года службы — долгое время оказывать внутреннее сопротивление войне. Со смертью друга к Илюшину вплотную подошла настоящая война.

С батареи Илюшин направился в дивизион. Получил пакет. Расписался в получении и минут через двадцать был уже на станции. Но поезда пришлось ждать около двух часов. Илюшин ходил по большой ледяной платформе и все думал о погибшем друге. Порой ему начинало казаться, что их вместе послали в Москву и что Дорожко отлучился и сейчас появится на платформе. А может быть, он остался на батарее и сейчас в кургузом ватнике, с котелком в руке бежит рысцой в столовую... Их связывало очень многое, и смерть Коли Дорожко не смогла сразу обрубить все нити.

Так в брошенном блиндаже вдруг зазвенит зуммер забытого телефона. Но никто не снимет трубку, никто не прокричит в микрофон: «Сокол слушает!» Нет Сокола.

Илюшин ходил по перрону, пока не пришел поезд. Тогда он протиснулся в вагон, бережно держа под мышкой сверток с пайком. В углу горела чугунная печурка. Этот маленький благодатный оазис тепла был окружен тесным кольцом пассажиров, севших в поезд на предыдущих станциях. На весь вагон тепла не хватало, и оно досталось тем, кто поспел раньше. Однако от сознания, что рядом аппетитно потрескивают угольки, и от запаха дыма было уже не так холодно.

Илюшин сел на скамейку и закрыл глаза. Он все еще пытался разложить по полочкам сознания события сегодняшнего дня. Но полочки не выдерживали и трещали. И тогда Илюшин снова увидел своего друга лежащим на снегу, в шапке с алым пятнышком на виске, и все его думы отступили перед обезоруживающим, щемящим чувством утраты.

В левом кармане гимнастерки вместе с документами лежала бумажка с адресом Коли Дорожко. Кроме почтового адреса — Сретенский бульвар, дом № 6/4, — рукой старшины были начертаны «кроки», словно красноармеец отправился не в город, а в незнакомую пустынную местность. Главным ориентиром были Сретенские ворота.

— Доберешься до Сретенских ворот, а там рядом, — объяснял старшина, — спросишь дом «Россия».

— Дом «Россия»? — переспросил красноармеец.

— А что тут удивительного? — Старшина даже обиделся, что Илюшин не знает дома «Россия». — Этот дом тебе любой москвич укажет. А название дома с дореволюционных времен осталось. Было страховое общество «Россия».

Старшина относился к той ревливой породе старых москвичей, которые считают, что все должны знать по имени и отчеству каждый кривенький переулок столицы. Не говоря уже о Сретенских воротах и доме «Россия».

Илюшин шел по городу, опасливо держа руку перед собой, чтобы не наткнуться на столб. Со всех сторон его окружала плотная тьма. Эта тьма давила на плечи и мешала идти. Над подворотнями в маленьких скворечниках-номерах горели синие лампочки.

Политотдел находился неподалеку от вокзала, и красноармеец Илюшин сравнительно быстро нашел здание бывшей школы и сдал пакет. А потом вышел в мороз и тьму.

Чахлые синие маячки встречали Илюшина за каждым поворотом и провожали от дома до дома, от квартала до квартала. И ему казалось, что он идет не по большому городу, а пробирается по узкой просеке глухого темного леса, где стоит шагнуть в сторону — и уже не выберешься. Он не знал названий улиц, по которым шел, не представлял себе, что за дома стоят на этих улицах. Шел напропалую, как разведчик по азимуту.

Где же эти Сретенские ворота?

Мысленно он представил себе большую каменную арку,

вскинутую в небо, а у подножия ворот наготове стоят стальные «ежи» на случай, если танки прорвутся в город.

На Кировской улице (он не знал, что это Кировская) его остановил патруль, как призрак, возникший из темноты.

— Стой! — окликнул его один из патрульных, направляя в лицо красный фонарик. — Документы.

Патрульный был в тулупе с поднятым воротником. И не видно было, кто он по званию. Да это и не имело значения: когда ты красноармеец, все остальные старше тебя чином! Пока Илюшин лез за командировочным, патрульный сухо спросил:

— Куда следуете?

— По приказу командира батареи иду к сестре красноармейца Дорожко. Погиб он сегодня...

Никакого такого приказа у него не было. Командир сказал: «Вы можете зайти к сестре Дорожко...» Но в сознании Илюшина это «можете» уже успело перерасти в «должны».

На патрульного слова Илюшина не произвели никакого впечатления: видно, на время службы он отрешился от всего земного и его интересовали только командировочные пропуска и предписания.

— Что в свертке?

— Паск. Приказано передать сестре.

— Ладно, — сказал патрульный, нехотя возвращая красноармейцу его документы, — давай иди.

Илюшин зашагал дальше. А тяжелая тьма давила на глаза. Все вокруг было незрячим — фонари, окна домов, фары медленных автомобилей. Даже люди передвигались как слепые, выставя вперед руки. И город показался красноармейцу огромным слепым, который прячет свои пустые, незрячие глаза за синими стеклами очков.

Чем дальше углублялся красноармеец Илюшин в темные лабиринты улиц, тем реже встречал прохожих. Наступил комендантский час, и дом покидали лишь те, кого ждала ночная смена или торопили тревожные непредвиден-

ные призывы войны. Фигуры людей возникали в синем свете и растворялись, становясь частью тьмы.

Наконец Илюшин столкнулся с пожилым человеком. Он сильно толкнул прохожего плечом. Но вместо извинения спросил:

— Где здесь Сретенские ворота?

Он просто не сообразил, что нужно извиниться. Но человек и не ждал извинений. Он только внимательно оглядел Илюшина и коротко сказал:

— Вот!.. Сретенские ворота.

И указал рукой в темноту.

Илюшин представил себе, как во тьме изгибается тяжелая арка старинных ворот, похожая на огромную радугу, временно погашенную войной. Он выставил вперед руку, чтобы не наткнуться на каменные опоры ворот. Надо пройти их. Потом свернуть налево. Третий дом от угла и будет домом «Россия».

Красноармеец Илюшин не знал, что старинных ворот давно не существует. От них осталось одно только название — Сретенские ворота.

Если другим домам был отпущен голодный военный паек света, то в доме «Россия» вообще не было электричества. И глухое, темное парадное, в котором очутился Илюшин, мало отличалось от пещеры, ведущей неизвестно куда: легко войти, да трудно выйти.

Цепко держась за перила, Илюшин медленно поднялся на второй этаж и здесь решил зажечь спичку. При свете спички лестница еще больше походила на пещеру. Не было только острых сталактитов, и не шуршали крыльями летучие мыши. Спичка осветила эмалированный номерок на ближайшей двери, и красноармеец понял, что попал в совершенно другой конец дома. Номер на сто единиц отличался от того, который он разыскивал.

Снова улица. Снова под ногами скрипит снег. А рука на всякий случай держится за стенку. Стенка служит ему

добровольным поводырем, который должен привести к следующему парадному ходу. И опять с глухим стоном открывается большая дверь. И опять шаги отдаются в вышине гулкими щелчками. И спичка, сгорая, превращается в черную крученую спиральку с шариком на конце. Спичек в коробке становится все меньше. До чего велик этот дом «Россия»! Вероятно, когда он весь светится, на улице не надо зажигать фонари: и так светло. А сейчас дом беспомощный.

Неужели немцы прорвутся к Москве? Если они перейдут канал, то их встретит огнем шестая батарея. Конечно, пушки хотя и зенитные, но по танкам могут бить не хуже ПТО. В оружейных ровиках лежали бронебойные снаряды. Это скорее не снаряды, а стальные болванки с двумя медными поясками. Сможет ли одна батарея справиться с колонной танков? Но отступать некуда: сзади противотанковый ров. У пушек недавно заменили лафеты. Теперь лафеты без колес. Просто крестовина — и все.

Надо скорей возвращаться домой. На батарею. Там сейчас каждый человек на счету. Дорожка погиб. Илюшин в командировке. А воевать кто будет?

Ему захотелось позвать кого-нибудь или зажечь все спички разом, чтобы выбраться из дома «Россия». И скорей очутиться в поле за деревней Фуники.

...А Коля Дорожка знал здесь каждый уголок. Ему не потребовался бы целый коробок спичек. Он нашел бы свою дверь без огня, по привычке.

Илюшин засунул руку под шинель и нащупал в кармане гимнастерки свой смертный медальон. Это был металлический тубик, а в нем лежала бумажка с фамилией и личным номером. Илюшин подумал, что этот документ дает смерти право на его жизнь. И ему захотелось вынуть его и закинуть куда-нибудь подальше, чтобы смерть не смогла воспользоваться своим правом.

Разные мысли приходят на чужой темной лестнице,

когда руки скользят по перилам, как по рельсу, а подковки лязгают о камень ступенек: лязг, лязг...

В конце концов ему повезло. Он зажег последнюю спичку и задержал дыхание, чтобы не задуть слабое пламя. Он поднял руку с этим маленьким факелом и почувствовал облегчение. На высокой двери было много звонков. И под каждым из них на табличке была фамилия владельца. Илюшин скользнул взглядом по всем табличкам. На одной из них успел прочитать: «Дорожко». Спичка погасла.

Он нажал кнопку с опаской, словно это была кнопка боевого ревуна, по сигналу которого батарея открывает огонь. Он нажал кнопку и прислушался. Звонка не было слышно. Он с силой надавил на кнопку. Но сила не помогла. Звонок равнодушно молчал.

Никто не отзывался.

Наконец красноармеец сообразил, что в доме нет электричества. И постучал. В конце коридора слышались торопливые шаги. Потом шаги замолкли, и девичий голос глухо, будто издалека, спросил:

— Кто там?

— Мне надо Дорожко, — отзывался Илюшин.

— Я Дорожко. А вы кто?

— Я товарищ Коли Дорожко. С батареи. Моя фамилия Илюшин.

— А я — Тая. Колина сестра... Да что же мы с вами разговариваем через дверь?

Последние слова звучали уже не глухо, не издалека, а совсем рядом. Колина сестра открыла дверь.

— У нас нет света, — извиняющимся голосом сказала она, — поэтому темно. Да вы проходите, пожалуйста... Как там Коля?

Илюшин замешкался. Хорошо, что было темно и Тая не видела, как краска ударила в лицо красноармейца.

— Ничего, — пробурчал он.

Надо же было что-то отвечать. Но это «ничего» озна-

чало, что Коля Дорожко поживает, живет. А через несколько минут нужно было набраться сил и сказать, что он никак не поживает. Погиб.

— А он не мог приехать?

— Не мог.

— Понимаю, — сказала сестра Дорожко.

«Что она понимает? Ничего она не понимает! Он затем и приехал, чтобы она поняла».

Девушка повела его за собой по длинному темному коридору. На душе у Илюшина было прескверно. Он вдруг почувствовал себя убийцей, который идет со своей доверчивой жертвой и выжидает только удобного момента, чтобы всадить в нее нож.

— У вас нет, случайно, спичек? — спросила Тая, когда они вошли в комнату.

— Нет. Кончились.

— И у меня кончились. Какая жалость! Ничего, посидим в темноте. А вы по делу приехали?

— Ну да, по делу.

Он хотел было сказать, что привозил в политотдел пакет из дивизиона, но это дело давно отошло на второй план, растворилось в памяти. Сейчас главным было другое дело, и об этом он все еще не решался заговорить. В какой-то мере он обманывал не только эту незнакомую девушку, с которой через полчаса навсегда простится, а самого Колю Дорожко.

Он вдруг вспомнил о свертке, который продолжал держать под мышкой. Это был хороший повод переменить тему разговора.

— Вот это вам.

Он протянул в темноте пакет и толкнул им прямо в плечо девушку. Не рассчитал.

— Что это?

— Паск.

— Колин?

Он заппулся. Но долго молчать было опасно.

— Нет.

— Вы скажите честно. Небось он прислал, а сам голодным будет ходить.

— Не бѹдет.

Тая не обратила внимания на его ответ. Она сказала:

— Ни к чему мне паек. Мне хватает того, что дают по карточкам... Ой, как вкусно салом пахнет!

Ей стало неловко за свою невыдержанность, и она замолчала. Молчал и гость. Тогда девушка потянула его за рукав вниз. Илюшин сел. Некоторое время они сидели рядом, не видя и не слыша друг друга. Тая думала о том, с какой стороны подойти к этому неразговорчивому гостю. Он ей представлялся угрюмым лопухом, широкоскулым, большегубым.

А Илюшин в минуты молчания испытывал крайнее напряжение. Оно напоминало ему минуты перед боем, когда все четыре орудия доложили: «Готово!» — и ждут только хрипловатого сигнала ревуна, чтобы с ошеломляющим грохотом начать свою военную работу.

«Сейчас скажу!.. Еще минутку... и скажу!» — думал он, но у него не хватало решимости, и он тянул время. И дотянул до тех пор, пока хозяйка дома снова не заговорила:

— Коля совсем не пишет писем. Я очень беспокоюсь. Мама тоже в каждом письме спрашивает: «Как Колечка? Почему молчит?» Ему очень плохо?

— Нет.

— А он не мерзнет?

— Нет!

Таины вопросы начинали раздражать Илюшина. Он уже судил о сестре друга так, словно она знает о гибели брата и продолжает досаждать ему вопросами, потерявшими всякий смысл.

«Нет! Нет! Нет! — про себя передразнила его Тая. —

Неужели Коля может дружить с таким тупым, неинтересным человеком?»

И снова наступило неловкое молчание. И снова Илюшин занес над девушкой острое, беспощадное оружие. Сейчас он встанет и тихо скажет: «Ваш брат Коля Дорожко погиб смертью храбрых».

Эти слова ударят ее. Она задохнется от этих слов. Плечи задрожат, и она заскулит, как маленькая обиженная девочка, а он будет бормотать бессмысленные слова, вроде: «Успокойтесь... Не надо...» А потом дождется, когда она утихнет, и крадучись уйдет прочь...

И у него снова не хватило сил панести удар.

— Знаете что, давайте ужинать, — неожиданно сказала Тая.

— Давайте, — с готовностью ответил гость.

Сейчас он был рад любому поводу отвлечься от мысли, которая исподволь продолжала угнетать его.

— Жалко, что темно, — сказала Тая, — но так даже интереснее.

У нее вдруг поднялось настроение. Приход товарища брата — хотя он и был лопухом — выбил ее из колеи однообразной жизни. По молодости лет она еще вообще не разучилась находить привлекательные стороны в любых жизненных обстоятельствах.

Она подошла к столу и энергично стала развертывать большой бумажный пакет. Илюшин тоже приблизился к столу. Он готов был помочь Тае в приготовлении ужина.

— Это хлеб, — говорила Тая, словно отгадывала загадку. — А это, кажется, сало?

— Наверное, сало.

Он протянул руку и встретился с теплой рукой Таи. Она лежала на бруске, завернутом в тряпицу. Своей большой рукой Илюшин накрыл на мгновение и шматок сала

и руку сестры погибшего друга. Он коснулся ее руки, и ему стало жарко.

— Ну да, сало, — скороговоркой проговорил он и быстро отдернул руку. — Где-то тут должен быть гречневый концентрат, — сказал он, лишь бы не молчать, — чертовски вкусная штука!

Но Тая наткнулась не на гречневый концентрат, а на бутылку.

— Бутылка! — воскликнула она. — Что в бутылке?

— Водка.

— Водка? Будете пить водку?

— За компанию, — сдержанно отозвался Илюшин.

— А Коля пьет водку?

— Все пьют... Не выливать же. Правда, есть у нас Женька Медведский, так он водку меняет на сахар. Чудак.

— Чудак, — охотно согласилась Тая и вдруг запнулась. — А вы знаете, я никогда в жизни не пила водку. Говорят, от нее сразу начинает тошнить.

— Ерунда! — тоном знатока сказал Илюшин. — Надо только закусывать получше. А вообще водка некрепкая.

— Это хорошо, — сказала Тая, — я боюсь крепкой.

Илюшин стоял на месте, а невидимая, словно в шапке-невидимке, Тая быстро передвигалась по темной комнате. Она не натыкалась на стол и не сбивала с ног стулья. Илюшин только слышал звон посуды, побрякивание ножей и вилок. Сам же он стоял на месте, чтобы — не дай бог! — не опрокинуть что-нибудь впотьмах. А голос Таи доносился то из одного конца комнаты, то из другого.

— Жалко, нет спичек, — звучал он у буфета, — а то бы мы сейчас вскипятили чай. Согрелись бы.

— Мы согреемся от водки, — отвечал Илюшин.

— А разве водка греет? Она, по-моему, очень холодная.

— Это только с виду.

— Вот как!

Илюшин слышал, как Тая режет хлеб и сало, и у него

взыграл аппетит. Не тот вечный ноющий аппетит, который почти никогда не проходит у солдата, а острый, жадный, отрывающий человека от всех дум и переживаний и разом возвращающий на землю.

— Ужин готов! — объявила Тая. — А вы до сих пор в пальто... то есть в шинели?

«Как она видит в темноте?»

Илюшин быстро расстегнул крючки и снял шинель. Он не знал, куда ее деть, и некоторое время так и стоял, обняв ее двумя руками.

— Давайте сюда.

Тая, как дух, появилась рядом и освободила его руки.

— Наливайте водку.

Он нащупал рукой рюмки и бутылку. Потом сжал рюмку в кулак и стал наливать. Водка действительно была ледяной, и по тому, как в его кулаке поднимался холодный столбик, он определял, что рюмка наполняется.

— Давайте выпьем за Колю и чтобы скорее кончилась война, — произнесла Тая.

Они выпили. Илюшин думал, что Тая начнет кашлять и охать, но девушка вообще никак не прореагировала на водку. Она сказала:

— Какое вкусное сало! Берите.

Он взял ломтик сала и, стараясь сдерживать себя, начал жевать. Он мог сейчас есть без конца. Но вспомнил, что перед ним на столе лежал чуть ли не весь батарейный запас сала и что там, на шестой, товарищи едят кашу всухомятку. Ему стало неловко. Теперь он больше нажимал на хлеб.

Первая половина ужина прошла в молчании. Но когда голоду была заплачена дань, Тая нарушила молчание:

— А командир у вас строгий?

Илюшин сразу вспомнил сухого неулыбающегося лейтенанта, который не говорил ни о чем, кроме пушек, караула, поправок на ветер... И тут же Илюшин представил себя на месте комбата. Разве на этом месте было до смеха,

когда в любую минуту из-за леса мог выскочить фашистский штурмовик и каждый день могла начаться танковая атака?

Илюшин сказал:

— Командир у нас ничего. Терпимый. Конечно, за дело гоняет.

— А у меня мастер злой.

И Тая припаялась рассказывать про свою фабрику, которая до войны выпускала заводных слонов и лягушек, а теперь делала гранаты.

— У меня мастер злой и вредный. Но я молчу и не рыпаюсь. Мама звала в Свердловск. Я не поехала. Значит, надо терпеть. Верно?

— Верно! — согласился Илюшин, чтоб поддержать Тая. — А у нас на втором оружии есть сержант Коркин. Тоже вредина — будь здоров! Он низенький, а лицо сплюснутое. Всегда орет. Правда, в последнее время притих, фронт подошел близко. Бойтся ссориться с ребятами.

— А пац не боится! Мы ведь девчонки, — вздохнула Тая.

— Но вы не подумайте, что у нас все, как Коркин, — поторопился пояснить Илюшин. — Коркина даже комбат не любит. А так сержанты у нас ничего. А один, Бурлаков, даже художник.

— Художник? — оживилась Тая. — Что же он рисует? Пушки?

— Нет. Он больше березы рисует.

— А вы пили березовый сок?

— Нет.

— А я пила. Этой весной... До войны. А вы где были до войны?

— Я уже год служу. А до этого школу кончил.

— А я в этом году кончила. В институт собиралась.

— А я не собирался. Меня бы все равно в армию взяли. Двадцать второй год... Хорошо до войны было!

— Конечно.

Теперь их голоса звучали наперебой.

Вся их прежняя жизнь была там, за гранью войны и мира. И хотя война за несколько месяцев успела поломать их быт, привычки, благополучие, она не смогла полностью задуть огонек их прошлого. От воспоминаний он разгорался все сильнее. И при свете этого огня молодые люди стали в глазах друг друга куда привлекательней, чем в первые минуты знакомства.

Из губастого солдата-лопуха Илюшин незаметно превратился для Таи в одного из ее одноклассников, и она уже видела его не в гимнастерке с петлицами, а в рубашке и тапочках на босу ногу.

А сама Тая вдруг перестала быть для Илюшина навязчивой болтливой девчонкой, а стала девушкой из его класса. Голос у нее был как у Лены Гурьевой. Может быть, она и похожа на Гурьеву?

— Мы своего географа звали Козлом, — рассказывала Тая.

— А мы свою математичку — Черепухой, — отзывался Илюшин.

— А мы про ботаничку сочинили песню:

Наша ботаничка
Прыгает, как птичка,
На высоких каблуках
И с ботаникой в рукак.

Тая пропела этот задорный куплет, и оба — красноармеец и девушка — рассмеялись.

И все же мысль о Коле Дорожке не оставляла Илюшина, она стояла за его плечами и время от времени напоминала о себе. Эта мысль вызывала досаду, отравляла жизнь. Она стала тем третьим лишним, при котором нельзя быть до конца откровенным.

Дружба требовала уплаты долга. Это она приставила

конвоира. И если смалодушничать и броситься бежать, то конвоир откроет огонь и убьет тебя твоей же совестью.

Почему он не рассказал обо всем вначале, когда Тая была для него чужим, незнакомым человеком! Почему, когда мысль о Коле напоминала о себе, он говорил: «Потом, немного погодя». Он просто не думал, что чем дальше уходят стрелки часов, тем труднее будет сделать это признание.

А неумолимый конвоир торопил. Он уже не толкал рукой в плечо. Он бил прикладом. Наотмашь. В самое сердце. И от этого сердце стучало. И Тая, наверное, слышала эти удары. Она спросила:

— Что вы молчите?

Он встал и сделал несколько шагов в темноту. И нагнулся на стул. Стул грохнул, и после этого в комнате стало еще тише. Илюшин почувствовал себя страшно несчастным и одиноким. Он понимал, что сейчас все кончится. Но он не мог больше молчать. Он втянул в себя побольше воздуха, сжал кулаки. И сказал:

— Знаете, Тая...

И вдруг ему в глаза ударила красная вспышка. Страшный грохот заглушил его голос. Стекла запрыгали в рамах. И весь огромный, похожий на крепость дом «Россия» вздрогнул.

— Что это? — испуганно спросил Илюшин.

— Налет,— почти спокойно ответила Тая.

Тая сидела на диване, поджав под себя разутые ноги. Ей впервые не было страшно. Рядом был он. Защитник. Мужчина. С ним ей не было страшно. И пока он стоит у окна, даже самая огромная бомба не сможет причинить ей вреда.

Она не догадывалась, что стоящий к ней спиной красноармеец был в полном смятении: там, дома, на огневой позиции, он не испытывал страха. Там он был силой. Он слал навстречу желтокрылым фрицам снаряды. Там во-

обще некогда было бояться. Надо успевать разворачивать пушку и не отставать от ревуна, который настойчиво требует огня. Здесь же он был бессилен что-нибудь сделать. И это рождало страх.

В это время сквозь грохот зениток Илюшин уловил тонкий нарастающий вой падающей бомбы. Ему показалось, что бомба падает прямо на него. Звук становился громче. Огненным буравом он всверливался в самое сердце. И юноша подумал, что еще мгновение — и он будет лежать так же, как Коля Дорожка, на снегу, с алым пятнышком на серой ушанке.

Как ни странно, от взрыва даже не лопнули стекла. Может быть, им помогли бумажные ленты, приклеенные крест-накрест. Но скорее всего, бомба упала за несколько кварталов.

Илюшин незаметно вытер со лба пот.

— Килограммов пятьсот,— сказал он.

Но Тая со знанием дела возразила ему:

— Что вы! Всего двести. Если бы пятьсот...

Его удивило хладнокровие Таи. Девушка казалась ему героиней. Но Тая была самой обычной. Просто человек привыкает к своему месту на войне, к своим опасностям, к своим страхам.

Воздушный бой кончился так же неожиданно, как и начался. Сбросив бомбы, немецкий самолет поспешно удирал. И вспышки зениток из центра переносились на окраину.

«Наверное, сейчас откроет огонь наша шестая»,— подумал Илюшин, и вдруг ему показалось, что шестая батарея находится далеко-далеко отсюда и что с того момента, как трассирующая пуля сразила Колю Дорожку, прошло много времени и многое в жизни успело перемениться. Юноша поймал себя на том, что уже не так остро переживает смерть друга.

Илюшин подошел к дивану и сел рядом с Тасей. Тая

притихла. И он решил, что она задремала. Грозный конвоир уже не поторапливал его, не толкал в плечо и не бил прикладом. Илюшин почувствовал блаженное состояние покоя.

Некоторое время они сидели молча. Но это не было тем напряженным, отчуждающим молчанием, которое возникло в начале их знакомства. Теперь они молчали, чтобы слышать дыхание друг друга.

— Вы спите? — из темноты спросила Тая.

— Нет! — отозвался он и обрадовался, что она тоже не спит.

— О чем вы думаете?

— Ни о чем.

— Значит, вы спите.

— Нет, я не сплю.

— Когда человек не спит, он обязательно о чем-нибудь думает.

— Я думаю о вас.

Он сам удивился, откуда у него хватило смелости сказать это.

— Правда? — отозвалась она, и в ее голосе звучала радость. — А что вы думаете обо мне?

— Я думаю, какая вы? Говорят, что слепые могут на ощупь увидеть лицо человека.

И вдруг Илюшин осторожно протянул руку и коснулся Тайного лица. Рука его заглубела от рывка землянок и от холода. И он старался еле-еле касаться ее лица. Рука скользнула по глазам, по лбу, по носу. Тая затаила дыхание, словно боялась помешать его руке.

— Я некрасивая, — прошептала Тая.

— Ты красивая, — ответил Илюшин и вдруг почувствовал на своей щеке теплую, удивительно ласковую руку Тай, и от этого девушка показалась ему еще более красивой.

Это ощущение возникало где-то в глубине. В самой природе. Оно рождалось тем, что кругом были война, тьма, горе, холод, а ему было хорошо, от этого все казалось пре-

красным. Он забыл обо всем на свете. Даже о погибшем друге. Эта невидимая красота девушки сделала с ним такое чудо.

Они не заметили, как перешли на «ты». Им теперь казалось, что они всю жизнь на «ты».

— Ты спишь?

— Нет. А ты?

— Я не сплю.

На батарее он засыпал мгновенно, стоило только приклонить голову. И он мог бы проспать вечность, если бы его не поднимал голос сержанта: «Подъем! Тревога!»

Тогда он вскакивал и, как лунатик, механически натягивал шапку, шинель и вместе с товарищами выбегал на мороз. Окончательно он просыпался у орудия.

Сейчас сон не приходит к нему. Да он и сам решил не спать до утра, а просидеть так, с открытыми глазами, оберегая ее сон. Он понимал, что это была ее последняя спокойная ночь. Завтра она все узнает: и про штурмовика, и про очередь, и про алое пятнышко на серой шапке Коли Дорожки. А сейчас пусть она спит.

Он сидел рядом с ней, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить ее неловким движением. Он был на посту.

Но в конце концов он тоже уснул. Он спал сидя, откинувшись на спинку дивана. А она во сне положила голову ему на плечо. Плечо было худым, а гимнастерка шершавой, но, вероятно, ни одна самая мягкая пуховая подушка не подарила бы девушке такого спокойного, счастливого сна.

В их позе было столько согласия, что, казалось, им снится один общий сон. Наверное, в этом сне не было войны, не было фабрики, работающей в три смены, не было шестой батареи, стреляющей все три смены подряд. И Коля Дорожка был жив.

Когда они проснулись, на улице забрезжил рассвет. Но в комнате еще держалась ночь. Некоторое время они

оставались в той позе, в какой их настиг сон. Никто не решался заговорить первым. Никто не хотел разбивать хрупкий ледок молчания, который сковал все окружающее их.

Первой заговорила Тая:

— Илюшенька, это ты?

— Я,— отозвался красноармеец,— только меня зовут не Илюша. Я Сережа. Это фамилия моя Илюшин.

— Разве? — растерянно произнесла Тая и быстро поднялась.

В ее голосе прозвучала нотка разочарования. Словно ночью кто-то подменил ее друга. И чтобы проверить, не произошла ли подмена, Тая легонько провела рукой по его лицу. Она узнала его. Никто никого не подменял. Только жалко, что его зовут Сережа, а не Илюша. Для себя девушка превратила его фамилию в имя.

Тая встала, подошла к окну и ловко подняла штору. В комнату проник серый свет утра. И тогда юноша и девушка впервые увидели друг друга.

Илюшин смотрел на Таю и думал, что именно такой представлял ее себе, когда касался ее лица загрубевшей рукой. В сером свете не было видно, что прядь волос, опустившаяся на щеку, золотисто-рыжая. И на скулах много веснушек, тоже рыжих. И глаза ее вовсе не пронзительно-черные, а карие, то есть рыжие. Он не видел ее естественных цветов, как будто смотрел на нее в черно-белом кино. Но от этого она не казалась ему бесцветной. Он воспринимал краски ее жизни, пожимая маленькие теплые пальцы, ощущая близко ее дыхание, вслушиваясь в звуки ее голоса.

И Тая тоже представляла его таким, каким он оказался: большим мальчишкой, на которого натянули военную форму.

— Ты приедешь ко мне? — спросила Тая, когда Илюшин встал и торопливо натянул на себя шинель.

— Если смогу,— отозвался он.

— Я буду ждать. Ты смочи, ладно?

Он кивнул головой.

Истекли последние отведенные им минуты. Сейчас часы на стенке отшагают их. Они шагают медленно, со стуком, как инвалид на одной ноге. И надо скорее решить для себя, на что употребить эти последние минутки.

— Подари мне что-нибудь на память,— сказала Тая.

Илюшин задумался. Что может подарить на память солдат! Все, что у него есть, казенное. Шинель, рукавицы, звездочка на шапке. Но он машинально полез в карман гимнастерки. Его пальцы нащупали гладкий тяжелый запал от гранаты. Рядом лежал смертный медальон. Илюшин вынул его и протянул Тае.

— Что это?

Тая держала на ладони вороненый металлический тюбик, теплый от его тепла, и, напрягая зрение, рассматривала его.

— Что это?

— Моя жизнь.

Тая заглянула в глаза Илюшина. Они были серьезными. Он не шутил.

— Это мой смертный медальон,— сказал красноармеец.— Пусть он будет у тебя.

Он взял из Таиной руки свой подарок, раскрыл тюбик и достал из него тоненькую свернутую бумажку. На ней было написано: «Красноармеец Илюшин Сергей Александрович, № 987456».

И он протянул девушке этот скромный документ, с которым солдаты предстают перед смертью. Ему показалось, что сейчас он отдает Тае на хранение свою жизнь. И по тому, как крепко она сжала в кулаке железный тюбик, почувствовал, что она никому не отдаст его жизни.

Он быстро вышел из дома и зашагал к Сретенским воротам. Мятный холод обволакивал его лицо и персхваты-

вал дыхание. Этот холод проникал в тело и медленно возвращал красноармейца к действительности.

Илюшин быстро дошел до угла, где, по его расчетам, должны были стоять высокие Сретенские ворота. Но никаких ворот не было. Может быть, этой ночью фашистская бомба разрушила и сровняла с землей высокую арку, упирающуюся в небо. Он задержался на этом месте, и вдруг мысли перенесли его на шестую батарею. Как прошла ночь? Много ли было налетов? А может быть, танки перешли через канал, и на батарее идет бой, и все его товарищи на волосок от смерти? И снова память о друге толкнула его в плечо. Он вспомнил шестую батарею, товарищей, которые послали его. Его послали с трудным заданием, а он нашел Таю. Его никто не посылал к Тае. Его послали к сестре красноармейца Дорожку сообщить о смерти брата. А он обманул всех — и ребят, и комбата, и Таю, и Колю Дорожку. Теперь за его спиной стоял уже не одинокий конвоир — целая батарея смотрела на него и требовала ответа. Красноармеец Илюшин понял, что он не может вернуться на шестую батарею, не выполнив приказа своей совести.

Он потоптался на месте. Потом решительно повернул и зашагал обратно — туда, где в морозном тумане, как огромный корабль с погашенными огнями, стоял дом «Россия».

СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ

*Посвящается моей матери,
Людмиле Алексеевне Филиной.*

На границе марта и апреля небо наливается океанской голубизной, а снег становится кристаллическим и шуршит под ногами крупным береговым песком. Верхняя розоватая шкурка бересты лопнула и трепещет на ветру, как папиросная бумага. Солнце слепит и, когда ветер утихает, ласково припекает в щеку. Но главное, все вокруг заполняется крепким живым настоем пробуждающейся земли. Этот настой кружит голову, и, когда вдыхаешь его всей грудью, разливается по телу, и тайной радостью отдается в сердце. Ты чувствуешь, как в тебе пробуждаются молодые силы и возвращают к лучшей поре жизни.

И ты вспоминаешь мать.

Я запомнил свою мать седой и усталой. Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что понимание красоты приходит позже, когда материнская красота успевает увянуть.



Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. Ровные темные брови, длинные ресницы. На высокий лоб спадали дымчатые волосы. Такой я видел ее на выцветшей фотографии — молоденькая сестра милосердия, красный крестик на белом платке.

До сих пор слышу ее негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю бережное прикосновение рук, шершавое тепло платья на ее плече. Это не имеет отношения к возрасту, это — вечно.

Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. Они даже не знают, как называется чувство, которое все сильнее привязывает их к матери. В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утоление жажды.

Но в любви ребенка к матери есть свои золотые дни. Я пережил их в раннем возрасте, когда впервые осознал, что самый необходимый человек на свете — мама. Я не отходил от нее ни на шаг. Боялся уснуть: вдруг она уйдет? А когда просыпался, то первой моей мыслью было: где мама? В те дни я стал маленьким рыцарем, а мама была моей прекрасной дамой. Я размахивал деревянной шпагой, готовый в любую минуту вступить за маму. Она чувствовала это. Она была счастлива.

Память не сохранила почти никаких подробностей тех далеких дней. Я знаю об этом своем чувстве, потому что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. И я берегу его, потому что без любви к матери в сердце — холодная пустота.

...Женщина, которая слышит первый вздох своего ребенка, и женщина, которая слышит его последний вздох, — два разных человека. Разных — как счастье и горе, добро и зло, жизнь и смерть. Но эти два человека слились в одном великом существе, имя которому — мать.

Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. У ме-

ня для нее было другое слово — мамочка. Даже став большим, я не мог изменить этому слову. Я пытался называть ее «мама», но с губ помимо моей воли слетало все то же ласковое, детское — «мамочка». У меня отросли усы, появился бас. Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть слышно.

Последний раз я произнес его на мокрой от дождя платформе, у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков паровоза, под крик команды «по вагонам!». Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. Не знал, что с матерью вообще можно проститься навсегда. Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не видел моих мужских слез, вытирал их о ее волосы... Но когда теплушка тронулась — не выдержал. Забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди, множество людей, и сквозь грохот колес, сквозь бьющий в глаза ветер закричал:

— Мамочка! Мамочка...

Но она уже не слышала.

На белом снегу красный гибкий прутик вербы возникает жилкой, в которой бьется кровь. Рядом с красной жилкой — голубая. Это весеннее солнце растопило снег и вызвало к жизни родничок талой воды. Красная артерия и синяя вена. Равновесие жизни.

Струя талой воды исчезает под настом и снова выходит на поверхность, издавая веселый булькающий звук. Хорошо наклониться к мартовскому роднику и сделать глоток. Говорят, кто пьет талую воду, становится сильнее и долговечней.

Никто, как мать, не умеет так глубоко скрывать свои страдания и муки. И никто, как дети, не умеет так хладнокровно не замечать того, что происходит с матерью. Она не жалуется, — значит, ей хорошо. Я никогда не видел слез своей матери. Ни разу в моем присутствии ее глаза не увлажнились, ни разу она не пожаловалась мне на

жизнь, на боль. Я не знал, что это было милосердием, которое она оказывала мне.

Когда на посту было очень холодно, мы подходили к трубе землянки и грелись в теплом низком дыму. Он обволакивал замлевшие ледяные лица горьким мягким теплом. Жалко, что этим теплом нельзя было дышать. Еще когда удавалось раздобыть картошку, мы нанизывали ее на проволоку и опускали в трубу. Картошка пропекалась ровно и вкусно. Мы оттирали ее от сажи снегом и ели. Мы всегда были голодны. Нам всегда было холодно. Только в бою у орудий забывали о голоде и холоде. И еще — когда получали из дома письма.

Но было у писем из дома одно необычайное свойство, которое каждый открывал для себя и никому не признавался в своем открытии. В самые трудные минуты, когда казалось — все кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже ни одной зацепки за жизнь, мы находили в письмах из дома НЗ — неприкосновенный запас жизни. Запаса хватало надолго, его берегли и растягивали, не надеясь пополнить его в скором времени.

У меня не сохранились мамины письма. Я не запомнил их наизусть, хотя перечитывал десятки раз. Но в памяти жива картина жизни родного дома, которая возникала из маминых весточек.

Я видел нашу комнату с большой кафельной печью. Печь горела, и из нее тянуло горячим духом смолистых дров. Дрова потрескивали, и на пол падали оранжевые угольки. Мама наклонялась и быстро, чтобы не обжечь пальцы, подхватывала уголек и бросала его в печь. Когда дрова прогорали, она помещивала угли кочергой и ждала, когда над ними исчезнет голубоватый огонь. Потом плотно захлопывала медную дверцу. Вскоре белый кафель накалялся. Мама прижималась к нему спиной и закрывала глаза.

На ледяном ветру я видел ее у печки с закрытыми

глазами. Это видение возникало ночью на посту. У меня в кармане лежало письмо. От него веяло далеким теплом, пахнувшим смолистыми дровами.

Это родное тепло было сильнее ветра.

Когда от мамы приходило письмо, не было ни бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек. Был мамин голос. Я слышал его даже в грохоте орудий.

Дым землянки касался щеки, как дым родного дома.

Под Новый год я увидел у себя дома елку. Мама подробно рассказывала в письме о елке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи. Короткие, разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. В комнате было темно, и только веселые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и тускло мерцали золоченые грецкие орехи.

Я лежал на снегу в тяжелой каске, в подшлемнике — в шерстяном опущенном забрале, в шинели, затвердевшей от талого снега, а осколки снарядов гулко плюхались на землю — большие рваные куски металла. Вот один упал совсем рядом... Гори, елка. Мерцайте, позолоченные орешки. Хорошо, что где-то около мамы есть островок мира, где все по-прежнему. Тепло и спокойно. И мама в безопасном месте. И единственная ее тревога — это я.

Старые часы идут и бьют полночь. Сверчок, чудом поселившийся в городской квартире, работает на стрекочущей машинке. Ковш Большой Медведицы стоит на крыше дома, что напротив. Пахнет хлебом. Тихо. Елка погасла. Печка горячая.

Потом оказалось, что все это было легендой, которую умирающая мама сочинила для меня в ледяном доме, где все стекла были выбиты взрывной волной, а печки были мертвы и люди умирали от осколков. И она писала, умирая. Из ледяного блокадного города слала мне последние капли своего тепла, последние кровинки.

Она не просто голодала. В нее стреляли голодом. Это не был голод недорода. Это был смертельный голод, фашистский голод. Голод — обстрел, голод — бомбежка, голод — пожар.

А я поверил легенде. Держался за нее — за свой НЗ, за свою резервную жизнь. Был слишком молод, чтобы читать между строк. Я читал сами строки, не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишенная сил, для которой перо было тяжелым, как топор. Мать писала эти письма, пока билось сердце.

Последнее письмо пришло в мае.

Чем больше черпаешь из колодца воды, тем свежее она и обильнее. От нее веет ароматом глубокой земли и устойчивым холодом талого снега. Каждый глоток колодезной воды сладко утоляет жажду и наполняет бодростью. Утром солнце всплывает со дна, вечером — погружается на дно. Так живет колодец.

Если же в полутемном срубе не звенит ведро и рассыпанные звенья цепи не пятаются тетивой, а ржавеют от бездействия, если ворот весело не поскрипывает под рукой и сорвавшиеся капли серебряными монетами не падают обратно в гулкую глубину — родник перестает бить, колодец затягивается илом, чахнет. Наступает смерть колодца.

С нашествием врага появились мертвые колодцы. Они умирали вместе с людьми. Мертвые колодцы были похожи на незарытые могилы.

Теперь колодцы ожили, вернее, их оживили люди — живые, пришедшие на смену мертвым. Весело звенят ведра, и цепи блестят на солнце, освобожденные от ржавчины прикосновением множества рук. Колодцы поят людей, коров, землю, деревья. Они льют воду на раскаленные черные камни банек, и мягкий, захватывающий дух пар

делает свое чистое дело, оседая каплями на вялой пахучей листве березовых веников.

Колодцы ожили. Но тот, кто погиб на войне, — погиб навечно.

Я взял в руки тяжелое холодное ведро, медленно поднес его к губам и вдруг увидел себя мальчишкой. Нескладным, нестриженным, со ссадиной на лбу, с облупившимся носом. Этот мальчишка смотрел на меня из ведра с водой. Я держал в руках свою давнюю жизнь. Она была нелегкой. Руки начали слегка дрожать, и по воде пошли морщинки: мой маленький двойник корчил рожи и подсмеивался надо мной — солидным, взрослым, городским.

Я наклонился к ведру и сделал глоток. Мальчишка тоже глотнул. Так мы пили вдвоем вкусную колодезную воду, словно поспорили, кто кого перепьет.

Меня стал сердить мальчишка. Я с удовольствием выпил бы все ведро, чтобы не видеть его. Пить я больше не мог — мне уже свело зубы от холода, — я размахнулся и вылил воду на дорогу. И угодил в курицу, которая недовольно закудаhtала и побежала прочь. Я вылил воду, но двойник остался. И когда я шел по деревне, он все время давал о себе знать.

Я вдруг почувствовал, что долгое время не помнил многих событий своей прежней жизни. Люди, с которыми я жил когда-то рядом, отодвинулись далеко в пространство, а их очертания стерлись. Образовался провал. Пустота, от которой мне стало не по себе. Теперь этот нестриженный, со ссадиной на лбу приблизил далекое время. Я увидел свое детство со множеством подробностей.

Я вспомнил щели в бревнах над моей кроватью, сенник на лавке, занавески, прибитые обойными гвоздями, печную заслонку с отклепавшейся ручкой, рогатые ухваты. Я услышал скрип половиц — у каждой свой особый звук:

старые потрескавшиеся доски были клавишами какого-то таинственного инструмента. Я реально ощутил запах топленого молока — клейкий, кисло-сладкий запах, который неожиданно вытекал из печи и вытеснял из дома все остальные запахи.

Я увидел маму. У колодца, с запотевшими ведрами. В соломенных лучах солнца.

Мой дедушка, Алексей Иванович Филин, был родом с Белого озера. Двенадцатилетним мальчишкой он пришел в Питер и назад в деревню уже не вернулся. Жил трудно. Много работал. После революции стал Героем Труда. Городская жизнь не убила в нем деревенского корня. Иногда с грустью рассказывал о молочной воде Белого озера, о пчелах, о лошадях, о том, как в деревне в большом чане варят домашнее пиво. Иногда, под хмельком, дедушка пел свои деревенские малословные песни.

Каждое лето мы с мамой ездили в деревню.

Городской человек редко встречается с землей. Земля скрыта от его глаз каменными плитами, застывшей лавой асфальта. Она покоится в глубине — черная, бурая, красная, серебристая. Она задержала дыхание и затаилась. Городской человек не знает, чем пахнет земля, как она дышит в разные времена года, как страдает от жажды, как рождает хлеб. Он не ощущает, что вся его жизнь, его благополучие зависят от земли. Не переживает за сухое лето, не радуется обильному снегопаду. А иногда боится земли, как смутной, незнакомой стихии. И тогда в душе затихает необходимое, естественное чувство сыновней любви к земле.

В деревне мы с мамой ходили босиком. Сперва это было довольно трудно. Но постепенно на ногах образовались естественные подошвы, и ноги перестали чувствовать мелкие уколы. Эти подошвы верно служили мне — не снашивались, не протирались. Правда, их нередко приходилось заливать йодом. А перед сном — мыть.

Мать приучила меня к земле, как птица приучает своего птенца к небу, а белая медведица приваживает медвежонок к морю. На моих глазах черная земля становилась зеленой, потом разливалась легкая голубизна, потом мерцала бронза — так рождается лен. Мы с мамой дергали лен. Мама ловко скручивала жгут и вязала снопы-коротышки. У нее на голове был белый платок, как у деревенских.

Иногда мне поручали пасти корову Лыску. Тогда приходилось подниматься очень рано. И я сердился на Лыску, что она не дала мне поспать, шагая по холодной траве, дулся на нее. Мне даже хотелось ударить ее прутом... Она шла медленно, с коровьим достоинством, а самодельный жестяной колокольчик глухо потренькивал на ее шее.

Потом, в поле, я отходил. Я приближался к корове и прижимался к ее теплому дышащему боку — грелся. Иногда я разговаривал с Лыской. Рассказывал ей целые истории. Лыска не перебивала меня, она умела внимательно слушать и беззвучно кивала головой.

Голова у нее тяжелая, крупная. А глаза, большие влажные глаза, были чем-то опечалены. Лыска незаметно подходила ко мне и тыкалась в щеку розовым носом. Ее дыхание было громким и теплым. Она относилась ко мне покровительственно, как к телянку.

Временами я испытывал приливы любви к нашей корове. Тогда я уходил с ней далеко в поле, где росли клеверная кашка и горошек. Отыскивал глубокий буерак, опускался по крутому склону и рвал для нее лакомые зеленые побеги. Я сооружал «дымок»: зажигал сухие гнилушки в консервной банке и размахивал около Лыски, чтобы слепни и шершни не одолевали ее. Лыска становилась священным животным, а я служкой с кадилом. Потом Лыску пришлось продать. Когда ее уводили со двора, она плакала. Все понимала. Испытывала горе. И тогда я дал себе слово, что, когда вырасту и буду зарабатывать деньги, куплю Лыску обратно. Я обещал это Лыске.

Нестриженный, со ссадиной на лбу, смотревший на меня из ведра, напомнил мне об этом невыполненном обещании. Он насмехался надо мной и молча, не прощаясь, упрекал в том, что я обманул Лыску. Обещал купить обратно и не купил.

Вообще мой нескладный двойник многое напоминал мне.

Я как-то спросил маму:

— У меня сердце светится?

— Ну как же оно может светиться, — возразила мама.

Я увидел светящееся сердце в кузнице. Кузница стояла на краю деревни. От нее тянуло запахом угольного дыма, и она сотрясалась от звонких прерывистых ударов. Я услышал, как с хрипом дышат кожаные мехи и как от их дыхания в горне с легким свистом пробуждается в углях огонь.

Кузнец был раздет до пояса. Его тело блестело от пота. На мокрой груди отражалось пламя горна. Кузнец взмахивал молотом, откидывал корпус назад и с силой обрушивал удар на кусок раскаленного железа. И каждый раз отблеск пламени вздрагивал. Я решил, что это просвечивает сердце. Оно горит внутри и просвечивает сквозь грудь.

Я показал маме светящееся сердце.

— Видишь? — сказал я шепотом.

— Вижу.

— От чего же оно светится?

Мама подумала и тихо сказала:

— От работы.

— А если я буду работать, мое сердце будет светиться?

— Будет, — сказала мама.

Я тут же принялся за дело. Я наносил дров, поворошил сено и даже вызвался пойти за водой. И каждый раз, окончив дело, спрашивал:

— Светится?

И мама кивала головой.

И еще нестриженный двойник со ссадиной на лбу напомнил мне, как он нашел на земле осколок снаряда и показал маме:

— Смотри, какой камень!

— Это не камень, — ответила мама. — Это осколок снаряда.

— Снаряд разбился?

— Он разорвался на множество осколков.

— Зачем?

— Чтобы убивать.

Я бросил осколок на землю и опасно покосился на него.

— Не бойся, — сказала мама, — он уже никого не убьет. Он сам мертвый.

— Откуда ты знаешь? — спросил я маму.

— Я же была сестрой милосердия.

Я смотрел на маму, как на незнакомую. Я не мог понять, какое отношение имеет сестра милосердия к маме.

В то далекое мгновение ни она, ни я не могли даже представить себе, что через десять лет я буду лежать на земле в шинели, в каске, с винтовкой, прижатой к боку, и в меня будут лететь такие камни с острыми краями. Не мертвые, а живые. Не для жизни, а для смерти.

По-настоящему земля открылась мне на войне. Сколько земли перекопал, перелопатил я за войну! Я рыл окопы, траншеи, землянки, ходы сообщения, могилы... Я рыл землю и жил в земле. Я узнал спасительное свойство земли: под сильным огнем прижимался к ней в надежде, что смерть минует меня. Это была земля моей матери, родная земля, и она хранила меня с материнской верностью.

Я увидел землю так близко, как раньше никогда не мог увидеть. Я приблизился к ней, как муравей. Она липла к моей одежде, к подметкам, к лопате — я весь был намагни-

чеп, а она железная. Земля была мне и убежищем, и постелью, и столом, она гремела и погружалась в тишину. На земле жили, умирали, реже рождались.

Один, только один раз земля не уберегла меня.

Я очнулся в телеге, на сене. Я не почувствовал боли, меня мучила нечеловеческая жажда. Пить хотели губы, голова, грудь. Все, что было во мне живого, хотело пить. Это была жажда горящего дома. Я сгорал от жажды.

И вдруг я подумал, что единственный человек, который может меня спасти, — мама. Во мне пробудилось забытое детское чувство: когда плохо, рядом должна быть мама. Она утолит жажду, отведет боль, успокоит, спасет. И я стал ее звать.

Телега грохотала, заглушая мой голос. Жажда запечатала губы. А я из последних сил шептал незабываемое слово — мамочка. Я звал ее. Уповал на нее, как на бога, Богоматерь, Человекоматерь, Мать.

Я знал, что она откликнется и придет. И она появилась. И сразу смолк грохот, и холодная животворная вода хлынула гасить пожар: текла по губам, по подбородку, за воротник. Мама поддерживала мою голову, осторожно, боясь причинить боль. Она поила меня из холодного ковшика, отводила от меня смерть.

Я почувствовал знакомое прикосновение руки, услышал родной голос:

— Сынок! Сынок, родненький...

Я не мог открыть глаза. Но я видел мать. Я узнавал ее руку, ее голос. Я ожил от ее милосердия. Губы разжались, и я прошептал:

— Мама, мамочка...

Во мне накопилось много слов. Они распирают мне грудь, стучат в висок. Они рвутся наружу, на свет, на бумагу. Но они зеленые. Их рано срывать с ветки. Я мучаюсь и жду, когда они созреют.

В детстве рвут зеленые яблоки, потому что не хватает терпения дожидаться, пока они созреют. Рвут, и едят, и получают острое удовольствие. Теперь зеленые яблоки сводят рот.

Но нельзя выдерживать слова до приторности. Иногда надо находить озорную радость в зеленых яблоках и в зеленых словах.

Моя мать лежала в братской могиле в осажденном Ленинграде. В незнакомом селе у колодца я принял чужую мать за свою. Видимо, у всех матерей есть великое сходство. И если одна мать не может прийти к раненому сыну, то у его изголовья становится другая.

Мама. Мамочка...

В детстве мы легко принимаем от матери жертвы. Все время требуем жертв. А то, что это жестоко, узнаем позже — от своих детей.

«Золотые дни» не вечны. На смену им приходят «суровые дни», когда мы начинаем чувствовать себя самостоятельными и постепенно удаляемся от мамы. И вот уже нет прекрасной дамы и маленького рыцаря, а если он и есть, то у него другая прекрасная дама — с косичками, с капризно надутыми губами, с кляксой на платье...

В один из «суровых дней» я пришел из школы голодный и усталый. Бросил портфель. Разделся. И сразу за стол. На тарелке лежал розовый кружок колбасы. Я съел его мгновенно. Он растаял во рту. Его как бы и не было. Я сказал:

— Мало. Хочу еще.

Мама промолчала. Я повторил свою просьбу. Она подошла к окну и, не оглядываясь, тихо сказала:

— Больше нет... колбасы.

Я встал из-за стола, не сказав спасибо. Мало! Я шумно ходил по комнате, грохотал стульями, а мама все стояла

у окна. Я подумал, что она разглядывает что-то, и тоже подошел к окну. Но ничего не увидел.

Я хлопнул дверью — мало! — и ушел.

Нет ничего более жестокого, чем просить у матери хлеба, когда его у нее нет. И негде взять. И она уже отдала тебе свой кусок... Тогда можно рассердиться и хлопнуть дверью. Но пройдут годы, и стыд настигнет тебя. И тебе станет мучительно больно от своей жестокой несправедливости.

Ты будешь думать о дне своего позора даже после смерти матери, и эта мысль, как незаживающая рана, будет то затихать, то пробуждаться. Ты будешь находиться под ее тяжелой властью и, оглядываясь, скажешь: «Прости!» Нет ответа.

Некому прошептать милосердное слово: «Прощаю».

Когда мама стояла у окна, ее плечи слегка вздрагивали от беззвучных слез. Но я этого не заметил. Я не заметил своих апрельских следов на полу. Не расслышал хлопнувшей двери.

Теперь я все вижу и слышу. Время все отдаляет, но оно приблизило ко мне этот день. И многие другие дни.

Прости меня, родная!

В старых избах с потемневших образов смотрит женщина с ребенком на руках. Грустная, задумчивая, улыбающаяся, озабоченная, счастливая, несчастная. Это не иконы, это портреты матерей — многих, живых и живущих.

Я много знаю о подвигах женщин: выносивших с поля боя раненых бойцов, работавших за мужчин, отдававших свою кровь детям, идущих по сибирским трактам за своими мужьями. Я никогда не думал, что все это имеет отношение к моей матери. К тихой, застенчивой, обыденной, озабоченной только тем, как прокормить нас, обути, уберечь...

Теперь я оглядываюсь на ее жизнь и вижу: она прошла через все это. Я вижу это с опозданием. Но я вижу.

Я шел под удивительно голубым, лазурным небом — откуда в северном городе берется такая лазурь? И тут появилась низкая темная туча с острыми краями. Она перевалила через дома и быстро пошла на бреющем полете. Мне в лицо дохнуло льдом.

В следующее мгновение я оказался запутанным в белую ледяную сетку. Я не мог из нее выпутаться, только отбивался руками, силился разорвать ее. А вокруг все гудело, стонало, кружилось. Жесткая ледяная крупа била в лицо, секла по рукам. И вдруг в сетке сверкнуло желтое помутневшее солнце — попало в сеть! Раздался удар. Солнце погасло. Это было не солнце, а зимняя молния, гроза со снегом.

Туча все двигалась вперед. Она опутала ледяными сетями весь город. И тянула его за собой, сбивала с ног упругими нитями. Снова вспыхивало солнце и снова гасло. В городе стоял сухой грохот.

Новая вспышка высветила надпись на стене дома: «Эта сторона наиболее опасна при артобстреле».

Я перешел на другую сторону.

На Пискаревском кладбище зеленеет трава. На Пискаревском кладбище большие могилы. Большие, общие, заполненные народным горем. Здесь похоронена моя мать.

Документов нет. Очевидцев нет. Ничего нет, за что можно было бы зацепиться пытливым умом. Но вечная сыновья любовь определила — здесь. И я склонился к земле.

Я глажу рукой траву Пискаревского кладбища. Я ищу сердце матери. Оно не может истлеть. Оно стало сердцем земли.



СЫН ЛЕТЧИКА

Я могу поручиться, что никогда не слышал о летчике Преснякове. Но его лицо на фотографии показалось мне удивительно знакомым. Он снят после полета, в гермошлеме, в котором можно дышать там, где нет воздуха. В этом одеянии он похож скорее на водолаза, чем на летчика.

Капитан Пресняков небольшого роста. Но это сразу не заметишь на фотографии, потому что он снят до пояса. Зато отчетливо видны широкие скулы, и глаза щелочками, и неровные брови, и канавки над верхней губой, и шрам на лбу. А может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете.

Эта фотография принадлежит Володьке Преснякову. Висит у него над постелью. Когда в дом приходит новый человек, Володька подводит его к фотографии и говорит:

— Мой отец.

Он говорит это так, будто и в самом деле знакомит гостя со своим отцом.

Живет Володька в Москве, в проезде Соломенной Сторожки. Конечно, на Володькиной улице нет никакой сторожки, да еще соломенной. Кругом стоят большие новые дома. Это при Петре Первом здесь была сторожка. Интересно, в каком месте она стояла? Около гастронома или на углу, у сберкассы? И как звали стражника, который в ненастную, вьюжную ночь забегал в теплую сторожку, чтоб перевести дух и погреть у огонька деревянные от мороза руки? Только на минутку! Стражнику не положено торчать в теплой сторожке при исполнении служебных обязанностей...

Под окнами Володькиного дома днем и ночью грохочут самосвалы: рядом идет стройка. Но Володька привык к их грохоту и не обращает на него внимания. Зато ни один самолет не пролетит над его головой незамеченным. Услышав звук мотора, он вздрагивает, настораживается. Его тревожные глаза спешат отыскать в небе маленькие серебристые крылышки машины. Впрочем, он, даже не глядя на небо, может по звуку определить, какой летит самолет — простой или реактивный и сколько у него «движков». Это потому, что с детства привык к самолетам.

Когда Володька был маленьким, он жил далеко-далеко от Москвы. В военном городке. Ведь города, как и люди, бывают военные.

Володька родился в этом городке и прожил в нем добрую половину своей жизни. Человек не может запомнить, как он учился ходить и как произнес первое слово. Вот если он упал и разбил коленку — это он помнит. Но Володька не падал и не разбивал коленку, и над бровью у него нет шрама, потому что и бровь он тоже никогда не разбивал. И вообще он ничего не помнит.

Не помнит, как, заслышав шум мотора, он что-то искал в небе выпуклыми голубыми глазами. И как протягивал руку: хотел поймать самолет. Рука была пухлая, со

складкой у запястья, будто в этом месте кто-то обвел ее чернильным карандашом.

Когда Володька был совсем маленьким, он умел только просить. А когда стал постарше — годика в три-четыре, — стал спрашивать. Он задавал маме самые неожиданные вопросы. И были такие, на которые мама не могла ответить.

«Почему самолет не падает с неба?.. Почему у нас звездочки, а у фашистов крестики с хвостиками?»

Володька жил с мамой. Папы у него не было. И вначале он считал, что так и должно быть. И его вовсе не беспокоило, что нет папы. Он и не спрашивал о нем, потому что не знал, что ему полагается папа. Но однажды он спросил у мамы:

— Где мой папа?

Он думал, что маме очень легко и просто ответить на этот вопрос. Но мама молчала. «Пусть подумает», — решил Володька и стал ждать. Но мама так и не ответила на вопрос сына.

Володьку это не очень огорчило, потому что мама многие его вопросы оставляла без ответа.

Больше Володька не задавал маме этого вопроса. Какой смысл спрашивать, если мама не может ответить? Но сам он не забыл о своем вопросе с той легкостью, с какой забывал о других. Ему понадобился папа, и он стал ждать, когда папа появится.

Как ни странно, Володька умел ждать. Он не искал папу на каждом шагу и не требовал от мамы, чтобы она нашла ему недостающего папу. Он стал ждать. Если мальчику полагается папа, то рано или поздно он найдется.

«Интересно, как появится папа? — думал Володька. — Придет пешком или приедет на автобусе? Нет, папа прилетит на самолете — ведь он летчик». В военном городке почти у всех ребят папы были летчиками.

Отправляясь с мамой гулять, он поглядывал на встреч-

ных мужчин. Он старался угадать, на кого из них похож его папа.

«Этот очень длинный, — думал он, оглядываясь на высокого лейтенанта, — такому папе и на спину не заберешься. И почему у него нет усов? У папы должны быть усы. Только не такие, как у продавца в булочной. У него усы рыжие. А у папы усы будут черные...»

С каждым днем Володька все нетерпеливее ждал приезда папы. Но папа ниоткуда не приезжал.

— Мама, сделай мне кораблик, — сказал однажды Володька и протянул маме дощечку.

Мама посмотрела на сына беспомощно, будто он задал ей один из тех вопросов, на которые она не могла ответить. Но потом вдруг в ее глазах появилась решимость. Она взяла из рук сына дощечку, достала большой кухонный нож и начала стругать. Нож не слушался маму: он резал не как хотела мама, а как ему вздумается — вкривь и вкось. Потом нож соскользнул и порезал маме палец. Пошла кровь. Мама отбросила недоструганную деревяшку в сторону и сказала:

— Я лучше куплю тебе кораблик.

Но Володька покачал головой.

— Не хочу купленный, — сказал он и поднял с пола дощечку.

У его друзей-приятелей были красивые кораблики с трубами и парусами. А у Володьки была шершавая недоструганная деревяшка. Но именно эта невзрачная дощечка, именуемая пароходом, сыграла в Володькиной судьбе очень важную роль.

Однажды Володька прогуливался по коридору квартиры с дощечкой-кораблем в руках и лицом к лицу столкнулся с соседом Сергеем Ивановичем. Сосед был летчиком. Целыми днями он пропадал на аэродроме. А Володька «пропадал» в детском садике. Так что они почти не встречались и совсем не знали друг друга.

— Здравствуй, брат! — сказал Сергей Иванович, встретив Володьку в коридоре.

Володька задрал голову и стал рассматривать соседа. До пояса он был одет в белую обыкновенную рубаху, а брюки и сапоги были военными. На плече висело полотенце.

— Здравствуй! — отозвался Володька.

Он всех называл на «ты».

— Почему ты один шагаешь по коридору? — спросил сосед.

— Гуляю.

— А на улицу что не идешь?

— Не пускают. Кашляю.

— Небось по лужам без галош бегал?

— Нет. Я снег ел.

— Понятно.

В конце разговора, который происходил в полутемном коридоре, сосед заметил в руках Володьки дощечку.

— Что это у тебя?

— Кораблик.

— Какой же это кораблик? Это доска, а не кораблик, — сказал сосед и предложил: — Давай я тебе кораблик сделаю.

— Только не сломай, — предупредил его Володька и протянул дощечку.

— А как тебя зовут? — между прочим спросил сосед, разглядывая деревяшку.

— Володя.

— Володька, значит?

Володька. Это хорошо. Мама называла его Володенька, а тут — Володька. Очень красиво!

Пока Володька раздумывал над новым именем, сосед достал из кармана складной перочинный ножик и ловко начал обстругивать дощечку.

Что это получился за кораблик! Ровный, гладкий, с

трубой посередине, с пушкой на носу. На полу кораблик не стоял, заваливался набок, зато в лужах он чувствовал себя отлично. Никакие волны не могли его опрокинуть. Присев на корточки, Володькины приятели с любопытством рассматривали корабль. Каждому хотелось потрогать его, потянуть за веревочку. Володька торжествовал.

— Не забрызгай! — кричал он одному из приятелей, будто кораблю была страшна вода. — Не тяни, опрокинешь! — грозно предупреждал он другого, хотя его корабль был самым устойчивым кораблем дворового флота.

— Кто это тебе такой корабль сделал? — спросил Володьку кто-то из ребят.

Володька запнулся. Потом набрал побольше воздуха и смело выпалил:

— Папа!

— Врешь, — сказал приятель. — У тебя нет папы.

— Нет, есть! Нет, есть! — решительно ответил Володька. — Он мне еще не то сделает!

...Вечером мама заметила Володькин кораблик. Она подняла его с пола, внимательно осмотрела его и спросила:

— Откуда это у тебя?

— Папа сделал, — отозвался Володька.

— Папа? — Мама удивленно подняла брови. — Какой папа? У тебя нет папы...

Последние слова мама с трудом выдавила из себя. Но Володьку несколько не смутило мамино возражение. Он сказал:

— Как же нет папы? Есть! Ведь даже у девочек есть папы, а я мальчик.

Мама вдруг перестала спорить. На нее смотрели два больших упрямых глаза. В них было столько решимости и отчаяния, что мама промолчала. Она поняла, что в маленьком сыне прорезается характер, что он так просто не отступится от того, что ему полагается, что определено самой природой.

Мама опустила глаза и отошла. А он все не двигался с места — маленький человек, который решил постоять за себя. Он прижимал к груди свой кораблик, как будто кто-то хотел отнять у него этот драгоценный предмет.

...Сергей Иванович не догадывался о том, что сделал кораблик с маленьким соседом. И уж конечно, ему и в голову не могло прийти, что Володька в поисках папы остановил свой выбор на нем.

Возвращаясь из детского сада, Володька спрашивал:

— Папа дома?

Мама ничего не отвечала. Тогда он, улучив минутку, выскальзывал в коридор и направлялся к соседней двери. Он толкал дверь плечом. Она не поддавалась: папы не было дома. Володька не падал духом. Эка беда, что папы нет дома! Важно, что папа есть.

Постепенно у Володьки сложилось свое представление о папе. Его папа жил в другой комнате, обедал в столовой и сам ставил себе чайник. И если у него отрывалась пуговица, то он сам пришивал ее. И никому не докладывал, куда уходит и когда вернется. Володька решил, что именно таким и должен быть папа.

Случилось, что Володька заболел не на шутку. На этот раз он съел слишком много снега, и у него начался жар. Он лежал в постели и горел. Ему казалось, что постель стоит на огне и огонь раскаляет подушку, одеяло, рубашку. И градусник ему ставит часто, потому что бояться, как бы он совсем не сгорел.

Володька не стонал, не вздыхал, не звал маму. Он мужественно переносил болезнь. Он сопел. А временами кашлял, и тогда в его груди перекатылся шершавый, булькающий шарик.

Целый день с Володькой сидела бабушка из соседней квартиры. Бабушке хотелось, чтобы Володька уснул, она рассказывала ему сказки. В конце концов от сказок уснул не Володька, а сама бабушка.

Когда вечером вернулась с работы мама, бабушка беззвучно поднялась и ушла к себе в соседнюю квартиру.

С мамой было веселее. Она ходила взад-вперед, что-то приносила, уносила, роняла на пол. Она тормозила Володьку, давала ему то лекарство, то кислый морс. Она прикладывала прохладную руку ко лбу — это было приятно. Переворачивала подушку на «холодную сторону» — это тоже было хорошо. Только жаль, что подушка быстро нагревалась.

Мама все время спрашивала:

— Не болит головка? Что тебе дать? Что ты хочешь?

Но Володька ничего не хотел. Он не знал, что от холодного снега будет так жарко. И так тошно. Он молчал.

И вдруг мальчик сказал:

— Мама, позови папу.

Мама повернулась к окну. Она сделала вид, что не слышала просьбу сына. Она надеялась, что он тут же забудет о ней.

Но, выждав немного, Володька повторил:

— Позови папу.

Мама не двигалась. Она стояла спиной к сыну, и он не видел, как лицо ее стало беспомощным, а глаза наполнились слезами. Она могла многое сделать для сына. Подарить ему дорогую игрушку, купить вкусенького. Могла работать для него с утра до вечера. Могла отдать ему свою кровь, свою жизнь. Но где она могла взять ему папу?

А Володька ждал, когда она пойдет за папой. И она пошла. Она вышла в коридор и медленно направилась к соседней двери. Она шла к чужому человеку, чтобы попросить его на несколько минут побыть папой.

Преодолевая чувство стыда и унижения, мама постучала в соседнюю дверь.

— Да! — послышалось изнутри.

Голос показался маме резким и неприветливым. И от этого стало еще труднее. Но она все же отворила дверь.

Сосед сидел за столом и пил чай. Вероятно, он только что вернулся домой, потому что на нем были сапоги и рубашка защитного цвета с черным галстуком. Он пил чай и читал газету.

Когда мама отворила дверь, он поднял на нее удивленные глаза и встал, не выпуская из рук стакана и газеты. Он не подал ей стул и даже не предложил войти в комнату. Она так и стояла на пороге.

— Сергей Иванович, — сказала мама, и голос ее дрогнул, будто что-то в нем обломилось. — Сергей Иванович, он зовет вас отцом. Я не знаю, почему это взбрело ему в голову. Он маленький и глупый.

Мама говорила, а сосед растерянно смотрел на нее и кивал головой. Казалось, речь идет не о нем, а о другом человеке. Он все не понимал, что же от него нужно.

— А сейчас, — продолжала мама, — он болен. И он зовет вас.

Мама замолчала. Опустив голову, она ждала, что ей скажет сосед. А сосед ничего не сказал. Он вдруг засуетился: поставил на стол стакан с чаем, бросил газету на кушетку и почему-то стал натягивать на плечи форменную куртку.

— Сейчас иду, — пробормотал он.

Зачем ему понадобилась куртка с погонами и знаками отличия? Ведь не начальство вызвало его.

Он пошел за мамой.

Осторожно, словно боясь разбудить, подошел он к Володькиной постельке и, наклонясь к нему, спросил:

— Болееешь, брат?

Володька кивнул головой. Его большие глаза радостно засветились. Он приподнялся на локте и спросил:

— Ты высоко летаешь?

— Высоко, брат, — ответил летчик.

— Выше Сапрунова?

Сосед усмехнулся:

— Э-э, да ты, оказывается, знаешь Сапрунова? Знаком с ним?

Володька затряс головой. Он не был знаком с прославленным летчиком военного городка. Он слышал о нем.

— Выше Сапрунова пока не летаю, — произнес сосед, — но царапаю небо потихоньку.

Володька почему-то представил себе папу, царапающего небо ногтем. И мальчик покосился на его руку. Ногти на руке летчика были коротко подстрижены. «Трудно такими царапать небо», — подумал Володька.

С приходом Сергея Ивановича он оживился. Вероятно, когда рядом с тобой папа, то никакая болезнь не страшна. Мама вышла в кухню. И они остались одни: сын и папа.

Сергей Иванович был одиноким человеком. У него никогда не было ни семьи, ни детей. И к детям он относился не то чтобы с неприязнью завязанного холостяка, а как относятся к чужой, очень хрупкой вещи: стараются не брать в руки, чтобы случайно не уронить. Но с Володькой он обращался смело. Он клал ему руку на лоб, и переворачивал его на «другой бочок», и даже попытался рассказать ему сказку. Сказка получилась похожей на быль: про самолет, механика и генерала...

Новое, незнакомое чувство робко прорезалось в сердце человека, привыкшего иметь дело с солдатами и ревушими машинами.

Глядя на маленького горящего Володьку, он вдруг поймал себя на мысли, что с удовольствием сам переболел бы за него гриппом: ему — что, а малышу — тяжело.

Было уже поздно, когда сосед собрался уходить. Но Володька ухватил его за руку:

— Папа, не уходи!

Он держал руку Сергея Ивановича, как будто эта сильная мужская рука была его жизнью и без нее все вокруг теряло всякий смысл.

— Да я не уйду, — виновато говорил Сергей Иванович. — А ты спи.

Но Володька боялся уснуть, хотя его сильно клонило ко сну. «Вот усну, а он уйдет», — думал мальчик и изо всех сил старался удержать глаза открытыми. А губы его тихо шептались:

— Ты не уходи... А я больше не буду есть снег. И лазить по заборам не буду... И суп буду доедать... Не уйдешь? А?

И сквозь сон слышал спокойный голос Сергея Ивановича:

— Не уйду, не уйду.

В конце концов Володька уснул. Так и уснул, не выпуская из своих рук папину руку.

В те редкие дни, когда Володька заставлял папу дома, он старался как можно дольше побыть с ним. И Сергей Иванович с завидным терпением выполнял все желания своего новоявленного сына.

— Слушай, — говорил Володька (он всегда обращался к Сергею Ивановичу «слушай»). — Слушай, покатай меня на кликушках.

— Что-что? — переспрашивал Сергей Иванович.

— На кликушках, — невозмутимо повторял Володька и начинал карабкаться на плечи Сергея Ивановича.

И тот послушно подставлял мальчику плечи. А потом, почувствовав на себе всадника, начинал ходить по комнате.

— Быстрей! — командовал наездник и крепко обвивал руками шею своего коня. Потом Володька просил: — Зайди за мной в садик. За всеми в субботу заходят папы.

Сергей Иванович почесал затылок, однако пообещал зайти за Володькой. И слово свое сдержал.

Как-то под вечер в комнату, где Володька играл с товарищами, вошла нянечка и громко сказала:

— Пресняков, за тобой пришел отец.

Володька покраснел от удовольствия и пулей вылетел в прихожую. Там на диване сидел папа. Он был в шинели, а фуражка с золотой «капустой» лежала у него на коленях. Вид у него был строгий и торжественный. Казалось, папа боится пошевелиться, чтобы не сделать что-нибудь не так. Володька подбежал к нему и стал тянуть его за руку, а папа упирался. Он чувствовал себя неловко среди маленьких столиков, стульчиков и вешалок с коротенькими пальто.

А потом они шли вдвоем по военному городку, и Володька крепко держался за папину руку. Он старался делать большие шаги, чтобы не отставать. И все время поглядывал по сторонам. Ему хотелось, чтобы его друзья и знакомые видели: он идет с папой. Пусть хоть один человек осмелится сказать: «Врешь, у тебя нет отца!»

Сергея Ивановича многие знали и при встрече с ним кивали ему и отдавали честь. Володьке это тоже нравилось. Один знакомый летчик, поздоровавшись с Сергеем Ивановичем, спросил:

— Сынишка?

Сергей Иванович помолчал, а потом, посмотрев сверху вниз на Володьку, сказал:

— Сын.

Он произнес это слово с вызовом. Будто знакомый хотел задеть его этим вопросом, а он давал ему отпор.

Но Володька не обратил внимания на то, как ответил папа. Они зашагали дальше. И Володька был счастлив.

...Детский садик стоит на самом краю военного городка. За низким разноцветным заборчиком начинается степь. Зимой заборчик заносит снегом, и его вообще не видно. Летом степные травы поднимаются вровень с островерхими колышками.

А в степи — аэродром. Бессонный, тревожный, живущий своей заманчивой, но опасной жизнью.

Оттуда в небо поднимаются серебристые машины с крыльями, отведенными назад, как руки перед прыжком. Кажется, на земле им нечем дышать и они с радостным ревом рвутся в синюю глубину неба, где можно вздохнуть полной грудью. А когда смелые руки летчика поднимают машину очень высоко, в небе остается след — белый, морозный, видимый всей земле.

Случается, что высоко над головой вдруг раздается резкий грохот. Новичок вздрагивает, ищет в небе след взрыва... Но жители военного городка остаются спокойными. Они знают, что никакого взрыва нет. Просто в недоступной глазу вышине одна из серебряных машин провалилась сквозь звуковой барьер и полетела быстрее звука. И это не взрыв, а удар сильных крыльев.

Самолеты улетают и возвращаются. Аэродром провожает и встречает. И так каждый день.

Когда это произошло, в детском садике был тихий час. И дети спали. И Володька тоже преспокойно спал, потому что гул моторов не мешает спать сыну летчика.

Володька спал, а отец был в небе.

Он поднялся на такую высоту, где небо уже не голубое, а темное и, говорят, звезды видны даже днем. Это небо не принадлежит земле, и в нем нечем дышать жителю земли. Он дышит кислородом, захваченным с собой в полет. Да и машине здесь нелегко, ей тоже не хватает воздуха: крылья теряют опору.

Когда он начинал выполнять фигуры пилотажа, его тело становилось тяжелым. Трудно поднять руку. Веки наливались свинцом. Казалось, самолет подчинил себе пилота и решил вообще не возвращаться.

Но голос земли командовал:

«Снижайтесь!»

И небо ответило:

«Вас понял».

Черта с два, самолет командует пилотом! Несторопливым движением летчик отдал от себя ручку управления, убавил обороты двигателей, и машина, как обузданная, повернула от звезд к земле.

Капля пота потекла по его лбу, и он никак не может стереть ее ладонью, потому что лицо под прозрачной маской гермошлема. И он подумал, что, как только приземлится, обязательно сотрет эту зудящую каплю. Стрелки прибора слегка дрожали, желая подчеркнуть, что они не спят. Земля приближалась.

И вот тут-то вспыхнула тревожная красная лампочка — сигнал пожара.

Он сразу забыл о капле пота. Он стал проверять, не врет ли «паникер» (так летчики в шутку называют сигнал пожара, зачастую поднимающий ложную тревогу. Но на этот раз «паникер» не ошибся). Летчик выключил горящий двигатель и доложил:

«Горит правый двигатель».

«Попробуйте сбить пламя», — приказала земля.

Теперь самолет стремительно снижался. Казалось, он падает. Он тушил свой пожар. Он хотел оторвать от себя пламя, которое, как липкий красный лоскут, трепалось у правого сопла. Но ни встречный поток воздуха, ни автоматический огнетушитель не могли справиться с пламенем — так крепко вцепилось оно в машину.

Огню было мало мотора, и он перебрался на фюзеляж.

Горящий самолет терял высоту.

И вдруг летчик почувствовал, что ручка управления утратила свою упругость. Она беспомощно болтается, и самолет не выполняет ее приказы.

Он понял, что произошло самое страшное: перегорели рулевые тяги. Рули вышли из повиновения. А самолет падал на военный городок.

Когда он доложил обстановку земле, с командного пункта пришел приказ:

«Сапрунов! Покидай машину. Катапультируйся».

Но он ответил:

«Не могу».

«Какого черта! Сапрунов!..»

Голос командира гремел в наушниках. Но летчик молчал. Ему некогда было разговаривать. Самолет падал на маленькие ровные квадратики жилых домов. Эти квадратики с неумолимой силой приближались к нему, становились все крупнее, все отчетливей. Они, как магнит, притягивали к себе машину с уснувшими рулями.

«Сапрунов! — ревела земля. — Сапрунов!..»

Он молчал. Он не откликался. И земля решила, что он погиб. Но Сапрунов боролся.

А Володька в это время спал.

Никто не знает, о чем думает человек, когда глядит в глаза смерти, на какие мысли он тратит последние скудные мгновения, которые отпустила ему жизнь. И никто не может поручиться, что Володькин папа в горящем самолете думал о своем сыне. Но есть движение человеческого сердца, которое сильнее мыслей и горячее чувств. В этих движениях любовь и разум, привязанность и ласка вдруг превращаются в силу, перед которой беспомощны страх, сомнения, себялюбие. Ему все же удалось отвернуть горящую машину от жилых домов. Это произошло у самой земли. Кажется, он отвернул машину не отказавшими рулями, а своей грудью, руками, последними толчками сердца.

Катапультироваться он не успел: не хватило времени.

...Человеческая память не похожа на старую бабку, которая кидает в свое лукошко все, что ей попадет под руку. Она разборчивый мудрец, который, прежде чем захватить с собой что-нибудь из твоей жизни, долго разглядывает, взвешивает на ладони, думает: брать или не брать?

Поэтому Володька Пресняков, живущий в проезде Соколеной Сторожки, мало знает о Володьке из далекого военного городка. Будто они не одно и то же лицо, а разные люди.

Только один раз смастерил папа маленькому Володьке кораблик, а большой Володька уверен, что он ему сделал целую флотилию кораблей. Только один раз заснул Володька, не выпуская из рук большой отцовской руки, а память утверждает, что он чуть ли не каждый день засыпал с рукой отца. Только один раз зашел летчик за своим сынишкой в детский сад, а память нашептывает, что это случилось часто.

Может быть, человеческая память немного привирает? А может быть, она отбирает самое главное и увеличивает его так, чтобы было видно всю жизнь.

Когда он погиб, Володька был еще маленьким. Даже не сразу узнал о его гибели. Какой-то самолет разбился. Какой-то летчик погиб. Военный городок был в трауре. Здесь в каждом доме жили летчики, и с каждым из них могло такое случиться... Но в детском садике жизнь шла своим обычным чередом, как будто ничего и не произошло.

Возвращаясь домой, Володька стучался в папину дверь. Но никто не откликался. Володька этому не удивлялся. Папы часто не бывало дома: служба такая.

Наконец долгое отсутствие папы начало тревожить мальчика. И однажды он спросил маму:

— А где папа?

Обычно мама не отвечала на этот вопрос. Она или отворачивалась, или уходила в кухню.

Но на этот раз мама не отвернулась и не ушла. Она взяла Володьку за плечи, притянула его к себе и внимательно посмотрела ему в глаза. Потом она крепко прижала к себе сына и сказала:

— Твой папа погиб при исполнении служебных обязанностей.

Володька не понял, что значит «погиб» и при чем здесь «обязанности». Он спросил:

— А когда папа придет?

— Никогда,— сказала мама и еще крепче прижала сына к себе.

Володька высвободился из маминых рук и недоверчиво взглянул маме в глаза. Что это значит — никогда?

— Он уехал или улетел? — спросил Володька.

— Он погиб,— повторила мама.— Умер. Понимаешь? Его никогда больше не будет.

— А как же я? — пролепетал Володька и уже собирался было заплакать.

Но тут мама сказала:

— Твой папа — герой.

Слово «герой» успокоило мальчика. Это слово не вязалось со слезами. И Володька не заплакал.

Вероятно, тогда он так и не понял маму.

Папа больше не появлялся. В его комнату въехали другие жильцы.

А потом мама и Володька уехали из военного городка в Москву, к бабушке.

Теперь Володька большой, самостоятельный парень. Он все понимает — и что такое «погиб», и что такое «при исполнении служебных обязанностей». И он любит своего отца, хотя знал его очень недолго. И он скучает по нему и часто смотрит на фотографию, что висит над постелью. Он рассматривает неровные брови, и канавку над верхней губой, и шрам на лбу. Может быть, это не шрам, а прядка волос, прилипшая ко лбу в трудном полете?

Правда, Володька совсем не похож на отца. И скулы у него не широкие, и глаза не щелочками. Глаза у Володьки большие. Но ведь их можно прищурить. А скулы могут проявиться с годами. Вырастут. Ведь человек растет до двадцати лет.

Впрочем, совсем не обязательно, чтобы сын был похож

на отца лицом. Он, может быть, вышел в маму. Главное, чтобы характер был отцовский.

...Нет, недаром фотография над Володькиной постелью показалась мне знакомой. Это был летчик Сапрунов. В этом не могло быть сомнений. Тот самый прославленный летчик Сапрунов, который долетел до черного неба и погиб при исполнении служебных обязанностей. Это он спас жизнь сотне людей ценой своей жизни.

Я перевожу взгляд с фотографии на Володьку и спрашиваю:

— А как фамилия твоего отца?

Володька смотрит на меня непонимающими глазами.

— Пресняков,— говорит он, и в голосе его звучит уверенность.— Капитан Пресняков. Ведь у отца с сыном всегда одна фамилия.



АВТОПОРТРЕТ

1

Последнее время со мной происходит что-то странное — я ненормально вырос. Люди вырастают из штанов, им становятся коротки рукава, а привычные ботинки жмут, как старинное оружие пыток «испанский сапог».

Я вырос не из ботинок и не из штанов — мне стал тесен собственный дом. Вещи путаются под ногами, стулья с треском отлетают в стороны, а обычные тарелки от взмаха моих выросших рук превращаются в летающие и все же бьются об пол.

Сделались малы улицы — я стал задевать прохожих, толкаться, наступать им на ноги. И вслед мне летят желчные словечки: «Слон! Бегемот! Невежа!» Я оглядываюсь, тут же налетаю на фонарный столб и, потирая ушибленное плечо, иду дальше. Мне стали тесны автобусы, и едва я протискиваюсь внутрь, как автобус на-

чинает шипеть на меня, ругать на все голоса: «Убери локти, не наваливайся, не оторви мои перламутровые пуговицы!» На остановке я с трудом вырываюсь наружу. Автобус с облегчением избавляется от меня.

Я бегу дальше, и от моего ненормального роста меня качает из стороны в сторону. Я вырос, а штаны не стали короткими, и куртка не трещит по швам. Странно вырос я, нечего сказать!

Совершенно случайно — из маминого телефонного разговора — я узнал, что не вырос, а заболел. «У него болезнь роста» — так мама объясняла кому-то происшедшие со мной перемены. Почему же тогда меня не тащат к врачам, а заставляют, как козу, жевать зеленую траву, всякую петрушку, содержащую витамины? Может быть, моя болезнь неизлечима?

На днях на уроке химии произошел такой случай. Коперник вызвал меня к доске — Коперником мы зовем учителя химии Гоберника, — Коперник вызвал меня к доске, вернее, к вытяжному шкафу и велел поставить опыт. Я сделал все правильно, но, когда в колбе забурилась жидкость, я опустил стеклянную дверку, и она с грохотом захлопнулась, стекло разлетелось вдребезги, а из шкафа повалил едкий газ.

В кабинете химии началась паника. Кто-то завизжал: «Газы!» Кто-то кинулся к двери, кто-то закашлялся. Я стоял ошеломленный и растерянный.

И тут Коперник твердо и сухо сказал — скомандовал: — Всем оставаться на местах!

Потом он включил вентилятор и отошел к окну. Газ вытянуло в окружающую среду. Класс был спасен от массового отравления. Я ожидал, что сейчас разразится гроза, но никакой грозы не последовало. Коперник дождался, пока я соберу осколки, и велел мне сесть на место. Только когда прозвенел звонок, он поманил меня пальцем:

— Пойди к завхозу и попроси у него стекло. Я думаю, тебе не составит труда застеклить шкаф.

Меня удивило, как этот сухой, молчаливый Коперник понял, что я не виноват, что всему виной моя болезнь роста.

Коперник сухой, сутулый, у него с войны что-то с левой ногой, поэтому он ходит, опираясь на палку. У него острый, словно костяной нос и тонкие бесцветные губы, а между носом и верхней губой зубная щеточка — седые усы. Щеки впалые. Подбородок выступает вперед, лоб рассечен тремя глубокими морщинами, а может быть, их четыре, а не три. Волосы редкие и такие же седые, как усы. Он чем-то похож на птицу. Глаза неподвижные, прищуренные, как бы проникающие внутрь.

Эти глаза отравляли мне всю жизнь. Когда я отвечал у доски, Коперник впивался в меня долгим, внимательным взглядом. Я рассказывал ему про кислоты, щелочи и ангидриды. Но мне казалось, что вся эта химия вовсе не интересует Коперника. Он хочет докопаться, что у меня на душе. Он заглядывает внутрь меня, словно я прозрачный, как колба. Мне кажется, что он знает обо мне то, что неизвестно даже мне самому. Все мои тайны доступны ему. Как укрыться от этих всевидящих птичьих глаз?

Укрыться оказалось не так-то просто, прямо-таки невозможно. И не потому, что учитель химии преследовал меня и всегда старался быть рядом. Нет, мы виделись редко. Но он — большая, хмурая птица — все время стоит перед глазами. Стоит и смотрит всевидящим, рентгеновским взглядом — задает мне разные вопросы, но не от своего имени, а от моего.

— Послушай, Кот, — спрашиваю я сам себя, — для чего ты живешь на свете?

— Живу и все, — отвечаю я сам себе. — Разве надо жить для чего-нибудь? Можно жить просто для собственного удовольствия.

— Можно! — голосом Коперника отвечаю я себе. — Можно. Но надо знать точно, что такое «собственное удовольствие». Ты знаешь, Кот? Пожимаешь плечами. Но ведь ты не мим, чтоб разговаривать языком жестов, и, если тебе есть что сказать, говори языком людей, а не плечами. Может быть, в твоей жизни нет смысла? Бессмысленная жизнь! Ты опять пожимаешь плечами? Мне жаль тебя, Кот, беспомощный ты человек и какой-то бессмысленный.

— Отстань!

— Не отстану!

— Тогда я повернусь и уйду!

— Как ты можешь уйти от меня, когда я и ты — одно и то же...

— Нет, Кот, — говорю я себе, — не одно и то же. Когда-то мы были одним и тем же, а теперь разные. Как сиамские близнецы — не можем разойтись в стороны. У нас одно имя. Одно сердце. Одни брюки на двоих, одна рубашка. Не могу понять, откуда ты взялся. Зачем ты мне нужен? Может быть, ты вирус? И я болею тобой.

— Ты болеешь самим собой, Кот. Это очень тяжелая болезнь, иногда неизлечимая.

— Что это еще за болезнь? — сержусь я на себя.

— Ты повзрослел и недоволен собой. А поскольку до этого ты был очень доволен, любил себя, холил и лелеял, тебе кажется, что это не ты, а кто-то другой недоволен. И произошло раздвоение личности. Ты не можешь уйти от меня. Ты не можешь ударить меня — больно будет тебе. Ты вынужден терпеть. А Коперник здесь ни при чем.

Я терпел. Я учился смотреть на себя со стороны. И вдруг увидел себя маленьким, ничтожным человечком, который при этом очень любит себя, маленького и ничтожного. И невозможно объяснить, за что он его, себя, любит. В его груди бьется маленькое, суетливое сердечко, и его

руки тянутся ко всему, что может доставить радость. Он любит все яркое, все новое, все блестящее, и этим он... то есть я, похож на дикаря. Он — то есть я — маленький, и весь его мирок маленький, познанный, жеванный-пережеванный.

Может быть, я смотрю на себя в кривое зеркало или в перевернутый бинокль? Может быть, на самом деле все не так? Но если этот маленький человечек есть, я должен его победить.

Теперь я понимаю, в какие минуты художники брались за кисть и рисовали автопортреты. Вероятно, они рисовали не себя, а своих двойников, которые возникли в них самих и отравляли им жизнь.

Потому-то на автопортретах все художники выглядят несчастными и одинокими. Их лица унылы, а глаза сосредоточенно смотрят в одну точку, словно в ней, в этой точке, причины всех их невзгод и неудач. Только великий Рембрандт изобразил себя счастливым, недаром он не пожалел холста и красок и вместе с собой за компанию нарисовал свою любовь Саскию. Саския сидит у него на коленях. Она повернулась лицом к зрителям, словно собирается сниматься. Одной рукой обняла счастливого Рембрандта за шею, другой подняла кубок с вином.

Я думаю о Рембрандте и Саскии, и мне мучительно хочется сказать Наиле:

— Сядь ко мне на колени.

— Ты с ума сошел! — воскликнет она. Кровь ударит в лицо, черные глаза сверкнут. Наиля резко отвернется, но через несколько мгновений посмотрит на меня из-за плеча и спросит: — А зачем?

— Я пишу автопортрет, — отвечу я, — и ты будешь как моей Саскией.

— Но может быть, я не хочу быть твоей Саскией? Откуда ты знаешь, что я хочу...

— Будь, пожалуйста, — смиренно попрошу я, — хотя

бы на портрете. Сядь ко мне на колени, обними за шею и подними кубок с вином.

— О-о-о! — восклицает Наиля, моя Саския. — Я не пью вина.

— И не пей. Ты только подними кубок.

— Но это будет неправда.

— Что неправда?

— Кубок без вина.

Я не сразу соображу, что ответить, но, подумав, скажу:

— Пусть это будет неправда, лишь бы остальное было правдой.

И тогда Наиля как-то странно посмотрит: пожалеет то ли меня, то ли себя. Она медленно наклонится ко мне и коснется губами моих губ.

Она коснется губами моих губ и тихо произнесет:

— Мен сени джуда яхши кораман... Я тебя... хорошо... вижу.

И уйдет. А я замру в прекрасном оцепенении, словно вынырнул из темной глубины на воздух, к солнцу. Я буду прыгать и кричать. А потом не прикоснусь к еде, чтобы подольше сохранить на своих губах след ее губ, след моего счастья. Ведь в той стороне, откуда приехала Наиля, слова «я тебя хорошо вижу» равносильны словам «я тебя люблю». Я тебя хорошо вижу — я тебя люблю. Это я хочу, чтобы так было. А пока что я стою один. Стою и позирую сам себе. И глаза мои смотрят в одну точку, словно в ней — в этой точке — причины всех моих невзгод и неудач. Я позирую сам себе. Позирую, хотя у меня нет ни холста, ни красок, ни таинственного дара художника.

Я стою у подъезда, прислонясь плечом к стене, нога за ногу, руки в карманах. Жесткие волосы спадают на глаза, но я не обращаю на них внимания, вернее, мне

кажется, что это хорошо, когда волосы спадают на глаза, красиво. На мне джинсы, сизые, истертые почти добела на коленках, как надо, и спущенные на низ живота. Хорошие джинсы, фирменные. И куртка на мне тоже джинсовая, коротенькая куртка, помятая, с искусными заплатами на локтях. Из правого верхнего кармашка виднеется коробочка сигарет «Мальборо». Правда, коробочка пустая, а когда у меня просят сигарету, я отвечаю: «Только что кончились» — и показываю пустую коробочку.

Я стою неподвижно, и только челюсти работают, гоняют вязкий резиновый шарик от щеки к щеке. Жевательная резинка давно утратила приятный, холодящий вкус, и ее в самый раз выплюнуть. Но я упорно жую, убеждая себя, что это очень приятно.

Я стою напротив школы и жду Наилу. И чтобы скоротать время, смотрю на себя со стороны, как бы разглядывая в воображаемое зеркало. Мне кажется, что у меня вид современный и мужественный. Я плюю на то, на что полагается плевать настоящему современному парню, и не развожу сантиментов.

Нога за ногу. Руки в карманах. Справа на груди красная крышечка «Мальборо». Все о'кей!

Я доволен собой, и мне хочется улыбнуться. Но я сдерживаюсь: у меня некрасивые зубы — редкие и неровные, и один передний зуб выступает вперед, не держит равнения. Кроме того, когда я улыбаюсь, мои глаза превращаются в щелки, нос морщится, подбородок отходит назад.

Я устаю стоять на одной ноге, плечо затекло. Но я держусь. Мимо идут люди. Мне очень хочется, чтобы они обращали на меня внимание, чтобы я им нравился, чтобы они про себя думали: «Какой парень!»

Но люди проходят мимо меня, как мимо манекена. Я почему-то не привлекаю их внимания. Только двое ребят

покосились на меня, замедлили шаги, и один сказал другому:

— Хипповый! — И зашагали дальше.

На меня не обращают внимания потому, что я не знаменит: мои портреты не помещают в газетах, меня не показывают по телевидению пьющим кофе в передаче «Голубой огонек». Слава всегда приходит к человеку поздно, иногда даже после смерти. А кому нужна эта слава поздно! После смерти она и подавно не нужна.

Я представляю себя футбольным вратарем. Я стою в воротах, согнув ноги в коленках, как перед прыжком, локти отведены назад, пальцы в перчатках растопырены, подбородок уперся в грудь, и тысячи, десятки тысяч глаз с напряжением и надеждой смотрят на меня. Они сейчас ничего не видят — только меня. Я завладел ими. В моей власти обрадовать их или огорчить.

Мяч приближается к воротам, он упорно находит себе лазейку между десятков ног. И вот наступает момент, короткое мгновение, когда между мной и мячом нет ни одной ноги, ни одной бутсы. Сейчас грянет удар, и мяч — тяжелое кожаное ядро, — как выстреленный, полетит в ворота. И я должен прикрыть ворота собственной грудью. Тупая чугунная бутса ударяет по мячу, я отчаянно прыгаю, сам себя выстреливаю навстречу мячу. Я ловлю его цепкими руками и прижимаю к груди. Стадион облегченно вздыхает, раздаются крики и хлопки. А я все еще держу мяч, словно он может вырваться. Нет, я держу в своих руках не мяч, а земной шар, и он в это мгновение принадлежит мне...

Наконец я не выдерживаю и выплевываю резинку. В детстве я жевал глину, а иногда даже глотал ее. И глина и резинка — одинаково противные вещи. Я выплевываю резинку, небрежно поправляю рукой волосы и меняю позу — нет больше сил стоять на одной ноге. Я прислоняюсь лопатками к двери, а руки скрещиваю на груди.

Для того чтобы прославиться, совсем не обязательно быть футболистом. Можно, например, петь в джазе, петь во Дворце спорта, где все места заняты... даже стоят в проходах. Я сжимаю в правой руке микрофон, похожий на кактус, отвожу левую руку в сторону и начинаю петь. Я пою и слышу, как мне картаво подпекает саксофон, как по-птичьи заливается скрипка, как ритмично шуршит железная метелочка, ударяясь по круглому, грязно-желтому, как луна, барабану, и как — пум-бум, пум-бум — громко страдает одышкой контрабас. А я пою, и от этого моего пения у людей замирают сердца. Я делаю несколько шагов вперед. Все прожектора направляют лучи на меня. Я никого не вижу, а меня видят все. Все видят меня, а я никого не вижу. Оркестр играет шепотом, чтобы все слышали меня. Ш-ш-ш — шуршит железная метелочка. Подметает, метет по барабану: ш-ш-ш... Тише — он поет. Я пою... Я набираю побольше воздуха и тяну последнюю ноту, а потом обрываю. Зал гремит! Я отвожу руки назад и замираю в глубоком поклоне. А у выхода — у служебного выхода — меня ждут девушки с цветами, с моими же фотографиями. «Дайте автограф... дайте... Автограф... И мне, пожалуйста...»

«Что, если на самом деле попробовать запеть? — думаю я и перехожу на другой край подъезда, другим плечом прислоняюсь к стене и другую ногу закладываю за ногу. — Надо будет попробовать...»

А если не играть в футбол и не петь, а идти на полюс на лыжах, с настоящими ребятами, идти, рискуя провалиться в Ледовитый океан, рискуя обморозиться, заболеть цынгой? А может быть, улететь на год в космос?..

Что можно еще сделать такое, чтобы люди не проходили мимо меня с таким вызывающим равнодушием? Чтобы хотя бы кто-нибудь заметил меня!

Я задумываюсь, я хочу для самого себя решить, почему мне так необходимо стать узнаваемым чело-

веком. И вдруг я слышу знакомый звук палки, и передо мной появляется Коперник.

Мне хочется остановить его и предложить ему поговорить, откровенно сказать: «Я не тот, за кого вы меня принимаете. Вы думаете, я пустой, малоинтересный тряпичник с американской жвачкой за щекой? Нет же, Коперник! Я вполне современный парень. Не думайте, что вся моя современность в джинсах, жвачке и коробочке из-под «Мальборо». Я мыслю вполне современно. У меня есть свои идеи, свои планы на будущее. Я, например, мечтаю использовать блуждающую энергию ветра. Я все время думаю о ветре. Ветер дует мне в лицо, лохматит волосы, у моих ног скручивает пыль в маленькие смерчи и гонит по асфальту бумажки, превращая их в живые существа вроде птиц. Ветер дразнит меня, то нахлынет, то исчезнет. Он блуждает по свету, а я хочу, чтобы он работал: пусть дает людям свет и кипятит чайники».

Я боюсь, что Коперник не поверит мне. Уставится на меня своими неподвижными всевидящими глазами. Я поеживаюсь. Уж лучше тогда быть безвестным, отказать от всякой славы, только бы Коперник не смотрел на меня так. Он смотрит и молчит. Хоть бы отругал, назвал бы лоботрясом. Но он ничего не говорит. Прошел мимо, посмотрел и ушел. Он прошел дальше, а его глаза остались со мной. «Я все про тебя знаю, — говорят мне эти остановившиеся глаза. — Я все про тебя знаю. И про это тоже...»

Ненавижу его, но меня почему-то к нему тянет. Какая-то шальная, непонятная сила влечет меня к нему — к учителю химии Копернику. Я срываюсь с места и бегу. На мгновение забываю, что решил дожидаться Наилю, и бегу. Бегу, бегу за ним.

Сейчас я догоню его и скажу, чтобы он перестал вмешиваться в мою жизнь. Чтобы он, Коперник, не мешал мне жить, дышать, любить! Я не могу больше терпеть,

что какой-то чужой человек знает про меня больше, чем я сам, вмешивается в мою жизнь, раздваивает мою личность. Какое он имеет право!

Я выбежал на середину мостовой. Коперник шел не подалеку. И его сильная, сухая рука опиралась на палку — работала четко и бесстрастно, как рычаг.

Я догнал его, когда он сворачивал за угол. Подошел и решительно сказал:

— Здравствуйте!

Он остановился. Повернулся ко мне и посмотрел так, словно вывернул наизнанку

— Мы уже виделись.

— Да, да, — тут же согласился я. — Но я хотел с вами поговорить.

— О чем? — спросил Коперник, и его глаза нацелились на меня. «Я и так все про тебя знаю, — говорили его глаза. — Ты не представляешь для меня никакого интереса. Заурядная личность».

Казалось, разговор окончен и мне следует повернуться и уйти. Но я почувствовал прилив решимости и сказал:

— Я хотел вас спросить...

— Ну, спрашивай, спрашивай. — В голосе Коперника звучало нетерпение.

Какая-то злая сила возникла во мне, как бы поднялась со дна, подступила к горлу, и я спросил учителя совсем не то, что собирался спросить:

— А верно, у вас нога деревянная?

Его птичьи глаза расширились, а тонкий нос побелел. Учитель вдруг стал беспомощным и слабым.

— Нет, — пробормотал он, — у меня протез... но он не деревянный. Разве ты это собирался у меня спросить?

— Нет. — Я опустил голову. Запоздалый стыд горечью разлился по моему телу, захотелось поскорей уйти, убежать... Но теперь Коперник не отпускал меня, держал своими цепкими глазами.

— Я хотел спросить вас... Я хотел посоветоваться...

Во рту у меня пересохло, язык прирос к нёбу, я не мог произнести ни слова.

Коперник вдруг почувствовал это и пожалел меня и, опираясь на свою сучковатую палку, зашагал прочь.

3

В последнее время я с открытыми глазами вижу сны. Я хожу по квартире, завтракаю, иду по улице, сижу за партой, слушаю урок, но вся эта реальная жизнь как бы не касается меня, проходит мимо. Я не вижу ее, не слышу, не чувствую, не живу ею — мне снятся сны. В этих снах я все вижу, все воспринимаю, не пропускаю малейшей подробности. В этих снах все происходит так, как я того желаю. Ну, может быть, не совсем так, но все же. Я зову свою Наилю, и она приходит. В жизни она, наверно, никогда не придет по моему требованию, а тут приходит. Вопросительно смотрит и ждет, что я скажу. Но даже в моих дневных снах она поступает сообразно своим желаниям. Но она со мной, и этого мне достаточно.

Она приходит ко мне во сне, и я говорю:

— Вы так завладели моим сердцем, моей душой, всем моим существом, что с этого дня судьба моя всецело зависит от вас. Не бросайте в камин мое письмо. Будьте ко мне благосклонны и прочтите его. Может быть, вас тронет скромность моих просьб, моя покорность... Я не считаю себя достойным вас...

Это я не сам придумал. Вычитал у Бальзака. Мне понравилось, как красиво в прошлом веке говорили о любви. Говорили и писали на листках веленской бумаги.

Я представил себе, что бы ответила мне Наиля на это устное письмо:

— О-о-о! Где это ты научился так красиво говорить? Может быть, ты пишешь сочинение на тему...

— Тебе не нравится? — робко спрошу я.

Наиля пожмет плечами.

— А мне нравится... Я ведь не сам придумал, а все чувствую именно так. Не бросай в камин...

— Я не бросаю. Ты что-нибудь ждешь?

— Жду. Напиши мне ответ на листках веленовой бумаги и запечатай конверт благоуханной печатью с гербом Бургундии.

— У меня нет благоуханной печати... Я могу приклеить марку за четыре копейки. Ты переживешь без герба Бургундии?... Между прочим, там, у Бальзака, есть такие слова: «Я поверила в благородство юности, но вы обманули меня».

— Я никогда не обману тебя, Наиля. Ты никогда не будешь покинутой женщиной...

— О-о-о! Гастон де Нюэйль тоже так говорил, а потом... покинул.

— Это было в прошлом веке. Тогда красиво говорили, а потом бросали, — с жаром отвечаю я. — В нашем веке все иначе. И вообще, когда ты рядом — все иначе...

Мама поставила на стол бульон. Он возник передо мной в тарелке, как солнечная поляна. На этой поляне появлялись и пропадали небольшие желтые кружочки. А посреди тарелки оранжевым айсбергом плыла половина брюквы и зеленая травка укропа росла на солнечной полянке.

Бульон был горячим, и, чтобы не обжечь рот, надо было сидеть и ждать, пока он остынет. Я сидел и разглядывал золотистые кружочки. Они пульсировали, становились то больше, то меньше. И воображение превращало суп в крохотную галактику со своими звездами и планетами. Я наблюдал за этой странной жизнью и забывал про то, что суп уже остыл и его пора есть.

Суп со звездами.

А что будет, если эти дневные сны перестанут сниться?

И я снова дома буду видеть дом, на улице улицу, в школе буду слушать урок? Может быть, это будет даже хорошо. Вы не представляете себе, как тяжело смотреть сны, не закрывая глаз. Но без них не станет Наиля, что-то погаснет. Совсем. А пока снятся эти странные, заказные сны — это горит. Слабо, но горит.

Пусть горит! Пусть снятся сны с открытыми глазами. Пусть они снятся.

Я иду по улице и совсем забываю про свои прекрасные джинсы американской фирмы «Левис», про куртку и про пустую пачку от сигарет «Мальборо», которая красным кантиком торчит из верхнего кармашка с правой стороны.

Этот Коперник все время возникает передо мной. Иногда он даже вытесняет Наилю. Я хочу видеть Наилю, а вижу Коперника. Теперь меня мучает чувство вины перед ним. За что я его обидел? Он не сделал мне ничего плохого. Грубого слова не сказал. А я полез к нему с этой деревянной ногой. Это, конечно, была глупость. Можно подойти к нему и извиниться. Подстеречь его в коридоре и «кинуться в ноги».

Но мне кажется, что даже после этого чувство вины не пройдет. И дело здесь не в деревянной ноге. Это чувство только обострилось из-за деревянной ноги. Его обострил не только Коперник, но и Наиля. Она-то какое отношение имеет к этому чувству? И откуда вообще оно взялось? Сперва его не было, а потом появилось... вместе со снами с открытыми глазами.

Нет! Нет! Нет! Этого не было. Я не хотел. Я пошутил. Я не думал, что так получится. Я не хотел. Слышите!

Никто не слышит. Никто не отзывается. Все проходит мимо. Мой крик ударяется о стену и возвращается ко мне. Слова не звучат. Как в немом кино. Это для других они не звучат, а я-то их слышу. Они гремят во мне. Грохот заполняет меня, изнутри бьет меня в грудь, ища выхода. Это не слова, это сердце гремит во мне. Нет! Нет! Нет!

С того дня прошел почти год. Я уже стал забывать о нем. Я долго и терпеливо успокаивал себя и успокоил. Удалось мне себя успокоить. Я затолкал этот день в самый темный, самый глухой уголок своего сознания. Так спрятал, что думал, уже никогда не найду.

И тут появилась Наиля, и я уже не смог ничего утаить. Не от нее — от самого себя. Я уже не мог утаить от самого себя тот день. Я снял с себя латы, кольчугу — джинсовую куртку, майку, — распахнул грудную клетку и стал перед ней, перед Наилей, абсолютно беззащитным. «Если хочешь, — мысленно сказал я ей, — возьми в руку мое сердце. Ты никогда не держала в руке сердце? Это все равно что держать птенца: теплый комочек, который тревожно вздрагивает в руке. Нажмешь посильней, и он замрет навсегда».

Я предложил ей, мысленно предложил взять в руку мое сердце и тут же вспомнил про тот день. Он был как бы пятном, как бы червоточинкой на моем сердце. Не мог я предложить Наиле сердце с червоточинкой.

4

Он стоял на берегу, облитый солнцем, плечистый, на правой коленке вишневой корочкой запеклась ссадина. Ветер трепал его легкие, светлые волосы, а кончик носа был розовый — только что сошла обгоревшая на солнце кожа. В одной руке он держал плавательную маску с овальным смотровым стеклом. Эта маска напоминала забрало шлема, а на плече у него была дыхательная трубка, поблескивающая, как оружие. Зеленые плоские ласты сливались с травой.

Он стоял, смотрел на реку и решал, что ему предложить. А я плыл, пялил на него глаза и завидовал ему. Я не думал, что завидую — человек никогда не признается себе в зависти, — мне просто нравилось в нем то, чего

не было у меня: широкие плечи — плечи у меня довольно узкие; бронзовая кожа облита солнцем — я белый, ко мне не пристает загар, нет у меня ни шлема, ни ласт, ни маски, а если б даже и были, я не умею плавать под водой.

Он казался мне героем, хотя ничего героического еще не успел совершить, но на его фоне я сам себе казался жалким и обиденным.

Но вот он, неведомый мне парень, опустил на глаза маску и медленно, шаркая ластами, направился к воде. У берега течение было медленное, и вода зацвела, кружочки ряски покрыли поверхность чешуйками, поэтому река была зеленой. Он вошел в воду и, даже не взглянув на меня, нырнул. Ряска сомкнулась над ним. И только по самой поверхности воды маленьким перископчиком скользил конец дыхательной трубки, и от нее в разные стороны по воде расходились две стреловидные морщинки.

Я поплыл за этим перископчиком.

Я плыл долго, уже стал уставать, а тот парень под водой не знал усталости, словно вообще никакого парня не было, а была маленькая подводная лодка.

И тут я решил пошутить. Просто пошутить, чтобы он пробкой выскочил из-под воды, отплевываясь и тяжело дыша. Я подплыл ближе и плеснул в трубку горсть воды... Но этого мне показалось мало, я схватил трубку рукой и с силой опустил ее в глубину.

Я хотел пошутить, но к этой шутке, помимо моей воли, примешивалось что-то злое. Схватив трубку, я почувствовал какую-то упругую силу, словно ухватил большую рыбину, — она вырывалась из моих рук. Я надавил сильнее — рыбина ослабла и... исчезла.

И в это мгновение я испугался. Сам не знаю чего — испугался, отпустил трубку и поплыл к берегу. Плыл и не оглядывался, ни разу не оглянулся. Сам не знаю почему. Вышел на берег и, когда спешил к своим брюкам и майке, прошел мимо его шорт и тапок. У него были хорошие

лоснящиеся замшевые шорты, а тапки были самые обыкновенные, стоптанные набок. Я мог перешагнуть через них, но обошел стороной, словно боялся, что забрызгаю.

Потом я стал быстро одеваться. Я никак не мог попасть в штанину и смешно прыгал на одной ноге. Он, наверно, вынырнул и снова плавает. Он снова плавает, потому что вынырнул. А может быть, набрав воздуха, опустился глубоко на дно и разгуливает по мягкому илистому дну среди рыб, водорослей и затонувших коряг. Как Ихтиандр. Но у Ихтиандра были жабры... Наконец нога поймала штанину; с трудом, чуть не порвав, я натянул на мокрое тело майку и, не оглядываясь на реку, побежал.

Мне очень хотелось оглянуться и увидеть парня или, по крайней мере, его перископчик и водяную стрелку. Но я почему-то не оглянулся. Меня познабливало. «Наверно, перекупался», — подумал я.

«Нет, нет, меня вовсе не тянет к реке. Мне просто было любопытно, как он вынырнет и будет отплеываться! А может быть, он так патренирован, что может не дышать несколько минут... Широкие плечи, бронзовая кожа... Я хотел пошутить. Просто пошутить. И ничего не произошло. Ничего и не могло произойти от шутки», — уговаривал я себя.

Я иду по улице после того, как Коперник согнал меня с места своими страшными глазами. А мне кажется, что я сейчас иду с берега реки. Только что перешагнул через замшевые шорты и сбитые набок тапки... И не знаю, что произошло там, под водой. Это было год назад, но мне кажется, что это произошло сейчас, слышите? Здесь, в нашем городе, на нашей реке.

И вдруг неожиданная мысль обожгла меня: может быть, я совершил что-то страшное на зеленой реке? От этой неостывающей мысли у меня перехватило дыхание, слов-

но я плыл под водой, а кто-то зажал конец моей дыхательной трубки. Вдруг он утонул?!

Нет, нет, нет!

Я кричал сам себе «нет» и сам себе не верил.

Что же, я сам себе вру?

Раньше я не знал, что люди могут быть неискренними сами с собой. Мне казалось, что невозможно обмануть самого себя. Оказывается, можно. Я обманывал себя изо всех сил: «Пошутил, пошутил, пошутил». «Ты веришь, что я пошутил?» — спрашивал я самого себя. «Верю!» — отвечал я сам себе и... не верил. Заставлял себя верить и не верил. То верил, то не верил. Но какая-то боль накапливалась во мне, во мне нарывало чувство вины. Я думал, что этот нарыв прорвется, а он оказался вечным, неизлечимым.

Нет! Я не хотел. Не хотел... Поверьте мне, Коперник! Наиля!

5

Прежде чем увидеть Наилю, я услышал ее голос. Он поразил меня, заставил сердце биться чаще, чем обычно. У всех людей в голосе звучит одна струна, а в ее голосе как бы слышались две: одна звучала низко, густо, а другая высоко, тонко. Эти нежные струны ее голоса звучали то порознь, то перемежались, то сливались и звучали вместе едва заметной дрожью. Самые простые слова, когда она их произносила, менялись в своем значении, и казалось, что вообще слышишь их в первый раз. Голос обновлял слова, наполнял теплом.

Я услышал ее голос и представил себе ее волосы — они должны быть темными, ее глаза — с угольками в середине, губы — чуть припухшие, с едва заметными трещинками от воды и ветра. Вместе с ее голосом ко мне долетало ее дыхание, похожее на шелест листвы, когда пахнет ветер. Когда голос ее умолкал, я боялся, что он не за-

звучит снова — оторвется и улетит, как птица. Мне хотелось, чтоб ее голос звучал вечно, близко для меня. И никто бы, кроме меня, не слышал этого голоса.

Она сидела на песке, поджав ноги и упершись подбородком в колени. Я видел ее со спины. Ее спина была смуглой, не просто загорелой, а смуглой от природы. Даже когда в воздухе закружатся легкие снежинки, ее спина будет оставаться смуглой. И шея ее, длинная, плавная шея, на которую спадают черные волосы, подстриженные неровно или перепутанные ветром, шея тоже была смуглой.

Она сидела неподвижно, может быть, даже уснула. Я сделал большой круг, обошел ее, чтобы посмотреть, спит она или нет.

Она не спала. Но ее глаза так сосредоточенно смотрели в одну точку, что я подумал: она видит сон, видит сон с открытыми глазами.

У нее были темные глаза и, когда она их прищуривала, становились совсем черными. Когда же солнцу не светило в лицо и она открывала глаза широко, вся чернота собиралась в маленькие точки, а вокруг этих точек отчетливо возникал темный золотистый раек. Глаза ее блестели, как от слез, хотя она не плакала. Было в этом блеске что-то тревожное.

И вдруг она оторвалась от своего сна, подняла глаза и сказала:

— А я тебя знаю.

— Ты меня знаешь? — Я хотел закричать от радости, подпрыгнуть, совершить что-то немыслимое. — Ты меня знаешь?

— Мы же учимся в одной школе. Разве ты меня не видел?

— Не видел!

Я неотрывно смотрел на нее.

— Какой ты невнимательный, — сказала она.

— Я слышал твой голос... Я услышал твой голос, — сказал я.

— Ты узнал меня по голосу?

— Нет, другое... Я хотел узнать тебя из-за голоса.

— Тебе понравился мой голос?

Понравился! Это было не то слово. Этот голос полностью захватил власть надо мной!

И вдруг я сказал:

— Ты можешь прочесть наизусть таблицу умножения?

— Смеешься?

— Нет, серьезно.

— Ты думаешь, у меня склероз? Я забыла, сколько будет семью восемь? Да? Ты так думаешь... Дважды два — четыре. Трижды два — шесть. Трижды три... Еще?

— Читай, читай еще.

— Смеешься?

— Я слушаю твой голос.

— Может быть, прочесть стихи?

— Не имеет значения.

Наили посмотрела на меня пристально, покачала головой.

— О-о! Ты, наверно, перегрелся на солнце. Ты говоришь глупости, парень!

Она не могла понять, а я не мог объяснить ей, что ее голос менял значение слов и самые обычные слова звучали как только что рожденные. И таблица умножения превращалась в стихи.

Так мы познакомились. Потом мы стали учиться в одном классе.

Теперь, когда мне хочется увидеть Наилю, я достаю из ящика стола фотографию нашего класса, похожую на фотографию хора: все стоят рядами и только ждут взмаха дирижерской палочки. Но меня весь этот хор не интересует. Я отыскиваю Наилю. Она стоит во втором ряду,

слева. Все смотрят в одну точку — собираются запеть, а она не собирается и на этой фотографии существует как бы сама по себе — случайно попала в это общество. И я благодарен этому случаю. В конце концов я прибил эту фотографию нашего класса к стенке, и все домашние думают, что я очень люблю свой класс. Ну и пусть думают.

Послушай, Наиля, у тебя ведь тоже есть такая фотография. Там я стою в последнем ряду посередке. Ты когда-нибудь достаешь фотографию из ящика стола?

Я хочу, чтоб Наиля спросила меня:

— Почему у тебя так громко бьется сердце?

— Это не сердце, — отвечу я, — это солнцезащитное. Солнце тоже бьется, как огромное сердце. Через каждые два часа сорок минут — удар. Солнце сжимается, вздрагивает, гонит свою солнечную кровь по всей Вселенной, и каждый человек чувствует, как невидимая и слепящая кровь солнца касается его лица, плеч, коленок...

— Выдумываешь ты, — скажет Наиля, — не может такого быть. Солнцезащитное... солнечная кровь... Солнцу не хватит места в твоей груди.

— Хватит! — стою я на своем. — Хватит. Моя грудь такая вместительная, если она вместила мою любовь к тебе.

Наиля замолчит. Опустит глаза, и верхняя щеточка ресниц сольется с нижней, словно она совсем закрыла глаза.

Она замолчит. А я все буду говорить, говорить:

— У каждого человека должен быть свой очаг, свой источник тепла и жизни. Печка, камелек, батарея центрального отопления. Мамино плечо... Теперь мой очаг — ты. Я однажды коснулся твоих волос и почувствовал, что они теплые. Жесткие, темные, но теплые. А у меня волосы холодные. Но может быть, не в волосах дело. Может быть, ты найдешь во мне источник тепла...

Однажды мы поссорились. Наиля сказала:

— Ты оказался не тем, за кого я тебя принимала.

Я хотел ответить ей, хотел спросить: «А за кого ты меня принимала? Разве не за меня самого? Разве, кроме меня, во мне есть еще кто-то? И я — это не я?»

Но вместо этого я сказал:

— Подумаешь!

Она не обратила внимания на мое «подумаешь» и продолжала:

— Ты только внешне так... ничего себе. Но теперь я тебя узнала. Теперь я вижу тебя плохо.

Я хотел сказать: «Почему плохо? Присмотрись ко мне еще, и ты увидишь меня хорошо. Присмотрись».

Но вместо верных слов я произнес другие, чужие. Я сказал:

— Надень очки!

Она снова пропустила мои слова мимо ушей, словно я уже перестал для нее существовать и мои слова утратили всякое значение. Она сказала:

— Ладно! Так мне и надо! Не буду никогда такой доверчивой!

Я хотел крикнуть: «Нет, это все не так! Я тебе все не так объяснил. Я объясню тебе. И ты поймешь. Честное слово!» Но я ничего не сказал. Она повернулась и пошла. Она просто пошла, но я почувствовал, что она уходит. Наверно, она узнала про зеленую речку и уходит навсегда. Я хотел броситься следом, но как бы окаменел, врос в землю.

Одна вина рождает другую. Зеленая речка... Упругая дыхательная трубка... Неужели так вся моя жизнь будет состоять из вины? Я не могу больше носить это в себе. С кем посоветоваться? Кому рассказать о зеленой речке и о маленьком перископе, который я ради шутки сжал в своей руке?

Вокруг было множество людей, а я был одинок и несчастен. Где найти человека?

И вдруг я понял — есть такой человек! Ему не безразлично, что происходит со мной. Он внимательно следит за мной своими маленькими острыми глазами, и он видит все, что во мне происходит. Есть такой человек! Это учитель химии Коперник.

Я расскажу ему все. И он не засмеется, не будет задавать глупых вопросов, не пойдет рассказывать каждому встречному то, что я ему доверяю. Он меня молча выслушает и, может быть, даже ни о чем не спросит, не будет давать советов. А просто выслушает молча, и мне станет легче. А если я ошибаюсь? Может быть, и Коперник не захочет прийти мне на помощь? Скажет — не мое это дело. И захлопнет дверь. Сам разбирайся в своих делах! Ведь я же обидел его!

Нет, он не такой, этот Коперник. Молчаливый, угрюмый, с палкой в левой руке.

Я бросился в школу. Тротуар был узок, улицы были малы. Город мал. Весь мир был мне не по росту — вырос я из этого мира.

Добежал до школы. Ворвался. Ринулся вверх по лестнице. Я никого не видел, не слышал! Стоп! Кабинет химии. Я перевел дух и робко приоткрыл дверь:

— Можно!

Учитель сидел за большим столом, уставленным колбами, пробирками и ретортами. Он был похож на древнего алхимика, корпевшего над философским камнем.

— Заходите.

Я вошел осторожно, словно кабинет был заминирован. Куда девался мой исполинский рост!

Я подошел к учителю и сказал:

— Простите меня.

— Ты не о том говоришь, — промолвил он в ответ. — Ты совсем не то хочешь сказать.

Он видел меня насквозь, заранее знал, что я хочу сказать.

Я еще раз поднял на него глаза и — с головой в холодную воду!

— Я, кажется... Я хотел пошутить...

Я говорил и не верил сам себе. Я возводил на себя напраслину, и у меня не хватало сил удержаться. И все же я сказал:

— Может быть, мне показалось... И я не знаю, что мне теперь делать, как мне жить?

— Расскажи, как было дело, — приказал Коперник.

И, запинаясь, тяжело дыша от возбуждения, я стал рассказывать про парня, облитого солнцем, про маску, похожую на забрало, про дыхательную трубку... Я говорил, говорил... Я боялся замолчать, словно стоило мне остановиться — и учитель тут же произнесет приговор. Наконец я выговорился, мне нечего было уже сказать, я уронил голову и стал ждать. Меня познабливало, хотя на улице было тепло.

Учитель дослушал меня молча. Потом достал плоскую коробочку сигарет «Прима» и, прежде чем закурить, долго вставлял сигарету в мундштук. Он медлил, тянул время. Ему, наверное, надо было все обдумать, взвесить, прежде чем выносить приговор.

— Ты никому об этом не рассказывал? — спросил он.

— Не-ет.

— Тяжело тебе было носить этот груз...

Коперник закурил, затянулся, выпустил струйку дыма.

— Надо оглядываться, — вдруг сказал он. — Что бы ты ни делал, надо оглядываться. И смотреть вперед. А ты струсил.

— Теперь уже поздно, — сказал я.

— Никогда не поздно. Люди всю жизнь оглядываются, вспоминают. Никогда не поздно. — И вдруг как бы потеплел, положил мне на плечо руку и сказал: — Посзжай туда, на зеленую речку. Попробуй разыскать того парня. Попробуй!

Как это я сам не сообразил? Давно надо было съездить туда, на зеленую речку. Почему я этого не сделал? Боялся? А вдруг!.. Легче было забыть. Затиснуть этот случай подалее, в темный уголок, выбросить его из памяти. Но бывают минуты, когда весь ты высвечен и в твоей душе не остается ни одного темного уголка. Ничего не утаишь. Это Наиля высветила меня, моя любовь к Наиле. «Я тебя вижу хорошо». Она так и сказала. Правда, в моих мечтах, но сказала. Любить — значит видеть хорошо... Мен сени джуда яхши кораман.

— Я бы на твоём месте давно съездил на зеленую речку,— сказал учитель химии.— Хочешь, поедem вместе?

Он стоял на берегу, облитый солнцем, плечистый, на правой коленке вишневой корочкой запеклась ссадина. Ветер трепал его легкие, светлые волосы. В одной руке он держал плавательную маску с овальным смотровым стеклом, а на плече дыхательная трубка поблескивала, как оружие.

— Вы так завладели моим сердцем, моей душой, всем моим существом, что с этого дня судьба моя всецело зависит от вас... Ты никогда не держала в руке сердце? Это все равно что держать птицу: теплый комочек, который тревожно вздрагивает.

Я тебя хорошо вижу.



Памяти

Бориса Николаевича Полевого

1



Сколько я себя помню, мы жили над озером в рубленом трехэтажном доме. Улица кончалась под нашими окнами, и дальше шел пологий спуск к воде, поросший кустами ежевики и редкими кряжистыми вязами. В мощном стволе одного дерева зияла большая дыра — след удара шаровой молнии. Как-то ночью весь дом был разбужен оглушительным треском, напоминающим взрыв. Дом качнуло, стекла задребезжали. А утром в теле старого дерева обнаружили пахнущее горелым круглое окно. Если посмотреть в него со стороны озера, виден наш дом: серебристые от времени бревна и покрашенная ярким суриком крыша с трубами и антеннами. А если обойти дерево и заглянуть с другой стороны — синее вода.

Озеро, как старое помутневшее зеркало, отражало весь окружающий меня маленький мир: насосную станцию, мачты электропередачи, фонари, густую щеточку камышей,

облака и далекие синеватые горы, которые всегда казались мне недоступными и нереальными. Когда поднимался ветер и вода покрывалась морщинками — отражение коверкалось и получалось, что озеро не отражает, а передразнивает, как кривое зеркало.

Однажды, возвращаясь домой из школы, я увидел странную машину с выпуклыми старомодными фарами и брезентовым верхом. Крылья у нее были ребристыми, а сзади, как живая круглая печать, виднелся запасный баллон. Эту машину с криком и гиканьем катила по мостовой ватага ребят. Я хотел было тоже принять участие в этой забаве, но ребят было так много, что мне не хватило места, и, размахивая сумкой, я побежал рядом. В кабине я увидел большого краснолицего человека в брезентовом плаще с капюшоном, похожим на слоновое ухо. Не обращая внимания на гиканье ребят, водитель спокойно держал руки на баранке руля, словно машина шла своим ходом.

А к концу дня я столкнулся со странной машиной у подъезда нашего дома. Теперь я мог внимательно рассмотреть ее. Она была цвета жухлой травы и сильно побита — сразу видно: много поездила, много повидала на своем веку. Вообще она больше напоминала трудягу-грузовичок, чем легковушку, но для грузовичка была слишком мала. Рассматривая странную машину, я вдруг обнаружил под колесами чьи-то ноги в высоких сапогах. «Человек попал под машину», — подумал я и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Но в это время ноги зашевелились, задвигались, и из-под машины, пыхтя и отдуваясь, выбрался полный человек с красным одутловатым лицом и с остатком бурых вьющихся волос, которые венком лежали на большой тяжелой голове. Незнакомец, которого я принял за жертву уличного движения, поднялся на ноги и стал отряхивать жесткий брезентовый плащ.

Глаза у него были не по его комплекции — маленькие и не по возрасту живые.

— Здравствуй! — неожиданно сказал он, заметив мое любопытство. — Меня зовут дядя Аполлон Голуб. Я новый жилец. А ты кто такой?

— Валера, — с готовностью ответил я, продолжая рассматривать странную машину.

— Знаешь, как я здесь очутился? — вдруг спросил он меня и тут же поторопился ответить: — Приехал к товарищу, а он в санатории. Прочел объявление: «Сдам комнату одинокому непьющему мужчине». И я решил, что я и есть «одинокий непьющий». Буду жить в третьей квартире, на первом этаже.

Новый жилец как бы спешил сообщить о себе все сведения. На самом деле оставалось неизвестным, кто он и что привело его в наш маленький город.

Заметив мой интерес к машине, он спросил:

— Нравится?

Ему явно хотелось услышать похвалу. Но я ничего не ответил, только пожал плечами. В ту пору мне было десять лет и я был увлечен космосом. Над моей постелью к обоям была приклеена фотография первого космонавта — улыбающегося, похожего скорее на мальчишку, чем на взрослого, и потому близкого мне. А тут старая колымага и сильно полысевший пожилой человек...

— Ты, Валера, не смотри, что он неказист. Он пушку может тащить, «сорокапятку». И поболее того... Я на нем Командира возил! — воскликнул новый жилец. Он из всех сил старался поднять в моих глазах свой неказистый автомобиль. — Хорошая проходимость, две ведущих передачи. Недавно перебирал двигатель, поршни как новые. Кольца, правда, пришлось заменить...

Я не знал, что такое «ведущие передачи» и какие кольца пришлось заменить, но чувствовал, что это хорошо рекомендует странную машину. И приличия ради спросил:

— А какая это марка?

Новый жилец посмотрел исподлобья, словно почувствовал в моем вопросе подвох, и с вызовом ответил:

— «Иван-виллис» — так зовут его.

— Кого... его?

— Ба! Вот непонятливый, — воскликнул дядя Аполлон. — Его!

И, как по плечу, своей большой ручищей похлопал машину по железному крылу. Словно она существо одушевленное, имела, стало быть, имя и была, то есть был, мужского рода.

— Иван? — пробормотал я.

— Имя русское, фамилия — американская, — пояснил мой новый знакомый. — А теперь давай разгружаться, если не возражаешь.

С этими словами он вытащил из машины большой пухлый чемодан, в котором, видимо, заключалось все его имущество, и сам потащил его в дом.

Так началось мое знакомство с новым жильцом и его необычной машиной.

С приходом дяди Аполлона никаких перемен в жизни нашего жилища не произошло, только раньше наш дом называли «последним домом на улице», а теперь его стали величать иначе — «дом, у которого стоит машина».

Дядя Аполлон ежедневно появлялся у своей машины в темном замасленном комбинезоне, раскладывал на земле инструмент, со скрипом поднимал капот машины и надолго погружался в недра мотора. Были видны только две широкие штатины и сапоги. Первое время мне казалось, что дядя Аполлон засыпает там. Но однажды, разжигаемый любопытством, я незаметно подкрался, заглянул внутрь и увидел, как повый сосед старательно подкручивает какие-то гайки, перебирает провода в цветной оплетке и нажимает на рычаги. Иногда он засовывал руку вглубь по самое

плечо, видимо пытаясь дотянуться до какого-то труднодоступного органа. Он напоминал врача, который пытается вернуть к жизни больного. А его пациент — «Иван-виллис» — терпеливо и безропотно переносил все операции.

Из-под автомобильного капота дядя Аполлон выбирался весь красный, перемазанный, струйка черного пота текла по его необъятному лбу, и он стирал ее рукавом комбинезона.

Окончив осмотр двигателя, дядя Аполлон с грохотом захлопывал капот и брал заводную ручку. Вот тут начинались настоящие мучения. Новый жилец пыхтел, крихтел, охал, маленькие глаза вылезали из орбит, на шее шнурком вздувалась жила. А внутри автомобиля что-то гремело, скрипело и всхлипывало, словно дядя Аполлон крутил ручку огромной мясорубки и рывками перемалывал все железные внутренности своего «Ивана-виллиса».

Наконец силы иссякали.

— Не хочет, — сокрушенно говорил дядя Аполлон и отходил от машины с обиженным видом.

А «Иван-виллис» виновато смотрел ему вслед выпуклыми глазами-фарами.

Обычно в такие минуты рядом оказывался управдом Пушкевич. Он подходил бесшумной волчьей походкой и замирал. У него было вытянутое лицо какого-то безжизненного пепельного цвета, тяжелая челюсть и скучные глаза. Он все время сутулился, отчего его спина плоским горбом напознала на шею. Когда Пушкевич говорил, то никогда не смотрел в лицо собеседнику, опускал глаза в землю.

— Не заводится? — спрашивал он.

Спрашивал, хотя прекрасно видел, что не заводится.

— Он ведь не новый, — пытался оправдать своего друга дядя Аполлон. — На войне были плохие дороги...

— На войне все было плохое, — глухо поддакивал Пушкевич, словно часть голоса оставалась внутри.

— Ба! Все плохое? Не скажите! Много было и хорошего. Товарищи были хорошие. «Иван-виллис» был хорошим,— не соглашался дядя Аполлон.

— Чего в нем хорошего — развалюха! — со сдержанным удовольствием говорил управдом. — Пора в утиль.

— Ну уж нет! — вспыхивал дядя Аполлон. — Еще послужит.

— Послужит! — Управдом усмехался, но глаза его оставались скучными.

— Как сможет, так и послужит! — Дядя Аполлон распалялся, мгновенно прощал своему старому автомобилю упрямство и яростно начинал крутить ручку гремющей «мясорубки». При этом напевал под нос свою любимую песенку, из которой я запомнил только две строчки:

И на груди его сияла
Медаль за город Будапешт...

В конце концов «Иван-виллис» уступал упрямству хозяина и заводился. Прежде чем ожить, он кашлял, подвывал и наконец, вздрагивая и звеня всеми своими винтиками и гайками, начинал работать.

В дружбе человека и машины последнее слово было всегда за машиной. Пожелает «Иван-виллис» — покатит, не пожелает — так и будет стоять, словно врос колесами в землю.

В счастливые минуты, когда, жалея своего друга, автомобиль заводился, лицо дяди Аполлона, грязное от жезла и масел, светлело, а маленькие глаза радостно горели. Он быстро сгребал инструмент, стягивал с себя пропахший бензином комбинезон и, очутившись в синем тренировочном костюме, с достоинством заносил в кабину огромную ногу и, с трудом втиснувшись внутрь, опускался на сиденье. Старая машина накренилась, скрипела, и казалось: не выдержит — развалится под его тяжестью.

Но «Иван-виллис» все же выдерживал, давал пулеметную очередь и выпускал из глушителя синее ядовитое облачко.

— Поехал к родным и знакомым,— весело объявлял мне дядя Аполлон. — Если не возражаешь. Ха! Ха!

И машина срывалась с места.

Я смотрел вслед и жестоко завидовал дяде Аполлону. Я мечтал тоже занять машину и, сжимая баранку руля, легко и весело мчаться к родным и знакомым, как дядя Аполлон.

Но как раз в эти минуты за моей спиной раздавался глухой, словно доносившийся из соседней комнаты голос Пушкинчика:

— Нет у него никаких родных.

— Как нет? Есть! — вступался я за умчавшегося дядю Аполлона. — У всех есть родные!

— У всех есть, а у него нет. Он же приезжий...

Я так и не понял, радуется управдом, что у дяди Аполлона нет родных, или сочувствует ему. Он никогда не улыбался, никого не хвалил, вечно казался недовольным. Словно в целом мире не было человека, который пришелся бы ему по сердцу.

Справедливости ради надо сказать, что «Иван-виллис» редко возвращался домой своим ходом. Чаще всего сердобольный самосвал вез его на буксире. И тогда у обоих — у хозяина и его старой машины — вид был сконфуженный, виноватый и вместе с тем счастливый. Ведь они смогли, сорвались с места, мчались по дорогам, как в былые годы. Ну а если в конце пути не хватило силенок, что поделаешь!

Куда уезжал дядя Аполлон в те счастливые дни, когда «Иван-виллис» заводился, оставалось для меня тайной.

Я хотел расспросить его об этом, но каждый раз не решался. Только однажды, набравшись храбрости, я начал разговор издали:

— Откуда у вас «Иван-виллис»?

— Откуда? — Новый жилец провел руками по венку уцелевших волос, и глаза его заблестели. — Я нашел его на свалке.

— На свалке?

В моем голосе звучало разочарование, но дядя Аполлон как бы не заметил этого. Он начал рассказывать.

— Обычно истории заканчиваются на свалке, а тут все началось по новой, — задумчиво произнес он. — Я еду на своем автогрузовике среди гор ржавого железа и вдруг вижу — «Иван-виллис»! Старый знакомый, фронтовой друг, можно сказать! Стоит и смотрит на меня, да так печально, словно чувствует, что через мгновение тяжеленная клин-баба рухнет на него и превратит в железную лепешку. И фары, как глаза, спрашивают меня: «Помнишь, сколько раз я спасал тебя от смерти?» Как не помнить! Я тут же соскочил на землю и бросился к «Ивану-виллису», не беря в толк, что над головой покачивается болванка весом в полтонны... Очнулся я от крика крановщика: «Голуб! Тебе что, жить надоело? А мне за тебя срок отбывать?» — «Ладно, — отвечаю, — все обошлось. Я друга фронтового встретил. Мы вместе в нем пол-Европы исколесили, что немаловажно». А сам глажу его, рассматриваю знакомые вмятины, царапины, следы от пуль и осколков. Он! Не может быть сомнений — он! «Иван-виллис» собственной персоной. Подогнал я автопогрузчик, мягко подхватил «Ивана-виллиса», словно взял его на руки, и повез в безопасное место.

Дядя Аполлон разволновался, словно заново переживая встречу с фронтовым другом. А мне не терпелось скорее узнать, что было дальше.

— Что было дальше? Написал я заявление и отправился к начальнику шихтового двора — так называется эта железная свалка. «Что у тебя, Голуб?» — «Заявление... если не возражаете». Протягиваю ему бумагу, а он читает,

и у него брови от удивления лезут на лоб. «Зачем тебе эта развалюха? Тебе, как ветерану, «Запорожец» полагается вне очереди». — «Не нужен мне «Запорожец», говорю, дайте мне моего «Ивана-виллиса»... В память о Великой Отечественной». — «Что ты с ним будешь делать? Безумный!» — «Ремонт сделаю, по одному старому адресу съезжу». Начальник долго думал, потом махнул рукой: «Ладно, забирай своего козла!» — Дядя Аполлон вдруг прервал свой рассказ и взглянул на часы. — Ба! Через двадцать минут прибывает поезд кавказского направления. Еду, если не возражаешь!

Машина сорвалась с места и скрылась за поворотом, оставляя меня в неведении, зачем дяде Аполлону понадобился поезд кавказского направления?

— Поехал на вокзал калымить, — мрачно произнес управдом.

— Почему вы не любите дядю Аполлона? — вырвалось у меня. — Он честный!

— Честный! На вокзал, как на работу, ездит... На собственной машине. Зачем?

Я не мог ему ответить, не мог защитить собственного друга. Я побежал на вокзал, чтобы выяснить, что там делает дядя Аполлон.

На вокзале было многолюдно и шумно. Только что прибыл поезд, и перрон гудел и двигался. Носильщики катили свои тележки. Я пробирался сквозь толпу в поисках своего друга, но его нигде не было. И только когда поезд ушел и перрон опустел, я увидел дядю Аполлона.

Вид у него был печальный и растерянный. Он медленно шел, не замечая носильщиков и пассажиров. Он и меня не заметил.

— Дядя Аполлон!

Он поднял тяжелую голову.

— Это ты, Валера?

— Что же вы не калымите? — неуверенно спросил я.

От моих слов его передернуло, он как бы очнулся, и брови его поднялись в недоумении.

— Ты о чем, Валера? Кто тебе сказал такую чушь собачью?

— Он,— ответил я и почувствовал горький прилив стыда.

— И ты решил проверить? Правильно! У нас люди часто на слово верят, когда о других говорят плохо... Хочешь знать, зачем я на вокзал езжу... каждый день? Жду своего Командира. Он должен вернуться с лечения. И все не едет. Завтра снова приду к поезду, если не возражаешь.

Молоденький носильщик, катя мимо нас свою тележку, подмигнул дяде Аполлону и сказал:

— Тебе, дядя, к нам надо идти работать. С твоей силой цены тебе не будет!

— Вполне вероятно,— пробормотал мой спутник. И мы побрели домой.

Да, каждый день, как на работу, новый жилец ездил на вокзал к поездам кавказского направления в надежде встретить своего Командира. И каждый раз возвращался один, расстроенный и опустошенный.

Тогда он подзывал меня и начинал вспоминать о своей былой военной жизни. Он приглаживал уцелевший венчик волос, воодушевлялся и восклицал:

— Война! Война! Мне, например, трудно было на войне с моим большим кумполем,— он хлопал себя ладонью по голове и лукаво улыбался.— Ни одна пилотка не належала. А касок вообще таких не штамповали... Но бог милловал, ранения в голову не имею... Что немаловажно!.. Стоял ясный, солнечный день. Весной сорок четвертого мы форсировали реку Прут возле села Старый Бодраж...

Как я потом заметил, все свои рассказы о войне дядя Аполлон обычно начинал словами: «Стоял ясный, солнечный день», как будто всю войну только и были ясные, солнечные дни.

— Помню белые глинистые берега, сухой, как солома, прошлогодний камыш... Я только переправился с ротой ПТР, как фашисты открыли минометный огонь. И я за здорово живешь получил осколок мины в ногу.

Дядя Аполлон принялся сквозь штанину нащупывать старую рану и, только убедившись, что шрам на месте, продолжал рассказ:

— Меня отнесли в хату, разрезали ватные штаны, забинтовали ногу индивидуальным пакетом и дали глотнуть из кувшина румынского вина, чтобы не так больно было. А потом на перегруженной лодке переправили обратно в Старый Бодраж и на волах привезли в тыл...

— А «Иван-виллис»?

— Ба! — дядя Аполлон уставился на меня своими маленькими живыми глазками.— «Иван-виллис» здесь ни при чем. Он появился позднее, под занавес. До этого у нас были американские машины «виллис». Мы их получали по лендлизу. Ты, конечно, не знаешь, что такое лендлиз. Хитрая штука! Американцы вроде бы воюют вместе с нами. Только мы кровь проливаем, а они нам свиную тушенку в банках шлют. Технику тоже присылали: истребители «спитфайеры», машины «студебеккеры» и «виллисы». Хорошие машины, проходимые, выносливые. Правда, неустойчивые, легко переворачивались... Разумеешь?

— Разумею,— отозвался я, хотя тогда мало что разумел в свои десять лет.

Но дядя Аполлон верил, что я все понимаю, и продолжал свой рассказ:

— А в конце войны наши сами научились делать маленькие фронтовые машины «газики». Похожи они были на американские, вот и прозвали их на фронте «Иван-виллис». Имя русское, фамилия американская. И никаких лендлизов. Свои машины, а не взятые в долг у заморского дяди. Что немаловажно! И вот, значит, стоял ясный, солнечный день...

Но дослушать до конца историю дяди Аполлона и его машины в тот раз не удалось: как всегда, некстати появился управдом Пушкевич.

— Товарищ Голуб,— мрачно сказал он,— почему ваш автомобиль не прошел техосмотр?

— Разве обязательно? — растерянно спросил дядя Аполлон.

— Вы лучше меня должны это знать,— процедил, глядя в землю, Пушкевич.— Каждое транспортное средство положено ежегодно представлять на техосмотр.

— Транспортное средство...— со вздохом повторил дядя Аполлон.— Слово какое-то нечеловеческое.

— В доме должен быть порядок,— буркнул Пушкевич и с осуждением посмотрел на дядю Аполлона.— Пенсионер, а дурью маетесь.

И ушел. И долго еще виднелась его сутулая спина.

— Знаешь, что такое пиксида? — тихо спросил меня дядя Аполлон.

Я не знал и покачал головой.

— Пиксида — склянка для яда. Это мне одна аптекарша объяснила.

Больше он ничего не сказал, но с тех пор я про себя стал называть управдома аптекарским словом «пиксида».

Дядя Аполлон говорил о войне так, словно она только на днях закончилась,— для него война всегда была рядом. Для меня же она была далеко-далеко. Словно от войны нас отделяло разное время.

Иногда, задумавшись, дядя Аполлон сообщал мне:

— А в Будапеште теперь идут дожди...

Откуда он знал, какая погода в далеком, неведомом Будапеште? И почему она его интересовала?

Когда же мы с ним спускались к озеру, он обязательно вспоминал озеро Балатон.

— Балатон поболее вашего будет, разумеешь? Другого берега не видно. И места красивые.

Он с такой любовью говорил о далекой венгерской земле, словно она была для него родной.

Но оказалось, что дядя Аполлон родом из Ленинградской области, до войны жил в городе Луте, на Ярославской улице, у глубокого ручья.

Чем больше я узнавал дядю Аполлона, тем загадочней он становился для меня.

2

Первое время «Иван-виллис» был у жильцов нашего дома предметом общих насмешек. Как только не величали его, беднягу! Козел! Колымага! Развалюха! Металлолом! Жильцы безжалостно насмехались над автомобилем и над дядей Аполлоном, особенно в те дни, когда он, краснея и потев, тщетно пытался завести старую машину.

Но люди привыкают ко всему. Привыкли они и к «Ивану-виллису». Однако главная перемена в отношении к старой машине и ее чудаковатому хозяину произошла после случая, о котором я хочу рассказать.

Если бы о нем рассказывал сам дядя Аполлон, он начал бы неизменными словами: «Стоял ясный, солнечный день», хотя история эта случилась ночью. В нашем доме тяжело заболел мальчик Игорек из седьмой квартиры. Надо было немедленно везти его в больницу. Но как вызвать «скорую помощь», если наш дом стоял на отшибе и телефон был на другом конце улицы и чаще всего не работал.

И тогда я предложил:

— Надо разбудить дядю Аполлона.

И тут же испугался собственных слов: вдруг машина не заведется и мы потеряем драгоценное время? А решается жизнь человека!

Но когда беда стучится в дверь, люди хватаются за любую соломинку. Меня послали за хозяином «Ивана-виллиса».

Я мигом скатился по лестнице и забарабанил в дверь моего друга.

— А? Что? Тревога? — пробормотал дядя Аполлон, стоя в дверях в исподнем и глядя на меня невидящими со сна глазами.

— Дядя Аполлон! Скорее! — крикнул я. — К машине! Маленький Игорек... умирает!

Слово «умирает» сразу разбудило дядю Аполлона. Он засуетился, тяжело запрыгал на одной ноге, попадая в штанину, запыхтел, наматывая портянку, застучал каблучком, втискивая ногу в сапог.

— Настоящий солдат должен одеваться в одну минуту... что немаловажно, — пробормотал он и выбежал на улицу, на ходу натягивая брезентовый плащ со слоновым ухом. — Сейчас мы его заведем!

Он произнес последние слова и осекся, как бы на мгновение утратил уверенность. Но все же бежал к машине, а я, как верный оруженосец, семенил следом.

Стояла глухая мутная ночь. Над озером курился туман. Лицо обволакивала влажная прохлада. И ни наверху, ни внизу на воде не было звезд. Мы подбежали к машине. Дядя Аполлон достал заводную ручку и долго не мог попасть в маленькое отверстие. Наконец попал. Тяжело вздохнул. Поплевал на руки. Из всех сил крутанул ручку, и мотор весело заворчал. «Иван-виллис» ожил. Как говорят шоферы, «завелся с полоборота». Дядя Аполлон только что не закричал от радости. Но сдержался.

— Где больной? — спокойно спросил он и, довольный собой, замурлыкал под нос любимую песню:

И на груди его сияла
Медаль за город Будапешт...

Он держался так, словно ничего особенного не произошло, словно его «Иван-виллис» всегда заводился по первому требованию. Но я знал, что случилось чудо.

Двигатель громко работал. К машине бежали люди. Мать несла на руках маленького, закутанного в одеяло Игорька из седьмой квартиры. Машина с удивительной легкостью сорвалась с места и покатила, покатила, желтыми пучками света прокладывая себе дорогу в ночи.

Уже замер рёкот мотора, а жильцы дома не расходились, все смотрели вслед «Ивану-виллису», и каждый считал, что мальчик уже спасен.

На рассвете «Иван-виллис» вернулся на буксире. Сердобольный самосвал довез его до дома.

Постепенно я проникся любовью к старому автомобилю. В моем представлении он из малоподвижной, вечно дремлющей машины превратился в существо живое и весьма любопытное. Конечно, я еще очень мало знал о нем. Да и жизнь дяди Аполлона продолжала оставаться для меня загадкой.

В конце апреля дядя Аполлон особенно много времени проводил у старой машины. Мыл ее, подкачивал баллоны. Однажды он пришел радостный и сообщил:

— Какая удача! Я достал новую помпу! Что немаловажно!

В руках у него серебрилась деталь, похожая на большую серебряную улитку. Он тут же поднял капот «Ивана-виллиса» и, погрузившись в недра мотора, начал примерять улитку. Прошло довольно много времени, прежде чем он, кряхтя, распрямился.

— Ба! Подошла-таки! Теперь мы заживем!

По счастливому лицу дяди Аполлона текли темные ручейки трудового пота.

Приближался День Победы. Я уже рисовал в своем воображении дядю Аполлона в новом костюме, в начищенных сапогах, с медалями и орденами на пиджаке... Я видел

его порозовевшее от радости лицо, весело поблескивающие щелочки-глаза.

Но чем ближе подходил день праздника, тем молчаливее и задумчивее делался бывший старшина 3-го Украинского фронта. Какая там радость... Дядя Аполлон осунулся, помрачнел и совсем забросил своего фронтового друга «Ивана-виллиса». Он почти ни с кем не разговаривал и только со мной вступал в какие-то странные рассуждения.

— Если я проснусь и почувствую, что у меня ничего не болит, — однажды сказал он, — значит, я умер.

«Почему умер, если не болит? Умер, если болит», — думал я, не понимая дядю Аполлона, а он и не пытался разъяснить мне непонятное.

— Тебя отец поколачивает? — неожиданно спросил он меня.

Я отрицательно затряс головой. Мой отец был тихим человеком, работал на насосной станции механиком, дома бывал редко. У него и времени не было поколачивать.

— А французский философ Монтень считал, что детей надо поколачивать. Правда, только за ложь и упрямство, — задумчиво сказал дядя Аполлон. — Меня отец сек за малейшую провинность. Он не читал Монтеня. Разумеешь?

И дядя Аполлон начал рассуждать о смысле жизни:

— Знаешь, что такое правильно жить? Я открою тебе секрет. Не ошибайся в выборе новых друзей и не теряй старых... И еще, Валера, запомни: человек, который из всех сил старается прожить без врагов, в конце концов теряет друзей.

Я тогда не понимал его житейской мудрости. А он смотрел в сторону, словно совсем забыл про меня и разговаривает вслух сам с собой. И вдруг повернулся всей своей грузной фигурой, погладил ладонями кучерявый венчик волос и сказал:

— Не люблю я праздники.

Как можно не любить праздники! Я не поверил дяде Аполлону. С ним творилось что-то неладное, вот он и говорит странные вещи. И чтобы пробудить в нем бойца 3-го Украинского фронта, я воскликнул:

— Но ведь День Победы!

Дядя Аполлон уронил на грудь большую тяжелую голову — кумпол, на который не налезала ни одна каска. Положил на колени красные натруженные руки. А маленькие глаза его заблестели, словно в них накапливались слезы.

— Я на войне всех оставил — и друзей и близких, — тихо сказал он. — Какой же это для меня праздник! И Командир все не едет.

Когда мне было еще лет пять, я любил ездить на поезде рядом с керосинщиком. Он давал мне свой помятый медный рожок, и я, раздувая щеки, трубил на всю округу. От меня всегда пахло керосином. В дни дружбы с дядей Аполлоном давняя страсть пробудилась в новом виде: место старого коняги в моем сердце занял «Иван-виллис», а звук ожившего мотора радовал куда больше, чем пение рожка.

Утром, едва поднявшись с постели, я бежал к окну, чтобы убедиться, на месте ли старая военная машина. И, только увидев брезентовый верх, в котором за ночь от дождя накопилась лужица, успокаивался. «Иван-виллис» стоял на своем месте постоянно, как дерево. Он был неотъемлемой частью нашего маленького мира вместе с сараюшками, кустами, голубятней и серебристой полоской озера за деревьями.

Но в День Победы, когда я выглянул в окно, старого фронтового автомобиля на месте не оказалось. И от этого все вокруг выглядело сиротливо.

Я быстро оделся и отправился в город.

Я долго ходил по улицам, украшенным флагами. И мне казалось, что наш город выглядит так, как в День Победы 1945 года. На пиджаках у ветеранов празднично поблескивали ордена и ровные кружочки медалей. Бывшие фронтовики бодрились и казались помолодевшими — в этот день время отступило, чтобы все увидели, какими были они в молодости. И всюду звучали песни, которые теперь редко поют. И вдруг из-за угла выехал «Иван-виллис». За рулем, на своем законном месте, сидел дядя Аполлон. Его большие руки тяжело лежали на тоненькой баранке, губы были поджаты, глаза прищурены. Он так внимательно следил за дорогой, что не заметил меня.

«Иван-виллис» ехал очень медленно, и я смог разглядеть пассажира, который сидел рядом с дядей Аполлоном. У него было смуглое, словно закоптелое от огня лицо. Фуражка с красным суконным околышем сдвинута назад, и из-под нее как-то неестественно небрежно вырывались клочья давно не стриженных сизых волос. Глаза у него были влажные и белки воспаленные.

Не знаю почему, но мне показалось, что он страдает, что у него какой-то недуг. Двумя руками он опирался на палку и смотрел прямо перед собой.

Я понял, что это был Командир, которого дядя Аполлон ждал с таким нетерпением, ради которого приехал в наш город.

Боевые друзья наконец встретились!

Никто, кроме меня, не замечал его страданий. Идущие навстречу приветствовали ветеранов — Командира и старшину, а старые фронтовики по давней привычке вытягивались перед командиром и прикладывали к виску руку, забыв, что на голове вместо пилотки кепка или соломенная шляпа.

А машина медленно ехала по городу, словно генерал объезжал свое сильно поредевшее седое войско.

Я побежал за машиной. По счастью, ход у «Ивана-виллиса» был не слишком скорый, и я поспевал за ним. Машина остановилась у белого дома с зеленой крышей. Показалась большая, обутая в сапог нога, а затем выбрался и сам дядя Аполлон. Машина скрипнула, как бы облегченно вздохнула. Командир выходил из машины с трудом, больше опираясь на палку, чем на ноги. Дядя Аполлон помогал ему, он сердился и резко повторял:

— Сам... Сам...

Не хотел принимать помощи.

Он покраснел от напряжения и досады и некоторое время стоял возле машины, двумя руками вцепившись в палку. Ему надо было идти, но он не мог — не мог заставить свои ноги сдвинуться с места. Я почувствовал, что ноги не слушались его строгой командирской команды.

Тогда дядя Аполлон молча подставил свое плечо и обнял Командира.

— Не спешите... Пойдем полегоньку... полегоньку... — Он уговаривал старого воина, как ребенка.

И в ответ на уговоры тот медленно сдвинулся с места. Он сделал несколько шаркающих шагов и остановился.

— Что это за жизнь! Что со мной стало! — Похожие на стои слова с болью вырвались у него. — Белиберда!

Мне показалось, что сейчас он заплачет от боли и досады. И чтобы не видеть его слез, я отвернулся.

Но Командир не заплакал. И когда я выглянул из укрытия, он сидел на скамейке у дома и сдержанно улыбался.

— Порядок в танковых частях! — донесся до меня его хрипловатый голос.

— Так точно, товарищ майор! — отозвался дядя Аполлон.

Война давно кончилась, а бывший старшина продолжал называть своего Командира по-военному «товарищ майор». Словно так и не узнал его имени-отчества.

Со стороны озера доносилась песня.

Однажды перед нашим домом появился какой-то худой мужчина. У него были торчащие в стороны малиновые уши и острый, розовый, как с мороза, нос. Незнакомец все время шмыгал им, при этом подносил к собственному носу кулак.

— Здесь продается машина? — спросил он, заметив меня.

— Ничего здесь не продается, — отрезал я.

Но он пропустил мои слова мимо своих малиновых ушей.

— Этот «газон» продается? — Он бесцеремонно постукал костяшками пальцев по крылу «Ивана-виллиса».

Слово «газон» резануло мой слух. Я враждебно посмотрел на незнакомца. А он шмыгнул носом и стал ходить вокруг фронтальной машины, бесцеремонно разглядывая ее, стучал по капоту кулаком, дергал за ручки. Я же, сдерживаясь изо всех сил, наблюдал, как он обнюхивает старую машину своим острым нахальным носом.

Стало нестерпимо обидно за «Ивана-виллиса», и, чтобы сразить наглого покупателя, я крикнул:

— На этой машине Командир ехал... в День Победы! Не сразил я «малиновые уши».

— Где ключи? — спокойно спросил он. — Где заводная ручка?

— Никаких ключей, — взорвался я. — Никакой ручки! И вообще машина не продается.

Покупатель тоже рассердился, нацелил на меня острый нос и выпалил:

— Твоя машина? Не твоя! И помалкивай в тряпочку! Я возьму ее, если сойдемся в цене. Передай хозяину, пусть на многое не рассчитывает.

И, оставив меня в полной растерянности, он пошел прочь.

В это мгновение я со всей ясностью ощутил, как мне дорог этот старенький «Иван-виллис». Словно мы с ним бок о бок прожили всю жизнь. И те переживания, которые выпали на его долю, были и моими переживаниями.

Нет! Нет! Нет! Не отдам тебя никому!

Впервые в жизни я почувствовал, что есть вещи, которые не продаются. Никогда не продаются! Потому что они дороже денег. Они — как дружба. И я, мальчишка, тут же захотел объяснить это взрослому человеку. Я кинулся следом за покупателем. Добежал до перекрестка. «Малиновых ушей» нигде не было — покупатель как сквозь землю провалился.

Я вернулся к «Ивану-виллису» и осторожно провел рукой по шершавому от ржавчины крылу. Я жалел его, как старого коня или собаку.

Вечером, когда дядя Аполлон вернулся, я поджидал его на крыльце.

— Тут приходил один, — заговорил я, стараясь держаться как можно спокойнее, — хочет купить нашу машину. Так мы ему и продадим! Нашел дураков.

Я думал, что дядя Аполлон воскликнет свое обычное «Ба!» и отругает наглеца, который осмелился посягнуть на нашего друга. Но дядя Аполлон вздохнул и сказал тихо, так тихо, словно не хотел, чтоб я услышал его слова:

— Придется расстаться с «Иваном-виллисом».

— Как? — Кровь ударила мне в лицо.

— Нужны деньги, понимаешь? Позарез нужны, — все так же тихо говорил дядя Аполлон.

— Зачем вам столько денег?

В этот момент я не думал, что дядя Аполлон вовсе не обязан объяснять свои взрослые поступки. Я говорил с ним как равный, требовал от него ответа.

И тут я почувствовал, как дядя Аполлон мучался:

хотел что-то рассказать мне и не решался. Однако закон дружбы требовал объяснения.

— Понимаешь,— наконец выдал из себя,— мой Командир вернулся... Не помогло лечение... У него отнимаются ноги...

Я не признался дяде Аполлону, что видел его Командира и догадался о его страданиях. Только сказал:

— У нас в городе две больницы.

— Две больницы,— согласился дядя Аполлон.— Но что могут сделать эти две больницы! Он в Ленинград съездил. В Москве лежал в госпиталях. Никаких результатов... Я слышал, в Сибири есть один доктор... он помогает... Хочу съездить, познакомиться, поговорить. Может быть, он согласится приехать... Но для этого нужны деньги, много денег... Иначе разве бы решился продать...

— А Командир?

— Слышать об этом не хочет. Разуверился, говорит, во всей медицине! И деньги у него какие? Пенсия! Я все равно поеду. Надо спасать человека!

Дядя Аполлон долгим взглядом посмотрел на старую машину, словно прощался с ней, потом отвернулся.

Он, видимо, понимал, как горько я расстроен, и, чтобы отвлечь меня от тяжелых мыслей, выдал из себя улыбку и воскликнул:

— Ба! Ты не знаешь главного! Я тебе не рассказывал, как в Венгрии судьба свела меня с «Иваном-виллисом»? Нет? Тогда ты не знаешь главного.

Не знал я про Венгрию. Откуда мне было знать! А дядя Аполлон потер руки и сказал:

— Так вот, Валера, стоял ясный, солнечный день. Я возвращался из госпиталя на 3-й Украинский, в родную часть. Я был симулянтом наоборот: настоящие симулянты здоровы, а прикидываются больными, я же с незажившей раной прикинулся здоровым... Кутаясь в старую шинель, я трясся на попутной машине по венгерской земле...

На придорожных указательных стрелках было написано: «Будапешт». Нас обгоняли танки. Пахло жухлой травой— впервые за войну я почувствовал запах осени. И вдруг на обочине дороги я увидел своего командира полка. Он стоял в куртке без погон и о чем-то горячо разговаривал с незнакомым майором. Я подумал, что лучше не попадаться ему на глаза, и нырнул за спину рыжего солдата. Ба! Увидел! Смотрел вроде в другую сторону, а меня увидел. И сразу — стоп машина!

«Старшина Голуб! Ко мне!»

Попался, ничего не попишешь! Я осторожно вылез из кузова, одернул шинель и, изо всех сил стараясь не хромать, подошел к командиру.

«Товарищ майор, старшина Голуб...»

Но он не дал мне доложить по форме.

«Что так рано вернулись с излечения?»

«Зажило,— отвечаю,— кость не задело... организм крепкий».

«Организм у тебя крепкий»,— соглашается Командир, достает из кармана папиросы, а сам смотрит на дорогу.

Я смотрю туда же и вижу на обочине новенький автомобиль. «Виллис» не «виллис» — не поймешь что, но для войны годится: пушку прицепить можно, ветровое стекло откидывается, пулемет крепится... Майор перехватывает мой взгляд и говорит: «Что скажешь?»

А я, как ты, Валера, спрашиваю:

«Что это за марка?»

«Наш советский «виллис»,— отвечает.— «Иван-виллис». За руль сесть можешь?»

«Так точно, товарищ майор!» — не раздумывая, выдохнул я.

Но мой Командир покачал головой — все понимал он, все чувствовал.

«Врачей ты обмануть можешь,— говорит,— но рану не обманешь. Откроется — хана. Вот что, Голуб, садись на

мое место, а я за руль. Поработаю у тебя шофером до полной поправки».

И он засмеялся удачной шутке.

И неделю крутил баранку, а я ездил пассажиром на командирском месте...

Дядя Аполлон раскраснелся, в его глазах появилось так много озорства и лукавства, что он сразу помолодел лет на двадцать. От возбуждения он ходил взад-вперед и мычал под нос мотив своей любимой песни про медаль за город Будапешт. И вдруг остановился и внимательно посмотрел мне в глаза.

— Как ты думаешь, могу я бросить своего Командира в беде?

— Конечно, нет! — вырвалось у меня. — Но ведь, кроме вас, целый полк!

— Где он, полк! — вздохнул бывший старшина. — Один батальон остался... не более.

Он вдруг помрачнел, а глаза спрятались глубоко в щелки.

— Я никогда так не рассуждал и тебе не советую, — строго сказал дядя Аполлон. — Мелкие людишки так рассуждают. Белиберда всякая...

Он долго не мог успокоиться, но потом почувствовал себя виноватым передо мной за излишнюю резкость и положил мне на плечо свою тяжелую руку.

— Идем на озеро!

— Зачем?

— Идем, идем, узнаешь!

И мы запагали рядом мимо редких вязов, по тропинке, которая пробиралась в зарослях ежевики.

У самой воды он остановился, взглянул на меня весело и даже подмигнул мне.

— Если не возражаешь, я тебе сделаю подарок.

— Мне? За что?

— А ни за что! За то, что ты есть, Валерка — мой друг!

За то, что честный парень, что немаловажно... Да ты не подумай, что я подарю тебе что-то дорогое. Я подарю тебе свисток... вернее, научу тебя свистеть... по-особенному.

— Так я умею, — сказал я, запустив четыре пальца в рот.

— Вынь изо рта грязные пальцы, — строго сказал дядя Аполлон. — Я научу тебя свистеть без рук, как свистят фронтовые разведчики. У них руки всегда заняты.

И тут он свистнул. И его резкий пронзительный свист протянулся над озером невидимой дугой. И повторился на другом берегу.

Потом он стал объяснять и показывать мне, как это делается. Как выгибать нёбо, как держать язык. Он краснел от натуги, строил гримасы, чтобы мне было яснее. А я, как обезьяна, подражал ему, но вместо бьющего по ушам свиста из меня вырывалось шипение.

Целый вечер бился со мной бывший старшина. Наконец у меня получилось. Правда, еще не очень звонко, но получилось.

— Спасибо за подарок, — сказал я и свистнул так, что жильцы нашего дома выбежали на улицу.

— Другого у меня ничего нет, — как бы извиняясь, ответил дядя Аполлон.

И мы пошли по домам.

4

Нет, не удалось дяде Аполлону успокоить меня. Он улыбался, а я чувствовал, что он страдает и ему тяжело расставаться с «Иваном-виллисом». И сам я ни за что не хотел смириться с мыслью, что старого автомобиля у нас больше не будет и что на нем станут разъезжать «малиновые уши».

Надо спасать «Ивана-виллиса»! И я понял, что сделать

это может только Командир. На другой день я очутился у белого дома с зеленой крышей. Я увидел Командира в открытом окне. Он стоял неподвижно, как на картине, и рассеянно смотрел на прохожих, видимо, был сосредоточен на важной мысли. А может быть, молча переживал боль.

Я остановился в нескольких шагах, думая, что Командир не замечает меня. Но как рассказывал дядя Аполлон, Командир обладал удивительным свойством видеть, глядя в другую сторону.

— Ты кто такой? — неожиданно спросил он. Его голос прозвучал резко, и мне захотелось сорваться с места и убежать.

Но я остался и ответил:

— Валера. Друг дяди Аполлона.

— Аполлона? Голуба? — заинтересованно спросил Командир. — Ты знаешь Аполлона Голуба?

— Знаю, — отозвался я и тут же выпалил все, что хотел сказать, ради чего пришел к дому с зеленой крышей. — Он хочет продать «Ивана-виллиса»!

— Да кто же его купит, развалюху? Такого дурака не найдешь!

— Он нашел... такого дурака... с малиновыми ушами.

— С малиновыми ушами... — сердито усмехнулся Командир. — И сколько ему дали «малиновые уши»?

— Не знаю.

Командир снова стал смотреть на прохожих, словно утратил ко мне всякий интерес, забыл про меня. Но это я так решил. А он навалился локтями на подоконник и, глядя на меня, спросил:

— Про озеро Балатон слышал?

— Дядя Аполлон говорит — хорошее озеро.

— Да уж хорошее! — Командир резко повернулся ко мне. — Чем же оно такое хорошее? Может быть, тем, что мы чуть голову не сложили на этом Балатоне? Или тем,

что гитлеровцы начали отчаянное контрнаступление и спихнули нас с рубежа? А он тебе не говорил, что «стоял ясный, солнечный день»?

— Говорил, — признался я.

— Так никакого солнечного дня не было! Заруби это себе на носу. — Он нахмурился, и я уже подумал, что сейчас он захлопнет окно и уйдет. Но он вдруг начал рассказывать: — Был март сорок пятого. Еще в ложбинках держался снег. На деревьях не раскрылись почки, и ветки были голыми, как метлы. Резкий ветер поднимал на озере волну... И тогда немцы ударили неожиданно, из последних сил. Бросили на нас свою лучшую дивизию СС «Адольф Гитлер». Про Балатонскую операцию слышал? — И, не дожидаясь ответа, он продолжал: — Так вот, стоял пасмурный, серый день. Шел холодный дождь. Мы с Голубом ехали из штаба дивизии домой в полк. И вдруг я вижу, наперерез нам движутся фашистские танки.

Командир с трудом сел на край подоконника.

— Что делать, спрашивается? Я ругаю немцев. Ругаю нашу разведку. Ругаю самого себя... за потерю бдительности. А старшина Голуб говорит: «Может быть, прорвемся, товарищ майор? Нам бы только до мостика добраться». Каков, а? До мостика!.. Но все дело в том, что за годы войны он, хитрец, научился читать мои мысли, знал мой характер. Я только махнул рукой, а твой дядя Аполлон уже дал полный газ. Не подкачай, «Иван-виллис»!

Командир замолчал, вспоминал подробности того страшного дня. А мне не терпелось узнать конец этой истории, и я умоляюще посмотрел на него.

— Страшная эта была гонка, — вдруг сказал он. — Даже когда вспоминаю — мороз по коже проходит. «Иван-виллис» мчался с бешеной скоростью, а фашистские танки уже заметили нас и тоже прибавили ходу. Не стреляют. Хотят взять живьем. А впереди спасительный мост. Красивый был мост, ферма выгнута, как арфа. Вот Голуб и ре-

шил сыграть на этой арфе. Арфист, понимаешь... — Тут Командир снова сделал паузу, и на его лице появилась слабая, но, несомненно, торжествующая улыбка. — И сыграл-таки! — воскликнул он. — Мы метрах в двадцати от переднего танка проскочили, а тут уже и мост рядом. Фашисты открыли огонь. Несколько снарядов разорвалось близко. Голуба осколочек зацепил. Плечо содрано, рукав гимнастерки потемнел от крови, а он так прикипел к баранке, что и внимания не обратил. Тут мост прикрыл нас от разрывов своей стальной фермой... Ушли мы благополучно. Не подвел нас «Иван-виллис». Вот стою перед тобой. Жив! Правда, не в лучшей форме...

Командир долго молчал, а я все ждал, когда он скажет свое веское слово насчет продажи «Ивана-виллиса». Но он так ничего и не сказал. Только буркнул:

— «Иван-виллис» Голуба. Он хозяин-барин. Ну, ладно, мне пора лечебную гимнастику делать. — И ушел.

Покупатель должен был прийти вечером, и, чтобы не видеть его ненавистных малиновых ушей, я решил на это время уйти из дома. Я не мог смотреть на то, как он будет копаться в моторе, яростно крутить заводную ручку. Мне казалось, что вместе с фронтовым автомобилем ему достанутся и память о войне, и дружба с Командиром — все, что есть у дяди Аполлона.

«Не заводись, «Иван-виллис»! Не поддавайся ему! Замри на месте!»

Я подошел к машине и стал печально разглядывать ее. Воспоминания дяди Аполлона ожили во мне, и я увидел фронтовую дорогу, старшину Голуба, новенькую машину, еще не получившую своего военного имени — «Иван-виллис».

И тут мой взгляд упал на густые заросли ежевики, покрывшие спуск к озеру. Если спрятать в них фронтовой

автомобиль, никакой покупатель не найдет его! Неожданная дерзкая мысль сразу овладела мной. Я уперся плечом в задний угол машины, напряг все свои силы и стал ногами отталкиваться от земли. Сперва «Иван-виллис» упрямился, но вот дрогнул и медленно сдвинулся с места. Я сделал шаг и снова напрягся. Пошел, пошел! Колеса вращались медленно, словно цеплялись за землю. А я, тяжело дыша, давил, давил на железное плечо фронтового автомобиля.

Но вот машина остановилась, словно встретила на своем пути препятствие. Я распрямился и увидел, что колеса замерли у самого обрыва — дальше двигаться не решались. Не зная, как быть, я забрался внутрь и сел на скрипучее сиденье. Потом я положил руки на баранку и стал крутить ее, словно управлял едущей машиной. Я перетрогал все рычаги, нажал на все педали. Отпустил ручной тормоз.

Говорят, что раз в жизни ружье стреляет само.

Видимо, этот закон касается не только ружей — старый фронтовой автомобиль вдруг сам тронулся с места и покатил.

Был ясный, солнечный день. Вздрагивая и переваливаясь с боку на бок, «Иван-виллис» катил по склону к озеру. Трещали кусты ежевики, из-под колес вылетали комья земли, колдобины, как подземные толчки, подбрасывали машину, но уже никакая сила не могла остановить старый автомобиль. Он летел вперед, набирая скорость. Я же изо всех сил вцепился в баранку, но не мог управлять бегом машины, а только держался, чтобы не выпасть. Свистел ветер, мелькали деревья...

Сперва я почувствовал резкий толчок. Потом почувствовал, что уже не еду, а лечу. Лечу и одновременно слышу страшный грохот... Мне казалось, что я летел очень долго. Даже когда я очутился на траве, полет мой продолжался. Голова гудела. Земля вращалась, как карусель. И ветер звенел в ушах.

Я открыл глаза. И в ожидании боли осторожно поше-

велил рукой, ногами, головой. Боль я почувствовал в плече — тягучую, ноющую. И тут мне на память пришли слова дяди Аполлона: «Если я проснусь и почувствую, что у меня ничего не болит, — значит, я умер». У меня болело плечо. Я был жив.

Я был жив, а как же «Иван-виллис»? Я поднялся на ноги. Огляделся. И моим глазам предстала страшная картина. «Иван-виллис» стоял метрах в пятидесяти от меня, уткнувшись носом в дерево. Одно крыло болталось, издавая жалкий скрежет. Одной фары не было вовсе. Из расплющенного радиатора текла струйка воды. Правое колесо было как бы вывихнуто и почти плашмя лежало на земле.

Я понял, что «Иван-виллис» погиб. И причина его гибели — я сам.

Я был жив, у меня только болело плечо, а он уткнулся в дерево, разбитый, исковерканный, неживой.

Мне стало нестерпимо страшно. Я поднялся на ноги и побрел прочь...

Целый день я слонялся у озера, не решаясь подойти к разбитому автомобилю. У меня болело плечо, и я все время трогал его здоровой рукой. Но эта боль ничего не значила в сравнении с той неотступной горечью, которую я испытывал от мысли, что из-за меня старый фронтowej автомобиль «Иван-виллис» теперь стоит в кустах ежевики разбитый, неподвижный, неживой. И раздавленные ягоды алеют на капоте, как капли крови.

Когда на исходе дня я пришел домой, разбитая машина была окружена зеваками. Дядя Аполлон стоял тут же, бледный, растерянный, поглаживал рукой раненого друга. И молчал.

Вокруг шли пересуды. Одни говорили, что это хулиганы из баловства спихнули машину под откос. Другие обвиняли неудачливых угонщиков. Дяде же Аполлону, казалось, было все равно, кто был виновником гибели «Ивана-виллиса».

Явился покупатель. Он постоял у разбитой машины, почесал затылок. Потом сам себе сказал: «Может, это к лучшему». И ушел.

Что к лучшему? То, что «Иван-виллис» разбился?

Вечером я отправился к дяде Аполлону.

Я застал его в кухне, около большого оцинкованного корыта. Лицо его было красным, волосы слиплись, на лысине поблескивали бисеринки пота, а большие сильные руки были по локоть в белой пене.

Он стирал, широко и яростно двигая руками, словно вместо мыла держал рубанок и стругал доску.

— Дядя Аполлон, — тихо произнес я.

Он обернулся, посмотрел на меня через плечо и ничего не сказал. А я остался стоять за его спиной и ждал, когда он заговорит со мной.

— Ты что пришел, Валера? — наконец спросил он.

— Дядя Аполлон, это я... съехал на «Иване-виллисе».

Я думал, что дядя Аполлон накричит на меня и выгонит прочь. Но мой друг даже не изменился в лице. Только внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Ты же мог разбиться, разумеешь?

— Лучше бы я погиб! — вырвалось у меня.

— Глупости! — Дядя Аполлон энергично махнул рукой, и на пол плюхнулись клочья мыльной пены. — Ты же хотел спасти его от позора. Спасибо тебе, Валера.

Дядя Аполлон замолчал, а потом мотнул своей головой и сразу перенесся в далекие годы, благо они всегда были рядом с ним.

— За несколько дней до победы ему тоже досталось. Рядом легли две мины. Тут судьба надолго разметала всех троих. Я очутился в одном госпитале, майор — в другом, «Иван-виллис» — на ремзаводе. Потом я долго разыскивал Командира. А «Иван-виллис» сам нашелся.

Дядя Аполлон через силу улыбнулся.

А перед моими глазами возник Командир, стоящий у окна, двумя руками опершись на палку. Я увидел его воспаленные веки, сизые волосы, выбившиеся из-под фуражки, глубокие складки у рта. Никогда еще чужие страдания по-настоящему не волновали меня. Но в эту минуту я почувствовал боль старого воина.

— Где же взять денег на врача из Сибири? — участливо спросил я.

— А? Денег? — дядя Аполлон вытер руки о фартук. — Деньги дело наживное.

— Я буду вам помогать! — воскликнул я, даже не подумав о том, как я смогу это сделать.

Но моя готовность тронула дядю Аполлона, и он заговорил со мной очень доверительно:

— Командир с больными ногами беспомощен, как ребенок. Я за него в ответе перед всем полком. Перед теми, кто жив и кого уже нет.

Дядя Аполлон поднялся, подошел к корыту и с яростью принялся тереть белье, словно оно виновато во всех его житейских бедах. А я сидел и наблюдал за его яростной работой. И вдруг дверь распахнулась — на пороге кухни стоял Командир.

Он был бледен, тяжело дышал, фуражка сдвинулась на затылок. Двумя руками опирался на палку. Его слегка покачивало от усталости. Сизые волосы беспорядочно налезали на глаза. У рта запали две глубокие жесткие складки. Я почувствовал, что ему очень больно.

Некоторое время он молча наблюдал за тем, как дядя Аполлон стирает, а тот не замечал гостя, и клочья пены, как стружки, вылетали из-под его рук.

— Где же твоя добрая хозяйка? — вдруг вместо приветствия произнес неожиданный гость.

Дядя Аполлон вздрогнул и вынул из корыта руки, виновато посмотрел на Командира.

— В отъезде, — робко сказал он.

— В отъезде? — не поверил ему майор. Он сделал несколько тяжелых шагов и буквально повалился на скамейку. — Я вижу, как она в отъезде. Сам стираешь?

Он спросил так строго, что уже невозможно было согласить, и дядя Аполлон, медленно вытерев руки, признался:

— Сам. Себе стираю... и вам... за компанию... Мне ничего не стоит.

Но Командир уже не слушал его. Он очень устал и был расстроен, раздражен. Голос его гремел на всю кухню.

— Послушай, Голуб! Наш полк фашисты не смогли разбить, а время многих бойцов уложило. Остались только мы с тобой да «Иван-виллис», — тут он усмехнулся, — наша единственная боевая матчасть.

Дядя Аполлон слушал, уронив на грудь свой могучий кумпол, на который не лезла ни одна каска. Он-то знал, что боевая матчасть разбита. Слушал, а потом, не поднимая головы и не глядя в глаза Командиру, сказал:

— Я говорил вам про сибирского доктора, который творит чудеса...

— Брось, Голуб, — Командир замотал головой, — не верю я в чудеса. Что, мне твой доктор новые ноги подставит? Не подставит! А со старыми уже сам бог ничего не сможет сделать...

Последние слова он произнес тихо, весь его запал кончился, силы иссякли.

И долгое время дядя Аполлон и майор сидели молча, обо всем они договорились, все поняли, но я-то знал, что самое страшное еще не сказано.

— Ну ладно, — сказал гость. — Заводи своего козла, отвезешь меня домой.

Он по привычке говорил с дядей Аполлоном командирским тоном, хотя время давно уравнило их, присвоило

им одно общее звание — пенсионеры. Но отголосок прошлого был жив и одинаково дорог бывшему командиру и бывшему старшине.

— Опять не в порядке? Не заводится? — спросил он, видя, что хозяин не спешит выполнить приказ.

И тут дядя Аполлон поднял голову и маленькими прищуренными глазками посмотрел на Командира.

— Разбился «Иван-виллис», товарищ майор. Так разбился, что и костей не соберешь.

И дядя Аполлон махнул своей тяжелой рукой.

Некоторое время Командир молчал, словно смысл сказанного не сразу дошел до него, а потом вдруг потер лоб, надвинул фуражку на глаза и то ли поморщился, то ли улыбнулся. Я не рассмотрел.

— Вот это я понимаю! — воскликнул он. — Не сгнил на свалке, а разбился! В который раз уже разбился! А, старшина?

Мне показалось, что Командир не расстроился, а, напротив, повеселел, и вместе с тем смех его был необычный, такой, какой легко может сорваться на слезы. Но никаких слез не было.

— Можешь не докладывать подробности, — сказал он. — Со всеми случается. На то и машина, чтобы рано или поздно разбить ее. Помнишь, как такие «иваны» порой кувыркались у нас на войне? Сколько людей побили! А ты цел! И слава богу! Главное, что ты не пропал!

— Я того доктора все равно привезу, — упрямо сказал дядя Аполлон.

— Привези, привези, — как бы дразня, отозвался гость.

5

В том году весна выдалась дождливой, пасмурной. Наше озеро темнело и уже не отражало все краски жизни. Вода стала тяжелой, неподвижной, и, когда шли дожди,

озеро заполнялось множеством вращающихся кружочков и оживало.

А далекие синие горы вдруг покрылись ослепительно белым снегом. И мне казалось, что там, минуя лето, осень, наступила иная жизнь с метелями, со скрипом лыж, с лиловыми столбами дымов. И в один прекрасный день белая лавина покатит оттуда на наш город и засыплет снегом «Иван-виллис», который стоит на спуске к озеру, беспомощно упершись в дерево...

Дяде Аполлону пора было возвращаться домой, а он все тянул с отъездом — не мог оставить двух попавших в беду друзей.

Последние дни мы реже встречались с дядей Аполлоном. Словно авария, случившаяся с «Иваном-виллисом», отразилась на нашей дружбе. И никто уже не сообщал мне, идет ли в Будапеште дождь или светит солнце, а озеро Балатон уплыло и растворилось в далеком прошлом.

А тут мы с мамой отправились на вокзал встречать тетю Иру. В нашем городе все поезда проходные, стоянка две минуты. И мы едва успели высадить полную, страдающую одышкой тетю Иру с ее бесчисленными вещами.

— Слава богу, доехала!

Тете Ире было жарко, и она расстегнула пальто. А мама все уговаривала ее застегнуться, потому что еще не лето.

И тут тетя Ира крикнула:

— Носильщик!

Неожиданно пред нами предстал дядя Аполлон. В белом фартуке, в железнодорожной фуражке, которая едва держалась на его большой голове. Он катил тележку, которая рядом с ним, огромным, казалась игрушечной.

Дядя Аполлон погрузил все тетины пожитки, а на меня даже не взглянул.

Он легко покати́л по перрону тележку, а я пошел рядом с ним и тихо предложил:

— Можно помогу?

Дядя Аполлон ничего не ответил, даже не посмотрел в мою сторону.

Тогда на вокзале он как бы вообще не признал меня. Только когда мы подошли к автобусу и тетя Ира протянула ему деньги, он коротко сказал:

— С друзей денег не беру.

И покати́л пустую тележку обратно.

Я вдруг почувствовал себя никчемным человеком. Я все думаю, переживаю за «Ивана-виллиса», за Командира, а бывший старшина катит свою тележку.

Вечером я спустился к дяде Аполлону. На мой стук никто не отозвался. Я постоял у закрытой двери, а потом вышел из дома и побрел в темноту. Накрапывал дождь. Ноги скользили по траве. Но я упрямо спускался по косогору к озеру. Неожиданно в темноте возникли очертания разбитой машины. «Иван-виллис» стоял, уткнувшись сплюснутым радиатором в темный ствол вяза. Вода стекала с разбитого крыла, с брезентового верха, а единственная уцелевшая фара холодно мерцала, отражая свет далекого фонаря. Вид у «Ивана-виллиса» был такой несчастный, что у меня сжалось сердце. Даже покупателю с малиновыми ушами он оказался не нужен. В какой-то момент мне показалось, что «Иван-виллис» только что вернулся с войны и это «две мины», которые легли рядом, так искалечили его.

Я положил руку на тонкую баранку руля. Она была мокрой и холодной. Но постепенно от моей ладони баранка потеплела.

Когда теперь, много лет спустя, я вспоминаю тот дождливый вечер, у меня начинает щемить сердце. Тогда все отказались от старой машины — всему приходит конец, рассуждали они. И только я был полон решимости

постоять за «Ивана-виллиса». Словно любовь к нему старых солдат влилась в меня и ожила с новой силой. Я решил действовать. Ведь я человек, а не белиберда!

В школе, в актовом зале, шел сбор дружины. Говорили о металлоломе — если соберем еще триста килограммов, то выйдем на первое место в городе. Все хлопали.

И тут я встал. До сих пор не могу понять, какая сила подбросила меня, и я встал.

— Что тебе, Валера? — спросила вожатая.

— Хочу сказать.

— Давай, только покороче. — Вожатая посмотрела на маленькие часики и объявила: — Слово имеет Валера Елкин.

Я зашагал к сцене. Когда поднимался по лесенке, то от волнения споткнулся — ребята захихикали. Я вышел на сцену и замер.

— Давай, Валера, не тни время. — Вожатая снова посмотрела на часы.

Тут я вздохнул поглубже и сказал:

— А в Будапеште идут дожди.

Ребята засмеялись. Вожатая поморщилась:

— Ты это хотел сказать?

— Нет... Я хочу сказать про наш музей... В седьмой школе есть пушка «сорокапятка», а у нас — две ржавых каски и штык... Но для нашего музея есть боевая техника... «Иван-виллис».

В зале засмеялись. Кто-то крикнул:

— Развалюха.

Кто-то тут же предложил:

— Сдадим в металлолом — займем первое место!

Но я не слушал их. Теперь я уже не говорил, а выкрикивал:

— Он освобождал Будапешт!.. Он спас командира на Балатоне... — И тут я как бы захлебнулся и заговорил тихо: — Фашисты не смогли разбить полк. Его разбило

время... Но живы командир и старшина Голуб... А из всей боевой техники — «Иван-виллис»... Он не развалюха! Он память о Великой Отечественной...

Я замолчал. В зале было тихо, как будто все ушли.

Весь дом уже знал, что «Ивана-виллиса» берут в школьный музей Великой Отечественной войны. И все радовались, что судьба боевой машины сложилась наконец так удачно. Только наш управдом молча глядел в землю, и было непонятно, что у него на душе.

А тем временем к нашему дому подъехал самосвал и кран, похожий на жирафа. Осторожно опустил тяжелый крюк — перевернутый знак вопроса, — подхватил стальные стропы, которыми был перевязан автомобиль. Стрелы потянулись, что-то хрустнуло, звякнуло внутри, и «Иван-виллис» медленно поднялся над пожелтевшими кустами и полетел над землей.

Дядя Аполлон бегал внизу и, задрав голову, что-то кричал крановщику. Он был так встревожен, что не замечал знакомых, а когда «Иван-виллис» поплыл по воздуху, фронтовой шофер затаил дыхание и все боялся, как бы автомобиль не упал. Тогда уже не соберешь косточек!

Когда же старая машина в свободном полете, описав дугу, опустилась в кузове самосвала, дядя Аполлон занял свое место за рулем.

Стоял ясный, солнечный день. По городу медленно ехал самосвал и вез в кузове фронтовой автомобиль. А казалось, «Иван-виллис» двигается своим ходом, просто он неожиданно вырос и стал ровень со вторым этажом.

Когда он проезжал мимо белого дома с зеленой крышей, в открытом окне стоял Командир, двумя руками напряженно опираясь на палку. Сизые волосы неровно спадали на лоб, а глаза блестели, словно в них накапливались слезы. И складки у рта стали глубже. Из последних

сил он поднялся на больные ноги, чтобы принять последний парад.

А дядя Аполлон сидел в кабине своего «Ивана-виллиса» и внимательно смотрел на дорогу. Его большие руки тяжело лежали на тонкой баранке руля.

Я недолюбливаю вокзалы, словно они единственные виновники всех расставаний. А как часто на их мокрых, продувных платформах люди расстаются навсегда.

Дядя Аполлон уезжал из нашего города на другой день после того, как решилась судьба «Ивана-виллиса». Мы вдвоем тащили до вокзала его старый потертый чемодан. Чемодан был полупустой и, когда мы надавливали на него с двух сторон, тяжело вздыхал, как кузнечный мех.

— Был бы у нас «Иван-виллис», не пришлось бы тащиться через весь город, — временами ворчал дядя Аполлон.

Обидно было ему: приехал на собственной машине, а уезжал на поезде.

На вокзале к нам присоединился Командир. Так мы и стояли втроем, молча поджидая поезд.

И надо же было такому случиться — на платформе вокзала вдруг появился наш управдом. Я узнал его по волчьей походке и подумал, что он забрел сюда случайно, но Пиксида шагал прямо к нам.

— Здравствуйте! — произнес он глухим голосом.

— Здравствуй, — ответил сухо Командир.

— Это наш управдом, — пояснил я, чтобы сгладить неловкость от неожиданной встречи.

— Интендант? — спросил Командир.

— Никак нет, — возразил Пушкевич, — санинструктор штурмового батальона.

Управдом — санинструктор? От удивления у меня округлились глаза, а дядя Аполлон приоткрыл рот.

— Ишь ты! — воскликнул Командир. — И живой?

— Живой, товарищ майор, — доложил он и поднял голову.

Я впервые увидел его глаза — маленькие, темные, йодистого цвета.

— Я, собственно, к вам, товарищ майор, — продолжал управдом. — Слышал, у вас с ногами не ладится?

— Ну?! — Командир сдвинул на затылок фуражку и вызывающе посмотрел на Пушкевича.

— Могу попытаться вылечить.

— Ты спятил, санинструктор! Да меня три профессора, три светила... — воскликнул Командир и неожиданно замолчал, так и не договорив про трех светил, которые пытались его вылечить. В нем, в старом солдате, вдруг проснулась далекая безграничная вера в могущество фронтового зскулара, который спас стольких раненых, обреченных, что ему любой недуг теперь по плечу. И в сердце Командира бывший санинструктор штурмового батальона затмил всех профессоров. — А что ты думаешь, — сказал он, повернувшись к дяде Аполлону, — надо попробовать.

— Разумно, — пробормотал дядя Аполлон, все еще находясь под впечатлением неожиданного открытия.

— Я троих человек на ноги поставил. — Бывший санинструктор опустил глаза. — У меня есть дедовский рецепт. Сперва на себе испробовал. Потом на людях. Вы мне адресок оставьте, зайду погляжу ваши ноги.

И, наспех записав адрес, он зашагал прочь, не желая мешать расставанию близких людей. И долго еще его сутулая спина раскачивалась на перроне.

— Вот тебе и Пиксида! — тихо сказал дядя Аполлон, глядя вслед уходящему управдому. — Может быть, и вылечит.

Подошел поезд. Прогремели и остановились вагоны.

— Ну, прощай, Голуб! — сказал Командир. — Когда еще увидимся!

— Увидимся... если не возражаете. Жизнь, как земля, круглая. Рано или поздно повернется лицом к человеку, — успокоил его дядя Аполлон.

Они обнялись и долго не выпускали друг друга из крепких прощальных объятий.

Потом дядя Аполлон потрепал меня по плечу и то ли в шутку, то ли всерьез сказал:

— Остаешься за меня, Валера!

Подхватил чемодан и поставил свою огромную ногу на подножку вагона.

Поезд тронулся, поплыл вдоль перрона. А дядя Аполлон стоял в дверях боком, потому что проем был тесен ему. Чемодан, как верный пес, прижался к его ноге. Глаза бывшего старшины неотрывно смотрели на нас. А остатки бурых, выющихся волос венком лежали на большой, тяжелой голове.

И на груди его сияла медаль за город Будапешт.



КОМАНДИР РОТЫ

Когда Корзинкин прибыл в редакцию армейской газеты, он был похож на большого растерянного птенца, который залетел не в свое гнездо. Сходство с птенцом ему придавали маленькие живые глаза, длинная худая шея и не по росту короткая шинель — рябенькая, отдающая в рыжину. В редакцию он приехал прямо из дома, с Малой Дмитровки, и от него еще пахло московской квартирой. Даже шинель и грубые кирзовые сапоги не могли скрыть в нем глубоко гражданского человека. Вместо «есть» он говорил «хорошо», вместо «здравия желаю» — «доброе утро», поворачивался через правое плечо, а честь отдавал растопыренной пятерней. Товарищи по редакции подтрунивали над ним, хотя эта не выслуженная и не выжиженная войной домовитость будила в них щемящее чувство.

Но не только внешностью напоминал Корзинкин птенца. Была в нем какая-то неотвратимая птичья жажда действия. Он, казалось, только ждал удобного случая, чтобы оторваться от ветки и полететь. А там что получится!..

В разгар боев под Москвой редактор послал Корзинкина на передний край за материалом.

— Будьте осторожны! — напутствовал он молодого сотрудника. — Пуля — дура, она может не разобраться, что вы не строевой капитан, а интендант третьего ранга.

— Хорошо, — ответил Корзинкин и, вместо того чтобы откозырять, протянул редактору руку для прощания.

Редактор усмехнулся, но руку Корзинкину подал.

Три редакционных вагончика, над которыми длинными вымпелами бились три серых дымка, исчезли за елями, и в лицо корреспонденту пахнуло ледяным духом промерзшего леса.

За свою корреспондентскую жизнь Корзинкин часто уезжал в неведомые края. Его жгло солнце, заедал гнус, до косточки мочили дожди, на зубах хрустел песок. И ко всему этому он относился спокойно и безропотно и вспоминал об этом даже с некоторой теплотой.

Что ждало его сегодня там, где шла какая-то таинственная и страшная работа, с огнем и ударами, с грохотом и криками раненых?.. Близкий гул артиллерийской подготовки толчками отдавался в груди. И казалось, что небо гудит и трескается, и в низких пепельных тучах возникали и гасли тревожные всполохи. И все приближалось, нарастало, становилось реальностью, но не отпугивало, а тянуло к себе. Корзинкина, как человека, очутившегося на вышке, начинает мучительно тянуть вниз. На пути корреспондента вырастали остовы сожженных машин, черные от копоти танки, огневые позиции тяжелых батарей. Все это как-то странно перемешивалось с вымершими и вымерзшими подмосковными дачными поселками. Корзинкин шел по местам своего детства, по трассам комсомольских лыжных кроссов, по полям подшефных колхозов. И незнакомое горькое чувство подступало к горлу.

Корзинкин ушел на рассвете, а вечером его, раненого, принесли в редакционный вагончик на шинели, но

это был уже совсем другой Корзинкин. Его лицо было бескровным, и он никак не мог справиться с колотящим ознобом. Его положили на топчан. Спросили, что с ним. Он ответил:

— Холодно!

Корзинкина накрыли двумя тулупами, подбросили угля в маленькую «буржуйку», которая и без того была раскалена. Он никак не мог согреться. Видимо, холод исходил не от ледяного ветра, колкого снега и промерзшей глины, откуда его принесли, а рождался где-то внутри его самого. Он был ранен в плечо. Потерял много крови. И пережил нечто такое, после чего в человеке рушатся все его привычные представления о жизни и смерти.

В редакции было тихо. Только из соседнего вагончика доносилось ритмичное уханье «американки», которая как блины пекла листовки: хлоп, хлоп, хлоп! То, что Корзинкин вернулся с переднего края раненый, не смогло нарушить обычную жизнь редакции: газета есть газета, ее надо выпускать, что бы ни случилось. По-прежнему дверь в вагончике открывалась и закрывалась. У печки, на спинке стула, как выстиранное белье, сушились мокрые оттиски полос. Пахло горящим углем и типографской краской. Правда, все говорили вполголоса и бросали сочувственные взгляды в сторону топчана, где лежал раненый товарищ. И каждый невольно думал, что и с ним может случиться такое, а может быть, и похуже...

Газету задерживала первая полоса. Ждали какого-то приказа. Несколько раз Корзинкин подзывал товарищей, просил записать его материал, несвязно бормотал насчет какого-то Волчьего логга... Товарищи успокаивали его — номер почти готов; завтра на свежую голову он продиктует свои сто строк, а пока надо лежать спокойно, врач скоро прибудет.

Вот он и лежал спокойно. И только память его металась, лихорадочно работала, возвращала его к Волчьему

логу, и перед ним возникал носатый майор в разодранном тулупе, с автоматом на шее. Он попался Корзинкину на пути в штаб полка и грубо остановил его:

— Из какой части?

— Я из редакции... Здравствуйте.

— Тьфу, черт! — Майор выругался, сплюнул на снег и хотел было идти дальше, но, что-то прикинув в уме, сказал: — Понимаешь, какое дело, интендант. Рота осталась без командира!

— Понимаю, — отозвался Корзинкин. — Очень жаль...

— Выручи, а? В роте-то всего семь человек. Соглашайся, редакция!

Корзинкин молчал. Потом наклонился к майору и доверительно сказал:

— Я... понимаете... никогда этим делом...

Майор не дал ему договорить.

— Не имеет значения! — сказал он. — Когда с бойцами командир, они чувствуют себя увереннее. А что делать, они сами знают. Ребята стреляные. Да вот они, посмотри! Богатыри!

Корзинкин огляделся и увидел роту.

Бойцы стояли на снегу усталые, серые, с ввалившимися глазами. Шинели были местами прожжены огнем, к сапогам темными наростами намерзла окаменевшая глина. Строй был какой-то жидкий, лишенный всякого ранжира, но на лицах бойцов можно было прочесть, что они переболели всеми страхами войны и их уже ничем не возьмешь.

— Соглашайся! Нет времени на раздумья!

— Понимаете... я с удовольствием... Не знаю, что получится, — бормотал Корзинкин.

— Получится! — отрезал майор. — Здесь немцы не должны пройти. И все!

Корзинкин махнул рукой и отвернулся: не отвяжешься от этого носатого! Он подумал: «Хорошо, что рота маленькая!» Ему и в голову не пришло, отчего рота маленькая.

Майор вскочил на подножку «эмки», измазанной белой краской, и умчался в сторону леса. Только оставшись с этими незнакомыми людьми наедине, Корзинкин понял, какую ответственность он принял на себя. Если бы он оставался просто бойцом, даром что на петлицах медное колесико и щипала интенданта третьего ранга! Корзинкин опасно поднял глаза. На него испытующе смотрели все семеро красноармейцев. И ему показалось, что у всех у них одинаковые глаза. Их было семеро, но они были ротой, и у них был свой ротный командир — Корзинкин. Это солдатское чувство передалось Корзинкину, и ему захотелось, подражая настоящим командирам, гаркнуть: «Равняйся! Смирно!» Но он молчал, потому что это для него пока было недостижимым.

В это время длинный худой боец со впалыми щеками подошел к Корзинкину:

— Будем рыть щели, товарищ командир?

— Да, да, — поспешно согласился Корзинкин и с благодарностью посмотрел на бойца. — Как ваша фамилия?

— Ткаченко, — представился боец и крикнул: — Пошли, ребята!

Семь лопат со звоном застучали по промерзшей земле.

Этот стук со звоном сейчас отдавался в ушах раненого Корзинкина. Он доносился совсем из другой жизни, не имеющей отношения к редакционному вагончику с «буржуйкой», мокрыми отпечатками полос и запахом типографской краски.

Еще до начала боя, когда «большие саперные» вгрызались в каменистую землю, Корзинкин сделал для себя удивительное открытие: он хорошо знал это место, жил неподалеку на даче с бабушкой, а в самом лого играл с ребятами в казаки-разбойники. Тогда в склонах лога ребята рыли пещеры, в которых даже в жару тянуло пронизывающим холодом... Теперь они тоже роют — только не пещеры, а узкие щели, чтобы спастись от гусениц немецких танков.

Откровенно говоря, Корзинкин не очень-то представлял себе реальность появления танков. И не очень-то верил, что тихий Волчий лог — место его детских игр — может стать полем боя, с грохотом выстрелов, с кровью на снегу.

— Товарищ командир, может быть, один окопчик вынести вперед? — вдруг предложил невысокий плотный боец с черными бровями, сросшимися на переносице. И, чтобы пояснить свою мысль, добавил: — Если пойдут танки, чтобы пропустить, а потом бросить бутылку в моторную группу...

— Правильно, — согласился Корзинкин, — будьте любезны...

Это мирное «будьте любезны» вдруг резануло самого Корзинкина, и он, собравши всю строгость, на какую только был способен, сказал:

— Рыть... впереди...

— Есть!

— Как ваша фамилия?

— Прокофьев.

Корзинкин спрашивал фамилию бойцов скорее по своей корреспондентской привычке, чем по обязанности командира знать бойцов своей роты. «Надо будет записать», — подумал Корзинкин, но тут почувствовал, что неловко вынимать блокнот и записывать.

— Мы с Мишей Спириным на пару, — сказал Прокофьев.

— Да, да, — согласился Корзинкин.

Стуча зубами от непроходящего озноба, Корзинкин лежал под двумя тулупами и мучительно думал, как он опишет свой первый бой. Получалась какая-то невнятная картина, совсем не похожая на то, как описывают бои в книгах и в корреспонденциях. В самом появлении врагов не было ничего похожего на войну. Просто по дороге шли человек двадцать в белых халатах. Они шли не в ногу, как-

то растянуто. Это могли быть и наши... И вдруг за спиной Корзинкина мальчишеский голос произнес:

— Немцы!

Корзинкин оглянулся и увидел голубоглазого бойца, которого все в роте называли Володечкой. В его глазах не было ни испуга, ни удивления, только настороженность.

И тогда Корзинкин, командир роты Корзинкин, сказал, потому что не умел командовать:

— В окопы! Будем стрелять!..

И вынул из кобуры тяжелый черный пистолет ТТ. И оттого, что в его руке впервые появилось оружие, простое, гражданское слово обрело силу грозной военной команды.

Потом раздалась пулеметная очередь, и строй как-то надломился, сжался, стал ниже. И вдруг белые халаты обрушили на роту прерывистые грохочущие огни. И Корзинкин услышал совсем рядом какой-то совсем детский вскрик Володечки:

— Мамочка моя...

От этого крика что-то на мгновение оборвалось в сердце Корзинкина. Но потом сердце сразу почерствело. Корзинкин прицелился в бегущего немца и выстрелил. Немец сломался и завалился на бок.

— Мамочка моя, — повторил Корзинкин последние слова Володечки и снова выстрелил. — Мамочка моя...

Белых халатов становилось все меньше. Они падали и сливались с снежной целиной, как бы растворяясь в ней. Враг стал отходить. Утихли выстрелы. Послышался стон раненного в ногу Прокофьева. Под отвесной стеной лога, как спящий, с закрытыми глазами лежал Володечка. Над ним ссутулился худой Ткаченко.

— Товарищ командир, — сказал он, — если будете писать в газету про Володечку, напишите, что у него были золотые кудри. Как у Есенина. Но их состригли под машинку.

Хмурым боец со шрамом на щеке надрывно произнес:

— Поставили нас на верную смерть.

И тогда Корзинкин, тихий Корзинкин с Малой Дмитровки, заорал:

— Молчать!

Он не узнал своего голоса. Ему даже показалось, что это не он, а решительный носатый майор в рваном полушубке заорал: «Молчать!» Вот и все, что мог Корзинкин рассказать самому себе о первом бое.

Немцы еще дважды атаковали Волчий лог. От осколка гранаты погиб молчаливый Каханов. Был ранен в голову Ильин. Вот тебе и казаки-разбойники! Носатый майор не появлялся, не приводил подкрепления, не приносил боеприпасов, не подбрасывал ведро с пшенной кашей. Может быть, он сам погиб в бою? А кроме него, никто не знает, что есть такой Волчий лог и что его обороняет рота. Маленькая рота. Можно сказать, крохотная. Но если ее сомнут, откроется дорога на Москву, на Малую Дмитровку, где в желтом двухэтажном доме живут мама, тетя Лиза и сестра Лелька.

Самый страшный бой был впереди. Разве можно спокойно лежать на топчане и не написать о нем в газету? Сейчас же! Левой рукой, раз правой не пошевелить. Корзинкину подумалось, что он не сотрудник газеты, а собственный корреспондент роты, послан своими ребятами в редакцию, чтобы написать о погибших. Нельзя же, чтобы человек погибал бесславно!

Корзинкину вдруг стало жарко. Он приподнялся на локте и сбросил на пол тяжелые тулупы. Вычитывающий полосу сотрудник подбежал к нему:

— Что с вами?

— Ничего, — хрипло сказал Корзинкин. — Надо продиктовать материал... в номер... Волчий лог... В бою геройски погибли... Пишите, пишите, пожалуйста...

Корзинкин, обессиленный, упал на топчан. Он не слышал, как его накрыли тулупом, предложили воды, посоветовали

товали уснуть. Он снова был там. Он слышал звук непрерывный, нарастающий, как грохот камнедробилки. Он почувствовал запах, похожий на запах примуса. И в шершавых нитях снега блеснул круглый свет фары. Круглый, как шаровая молния, что ли... Он услышал знакомый голос Ткаченко: «Танки». Теперь в памяти время как бы растягивалось, и можно было подумать и рассудить. Корзинкин вспомнил, как в начале дня, когда еще рыли щели, хмурый боец со шрамом, не видя его поблизости, сказал: «Командир-то у нас липовый!» Тогда Володечка заткнул ему рот рукавицей: «Молчи!» А Корзинкин слышал, и горячий липкий стыд обволокло его. Еще когда появились танки, он вспомнил майора, который уговаривал его принять командование ротой: «Соглашайся! Нет времени на раздумье!» Да, он, Корзинкин, всю жизнь был репортером, мотался по белу свету с блокнотом, но так и не научился командовать. И сейчас, когда камнедробилка приближалась и шаровая молния плясала над белой дорогой, он не знал, какую команду надо подать своим бойцам, своей роте. И подал команду самому себе: встать, прижаться к отвесной скале Волчьего лога, пропустить первый танк и потом — бутылки... в моторную группу...

Рота укрылась в щелях. И когда танк был совсем близко, худой Ткаченко поднялся и достал из брезентовой сумки две бутылки с горючей смесью, но Корзинкин крикнул:

— Стой! — И с силой — откуда только явилась сила! — сбил солдата с ног. — Я сам!..

И, сжав две бутылки с горючей смесью, прижался спиной к отвесной стене лога. Танк приближался. Он поднимал тучу морозной пыли, и от него пахло примусом. Желтая фара ударила в глаза, на мгновение ослепила, сковала движения. Корзинкин сильнее прижался спиной к стене. И ему показалось, что он прирос к ней лопатками и не сможет оторваться, а танк пройдет мимо, и больше никто его не остановит до самой Малой Дмитровки, до двухэтажного

желтого дома. Ядовитый выхлоп ударил Корзинкину в нос. На снегу блеснули две вафельные ленты — след от гусениц. И тут Корзинкин оторвался от стены, сделал несколько прыжков вслед за танком и одну за другой швырнул две бутылки с горючей жидкостью. Потом обо что-то споткнулся и упал. Но, падая, увидел, что лог осветило пламя горящего танка. Оно плясало на броне, соскальзывало и снова забиралось, обволакивая танк чающим жаром.

Второй танк дал пулеметную очередь. И Корзинкину обожгло плечо. И он затих на комьях глины у свежерытого окопа... Очнулся же от крика Ткаченко:

— Наши танки подходят! Командир... вы что, ранены?

Дальше он ничего не помнил. Только бесконечный, радостный грохот наших танков. Он замирал и нарастал с новой силой, и в этом захватывающем звучании не было ничего похожего на немецкий, бессмысленный звук камнедробилки. Танковый рокот тянулся ласковым бинтом. Он клал виток за витком на рану Корзинкина, грел окоченевшие руки, пальцы ног. Корзинкин собрался с силами и встал, но земля начала проваливаться, и он упал бы снова, если бы его не поддержали Ткаченко и Миша Спиров...

И вот он лежит на топчане в редакционном вагончике и старается уловить этот звук... Но вместо радостного танкового рокота слышно размеренное уханье «американки» в соседнем вагончике.

Потом Корзинкин услышал знакомые шаркающие шаги. Приоткрыл глаза. Перед ним стоял редактор.

— Корзинкин, как вы?

— Хорошо, — пересохшими губами ответил раненый корреспондент.

— Вы ничего не знаете о Волчьем логе?

— Я был там...

— Что же вы молчали? Звонили из политотдела. Приказано дать материал о героях Волчьего лога... Рассказывайте, рассказывайте. Там, говорят, одна рота...

— Одна, — тихо подтвердил Корзинкин, — семь бойцов.

— Может быть, вы что-нибудь путаете? — Редактор наклонился к Корзинкину. — Рота — семь бойцов?

— Я не путаю, — твердо сказал Корзинкин. — Сделайте одолжение, записывайте... Подбито два танка... Уничтожены пятьдесят гитлеровцев... Рубеж удержали до подхода наших танков...

— Вооружение? — спросил редактор.

— Какое там вооружение! — отозвался Корзинкин. — Бутылки с горючей смесью. Гранаты. Был ручной пулемет, да патроны скоро кончились. Запишите фамилии бойцов: Ткаченко, Миша Спиров, Ильин, Прокофьев, Кахансз. Еще там был Володечка... его так все звали. Голубоглазый, кудри остригли...

— Какие кудри? — спросил редактор. — Фамилия его?

— У него не было фамилии. И еще один боец. Хмурый. Я с ним не успел познакомиться. Трое погибло в бою. Двое ранено... Двое остались в строю...

— Хорошо, — сказал редактор, — мы дадим заметку в номер. Политотдел требует. Как фамилия командира роты?

Корзинкин открыл глаза и посмотрел на редактора:

— Я не знаю его фамилии.

— Не запомнили? Надо записывать, — проворчал редактор. — Всех бойцов запомнили, а командира... В следующий раз сразу записывайте фамилию командира.

— Хорошо, — сказал Корзинкин. — Учту.

«Как это я, в самом деле, забыл спросить у ребят фамилию командира роты?» — с досадой подумал Корзинкин.

В вагончике было тихо. Только сквозь тонкую стенку было слышно, как в походной типографии ритмично ухает «американка». А где-то за лесом в такт ей ухали орудия наступающей армии.



ЗИМОРОДОК ● БАЛЕРИНА ПОЛИТОТДЕЛА ●
ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО? ●
ТРАВЕСТИ ● ГОНЕНИЕ НА РЫЖИХ ● ПО-
ГОНЩИК СЛОНА

Ветер раздувал купол парашюта, и натянутые стропы волокли бойца по мокрой траве. Парашют был похож на парусный корабль, который буря выкинула на берег. Попробовал встать. Сделал шаг — левая нога подломилась и стала проваливаться в землю. Он снова упал.

Ночь шла на убыль. Край неба позеленел, и звезды померкли, растворились в зеленом свечении востока. Но на западе небо было еще темным, и звезды стояли на своих местах.

Он стал подтягивать купол парашюта. Стропы натянулись сильнее. Парашют упирался. Вздрагивал. Вырывался из рук. Они довольно долго боролись — человек и парашют. Наконец бойцу удалось подмять под себя шелковый купол. Он перевел дух и стал закидывать парашют валежником и камнями. Он ползал на коленях и собирал все, что попадалось под руки, чтобы замаскировать парашют.

На бойце был пиджак, застегнутый на три пуговицы. Брюки и ботинки тоже гражданские. Еще при нем был мешок, перевязанный веревкой. Когда с парашютом все было покончено, боец снова попробовал встать. На этот раз осторожно, с опаской. Острая боль подкашивала ногу. Вероятно, где-то в ступне был вывих. Он попрыгал на одной ноге, нашел палку. С палкой дело пошло лучше. Поднял с земли мешок и медленно двинулся вперед.

Вдалеке, между стволами деревьев, стальной полоской поблескивала река. И виднелись фермы железнодорожного моста.

В сплетениях металла была какая-то нереальная легкость. Но с каждым шагом мост приближался и становился все громаднее и тяжелее. И боль в ноге усиливалась, словно зависела от приближения моста.

Минут через пятнадцать он обессилел от боли и тяжелой ноши и упал в траву. От крупной росы пиджак его вымок. Одна пуговица оторвалась.

Так он долго шел и падал, шел и падал... И мост надвигался на него с неотвратимой силой.

Спустя много лет после войны мальчишки со станции Река нашли в лесу странный полуистлевший предмет. Они долго перебирали его, очищали от земли, тянули в разные стороны, пока наконец не сообразили, что это парашют. Лямки и стропы сохранились хорошо, а купол местами истлел.

Ребята не знали, что делать с парашютом. Им никогда не доводилось играть с такой огромной вещью. Они принялись бегать по лужайке и тащили парашют за собой. Было безветренно, и купол не отрывался от земли, а волочился, приминая траву.

Ребята со станции Река долго ломали голову, к чему бы им приспособить старый парашют.

На уроке зоологии в классе завелась кукушка. Она перелетала с парты на парту и подавала голос:

— Ку-ку. Ку-ку.

Мало того что кукушка меняла место, она меняла и голос. Ее голос звучал то густо, раскатисто, то пискливо, еле слышно. Может быть, в классе завелось несколько кукушек?

На самом деле кукушка была одна. Она никуда не летала и не куковала на разные лады, а неподвижно сидела на учительском столе — рябенькая, желтоглазая, с вытянутым хвостом. Она была чучелом.

Куковали птицы бескрылые, бесперые, с пальцами в чернильных пятнах, в куртках с потертыми локтями. Они играли с учителем в «кукушку». Они навязали ему эту игру, в которой победить могли только его выдержка и терпение.

— Ку-ку.

Учитель увидел, как жиденькая челка девочки мелькнула и скрылась за спиной сидящего впереди. Он узнал ее голос — низкий, с едва заметной хрипотцой. Через мгновение девочка вынырнула и смотрела на учителя как ни в чем не бывало. Ее глаза весело горели. Учитель поморщился и сказал:

— Зоя Загородько, встань!

Девочка неохотно поднялась и поправила челку.

— Я не куковала.

И весь класс загудел:

— Она не куковала.

Учитель сделал вид, что он не слышит ни дерзкой кукушки, ни гула, он продолжал рассказ:

— Напоминаю, что внутренние опахала первостепенных маховых крыльев у кукушки одинаковые, без белого или зубчатого рисунка. — Учитель рассказывал и ходил по

рядом, заложив руки за спину, при этом голова его слегка наклонена вперед. — Крайние перья — с крупными белыми пятнами на вершинах...

В это время совсем рядом за спиной учителя прозвучало густое «ду-ду».

Учитель прервал свой рассказ и, не поворачивая головы, сказал:

— Василь, ты неправильно кукуешь. Впрочем, существует кукушка, которая, как угод, издает звук «ду-ду». Она называется — глухая кукушка.

В классе раздался смех. Кто-то крикнул:

— Глухая кукушка!

Василь был сражен. Он заерзал на парте. Уши покраснели, а верхняя губа поднялась домиком. Мальчик почувствовал, что к нему прилипнет прозвище «глухая кукушка». А Сергей Иванович — так звали учителя — даже не повернул головы, шел себе по проходу.

Он был невысокого роста. С массивной головой. Всклоченные волосы, темные, с частыми белыми нитями, с головы переходили на щеки и сливались с усами и бородой. В этой буйной растительности, закрывшей почти все лицо, поблескивали большие очки с задымленными стеклами. Голос у него был глухой, как бы доносившийся из глубины.

— Кстати, кроме глухой кукушки, в мире существует около ста видов: кукушка-отшельник, кукушка-подорожник, испанская кукушка, желтоклювая, изумрудная, траурная...

В это время на третьей парте поднялась рука.

— Что ты, Марат? — спросил учитель.

Скрипнула парта. Мальчик встал. Насмешливые карие глаза в упор смотрели на учителя, а широкие скулы — на каждой по шепотке веснушек — стали от улыбки еще шире. На мальчике был военный ремень, широкий, с медной пряжкой, и джинсы с изображением ковбоя на заднем кармане. Говорят, эти брюки вечные. Смотря для кого! Две

заплатки свидетельствовали, что и вечным приходит срок.

Борясь с улыбкой, Марат спросил:

— Сергей Иванович, какая птица начинается с «ка» и кончается на «ква»?

По классу прокатился смешок. Кто-то на задней парте прокуковал.

Учитель пристально посмотрел на мальчика и сухо сказал:

— Во-первых, на уроке надо слушать, а не решать кроссворды. Для кроссвордов можно найти более подходящее место. А во-вторых, надо не куковать, а крикать. Эта птица — кряква, утка кряква.

Марат замолчал. Урок продолжался, а Василь все ерзал на месте — «глухая кукушка» не давала ему покоя, и он думал, кому бы спихнуть это прозвище. Рядом с ним сидела тихая девочка в больших очках. Василь покосился на свою соседку, поднял руку и спросил:

— Сергей Иванович, а бывает... слепая кукушка?

Учитель пристально посмотрел на Василя и спокойно сказал:

— Слепой кукушки не бывает. Бывает еще фазанья, воробьиная, ящерная...

И тут учитель заметил, что Василь смотрит на свою соседку и его рот расплывается в недоброй улыбке, а на глазах у девочки блеснут слезы, увеличенные стеклами очков.

Учитель нахмурился. Молча прошелся по классу, держа за спиной руки. Потом остановился около Василя и то ли в шутку, то ли серьезно сказал:

— Советую тебе, Василь, выучить все виды. Потренируешь память и реже будешь задавать глупые вопросы. Очень полезно! А теперь, люди-человеки, займемся повторением домашних птиц. Напомню вам, что впервые дикие куры были приручены в Индии. Надеюсь, по этому случаю никто не будет кукарекать?

Если у вас неожиданно заведутся деньги и вам захочется пострелять, спросите любого мальчишку, и он приведет вас к большому серому дому, где в подворотне разместились стрелковый тир. Подворотня узкая и длинная, как тоннель. И выстрелы под ее сводами звучат не щелчками, а раскатисто и хлестко. Здесь, за железным прилавком, отполированным локтями, сидит огромная бабка и вяжет чулок. Гремят выстрелы, а она постукивает спицей о спицу. Время от времени бабка откладывает свое вязанье, берет в огромные красные руки духовое ружье и разламывает его легко, как прут. Заложит свинцовую пульку — стреляй!

Стреляй, если у тебя есть деньги. А если в кармане пусто, стой в сторонке и наблюдай, как стреляют другие. Только не приближайся к железному прилавку, который бабка называет огненным рубежом. Бабка молчаливая, разговаривать не любит, а дает волю своим ручищам.

Марат, Василь и Зоя Загородько шли мимо тира. Марат предложил:

— Зайдем!

— Зайдем, — согласился Василь.

Зоя Загородько хотела сказать, что она боится выстрелов, но промолчала и пошла за ребятами.

В тире болталось несколько мальчиков, а стрелял один взрослый. Седой. Хотя лето только приближалось, этот взрослый был уже обожжен солнцем. Лоб, скулы, впалые щеки были покрыты грубым, замешенным на ветру загаром, делавшим его похожим на краснокожего индейца, а белые волосы еще больше оттеняли загар. Стрелял он здорово. Без промаха. Мальчишки следили с открытыми ртами и после каждого удачного выстрела приговаривали:

— Во дает! Во дает!

Седой стрелял в мельницу, и сразу начинали вращаться крылья, — значит, попал. Брал на мушку самолет —

самолет, описав дугу, падал вниз. Закрывался шлагбаум. Гудел паровоз. Седой опустил ружье и стал высматривать, не осталось ли еще мишени. Ребята тоже искали мишень. И тут кто-то из мальчишек крикнул:

— Птица!

— Давай твою птицу, — сказал Седой и вскинул ружье.

Раздался выстрел — птица осталась сидеть на месте.

— Промазал! — радостно крикнули ребята.

— Мушку заваливаете, — с видом знатока сказал Марат.

— Мушку? — Седой оглянулся на Марата и протянул ему ружье. — Держи! Пробуй, не заваливая мушку.

Отступать было невозможно. Марат взял ружье, оперся локтями о прилавок и стал старательно целиться. Он чувствовал, что за ним наблюдают все посетители тира, и Седой, похожий на индейца, тоже не сводит с него глаз.

Хлопнул выстрел... Не улетела птица. Осталась сидеть на ветке. Марат молча опустил ружье.

— Мазила! — сказал кто-то.

Седой ничего не сказал. Он зарядил ружье и снова стал целиться — и промахнулся.

— Промазал! — радостно крикнули зрители.

— Что это еще за птица? — недоумевал Седой, разглядывая небольшую остроклювую птицу.

— Зимородок, — сказал Марат, и его насмешливые коричневые глаза заблестели.

— Есть такая птица — зимородок, — пояснил Василь.

— Есть такая, — согласился Седой, закуривая.

— Он долбит норку в крутом берегу. И бесстрашно ныряет за рыбой, — вмешалась в разговор Зоя Загородько. — Не верите?

— Верю, — ответил Седой.

И ребята заметили, что он задумался. Все рассматривал птичку и о чем-то думал. Бабка тоже обратила внимание на это и, не отрывая глаз от вязанья, пробасила:

— Птица не работает.

И застучала спицами.

— Зи-мо-ро-док, — растягивая слоги, тихо сказал Седой. Он не обратил внимания на слова старухи. — Я знал одного Зимородка. Котелок у него варил довольно странно.

— У какого зимородка варил странно? — спросила Зоя.

— У того, что нырял за рыбой, — ответил Седой и стал раскуривать погасшую папиросу. Потом он усмехнулся и сказал: — До сих пор не понимаю, как я согласился. По молодости лет. Будь я тогда седым стреляным воробьем, не стал бы связываться с этим Зимородком...

Папироска разгорелась, и память Седого оживала и тоже как бы разгоралась. И постепенно не стало тира. И сам Седой стал не седым, а темным, подстриженным под полубокс, с коротенькой челкой наискосок. На нем появился синий замасленный комбинезон, стянутый ремнем. А за спиной на ремне — кобура с пистолетом. Летный кожаный шлем болтался на руке, как подстреленная птица. А папироска была зажата в уголке рта...

И вместе с Седым ребята увидели небольшую полянку с кустиками по краям. В кустах самолетик с задранном носом, пятнистый, почти незаметный на фоне травы и листьев. Крылья как этажерка — в два ряда, по два крыла с каждой стороны. «Кукурузник». Летчик, тогда еще не седой, стоял, окруженный партизанами, и говорил:

— Я мог бы забросить вашего человека в район Нового моста, но, как вы понимаете, садиться там негде — кругом немцы. А парашюта у меня нет.

И тогда кто-то из бойцов сказал:

— У нас где-то был парашют. С прошлого года...

— Его, наверное, на бинты разрезали.

— Нет, валяется под нарами. Я подметал — видел.

— Не годится этот парашют. С ним человек разбился насмерть. Прыгнул, а парашют не раскрылся.

— Может быть, неправильно сложили? — сказал летчик. — Девчонки ведь складывают, а что у них на уме, у девчонок? Потом парашюты не раскрываются.

— Может быть, девчонки, а может быть, и не девчонки, — заметил командир. — А человек разбился. Кто с таким парашютом прыгать будет?

И тут вперед вышел парень, худой, хрупкий, совсем молоденький. В штатском пиджачке на трех пуговицах. Он вышел и говорит:

— Я... прыгну.

— Зимородок! Выдумал тоже, — зашумели партизаны. — Ты хоть парашют видел когда-нибудь? Ха-ха!

— Я прыгал... пять раз! — твердо сказал парень.

Командир вспыхнул.

— Нам смертники не нужны. Нам нужны живые бойцы. У нас нет такого инкубатора, который поставлял бы бойцов в нужном количестве.

— Я прыгну! — повторил Зимородок.

— Не разрепу.

— Так ведь выхода нет.

Командир задумался.

— Я дам тебе лошадь, — сказал он. — На лошади сидеть можешь?

Зимородок ничего не ответил.

Только через некоторое время он все же разыскал парашют, притащил его летчику. Отряхнул с шелкового купола хвою, землю и разложил на траве.

— Проверь, пожалуйста.

Летчик отбросил папироску и сказал:

— Посмотреть я могу. И складывать я умею. Нас учили. Но если есть в парашюте неисправность, я не замечу. Не знаю тонкостей.

Он опустился на колени и стал укладывать парашют, и Зимородок помогал ему, расправлял строны, придерживал купол, который от ветра поднимался и опадал, как живой.

— Ты только ничего не говори командиру,— попросил Зимородок.— На лошади я никуда не успею. А ты меня в два счета добросишь.

— Черт с тобой,— сказал летчик.

Перед самым вылетом, когда уже стемнело, Зимородок с помощью летчика стал надевать парашют. Летчик помогал ему подгонять лямки, а Зимородок старался все делать сам, но получалось у него все как-то неловко. На гражданском пиджачке ранец и лямки выглядели смешно, они как бы связывали парня по рукам и ногам.

Летчик помог Зимородку забраться в кабину. Подал ему мешок со взрывчаткой. И натянул на себя шлем. Загрохотал двигатель. Самолетик затрясло, залихорадило. Он сорвался с места и побежал по лужку. Потом сделал прыжок. И растворился в темноте леса и неба.

И тогда, уже в полете, Зимородок наклонился к летчику и потряс его за плечо.

— Послушай, что надо делать, чтобы парашют раскрылся?

— Ты же прыгал! — Летчик резко повернулся к своему пассажиру.

— Не прыгал я,— признался Зимородок.

— Что же ты голову морочишь? — закричал летчик.— Возвращаюсь!

— Не ори! Тише! Спокойствие! — Молодой партизан крепко сжал плечо летчика.— Договоримся тихо. Инструкцию помнишь?

— Помню,— опешил летчик.

— Говори по инструкции.

— Надо дернуть за кольцо. Это я и так помню.

Зимородок очень спокойно сказал:

— Вот и все... Вот и ладно...— Потом он затих, долго копался и снова спросил: — Что-то я не найду кольца.

— На передней лямке!..— из своей кабины закричал летчик.— Слушай, ну тебя к черту, я возвращаюсь!

— Не шуми. Я нашел кольцо. Я дерну.

Летчик был в полной растерянности. Он не знал, что ему делать, и громко, чтобы перекричать грохот двигателя, честил своего пассажира:

— Сдался ты на мою голову! Встречаются же такие зимородки!

— Встречаются же такие зимородки! — сказал Седой и вышел из тира.

Марат, Василь и Зоя Загородько немного еще потоптались у «огневого рубежа» и тоже вышли из тира. Седой шел сам по себе, а ребята сами по себе. Ничто их не связывало. Но какая-то невидимая ниточка продолжала тянуться от летчика к ребятам.

— Дурной какой-то Зимородок,— пробурчал Василь.

— Встречаются такие чудaki,— сказала Зоя Загородько.

Марат молчал, занятый своими мыслями: Зимородок будил в нем любопытство.

— Чудаков на свете много,— сказал он.— Но кто из-за своего чудачества станет рисковать жизнью? Ты рисковал жизнью? — вдруг спросил он Василя.

Тот замотал головой.

— А ты, Зоя Загородько!

— Я болела дифтеритом, и врачи говорили маме...

— Не то! — отрезал Марат.— Интересно, как этому Зимородку удалось прыгнуть?

— А он не прыгал,— с уверенностью сказал Василь.— Летчик привез его обратно, с таким хлопот не оберешься.

Но Марат пропустил слова друга мимо ушей.

— Как же он прыгнул?.. Подождите!

Марат неожиданно прибавил шаг. Среди проходящих он искал глазами Седого. Ребята потянулись за ним. Наконец на другой стороне показалась белая голова. Седой стоял на остановке, ждал автобуса.

Марат перебежал на другую сторону и подошел к бывшему летчику.

— Скажите, как он прыгнул... Зимородок?

Седой удивленно посмотрел на мальчика.

— Зимородок-то? — он усмехнулся. — Я сам толком не знаю. Мы попали под заградительный огонь. Вероятно, в этом месте наши бомбардировщики шли через фронт. Я лег на левое крыло, чтобы сделать вираж и вернуться. Зимородок вцепился мне в плечо: «Ты куда?» Я ему крикнул: «Отвяжись!» Тут снаряд разорвался совсем близко. Машину швырнуло в сторону. А когда наконец мне удалось прижаться к лесу и все стихло, я оглянулся — сзади никого не было. Улетел Зимородок.

— Как улетел? — спросил Марат.

— Не знаю... Может быть, когда я ему крикнул «отвяжись!», он отвязался от сиденья и выпрыгнул. А может быть, вывалился на крутом вираже. Мне было не до него.

— Ну да... не до него... — задумчиво повторил Марат.

В это время подошел автобус и увез Седого.

И когда автобус отъехал от остановки, Маратом овладел какое-то странное щемящее чувство, словно на этом пыльном городском автобусе уехал не случайный знакомый, Седой, а отчаянный парнишка по прозвищу Зимородок.

— Улетел Зимородок, — одними губами произнес Марат.

— Да ладно тебе! — Подоспевший Василь ткнул его в бок.

А Зоя Загородько потянула Марата за рукав.

— Но как он приземлился? — Марат сорвался с места и побежал за автобусом.

Главное было узнать, как он приземлился! Но автобус был уже далеко.

Марат остановился. Ребята догнали его.

— Надо будет разыскать Седого. Как это я упустил его?

Может быть, твой отец знает его? — спросил он у Зои Загородько. — Летчики все знают друг друга.

— Я спрошу, — пообещала Зоя.

И все трое пошли своей дорогой.

4

Уехал Седой. Улетел Зимородок. Течение времени подхватило троих одноклассников и понесло их дальше. И ничего в их жизни не изменилось. Но маленькое незаметное зернышко, обретенное бывшим летчиком, неожиданно проросло в сердце Марата. Зимородок как бы встал за его плечами, в пиджачке, изрядно помятом лямками парашюта, и глуховатым голосом спросил:

«Послушай, что надо сделать, чтобы парашют сработал?.. Я ни разу не прыгал... Куда запропастилось это кольцо?..»

Было в Зимородке что-то неокрепшее и даже беспомощное, и вместе с тем его поступками двигала отчаянная отвага. Ему было труднее, чем закаленным, опытным бойцам, но он надел парашют, снятый с мертвого солдата. Он делал свое военное дело, не задумываясь о том, что это может стоить ему жизни. А может быть, он, неумеха, просто не научился дорожить жизнью?

Сам того не замечая, Марат привязался к Зимородку, и между ними завязалась таинственная, никому не ведомая дружба. Теперь Марат все чаще искал ответа на вопрос: раскрылся парашют или был действительно неисправным? Был ли взорван мост? Жив Зимородок или погиб? На эти вопросы мог ответить только Седой.

Марат отправился в тир в надежде встретить летчика.

В тире шла своя раз и навсегда заведенная жизнь. Утром здесь редко звучали выстрелы. Днем поднималась беспорядочная стрельба — днем тир принадлежал ребятам. Сколько несъеденных завтраков обращалось здесь в ма-

ленькие свинцовые пульки, которые чаще летели «за молоко» и значительно реже со звоном ударялись в металлические кружочки, опуская шлагбаум и заставляя вертеться мельницу.

Вечером в тир приходили взрослые. Среди них было немало людей, которые в свое время держали в руках куда более грозное оружие и стреляли не по мишеням, а по врагу. Бывшие фронтовики заходили в тир проверить глаз и руку.

Марат перешагнул порог и подошел к «огневому рубежу». Бабка сидела неподвижно, как неживая, и только в ее толстых красных пальцах электрическими искорками вспыхивали кончики проворных спиц.

— Здравствуйте!

Бабка не ответила на приветствие.

— К вам не заходил такой... седой?

— Разные ходят. И седые и лысые. Стрелять не будешь? Тогда проходи, проходи...

— Мне он очень нужен.

Ничего не трогало бабку. Она окаменела. Ушла в свою работу.

— Мне надо узнать про Зимородка!

— Птица не работает. Птица на ремонте,— буркнула бабка.

Ничего она не поняла. Ничего не чувствовала, стеклянная, деревянная, оловянная, каменная!

Зимородок уходил от мальчика. Он растворялся во мгле далекой безвестности. Но чем больше он отдалялся, тем сильнее тянуло к нему Марата.

Неужели парашют не раскрылся?

Для того чтобы узнать о парашюте, надо узнать о Новом мосте. Потому что если мост был взорван, значит, парашют раскрылся.

В тире гремели выстрелы.

Друзья давно забыли о седом летчике и его рассказе.

Они как бы оставили Марата и Зимородка одних в тревожной безвестности. Марат решил пойти в музей. Это был слишком простой путь, но другого пока не было. По крайней мере, про мост там должны были знать...

В музее маленький чернявый человечек в золотых очках спросил Марата:

— Тебя интересует Новый мост? Новый мост на станции Река?

— Его должны были взорвать.

— Тебе это известно? — Чернявый человек наклонил голову набок.

— Был приказ: взорвать Новый мост.

— Это надо еще доказать. — Маленький человек сверкнул очками. — Подожди.

Он ушел куда-то, оставив мальчика в зале, уставленном старым оружием и другими предметами, которые в свое время были обыкновенными вещами, а теперь стали музейной редкостью. Марат рассматривал их, и ему казалось, что он чувствует тепло рук, которые касались оружия. Тепло не исчезло, хотя сами владельцы пистолетов и автоматов давно спят в холодной земле. Тепло было продолжением их жизни, их подвига. Может быть, под музейным стеклом хранится смятый пиджачок гражданского покроя...

Мальчик не заметил, как в зале снова появился чернявый.

— Новый мост был действительно взорван. Произошло это 23 августа 1943 года. Взрыв моста заморозил несколько фашистских эшелонов с горючим и боеприпасами. И обеспечил успешные действия нашей армии... А кто взорвал мост, не установлено.

— Мост взорвал Зимородок,— твердо сказал мальчик.

— Мы не располагаем такими данными. Возможно, действовала наша авиация...

— Авиация действовала,— сказал Марат. — «Кукурузник». Но взорвал мост Зимородок...

— Зимородок! Странная фамилия... Но это надо доказать!

Это надо еще доказать! А пока это еще не доказано, не существует ни Зимородка, ни его подвига, и то, что он полетел с парашютом, который мог не раскрыться, — ровным счетом ничего не значит. И то, что мост был взорван, тоже не в счет?!

Глаза Марата, насмешливые, коричневые глаза, сердито заблестели, и он спросил:

— Если имя не доказано, значит, подвиг совершен никем?

— Почему никем? — Человек в золотых очках сохранял спокойствие. — Незвестным солдатом.

— Когда солдаты уходили на войну, у них были имя и фамилия. Почему же, когда погибали за Родину, становились неизвестными? Это несправедливо! Мост был взорван! Его взорвал Зимородок.

Чернявый человек пожал плечами и, стуча каблуками, зашагал по залу, а мальчик стоял среди старых орудий и автоматов, и на него со стен смотрели портреты героев.

Но мост взорван — значит, парашют раскрылся, и жизнь Зимородка продлена на час, а может быть, на день. И теперь все в твоих руках: продлить его жизнь дальше или оборвать, потому что «это еще надо доказать».

— Главное, что парашют раскрылся, — сам себе сказал мальчик и медленно пошел к двери.

5

Друзья стояли на мосту втроем и, облокотясь на теплые от солнца деревянные перила, смотрели в воду. Вода двигалась. Ее струи, омывая опоры, завихрялись, образовывали водоворот.

Василь следил за игрой рыбы. Зоя Загородько щурила глаза, стараясь задержать ресницами солнечный зайчик,

который отрывался от воды и ударял в глаза. Марат видел тяжелые железные фермы, скрученные взрывом и выступающие из воды, как остов погибшего чудовища. Зимородок не знал, как раскрыть парашют, но он умел обращаться с толом. С тех пор много утекло воды — этой пахнущей глубинным холодом и травой. Воды и времени.

А что такое время? Станции! Мимо одних поезд уже промчался, до других еще не дошел. Но как быть, если тебе до разреза нужно вернуться на станцию, давно оставшуюся позади?

— Ты бы могла прыгнуть с моста в реку? — неожиданно спросил Василь Зою Загородько.

Девочка ответила не сразу.

— Я бы прыгнула, если бы надо было спасти маму.

— Привираешь, — сказал Василь. — Зачем прыгать с моста, когда можно побежать и нырнуть с берега.

— Зимородок не стал бы рассуждать, — сказал Марат. Василь тихо засмеялся.

— Потеха этот Зимородок. Седой выдумал его.

— Седой не врет, — твердо сказал Марат. — Кто стреляет без промаха, тот не врет. Кто врет — тот мажет. Мажет и врет.

— Я никогда не вру, а стрелять не умею, — призналась Зоя Загородько, поправляя жиденькую челку на смуглом лбу.

Но Марат не слушал ее, он смотрел на движущуюся воду. Рядом с ним стоял Зимородок. Он стоял, облокотясь на перила, и смотрел в воду. И от его присутствия в мальчике пробудилась какая-то незнакомая сила. Ему начинало казаться, что он стоит на том самом Новом мосту, который будет взорван. Но это надо еще доказать, для этого надо прыгнуть. Надо прыгнуть, как это ни страшно. Зимородку тоже было страшно, и он не знал, как действовать с парашютом. Как прыгать: «ласточкой» или «солдатином»?

Василь следил за игрой рыб. Зоя Загородько играла с

солнечным зайчиком. Они не заметили, как Марат скинул джинсы с ковбоем на заднем кармане и свернул улиткой широкий кожаный ремень. Только когда он оторвался от края моста и полетел навстречу бегущей воде, они увидели.

Марат стоял в воде и тяжело дышал. Вода текла по его широкому скулам, по шее, по плечам. Одной рукой он придерживал другую. Он был бледен. Веснушки исчезли с широких скул. Коричневые глаза смотрели куда-то вдаль: они улыбались его мыслям.

— Ты жив? — спросила Зоя Загородько, хотя своими глазами видела, что жив.

— Надо было «солдатиком», — запоздало посоветовал Василь.

— Молчи! — оборвала его Зоя Загородько. — Молчи. Все это глупости. Что у тебя с рукой?

— Не знаю, — ответил Марат.

Он смотрел на друзей, но был озабочен своими мыслями. Голова его гудела. И он еще испытывал холодящее ошеломление, которое началось с того мгновения, когда он оторвался от моста. Его слегка познабливало. Одна рука была тяжелее другой.

Марат вышел из воды и стал одеваться. Он вдруг затопился. Никак не мог попасть в штанину, смешно танцевал на одной ноге. От мокрой спины на рубашке выступили пятна. Отбитая рука не слушалась. И военный ремень он затянул одной рукой.

— Я поеду на станцию Река, — вдруг сказал он.

Ребята пожали плечами. Что за станция Река, для чего станция Река?

6

— Да, я работала на переезде, когда он взорвал мост. Он появился к утру. Сперва я услышала слабый свист. Как будто под окном пела иволга. Я выглянула. Он стоял под окном. За спиной — мешок.

Марат сидел на красшке табуретки и не сводил глаз с худой старухи. Лицо у нее было желтоватое, цвета подсолнечного масла, редкие волосы причесаны на пробор. Платок с поблекшими цветочками сполз с головы на спину и лег вокруг шеи, как пионерский галстук.

В маленькой комнате стояли кровать, стол, бадейка с водой. В углу — покрытый вышитой скатертью телевизор. Полы чистые, некрашенные, с полосатыми домоткаными половиками. За окном — железнодорожные пути.

— Он смотрел в окно. Я не знала, кто он и что ему надо. Не хотела отпирать. Но я баба, а он мужик. А мужики все ходили с оружием. Никакие запоры не помогали. Я спросила: «Чего тебе?» Он ответил: «Отопри». Я отперла.

Зимородок стоял в дверях в смятом пиджаке, с мешком, который оттягивал плечо и, стало быть, был очень тяжелым.

— Здравствуй, хозяйка, — сказал он тихо и опустил мешок на пол.

Его лица почти не было видно. Сторожка освещалась только слабой полоской занимающейся зари. Лица хозяйки тоже не было видно. Она забилась в темный угол.

— Здравствуй, хозяйка, — повторил он.

— Что тебе надо? — слышалось из темного угла. — Нет у меня ничего. Все, что было, забрали. Хочешь бульбы?

— У меня бульбы целый мешок, — сказал он. — Я в дорожке подвернул ногу. Нет ли у тебя тряпицы поплотней?

Хозяйка сторожки несколько осмелела. Вышла из своего темного угла. Зеленая зоря осветила краешек ее лица и светлую дорожку пробора. То, что незнакомец ничего не требовал, а просил перевязать ногу, успокоило ее. Она нашла тряпицу и почти скомандовала:

— Разувайся!

Он снял полуботинок. Штатский. Со сбитым каблуком.

Нога у него была чистой и не пахла прелой портянкой. Она положила под его ступню руку: ступня оказалась холодной, но на подъеме нога вспухла и горела.

— Больно?

— Ты бинтуй. Не церемонься.

Она стала осторожно накладывать виток за витком, а он морщился от боли и говорил:

— Крепче! Крепче! Мне ходить надо!

— Где это ты так ногу подвернул? — спросила она.

— Споткнулся на ровном месте, — ответил он и просвистел иволгой.

— Что ты за птица? — вздохнула хозяйка сторожки и посмотрела ему в лицо.

— Зимородок... Меня мама родила зимой в сани. С тех пор меня зовут Зимородком. Я мешок поставлю в угол?

Этот вопрос означал совершенно другое: «Я у вас останусь?»

— Ставь, — сдержанно ответила хозяйка, и ее ответ означал: «Оставайся».

Вдалеке послышался гудок паровоза. Хозяйка быстро подхватила большой фонарь с красным и зеленым стеклами и вышла на улицу. Мимо сторожки с грохотом мчался эшелон. Колеса пели и отбивали на стыках чечетку. А на платформах под темными чехлами угадывались очертания танков, похожие на застывших слонов с вытянутыми хоботами. Ей казалось, что зеленый огонек притягивает эту гремющую очередь вагонов.

Когда она вернулась в сторожку, незнакомец спал, подняв воротник пиджака.

Она поставила фонарь на пол и села на стул. И так сидела долго, прислушиваясь к его ровному дыханию. Потом какое-то смутное чувство заставило ее подняться, и, стараясь не наступать на скрипучие половицы, она подошла к мешку. Вся разгадка незнакомца была в этом мешке. Она опустила на колени, развязала узел, запустила руку по-

глубже и нащупала что-то холодное и твердое, похожее на уголь. Она вынула из мешка незнакомый предмет. Это был брикет тола.

Женщина не дыша оглянулась на спящего. Он сидел на кровати и следил за ней. Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом он сказал:

— Что теперь будем делать?

И засвистел иволгой.

— Он засвистел иволгой, и мне стало не так страшно. Но я поняла, что ввязалась в историю, за которую могут повесить. Он сказал, что ему надо забросить этот мешок на мост. Спросил, медленно ли идут поезда по мосту. Я сказала — медленно.

В это время зазвонил звонок. И хозяйка сторожки, подхватив футляр с флажками, похожий на двустволку, вышла за дверь. Марат пошел за ней.

С той стороны реки, вытянувшись в алую полоску, шел тяжелый состав. Он приближался к мосту. Мост был легким и четким, словно нарисованный черным карандашом на голубой бумаге. Но когда состав побежал по мосту, мост запел. Теперь он был похож на поющую стальную арфу.

— Красивый мост! — сказал Марат.

— Мост как мост, — отозвалась хозяйка сторожки.

Она как-то изменилась: вытянулась, приосанилась. Ее рука с желтым флажком застыла на весу. Но Марат заметил, что рука слегка дрожит.

Поезд пронесся мимо переезда, обдав пылью и грохотом мальчика и хозяйку сторожки.

Когда поезд прошел и мост затих, мальчик спросил:

— Что было дальше?

— Весь день он просидел в картофельной яме. Идем, я тебе покажу эту яму.

Они вошли в дом. Крышка картофельной ямы была под кроватью. Пришлось отодвинуть кровать, чтобы открыть ее. Марат заглянул внутрь. Из ямы пахло холодом и прелью. Она напоминала начало подземного хода, идущего в неизвестном направлении.

— Можно залезть?

— Лезь!

Мальчик легко соскользнул в яму. Она оказалась довольно просторной. Картошки в ней почти не было. Марат закрыл за собой крышку и очутился в сплошной тьме. Только в щелку проникал свет, настолько слабый, что не мог ничего осветить, а оттенял тьму.

Марат сделал шаг вперед и нащупал рукой стенку. Он опустился на корточки и спиной почувствовал влажный холод глины. Так Зимородок ждал своего часа. Ему тоже было холодно, и у него затекли ноги. Одна нога болела...

А женщина продолжала рассказ:

— Следующая ночь выдалась дождливая, мгlistая. Проектора на мосту уперлись в туман, и дальше им ходу не было. Мы ждали порожнего товарняка. Зимородок подхватил свой мешок «с бульбой» и сказал: «Пойдем, хозяйка, проводишь меня до околицы».

— Пойдем, хозяйка, проводишь меня до околицы,— сказал Зимородок и поднялся со скамьи.

Хозяйка зажгла тяжелый фонарь и осветила незваного гостя. Ей неожиданно стало жалко этого щуплого парня, который весь согнулся под тяжестью мешка да еще прихрамывал. И не было на нем ни ватника, ни дождевика, а смятый пиджачок. Она заметила, что одна пуговица оторвана, и предложила:

— Давай пришью пуговицу.

Он улыбнулся и сказал:

— В другой раз! Пошли!

— Пошли,— вздохнула хозяйка.— Я выйду первая. Когда они очутились под дождем у переезда, поезд приближался. Земля вздрагивала от ударов колес.

— Я тебя хочу попросить,— сказал Зимородок.— Ты можешь минуты две поддержать красный свет?

— Это еще зачем? — женщина испуганно посмотрела на Зимородка.

— Чтобы поезд притормозил, а то я с кривой ногой не вскочу на подножку.

Она ничего не ответила. Стояла с опущенным фонарем. А он ждал, какой сигнал подаст она машинисту. Состав приближался. Она все медлила. Страх боролся в ней с сочувствием. Наконец она медленно подняла фонарь — выжала его, как гирю. Он тянул руку вниз, но она с усилием держала его на уровне головы красным огнем в сторону надвигающегося эшелона. Состав стал сбавлять скорость. Заскрипели буксы. Зимородок сказал:

— Давай зеленый.

А она все держала красный. И казалось, что сейчас на глухом переезде, перед носом немецкого эшелона, она держит красное знамя.

— Давай зеленый! Все дело испортишь!

Она повернула фонарь. И сразу руке стало легче. А мимо уже медленно плыли вагоны. Он стоял с ней рядом. Но через мгновение она оглянулась — его уже не было. Только был — и исчез. Улетел Зимородок...

— Примерно через час грохнуло, я присела на пол, закрыла руками глаза. Дом трянуло. Дверь распахнулась со скрипом. Косой дождь вместе с ветром залетел в дом. Я собрала узелок и ушла.

— Он погиб? — спросил Марат.

— Кто его знает, может быть, погиб, может быть, миновала его смерть. У него была легкая рука. За такую руку смерти трудно ухватиться.

След Зимородка оборвался.

Когда Марат уходил, хозяйка сторожки сказала:

— Есть тут у нас старожил. Павлов. Он в милиции работает.

Она оставила мальчику луч надежды.

7

Новый мост взлетел на воздух, рухнули в реку тяжелые, почерневшие от огня фермы. Остановилось движение к фронту. Снаряды на время стали безвредными, а бензин бесполезным, как вода. Сколько солдатских жизней спас Новый мост, задержавший смерть! Многие и теперь живы... Но ведь мост не сам взлетел в небо. Был человек, назвавшийся Зимородком. И было у него имя. Мама называла его тем именем, ребята в школе. И на фронт он уходил с тем именем, а не с птичьим.

Зимородок. Бесстрашная птица с прямым острым клювом. Он ныряет на большую глубину и возвращается с победой. И если он улетает накануне жестокой зимы, то с первыми теплыми днями возвращается к своему гнездовью.

Марат шагал по шпалам. Он спешил, потому что впереди возник просвет. Ему не терпелось отвоевать у забвения еще частичку жизни Зимородка.

В отделении милиции его спросили:

— По вызову?

— Нет, сам.

— Что натворил?

— Ничего я не натворил. Мне нужен товарищ Павлов.

— Так бы и говорил: вызван к товарищу Павлову.

— Да не вызван я...

— Сиди. Жди. Вызовут. Как зовут?

— Марат. Я ищу человека.

— Так бы и говорил.

— Я так и говорю.

— Не груби старшим... Как фамилия человека?

— Нет у него фамилии. Есть прозвище...

— Прозвище? Это по уголовной части. Ну-ка шагай в ту дверь.

Марат постучал «в ту дверь». Из-за «той двери» крикнули: «Заходи!» Марат вошел. В комнате за столом сидел пожилой грузный человек в белой рубахе.

— Здравствуйте. Мне нужен товарищ Павлов.

— Я Павлов.

На голове у Павлова не было ни единого волоска. Он был лыс, как глобус. Загорелый, обветренный глобус.

— Я по поводу Нового моста. Его взорвал...

— Следопыт? — прервал мальчика Павлов.

— Ищу человека... Хочу знать о нем правду...

— Ищешь правду? — Следователь встал и подошел к окну. — И я ищу. Только мы с тобой, брат, разную правду ищем. Я ищу преступников, а ты героев. Издалека приехал?

— Из города.

— Хорошо, — сказал следователь и провел ладонью по лысой голове. Вероятно, эта привычка осталась у него с тех времен, когда на голове росли волосы, может быть, кудрявые. — Я уважаю людей, которые ищут правду. Тебя интересует мост?

— Мост, — сказал Марат, с любопытством слушая следователя.

— Вот он — из окна виден. Новый мост. Три раза его взрывали. И три раза строили заново. В Париже тоже самый старый мост называется Новым. Парадокс!

— Вы знали Зимородка? — в упор спросил мальчик.

— Какого Зимородка?

— Который взорвал мост.

Следователь ответил не сразу.

— Разговор долгий, а мне сейчас выезжать на про-

исшествие. — Он задумался и вдруг сказал: — Поедем со мной?

— Поедем.

Следователь открыл ящик стола и извлек оттуда булку и колбасу. То и другое он разделил на две части.

— Давай подкрепимся. Дорога дальняя.

Марат хотел отказаться, но Павлов скомандовал:

— Ешь без разговоров!

И они оба решительно вышли из комнаты, жуя на ходу булку с колбасой.

Потом они мчались на мотоцикле. Марат сидел сзади в седле, двумя руками ухватившись за ручку. Дорога бежала навстречу из дали, из полей, из леса. Она сбегала с пригорков и бросалась под колеса мотоцикла. И колесо, как жернов, перемалывало дорогу, и сзади поднималось светлое мучное облако. Мотоцикл тархтел, встречный ветер свистел в ушах, и, чтобы слышать друг друга, спутникам приходилось кричать.

— Когда я был мальчишкой, — рассказывал следователь своему пассажиру, — из-за этого моста чуть на тот свет не попал. Ничего я не взрывал. Дело было иначе...

После внезапного взрыва Нового моста фашисты согнали все население станции Река на вокзальную площадь.

Был жаркий июльский день. Люди стояли в этой бесконечной шеренге. Дети плакали. Женщины лихорадочно смотрели по сторонам, словно ждали откуда-то помощи. Старики стояли неподвижно. Старики всегда кажутся равнодушными. Но на самом деле они так же хотят жить, как и молодые.

— Если вы не скажете, кто взорвал мост, мы расстреляем каждого второго, — сказал немецкий офицер.

Люди молчали. Нет, не все они были твердыми и неотступными. Они не знали, кто этот смельчак, который дождливой ночью взорвал мост через реку.

Так они стояли долго. Под палящим солнцем. Какое-то тупое безразличие овладевало ими. Они ждали избавления. Любого избавления от неподвижного, изнурительного стояния под солнцем. Офицер уходил и возвращался. Наконец он разделил людей на две шеренги.

Люди молчали. У кого-то на руках плакал ребенок. Кто-то надолго закашлялся. Офицер наклонился и сорвал с газона ромашку. Он повернулся к шеренге, стоящей лицом к солнцу, и стал гадать, он отрывал лепестки и приговаривал: «Любит — не любит...»

Глаза людей были прикованы к этой ромашке, которая должна была решить их судьбу. «Любит — не любит...» Лепестков оставалось все меньше. Он отрывал их, как крылышки у небольшого белого мотылька. Наконец он оторвал последний лепесток.

— «Не любит». Слышите — не любит вас, а любит их, — он кивнул на правую шеренгу. — Они пойдут домой, а вы отправитесь на тот свет. В последний раз спрашиваю: кто взорвал мост?.. Можете не плакать! Мне не нужны ваши слезы. Мне нужен человек, который взорвал мост... Приготовить два пулемета. Последняя минута на размышления.

Все сжались, втянули головы в плечи. Стиснули руки в кулаки. И на площади установилась напряженная, глухая тишина. Казалось, люди затаили дыхание, чтобы ничем не потревожить эту тишину, которой суждено было оборваться вместе с их жизнью. Но страшную тишину разорвал не выстрел, а голос. Такой негромкий, глуховатый голос:

— Я взорвал мост!

Люди вздрогнули и испуганно обернулись на голос, как в темноте оборачиваются на внезапно вспыхнувший свет. Они увидели невысокого щуплого парня в помятом пиджаке. Он шел по площади, опираясь на палку. Левая нога его как бы проваливалась в землю, но правая, здоровая, ступала твердо.

Офицер, удивленный не меньше остальных таким поворотом событий, все еще держал в протянутой руке белое крылышко «не любит». А парень шел к нему между шеренгами, и десятки глаз — усталых, заплаканных, печальных, темных, непонимающих, прищуренных, широко открытых — провожали его, дарили ему благодарность и прощальный привет.

— Как тебя зовут? — спросил кто-то из стоящих в шеренге.

Парень на мгновение задержал шаг и тихо сказал: — Зимородок.

И его имя — непонятное, птичье имя — пролетело от одного к другому по шеренге, становясь таким же дорогим, как слово «жизнь».

— Всем по домам! — приказал офицер. — Его допросить и расстрелять! Быстро! Быстро!

Офицер опустил руку, и белое крылышко, кружась по ветру, опустилось на землю и больше уже не взлетало...

Белые плоские облака плыли над полем, а тени от них темными пятнами двигались по траве и по набирающим силу хлебам. Мотоцикл мчался вперед, и пыль оседала на сморщенные ладошки подорожника.

— И его расстреляли? — спросил Марат.

Следователь ответил не сразу:

— Этого я не видел. Нас разогнали по домам... Какие-то выстрелы я слышал. Фашисты могли расстрелять за кусок хлеба, а тут мост... Разве может быть сомнение?

И все-таки представить себе Зимородка мертвым, лежащим на земле Марат не мог. Удивительный боец в помятом пиджаке на двух пуговицах жил в мыслях мальчика. И эту его жизнь никто не властен был оборвать.

Поезд тихо постукивал на стыках. Марат стоял у окна

и смотрел, как рельсы скрещивались и расходились. Одни неслись вперед, теряясь в хитросплетениях станционных путей; другие обрывались в тупиках. Когда же стемнело, у стрелок зажглись низкие фонари, похожие на маленькие сухопутные маячки. Как выбрать себе нужный маячок, который откроет широкий простор, а не заведет в тупик?

Когда поезд с глухим медленным гулом начал втягиваться в фермы Нового моста, за плечами Марата встал Зимородок. Усталый, с бессонными глазами, смотрящими как бы из глубины.

«Человек очень живучее существо, — сказал Зимородок. — В него стреляют — он поднимается снова, а если не может подняться сам, то вместо него встают такие же, как он, только помоложе и посильнее».

«Как это помоложе и посильнее?» — спросил Марат.

«А очень просто: я упаду, ты встанешь на мое место. И опять живет человек, работает, борется. Важно, чтобы ты был похож на меня. Ты вообще-то веришь в чудеса?»

«Не знаю».

«Я в чудеса не верю. Я верю в надежду. Надежда — большая сила. Ты думаешь, человек идет когда-нибудь на верную смерть? Нет! Даже герой. Человек идет в бой с надеждой, что пуля пролетит мимо. Даже когда стреляют в упор, человек надеется. И чем больше у человека надежды, тем больше бесстрашия. Мне всегда помогала надежда. Мне с ней легко жилось и воевалось. Понял?»

«Понял», — прошептал Марат.

Он так и не повернул головы. Он чувствовал, что Зимородок стоит за его плечами, слышал его дыхание, но не повернул головы, а неотрывно смотрел за маячками, которые всплывали из темноты и исчезали за спиной. И звезды в небе тоже казались маячками — негаснущими маячками надежды.

На другой день друзья уже поджидали его на мосту. Они стояли, прислонясь спиной к перилам, портфели лежали у ног. Марат подошел к ребятам. Бросил портфель и тоже прислонился к перилам. Так они все трое стояли молча. Наконец Марат заговорил:

— Мост он взорвал. Значит, парашют раскрылся. Только при прыжке подвернулась нога. Но потом его расстреляли.

— Поймали? — спросил Василь.

— Нет, он сам признался.

— Не может быть! — вырвалось у Зои Загородько. — Как же сам?

— Фашисты хотели расстрелять много людей.

— Заложников? — спросил Василь.

— Людей! — повторил Марат. — Тогда он сказал: «Это я взорвал мост». Людей отпустили, а его повели на расстрел. Вот и все.

— Вот и все! — Василь как бы поставил точку.

— Неужели все? — спросила Зоя Загородько.

— Нет, не все, — решительно сказал Марат. — Я должен узнать его имя. Человек, который совершил такое, не может остаться без имени.

— Конечно, не может, — подтвердила Зоя Загородько. И с этой минуты стала союзницей Марата в его поисках.

Марат нагнулся и поднял портфель. И все, как по команде, тоже нагнулись и подняли портфели. И зашагали по мосту в сторону школы.

И каждый раз, когда казалось, все кончено, оборвались все следы, поставлена точка и нет никакой надежды, откуда, из далеких военных времен, доносился неумолкающий позывной:

«Я — Зимородок! Я — Зимородок!»

Он ждал ответа. Он звал. Он вселял в сердце тревогу.

Нет, нельзя останавливаться. Поиск продолжается. Может быть, можно отвоевать у смерти и забвения еще один вздох, еще один островок жизни Зимородка.

8

— Здравствуйте, люди-человеки! Начнем, пожалуй... Сегодня мы займемся слонами.

По классу прокатился смешок. Займемся слонами! А Сергей Иванович уже рассказывал по классу, слегка наклонив свою большую голову.

— Но до слонов я хотел бы заняться Маратом.

Снова вспыхнул смешок.

— И узнать: где он пропадал, что подделывал, почему пропустил урок?

Марат нехотя поднялся. Как всегда, он был озабочен своими мыслями, и, что происходит вокруг, его не интересовало.

— У него болела рука! — сказала Зоя Загородько, и ее челочка мелькнула на предпоследней парте.

— Я спрашиваю Марата.

Марат переступил с ноги на ногу и сказал:

— Я искал одного человека. А руку я действительно отбил.

— Какого человека? — спросил учитель.

— Его расстреляли фашисты.

Учитель сделал несколько шагов, потом обернулся и сухо сказал:

— Не вижу логики. Зачем же искать человека, если его расстреляли?

И снова поднялась Зоя Загородько. Ее смуглое лицо горело, а редкая челка разметалась по лбу.

— Это был очень хороший человек, Сергей Иванович... А вы этого не хотите понять... Вас интересуют только клювы и хоботы.

У нее не хватило дыхания. Она села и не увидела, как учитель побледнел. Он сказал глухим голосом:

— Да, я этого не хочу понять! Меня интересуют клювы и хоботы, потому что мой предмет — зоология. Если бы я преподавал русский язык — меня бы интересовало правописание частиц. Что здесь удивительного? И на уроке никакие посторонние вещи меня не касаются. Тебе это не понятно, Зоя Загородько?

— Понятно, — недовольно ответила девочка.

— Садитесь все! Будем продолжать урок. Займемся отрядом хоботных.

— Слонами? — спросил Василь.

— Сперва мышами.

По классу прокатился смешок. Но учитель не обратил на него внимания.

— Начнем с мышей. Потому что, хотя слон самое крупное и самое сильное животное в мире, простая, ничтожная мышь может погубить его.

Василь хихикнул. Но Марат ударил его локтем в бок, и тот притих.

По коридору шли директор школы и инспектор роно. Они остановились у дверей класса. Оттуда доносился неслышимый шум. И сквозь этот гул слышался глуховатый голос учителя:

— Александр Македонский в своих завоевательных походах использовал боевых слонов. Слоны были танками древних войн...

В это время послышался голос Василя:

— Танки с хоботами и клыками. А вместо противотанковых мин — мыши!

В классе вспыхнул смех.

— И так всегда на уроках Серегина, — недовольно сказал директор. — Какой-то балаган, а не урок.

— Неопытный? — поинтересовался инспектор.

— Нет, стаж работы у него большой. Но не умеет он

серьезно. Все шуточки! Ему бы следовало перейти на другую работу.

— Подумаем, — сказал инспектор.

— Никакого авторитета у ребят, — продолжал директор и вместе с инспектором зашагал дальше по пустому школьному коридору, в котором шаги отдавались гулко и четко.

А на исходе дня, когда школа опустела, директор застал учителя зоологии за странным занятием: Сергей Иванович съезжал с четвертого этажа по перилам.

— Как это понимать, товарищ Серегин? — вспыхнул директор.

Сергей Иванович молчал, как провинившийся ученик.

— Какой пример вы подаете детям?!

Учитель молчал. Потом провел рукой по волосам и тихо сказал:

— Устал я очень.

И пошел прочь, оставив директора с его сложными педагогическими раздумьями.

Зоя Загородько и Василь шли по улице без всякого дела.

Припекало солнце. Первый летний месяц набирал силу. И зеленая листва, растревоженная ветром, издавала морской шум. Зеленое море, взметнувшееся к синему небу.

Неожиданно Зоя Загородько остановилась и спросила:

— Василь, у меня красивые глаза?

— Не знаю, — признался мальчик.

— Посмотри внимательно.

Василь уставился в глаза девочки.

— Смотрю.

— Что ты видишь?

— Глаза.

Зоя Загородько поправила рукой челку и сморщила нос.

— Эх ты, глухая кукушка.

— За глухую кукушку можешь схлопотать! — тихо буркнул Василь.

Зоя Загородько повернулась на каблучках и пошла, размахивая портфелем. Василь поплелся за ней.

Около тира их окликнула огромная бабка, которая вышла из своего тоннеля, грелась на солнце и занималась своим привычным делом — вязала.

— Где ваш приятель? — спросила бабка, посмотрев на ребят маленькими бесцветными глазами. — Мне он нужен.

— Появился Седой? — поинтересовался Василь.

— Никто не появлялся, — сухо сказала бабка. — А приятеля пришлите.

— Он обязательно придет, — сказала Зоя Загородько, но огромная бабка уже не слушала ее: она ушла в работу, и ребята перестали для нее существовать, словно их не было вовсе.

В тире, за ее широкой спиной, треснуло несколько выстрелов.

— Может быть, нашелся Зимородок? — предположила Зоя Загородько, когда ребята свернули за угол.

— Как же он нашелся, если его расстреляли? — резонно заметил Василь. — Она имя его знает, а нам не хочет говорить.

Через несколько шагов Зоя спросила Василя:

— Василь, у меня красивые губы?

— Не знаю.

— Посмотри внимательно.

— Смотрю.

— Что ты видишь?

— Губы.

А еще через несколько шагов она сказала:

— Знаешь, на кого похож этот Зимородок?

— Не знаю, — признался Василь.

— Он похож на Марата, — доверительно сказала Зоя Загородько. — Только об этом никто не должен знать. Слышишь?

— Слышу.

...К вечеру, когда тир принадлежал взрослым и выстрелы звучали медленно, с расстановкой, Марат стоял перед бабкой. Она говорила ему:

— Вспомнила... У нас в Жуковке был отряд. Там один парень умел свистать иволгой... Имя его не помню... Есть в Жуковке братская могила. Похоронены партизаны. Имена паписаны на камне. В Жуковке у меня тетка живет, Жукова Алевтина. У нас почти все Жуковы... Стрелять будешь? Не будешь, тогда отойди от огневого рубежа. Не мешайся.

— Может быть, его звали Зимородок? — спросил мальчик.

Но бабка промолчала. Марат понял, что больше он не добьется от нее ни единого слова. И еще он понял, что надо немедленно ехать в Жуковку.

9

Они шли по узкой лесной тропинке, раздвигая руками ветки. Впереди, переваливаясь с боку на бок, шла тетка Алевтина, такая же огромная и грузная, как ее племянница из стрелкового тира. Темные босые ноги не чувствовали колючек и сучков, которые попадались на тропинке.

За теткой Алевтиной шел Марат. Он был поглощен своими мыслями, и ему казалось, что тетка Алевтина идет слишком медленно. За ним шла Зоя Загородько. Она не спускала глаз с Марата. Она смотрела ему в затылок с тихим восторгом, потому что все, что было связано с Зимородком, переносилось в ее сознании на Марата.

Василь шел последним. По его лицу струился пот, а губа, поднятая домиком, пересохла.

Они шли довольно долго, пока внезапно не вышли на поле. Над полем возвышался холмик с белым обелиском. У подножия холмика тетка Алевтина остановилась и, опустив руки, сказала:

— Вот могилка-то. Все тут. И мой Ванятка здесь похоронен.

Ребята приблизились к обелиску и стали быстро читать имена погребенных. И вдруг Зоя Загородько воскликнула:

— Здесь.

Ей стало неловко своего выкрика, и она тихо сказала:

— Зимородок.

Действительно, на каменной доске, в столбике фамилий было написано, вернее, высечено на камне: «Зимородок».

— Все-таки он погиб,— тихо сказал Марат.

— Марат,— Зоя Загородько положила руку на плечо другу,— ты веришь, что он погиб?

Марат молчал. А Василь сказал:

— Тут дело ясное.

Тетка Алевтина стояла за ребятами. Она ушла в свои мысли и как бы окаменела. Может быть, она думала о своем Ванятке?

И вдруг что-то нахлынуло изнутри, и старая женщина заговорила:

— Девять телег стояло здесь на поляне. Девять гробов. И много народу сошлось в этот день в Жуковку. Стоял август. Я помню число — 25 августа. В этот день каждый год собираются партизаны. С каждым годом их все меньше остается... Словно отряд где-то ведет бой. И не все возвращаются. Так вот, в тот день у разрытой могилы речь говорил Петр Ильич...

Ее память воскресила тот тяжелый военный день.

И зазвучал голос партизанского командира:

— Товарищи! Братья! Не судите нас строго, что мы провожаем вас в последний путь без оркестра, в неструганых гробах. Человек ко всему привыкает. Но привыкнуть к утрате друзей он никогда не сможет. Нам без вас будет

труднее в бою, а если пуля пощадит нас и мы доживем до победы, нам будет не хватать вас всю жизнь. Мы никогда не забудем вас. Мы накажем своим детям помнить вас. Потому что во всем, что будет потом,— в новых городах, в новых кораблях, в новых дорогах,— будет частица ваших усилий, частица ваших страданий... Прощайте, товарищи, ваша жизнь оборвалась на полпути, вы не дожили до седых бород. Вы останетесь в нашей памяти навечно молодыми. Вы будете учить наших детей, как надо любить Родину. Пусть будет вам земля пухом... Огонь!

И все, кто стоял над свежевырытой могилой, подняли свое оружие и выстрелили. И гул этого салюта грозной волной прокатился по лесам и полям.

— Почему девять? — спросил Василь.— Здесь десять фамилий. Ошибка?

— Кто его знает. Только хоронили девятерых. Я-то помню, девять телег прогромыхало по дороге. А дед Аким сколачивал девять гробов. Ему теса не хватило, он ходил по дворам...

— Кого же там нет? — спросил Марат, показывая рукой на могилу.

— Этого я не знаю,— призналась старая женщина.— Это знает только Петр Ильич Лучин, партизанский командир.

— Где же он?

— Петр Ильич? Живет в Одессе, на пенсии. Болеет. Жена его — партизанская учителька — тоже с ним. А я никого не знаю. Я только Ванятку знала...

Она замолчала. Стала каменной.

— Вот видишь,— сказала Зоя Загородько.— Надо верить.

— Для чего же написали? — все не мог разрешить своих сомнений Василь.

Но ему никто не ответил. Ребята стали медленно спускаться с холма.

Они попрощались с теткой Алевиной. Но та не заметила их, все стояла неподвижная и углубленная в свое давнее горе.

Каждый раз на пути к Зимородку жизнь создавала новые и новые препятствия, словно хотела испытать выдержку красных следопытов. Отчаяние приходило к Марату и его друзьям. Они вешали голову. И вместе с тем в их поиске было что-то живучее, идущее наперекор всему. Сквозь мутные туманы неизвестности светил далекий огонек надежды. Они спешили навстречу Зимородку, словно хотели вернуть ему все, что отняла у него война: имя, жизнь.

На лесной полянке, с которой когда-то взлетел маленький трескучий «кукурузник» с пареньком, не знавшим даже, как обращаться с парашютом, на холме с белым обелиском они узнали о его смерти и захотели вернуть ему жизнь. Как скалолазы, которым каждый неприметный выступ помогает сделать еще один шаг к вершине, они ухватились за слово, оброненное теткой Алевиной: «Хоронили девятых».

Хоронили девятых! Кто же был десятый? Зимородок? И тут перед Маратом возникал человек, маленький, чернявый, в золотых очках.

«Это надо еще доказать!» — говорил он и уходил, щелкая каблуками.

Они шли по лесной тропинке, и следом за ними летели тихие, овевные непреходящей печалью слова: «И мой Ванятка здесь похоронен».

Но никто же не сказал: «Здесь спит вечным сном Зимородок».

Отец Зои Загородько сказал:

— Ждите! Представится удобный случай, свожу вас в Одессу.

Случай долго не представлялся. Отец летал по другой линии. Ребята хотели написать письмо партизанскому командиру Петру Ильичу Лучину, но какое-то чувство подсказывало им, что есть вещи, которые нельзя доверять бумаге, надо высказать им самим. Для них Зимородок еще был жив. Он просто был настоящим зимородком: глубоко нырнул в одно место, вынырнет в другом.

Каждый раз, встречаясь на мосту, ребята вопросительно смотрели на Зою Загородько. И она отвечала:

— Еще не представился случай. Но представится...

Они шли мимо тира, который в ранний час еще был закрыт. И на тяжелых воротах висел замок. Может быть, за этим замком хранится еще один след Зимородка?

Василь последнее время стал прихрамывать и прицепил к куртке синий значок с изображением парашюта. Сам с собой он играл в Зимородка.

Он поднял замок и опустил. Замок с грохотом ударился о ворота. Ребята зашагали дальше.

— Говорят, в Заречье живет такой доктор Стройло. Слыхали? — неожиданно сказал Василь. — В войну он был начальником подпольного госпиталя. Этот доктор много знает... Может быть, и про Зимородка?

— Так за чем же дело? — спросила Зоя Загородько.

— Говорят, он не любит рассказывать.

— Почему не любит?

— Натерпелся.

— От кого натерпелся? — Марат распрямился и посмотрел на Василя. — От фашистов?

— Нет, фашисты до него не добрались. Он натерпелся от средних.

— От каких средних? — Зоя Загородько заглянула в лицо Василию.

— Есть такие средние люди. Они не фашисты и не антифашисты. Вываренные люди...

— Кто их... выварил?

У Василя губа поднялась домиком и покраснели уши.

— Почему я знаю! Сами выварились.

— Знаешь его адрес? — спросил Марат.

— Нет.

— Можешь узнать?

— Я все могу, — прихвастнул Василь и захромал сильнее.

— Тогда завтра махнем к этому доктору.

Но назавтра три друга оказались не в Заречье у загадочного доктора Стройло, а на аэродроме. Случай представился. Папа Зои Загородько летел в Одессу.

Три воздушных зайца стояли на летном поле и ждали, когда полноправные пассажиры закончат посадку.

— А вдруг не хватит места? А вдруг не хватит места? — поминутно спрашивал Василь и дергал Зою Загородько за рукав.

— Отвяжись, глухая кукушка!

— За глухую кукушку можешь схлопотать! — огрызнулся Василь, но тут в дверях самолета показался высокий смуглый человек в синем форменном костюме. Он махнул рукой, и ребята побежали к трапу.

Потом они летели, усевшись втроем на два места. И совсем близко под ними расстилалась белая изнанка облаков.

Зоя Загородько смотрела на Марата, и ей казалось, что он вот-вот отвяжется и совершит отчаянный прыжок с парашютом в районе станции Река. Глаза девочки светились скрытым восторгом. А Марат сидел с закрытыми гла-

зами, и ему казалось, что он летит на стареньком «кукурузнике» и толкает в плечо седого пилота с лицом индейца, покрытым густым, замешенным на ветру загаром:

«Пора прыгать?»

А Седой кричит через плечо:

«Отвяжись!»

И вокруг трещат разрывы, и самолет бросает из стороны в сторону.

Зоя Загородько берет его за пуговицу и тянет. Он открывает глаза, смотрит на девочку.

— Ты что?

— Хочешь, я пришью тебе пуговицу?

— Так она не оторвалась, — говорит он, не понимая, чего она от него хочет.

— Но может быть, она оторвется, — говорит Зоя Загородько и опускает глаза.

А Василь трогает свой значок с изображением парашюта.

Самолет ложится на левое крыло и идет на посадку.

— Через три часа летим обратно. Как хотите, так и действуйте. Три часа на размышление, товарищи следопыты!.. Зоя, купишь матери дыню. Все!

Три часа дал на размышление ребятам папа Зои Загородько. За три часа они должны были разыскать партизанского командира Петра Ильича Лучина и узнать то, что не давало им покоя. Оборотится след или потянется дальше?

Вперед, красные следопыты — неутомимый народ, возвращающий имена безымянным героям, борющийся с забвением, как борются со злом! Не верьте ушам — уши могут недослышать; не верьте глазам — глаза могут недосмотреть. Верьте только сердцу.

Есть на земле гордые города, которые умеют весело жить и смело воевать, но не сдаваться. Эти города — узловые станции: сюда стекаются пути со всех концов света и завязываются узлом дружбы. Здесь говорят: «Умирать — так с музыкой!» С музыкой орудий и автоматов и с хриплым «ура!», от которого врагов прошибает холодный пот. Эти гордые города, как старые солдаты, в шрамах. И на их груди мерцают звезды героев. И они бессмертны, потому что на смену отцам приходят дети, и дети похожи на отцов, только моложе, задиристей, и у них легче походка.

Одесса — такой город. Говорят, в Одессе камни солоноватые от ветра, который доносит капли морской воды. А в камнях, из которых сложены дома, впаяны перламутровые ракушки. И под улицами, площадями, домами есть еще одна Одесса — подземная. Называется она — катакомбы. Фашисты шли на одну Одессу, а их встретили две: наземная и подземная. И было еще две Одессы, обрушившие на врага огонь, — морская и воздушная.

Но это было давно, а теперь раны затянулись. Светит раскаленное солнце. Прибой перекачивает камешки. Корабли здороваются и прощаются с городом.

Но может быть, камни города соленые не только от морской воды, но и от крови?

— Здравствуйте, нам нужен Петр Ильич!

Марат и его друзья замерли на полутемной лестничной площадке, а в открытых дверях перед ними стояла черно-волосая женщина с темными, ввалившимися глазами. Она молча смотрела на ребят, потом сказала:

— Вы опоздали.

— Мы подождем, — сказал Марат, — у нас еще есть время.

— Понимаете, мы прилетели издалека, — пояснила Зоя.

— Он умер! — сказала женщина. — Вчера его похоронили.

— Как же быть? — вырвалось у Марата.

— Пошли, ребята, — тихо сказал Василь. — Простите за беспокойство.

Надо было уходить, но какая-то сила удерживала ребят у порога дома бывшего партизанского командира, который умер накануне их приезда. Словно стены дома хранили тайну судьбы Зимородка. Хозяйка тоже не торопилась закрыть дверь. Наконец она нарушила неловкое молчание.

— Чего вы хотели от Петра Ильича?

— Мы разыскиваем одного бойца. Мы были на его могиле...

— Как его фамилия?

— В отряде его звали Зимородком...

— Зимородок? — Хозяйка дома произнесла это имя на свой лад, делая ударение на первом слоге. И на лице ее отразился слабый отблеск улыбки. — Зимородок! Забавный был паренек. Он ходил в мою школу.

— Какой номер школы? — не удержался Василь.

— У школы не было номера... Это была партизанская школа. Днем я учила ребятшек. Вместо считальных палочек были стреляные гильзы... А вечером учились бойцы.

В большой землянке были низкие, давящие потолки, а две коптилки, сделанные из медных артиллерийских гильз, стояли на столе и высвечивали небольшое пространство и классную доску, настоящую классную доску. Парты тоже были настоящие: видимо, их вывезли из уцелевшей школы. Но они казались очень маленькими и тесными, потому что за ними сидели здоровые дяди. Некоторые бородатые. При свете коптилок эти бороды выглядели как-то зловеще. Еще коптилки освещали лицо учительницы, молодое, удивительно красивое. Гладкие черные

волосы были заплетены в косу. Учительница выглядела очень молодой, а ученики очень старыми, хотя были они одноклассниками.

— У нас кончился мел, — сказала учительница, — не знаю, как быть.

— Я раздобуду вам мел.

Из-за парты поднялся невысокий парень в пиджаке, застегнутом на три пуговицы. Его глаза весело горели: в каждом зрачке играл уменьшенный огонек копилки.

— Где ты раздобудешь?

— Военная тайна. Завтра будет у вас мел.

— Как твоя фамилия? — спросила учительница. — Ты в отряде новичок?

— Новичок! — ответил парень. — Зовут меня Зимородок.

Бородатые ученики захихикали.

— Разве человека не могут звать Зимородком? — спросил он, поворачиваясь к товарищам. — Я могу свистеть иволгой.

Все снова рассмеялись.

— Вот чудачки, — чуть обиженно сказал парень. — Я дело говорю, а они смеются...

— Послушай, Зимородок, ты сколько классов кончил? — спросила учительница.

— Восемь.

— А мы за пятый проходим. Зачем ты пришел?

— Учиться хочется! Я и в школе любил учиться. Честное слово! Каждый день узнаешь новое. Решаешь задачу, которую вчера не мог решить. В первый раз читаешь стихи, и кажется: Лермонтов написал их специально для тебя, еще чернила не высохли...

Бородачи притихли. А молоденькая учительница слушала с широко открытыми глазами.

— По-моему, когда человек перестает учиться, он перестает жить. А на войне так хочется жить!

И тут он замолчал, смутился и, чтобы скрыть свое смущение, спросил:

— Так показать, как свистит иволга?

Учительница кивнула, и он засвистел. Свист был похож на голос флейты. И стены землянки как бы раздвинулись. И огромный густой лес с высокими деревьями и низким подлеском возник из этой птичьей песенки. Этот лес жил, двигался, одни деревья сменялись другими, маленькие делянки переходили в орешник, за орешником вставали медноствольные сосны. А свист иволги то приближался, то удалялся, такой родной и такой недоступный.

Комната партизанского командира Петра Ильича Лучина была небольшой и еще хранила устойчивый запах лекарств. У стены, в углу, стояла солдатская койка, застеленная серым одеялом. Над койкой висели тяжелая сабля с червленым эфесом и трофейный кинжальный штык, тоже в ножнах. На окне стояли растения с темной мясистой зеленью. Еще в комнате был рабочий стол с тисочками: видимо, бывший командир что-то мастерил.

Ребята сидели на стульях, а хозяйка дома — «партизанская учителька» — стояла у окна.

— Когда он взорвал Новый мост, — рассказывала она, — я долго не вычеркивала его из классного журнала. Я вообще никогда не вычеркивала погибших. Ставила «нет». На всякий случай.

«Партизанская учителька» подошла к койке и опустилась на самый краешек, по привычке боясь потревожить больного. А больного-то не было.

— Петр Ильич умер от старых ран, — вдруг сказала она. — Последнее время старые солдаты часто умирают. Догоняют их военные пули.

Ребята молча слушали хозяйку дома, все еще не решаясь задать ей главный вопрос.

— Человек ко всему привыкает. Но привыкнуть к утрате друзей никогда не сможет,— тихо произнесла партизанская вдова и замолчала.

Ребята переглянулись. Эти слова показались им знакомыми, прозвучали сейчас как эхо.

И тогда Марат сказал:

— Мы были в Жуковке, на братской могиле, где похоронен Зимородок.

— Зимородка нет в этой могиле.

— Как нет? Там написано...— Вмешался в разговор Василь.

Партизанская учительница покачала головой.

— Мы знали, что немцы расстреляли его. И чтобы имя его не затерялось, написали на доске рядом с именами других погибших в бою. Но в могиле его нет.

Ребята посмотрели на Марата и заметили, что глаза его тревожно светятся, словно видят то, что в эту минуту никому не дано было увидеть.

За его плечом встал Зимородок. А впереди зажегся огонек надежды. Он горел вопреки всему. Да здравствует надежда! Как бы жили на свете люди, если бы не было надежды? Как бы они сражались, достигали цели?

12

— Люди-человеки, а не пойти ли нам в лес? — сказал Сергей Иванович, переступая порог.

Неожиданное предложение учителя класс встретил дружным «ура!».

— Тише! Парад не начался. Хочу, чтобы вы познакомились с природой не только по учебнику... Вы когда-нибудь держали в руке птенца? Теплый, вздрагивающий комочек, полный упругой жизни. Тот, кто не держал в руке птенца, не сможет взять в руку сердце, а будущим врачам придется держать в руке сердце человека... Сейчас в лесу много не-

везучих птенцов. Положить выпавшего птенца в гнездо — полезное занятие... Собирайтесь! По школе идем с закрытыми ртами. Решено?

— Решено! — за всех отозвался Марат и хлопнул крышкой парты.

Класс мгновенно опустел. Ребята двинулись цепочкой по коридору. Василь нес под мышкой бумажного змея.

Школа была на окраине города, и добраться до поля не составляло труда.

Учитель шел впереди по высокой траве, а ребята вытянулись в длинную цепочку, шли за ним. Цепочка эта была неровной, она местами выгибалась, местами рвалась и нехотя тянулась в сторону леса. А над ними в вышине вился бумажный змей с нарисованной кривой рожей. Змей послушно плыл на веревочке за ребятами.

Сергей Иванович остановился, и ребята, наталкиваясь друг на друга, тоже остановились.

— Слышите легкий звон? Это вьется над полем жаворонок. Весенняя полевая птица. В лесу мы обязательно встретим дятла.

Вскоре цепочка исчезла в чаще. И сразу весь мир наполнился множеством тонких звуков. Птицы пели на все лады — каждая пробовала свое горлышко.

Учитель остановился. Прислушался.

— Слышите?

Ребята поворачивались в сторону звука.

— Слышите? Это поет малиновка. Конечно, ее пение не сравнишь с пением соловья. Но некоторые колена очень схожи.

Он старался увлечь ребят, открывал им тайны ожившего леса. Он вел их на звук птичьей песни, а ребятам хотелось бегать, перепрыгивать через ручьи и взбираться по склонам оврагов. И тех, кто шел рядом с учителем, становилось все меньше. Это не смущало Сергея Ивановича. Он как бы рассказывал самому себе:

— Да, наши птицы, может быть, и скромней по расцветке, чем пернатые тропических стран, но разве какая-нибудь птица в мире сравнится по пению с соловьем или малиновкой?

Дымчатые очки мешали ему любоваться лесом. Он спял их, но тогда все вдруг расплылось, пришлось снова надеть очки. Он оглянулся и заметил, что рядом с ним идет только одна девочка, куриосенькая, в больших очках, которые захватывали часть ее щек.

— А где же остальные? — спросил Сергей Иванович.

— Ищут итенцов, вынавших из гнезда.

— Да, да, — рассеянно произнес учитель. — Иди и ты.

Девочка побежала. Учитель остался один. Теперь он прислушивался не к птицам, а к голосам ребят и силился разглядеть их среди деревьев. Ребята как бы затеяли с учителем веселую игру в прятки. Но не было в лесу палочки-выручалочки, которая помогла бы ему. Однако это не огорчало учителя. Он выпустил на волю веселого, шумного джинна и понимал, что загнать его обратно в сосуд, именуемый классом, было делом почти невозможным.

Сергей Иванович вышел из леса. Он медленно шел по мокрой траве через поле. Потом он услышал тихий шорох, и к ногам его опустился бумажный змей. Из травы смотрела смешная рожа, нарисованная лиловыми чернилами.

Сергей Иванович опустился на парту и стал ждать возвращения ребят. Он немного устал. И уперся подбородком в сложенные замком руки. О чем он думал, пожилой человек с лицом, заросшим густой бородой? Может быть, вспоминал то далекое время, когда сам сидел за партой?

Неожиданно дверь открылась, и в класс вошел директор школы. Учитель встал, как встают ученики, когда входит старший.

— Где класс? — спросил директор, испытующе глядя на Сергея Ивановича.

Учитель стоял молча, опустив голову, как провинившийся.

— Сбежали?

— Я их отпустил. У нас было практическое занятие на природе.

— Не выгораживайте вы их! Сбежали! — сказал директор, усаживаясь за учительский стол. — Не получается у вас, товарищ Серегин. Садитесь.

— Разве не получается? — спросил учитель, продолжая стоять.

— Вы же ведете себя с ними как равный. Где ваш учительский авторитет? Бороду отрастили, как Миклухо-Маклай!

— Нельзя бороду? — спросил учитель.

— Это вам решать. У нас ни один учитель не носит бороду... И не съезжает на перилах с четвертого этажа... У вас в распоряжении целое лето. Подумайте. Может быть, вам стоит заняться другим делом?

— Может быть, — пробормотал учитель.

— Вот таким образом, — закончил директор и, шумно оттолкнув стул, пошел прочь.

А Сергей Иванович все стоял за партой.

В класс начали возвращаться ребята. Они входили шумные, возбужденные неожиданной прогулкой по лесу. Они не заметили, что учитель чем-то расстроен. В класс вбежал Марат. Ладони его были сложены корабликом, как складывают на ветру, чтобы не погасла спичка.

— Я нашел птенца.

Сергей Иванович подошел к нему. Марат приоткрыл ладони. В них, как в гнезде, сидел птенец.

— Я нашел его в ручье. Он чуть не утонул.

Учитель снял очки и приблизил лицо к маленькому пернатому существу.

— Это птенец зимородка.

При слове «зимородок» Марат оглянулся на своих друзей. У Зои Загородько заблестели глаза, а Василь раскрыл от удивления рот. В это время птенец приподнял одно крыло, привстал на слабые лапки и вдруг изо всех сил рванулся, замахав крыльями. Его нельзя уже было удержать. Он полетел. Сделал круг и вылетел в открытое окно.

— Улетел зимородок, — сказал Марат.

Все ребята стояли у окон и провожали летящего птенца. Учитель тоже наблюдал за полетом птенца, и в глазах его застыла печаль.

На другой день начались каникулы.

13

Доктор Стройло был длинный и худой и слегка сутулился, словно все время боялся удариться головой о притолоку. У него были наполовину седые волосы и глаза навывкате. А руки свисали, как опущенные крылья. Он стоял на крыльце и недружелюбно разглядывал незваных гостей. Дом у него был небольшой, рубленый, с палисадником — пригородный дом, — в конце городской улицы.

— Что вам надо? — спросил он ребят.

— Мы ищем человека, — неуверенно сказал Марат.

— У меня не адресный стол! — сердито отрезал негостеприимный хозяин. Было непонятно, сердится он или скрывает усмешку.

У Василя покраснели уши. И он почти крикнул:

— Его же расстреляли фашисты! Но мы верим, что он жив!

Доктор Стройло продолжал смотреть на ребят выпученными глазами.

— Меня не интересует, во что вы верите. С вашей фантазией во что угодно можно поверить... Боль можете терпеть?

Ребята удивленно переглянулись.

— Уколов боитесь?

— Не боимся мы уколов, — сказала Зоя Загородько. —

Пошли, ребята!

Доктор Стройло выкатил глаза на нее и закричал:

— Вытирайте ноги почище! Я полы сам мою!

Это было приглашение войти в дом. Ребята зашаркали ногами на маленьком половичке. И доктор Стройло повел их в дом. Они очутились в небольшой комнате с низким потолком. На окнах, на столе, на тумбочках — всюду стояли большие и маленькие аквариумы, в которых плавали удивительные рыбы и рыбешки. Комната была похожа скорее на зоомагазин, чем на комнату, в которой живут люди. Ребята разбрелись и начали было рассматривать рыб, но хозяин сухо скомандовал:

— Садитесь на диван!

Они послушно сели на диван.

— Что за новое поветрие — искать человека? — спросил доктор Стройло. — Сколько лет не искали, и вдруг... понадобился человек. Мода такая? Или неловко жить стало без человека?

— Он наш друг, — сказал Марат.

— Ба! — Доктор заходил по своей маленькой комнате, и от его шагов пол задрожал, а вода в аквариумах слегка заколыхалась. — Да вас тогда и на свете не было, когда фашисты... расстреляли вашего человека.

— Он наш друг, — упрямо повторил Марат. — Он нам нужен.

Доктор Стройло подсел к ребятам и, согнувшись почти вдвое, оперся локтями о колени.

— Что вам о нем известно, о человеке-то?

— Он взорвал Новый мост на станции Река. За это его в тот же день расстреляли.

Доктор Стройло поднялся и ушел в другую комнату. И вскоре вернулся с большой конторской книгой.

Он стал листать пожелтевшие страницы, и ребята видели какие-то записи, сделанные размашистым почерком. Потом узловатым пальцем, похожим на ветку с обрубленными сучками, доктор стал водить по страницам.

— 24 августа в госпиталь поступил партизан с тремя пулевыми ранениями. Видимо, он... Состояние раненого крайне тяжелое... Как его звали?

— Зимородок,— ответили все трое.

Это имя прозвучало как пароль, потому что в докторе Стройло что-то ожило, посветлело, и в его выпуклых глазах появились какие-то точки, разгорающиеся, как искры. Пароль «Зимородок» открыл забытую дверь в прошлое, и из нее хлынули воспоминания.

Зимородок лежал за станционными путями в овражке. В помятом пиджачке, застегнутом на оставшиеся две пуговицы. И был он какой-то маленький и легкий. Голова упала на плечо. Глаза были закрыты, а нос торчал бугорком. Маленький, острый, похожий на клюв. На щеке запеклась штыковая рана. Одна рука сжала полу пиджака. Другая откинулась ладошкой вверх, и между пальцами протиснулись стебельки травы. И казалось, трава скоро поднимется еще выше и скроет его от глаз друзей и врагов.

На дне оврага стояли двое парней, а третий — на краю оврага — наблюдал, не придут ли фашисты.

Парень в кепке, надвинутой на глаза, копал могилу, а его напарник неотрывно смотрел на расстрелянного. И вдруг он сказал:

— Подожди... Он, кажется... дышит.

Стриженный опустил на колени и прильнул ухом к груди Зимородка. Потом поднялся и сказал:

— Бьется! Где-то далеко-далеко бьется!

Парень в кепке отбросил лопату, подошел к нему и опустил на колени.

— Бьется! — согласился он. — Здесь земля сырая... от крови.

— Что же будем делать?

Парни молча стояли на коленях и смотрели на незнакомца. Сверху, с края оврага, спросили:

— Закопали?

Ему не ответили.

— Надо отнести его подальше. Он ведь мою мать спас,— сказал парень в кепке.

— И двух моих сестренек расстреляли бы, но он...

Он был жив. Из рта текла тонкая, высыхающая на ветру струйка крови. Это была живая кровь.

— Его надо переправить к доктору Стройло,— сказал стриженный. — Надо раздобыть подводу.

Два парня осторожно подняли на руки полуживого Зимородка.

— Закопали? — спросил сверху стоящий на посту.

— Да он жив! — наконец ответили ему снизу.

Потом по дороге ехала подвода, груженная прошлогодней соломой. На возу сидел парень в кепке. Лошадь шла ровно, и телега, подпрыгивая по камням, гроыхала коваными ободьями.

На переезде через ручей, когда лошадь пила воду, парень в кепке спросил:

— Как ты там? Пить хочешь? Ну, подавай же голос, дружище.

Со стороны казалось, что он говорит сам с собой, потому что вокруг никого не было.

— Может быть, он... кончился? — сам себя спросил парень и погнал лошадь.

Потом повстречался немецкий патруль. Немец крикнул:

— Хальт! Аусвайс!

Парень полез в карман и протянул немцу аусвайс — пропуск. Немец надел очки. Посмотрел. Вернул пропуск.

И вдруг прошил воз дробной автоматной очередью. Возница вскрикнул. Лошадь рванула вправо, воз скатился на обочину и чуть не перевернулся.

Немец стоял на дороге и вытирал очки носовым платком. Очень аккуратный немец: и службу знает, и чистоту любит.

Воз выбрался на дорогу. И снова колеса запрыгали по камням. Уже в лесу, в чащобе, парень в кепке соскользнул с воза и долго прислушивался, что происходит под соломой: попали немецкие пули в раненого или прошли мимо?

— Эй, парень! Ты жив? А? Ну отзовись! Отзовись!

Возница забыл о всякой предосторожности. Он кричал на весь лес. Он требовал, чтобы тот, кого он вез под ворохом соломы, был жив. Он кричал и прислушивался. Он обходил воз со всех сторон и прислушивался. Пока до его слуха не донесся слабый стон.

— Жив! — обрадовался парень в кепке. — Жив! Держись!.. Но, но, пошла! — прикрикнул он на лошадь и побежал рядом с возом.

Дорога в лесу была мягкой, без камней, и телега не громыхала, как бы плыла по ней бесшумно. И все вокруг было заполнено разноголосым щебетом птиц.

Наконец воз остановился на небольшом пятачке, среди лапастых елок. Из-за деревьев вышли люди и молча принялись сбрасывать на землю солому. Воз таял. Становился все ниже. А возница и распряженная лошадь стояли рядом и ждали. Наконец последние охапки соломы были сброшены — на дне телеги лежал Зимородок. Лицо его было бледно. И только полоска засохшей крови от штыковой раны тянулась до подбородка.

Парень в кепке склонился над Зимородком. И лошадь тоже потянулась к нему и коснулась его щеки мягкой губой.

И тут появился доктор Стройло. Он осмотрел раненого и спросил:

— Когда?

— Вчера, на исходе дня.

— В бою?

— Нет, его немцы расстреляли, — ответил парень в кепке, и вдруг в его голосе появилась твердость. — Доктор, он должен жить!

— Это что ж, приказ начальства? — насмешливо спросил доктор.

— Это по справедливости.

— Ба! Если бы смерть действовала по справедливости, сколько бы хороших людей ходило по земле.

— Может быть, нужна кровь? — спросил возница.

— Кровь понадобится, — сказал доктор и пошел прочь.

Люди осторожно подняли Зимородка и бережно понесли его по тропинке, ведущей в чащу, а парень и лошадь пошли за ними.

— Значит, он жив! — сказал Марат.

— Кто тебе сказал, что он жив? — отозвался доктор Стройло. — Разве я тебе говорил, что он жив? Три тяжелых ранения. И еще нога вывихнута. Я его оперировал, а потом отправил на Большую землю в очень тяжелом состоянии... Я не говорил, что он жив, я говорил только то, что знаю.

Доктор поднялся и подошел к большому аквариуму, стоящему на окне, и стал медленно подсыпать корм. И рыбки со всех углов приплыли к плавающему кругу, в который падали крупицы корма.

Ребята все сидели на диване. И молчали. Зимородок приблизился к ним и снова исчез. Он был неуловим. Он уходил из-под пуль. Он поднимался с земли. Он не давался смерти. Но он не был бессмертным.

А доктор Стройло кормил рыбок. И вдруг он сказал:

— Все, что люди сделали на войне, может бытьем по-расти. Все зависит от вас. Забвение — это ржавчина памяти. Она разъедает самое дорогое. Нужны новые силы, что-

бы бороться с забвением. И еще я хотел вам сказать, товарищи следопыты: ищите в себе человека; если найдете в себе хорошего, справедливого человека — жить будете интересно, с пользой.

— Доктор Стройло, — вдруг спросила Зоя Загородько, опустив глаза. — Доктор Стройло, кто вас обидел?

— Меня? Обидел? Ба! — Доктор выкатил глаза на смуглую девочку. — Меня никто не обидел. Жизнью я не обижен. Друзья от меня не отвернулись. Людям я еще нужен. А если встречаются на дороге камни или колдобины, так на то она и дорога. Знаете что, давайте-ка я вас угощу яичницей. Я здорово умею ее жарить.

— Спасибо, — отозвались все трое. — Мы не хотим.

— Не рассуждать! — весело прикрикнул доктор, и сразу у него в руках появилась огромная сковородка, и в глазах зажглись теплые точки.

Не каждого молодого можно представить себе стариком, но еще труднее увидеть в старике молодого. Но когда доктор Стройло взялся за дело, неожиданные гости увидели его таким, каким он был двадцать лет назад и тридцать лет назад. Каким остался навсегда...

14

Каникулы подходили к концу. В зеленом разливе листья уже появились первые вестники осени — желтые листья. Дни стали короче. Звезды — крупнее. Вода в реке потемнела.

А трое следопытов все искали Зимородка. Они появлялись в домах у людей, давно сменивших оружие на молотки, кисти, бухгалтерские книги или на постукивающую палочку пенсионера. Они заставляли бывших воинов вернуться в прошлое и в этом прошлом, на заросших бурьяном тропках, искать следы Зимородка.

Но эти следы не привели красных следопытов ни к жи-

вому, ни к мертвому: живой неожиданно оказывался мертвым, мертвый становился живым. И нельзя было поставить точку. Марат и его друзья спешили к Зимородку, как спешат в бою на помощь другу. Он был нужен им, а они были нужны ему. Они отвоевали его у забвения, собирали по крупицам развеванную по свету жизнь, и гордый образ бойца в штатском пиджаке с оторванной пуговицей все отчетливей и ярче возникал перед ними. Но он был недоступен.

В резерве у ребят оставался единственный день, когда на братской могиле в деревне Жуковке соберутся бывшие партизаны.

Ребята ждали этого дня и боялись его.

Услышат ли они свист иволги?

Тетка Алевтина встретила их как старых знакомых.

— Здравствуйте, странники! Может быть, молочка попьете с дороги?

Не хотелось им молока.

— Спасибо. Мы сыты, — за всех ответил Марат. — Не приезжали партизаны?

— Приехали. С вечера человек пять. И с первым поездом трое.

— А Зимородок?

— Какой он из себя, ваш Зимородок?

Марат посмотрел на товарищей, но откуда им было знать, как выглядел молоденький партизан спустя двадцать пять лет... Они знали, как он выглядел тогда: в помятом пиджачке, застегнутом на две пуговицы. Нос торчит бугорком. Маленький, острый, похожий на клюв... На лице шрам. Умест свистеть иволгой.

— Где им свистеть, — вздохнула тетка Алевтина. — Они все старые, седые.

— Может быть, и он стал старым? — сказала Зоя Загородько.

— Все стареют. Никто не остается молодым. Сколько

лет-то прошло! — Тетка Алевтина снова вздохнула и покачала головой. — Вы идите к могиле. Может быть, повезет вам с вашим Зимородком... Мне с моим Ваняткой никогда уж не повезет...

Они шли по раннему лесу, и ноги их до коленей были в росе. Пронзительный радостный холодок утра покалывал плечи и разливался по телу зарядом бодрости. Трое следопытов пересекали вырубки, перескакивали через ручей, ступали по мягкому мху. Они шли по земле, в глубине которой лежали осколки снарядов, пули, каски, стволы пулеметов — ржавые, увядшие плоды войны. Родная земля все видела, все знала, она хранила тяжелую правду о каждом, кто был на войне. И как у матери нет безымянных сыновей, так и земля знала имя каждого бойца, упавшего к ней на грудь.

Ребята незаметно прибавили шаг — им не терпелось встретить человека, заполнившего до краев их жизнь. Разве не ради него они опускались в глубины прошлого, как водолазы опускаются в пучину моря?

В лесу было тихо и безлюдно. От земли шел пар, и лес был не зеленым, а синим. Листья, трава, мох — все было синим. И фигуры бегущих ребят тоже казались синими в дымке рождающегося утра.

У партизанской могилы стояли бывшие бойцы отряда. Ребятам, выходящим из леса, они были видны со спины. Непокрытые головы — седые, стриженные, и бритые, и с чудом сохранившимися вихрами. Брезентовые куртки с капюшонами, откинутыми на плечи, городские пиджаки. Брюки, промокшие от росы до самых икр. Их было немного — восемь человек. Словно большой сильный отряд понес в бою новые потери, и уцелело только восемь.

Ребята медленно приблизились к могиле. И когда наконец поравнялись с застывшими в молчании людьми, то

стали жадно разглядывать их лица — есть ли у кого-нибудь на щеке шрам?

— Вам что тут надо, молодцы? — спросил плечистый в брезентовой куртке.

Глаза у него были красные от недавно просохших слез.

— Мы ищем Зимородка, — за всех ответил Марат.

Он произнес это далекое военное имя, как произносят пароль, требуя условного ответа.

— Улетел Зимородок, — вздохнул старый боец.

— Не пришел? — спросил Марат.

— С того света не приходят, — сказал стоявший рядом худой старик с палкой.

Остальные молча прислушивались к разговору.

— Он жив! — твердо сказал Марат.

— Грамотный? Читать умеешь? Тогда читай! — Плечистый в брезентовой куртке кивнул на обелиск.

— Его нет в этой могиле, — стоял на своем мальчик.

— Знаю. В этой могиле нет. Но не одна же могила на свете.

— И в другой могиле его нет, — убежденно сказала Зоя Загородько.

— Ишь как вы легко возвращаете из мертвых, — отозвался кто-то из стоявших поодаль.

— Мы трудно воскрешаем, — вставил слово Василь.

— Может быть, вы помните его имя и фамилию? — Марат пристально посмотрел в глаза старого бойца в брезентовой куртке.

Тот потер лоб и сказал:

— То ли его звали Сергеем, то ли фамилия его была Серегин.

И тут стоявший в стороне, с усами, которые топорщились сердитой светлой щетиной, сказал:

— Его звали Сергей Иванович Серегин.

Старые бойцы закивали головами, а ребята удивленно переглянулись.

— Так это наш учитель зоологии! — вырвалось у Зои Загородько. — Сергей Иванович Серегин!

— Может быть, однофамилец? — сказал плечистый в брезентовой куртке.

Даже боевые друзья не верили в живого Зимородка, хотя никто из них не видел его мертвым. Но Марат не сдавался. И образ бесстрашного Зимородка стал в его сознании упорно сливаться с чудаковатым, заросшим бородой учителем зоологии. Его искали по свету, а он был рядом. Он шел на верную смерть ради жизни людей, а ребята играли с ним в «кукушку». Может быть, Зимородок прикинулся учителем, чтобы быть неуловимым, а борода нужна ему, чтобы скрыть шрам?

— Это правда, что его звали Сергей Иванович Серегин? — переспросил Марат.

— Наш начальник штаба никогда не ошибается, — сказал старик с палкой.

Сам же начальник штаба молчал, словно уточнял в памяти события далеких лет. И все вдруг притихли, чтобы не мешать работать его памяти. И он вспомнил:

— За взрыв моста Зимородок был представлен к ордену. — Начальник штаба говорил сухо и отрывисто, словно по бумаге читал рапорт. — И был награжден... посмертно.

— А он, выходит, жив, — сказал кто-то из старых бойцов.

И все маленькое оставшееся в живых войско повеселело.

Где же учитель зоологии? Бродит по лесам? Спит в шалаше? Плышет в плоскодонке по мелким извилистым протокам? Варит на костре ушицу? И зарос бородой, как медведь? Разве его найдешь в эту пору? Но дайте срок. Он сам придет через несколько дней. Надо только дотянуть до первого сентября. Дверь в класс распахнется.

«Здравствуйте, люди-человеки! Начнем, пожалуй!»

И тогда Марат встанет и скажет: «Здравствуйте, Зимородок! Можете просвистеть иволгой?»

Он очень удивится. Уставится на Марата сквозь задымленные стекла очков. И просвистит. Не побоятся ни директора, ни инспектора. Ответит на старый военный пароль. Бесстрашный Зимородок, награжденный посмертно. Но оставшийся в живых.

Но ждать до первого сентября ребятам было не под силу. Слишком долго и упорно искали они Зимородка, чтобы ждать, зная, что он рядом. Сергей Иванович жил при школе. Ребята отправились к нему.

Постучались. Дверь открыл комендант.

— Здравствуйте. Мы к Сергею Ивановичу.

— К бородатому? Его нет.

Ребята тревожно переглянулись.

— Он уехал с месяц назад.

— Как уехал? — вырвалось у Зои Загородько.

— Собрал вещи и уехал. — Комендант пожал плечами. — Меня тогда не было. Приезжаю — комната пустая.

Комендант толкнул крайнюю дверь. В комнате стояли кровать, стол, две табуретки, шкаф. Никаких вещей в нем не было. Только на полке стояли книги.

— Он вернется? — спросил Марат.

— Не знаю... Он с директором что-то не ладил. Поговаривал, что на Крайнем Севере не хватает учителей. В случае чего, книги ему вышлем. Не расстраивайтесь. Не вернется — пришлют другого. Без учителя не останетесь.

— Нам не нужно другого! — крикнул Василь, и его верхняя губа недовольно поднялась домиком.

— Не кричи, — строго сказал комендант. — Я отвечаю только за порядок.

— Так нет порядка, — сказал Марат. — Какой же порядок — человек уезжает, и никто не знает, вернется он или нет.

— Грамотный? А не знаешь, что такое порядок. — Комендант нахмурился, и на его лбу образовались три волнистые складки. — Порядок — когда чисто, не течет крыша, работает канализация, весь инвентарь в наличии.

— А если человека нет в наличии? — не выдержала Зоя Загородько.

— Идите к директору, — сказал комендант, выпроваживая непрошенных гостей.

— Улетел Зимородок! — сказала Зоя Загородько.

Марат молчал. Он смотрел куда-то вдаль. Он был занят своими мыслями.

Утром первого сентября Марат и Зоя Загородько стояли на мосту и, упершись локтями в перила, смотрели, как от ветра морщится гладь реки. По небу плыли барашки облаков, похожие на белые купола парашютов. Их несло куда-то вдаль, и было неизвестно, в каком месте они окончат полет и бесшумно лягут на траву.

Друзья ждали Василя.

— Ты мог бы прыгнуть с парашютом? — спросила девочка Марата.

— Не знаю, — ответил он.

— Смог бы, я знаю. И с тобой вместе я тоже бы смогла.

— Выдумываешь, — усмехнулся Марат.

— Нет. Ищу человека. В тебе и в себе тоже.

— Зачем же во мне?

Зоя Загородько помедлила с ответом, потом сказала:

— И в Василе.

— Если вернется Зимородок, — сказал Марат, — мы теперь будем здорово жить. Но он может не вернуться.

Марат смотрел в воду, а Зоя Загородько со стороны поглядывала на него и видела в друге какого-то нового человека, похожего на учителя зоологии.

В это время на мосту появился Василь.

...Прозвенел звонок, а ребята галдели, спорили, стучали крышками парт.

Только трое друзей сидели на своих местах и не отрывали глаз от двери. Никто из ребят не был посвящен в их тайну. Никто не мог догадаться, что сейчас происходит у них в душе. Ребята рассаживались по местам. А дверь все не открывалась. Не появлялся человек с массивной головой, в задымленных очках, с буйной растительностью на лице, прикрывавшей след вражеского штыка.

Не прилетел Зимородок.

— Он не придет, — тихо сказал Марат своим друзьям. Встал. Хлопнул крышкой парты и подошел к доске.

Ребята с веселым любопытством уставились на Марата.

— Расскажи про глухую кукушку! — крикнул кто-то с задней парты.

Марат поморщился, но ничего не ответил. Потом он сказал:

— Ребята, Сергей Иванович уехал. Теперь я хочу рассказать вам о нем.

Класс весело загудел. Кто-то тоненьким голоском крикнул:

— Ку-ку!

— Я хочу рассказать вам о бесстрашном герое, которого в партизанском отряде звали Зимородком. Зимородок и Сергей Иванович — одно лицо.

Умолкли голоса. Перестали скрипеть парты. В классе установилась тишина. Все смотрели на Марата.

— Когда нужно было взорвать мост, он полетел в тыл врага. А сам до этого никогда не прыгал с парашютом. Даже не знал, за что надо дергать...

Марат рассказывал и не заметил, как зазвенел второй звонок, как дверь бесшумно отворилась и на пороге появился Сергей Иванович, обожженный солнцем, всклоченный, в брезентовом плаще с капюшоном, с рюкзаком за спи-

ной. Он стоял в дверях и сжимал в руке серенькую кепку. И никто не заметил, что он пришел. Все слушали Марата.

— Сергей Иванович добровольно пошел на расстрел, чтобы спасти людей. И его расстреляли.

В классе послышался приглушенный гул.

— Но он остался жив.

Класс облегченно вздохнул.

— И он умел свистеть иволгой.

И в это мгновение послышался тонкий переливчатый свист. Ребята повернулись и увидели Зимородка. И класс тихо встал.

— Здравствуйте, люди-человеки, — сказал учитель глуховатым голосом и закрыл за собой дверь. — Я немного опоздал и не успел умыться с дороги... Что же вы молчите?

Учитель огляделся и почувствовал ту знакомую неловкость, которая охватила его много лет назад в партизанской школе. И он снова засвистел иволгой.

Неподалеку от Нового Моста по реке плыло странное суденышко, сбитое из неровных бревен. На нем были мачта и парус. Парус был не клиновидным, а круглым. Видно, его потрепала буря, потому что на полотнище выделялись цветные заплаты. Ветер наполнил его упругой силой, и он, выгнувшись куполом, увлекал за собой суденышко и его команду.

Так маленькие мальчишки со станции Река нашли применение старому военному парашюту, и он зажил новой жизнью.

Мальчишки не знали, чей это парашют и как он очутился в лесу. Они были еще малы и не задумывались над случайными находками.

Но придет час — и они услышат о Зимородке.



БАЛЕРИНА ПОЛИТОТДЕЛА

Часть первая

БАЛЕТМЕЙСТЕР

1

Я бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, а мне казалось, что я топчусь на месте, спускаюсь на зскалаторе, который движется вверх. Наконец — последняя ступенька, я рванул на себя дверь. Белый колючий снег мелкими песчинками сек лицо и шею, но я не отвернулся, не поднял воротник, а выбежал на покрытую наледью мостовую и долго пытался остановить какую-нибудь машину. Они же, словно не замечая меня, пролетали мимо. Будь я помоложе, плюнул бы на эти машины и побежал бы с Васильевского острова к Аничкову мосту.

Одна машина все же остановилась. Я распахнул дверцу, плюхнулся на сиденье и закрыл глаза. Тут только сообразил, что выбежал из дома без шапки, в расстегнутом пальто, а шарф торчит из кармана. Я вытянул шарф и запоздало намотал на шею.

Что со мной? Почему я спешу, словно от того, как скоро приеду, зависит что-то важное в моей жизни? Я скашиваю глаза на шофера: козырек ушанки нависает, как поднятое забрало, нос горбинкой, верхняя губа закрывает нижнюю, на подбородке рыжеватая щетина. Его обыденное спокойствие не передается мне, напротив, вызывает взрыв возмущения. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Белые капроновые нити метели опутывают машину, бросаются под колеса, сухо стучат по стеклу.

Только что мне позвонила моя ученица Галя Павлова. В трубке, как в полевом телефоне, стоял треск. Я не сразу узнал Галин голос и никак не мог взять в толк, про какую записку она говорила. Я нетерпеливо крикнул в трубку:

— Чадо мое, объясни, какая записка?

— Увольнительная, — донеслось сквозь треск. — Балерина политотдела... Ей зачем-то нужен пистолет... Слышите, пистолет!..

Мне показалось, что Галя звонит с другого конца света, из другого времени, но я все же расслышал главное, понял, о какой записке идет речь, и меня ударило током, как много лет назад, когда эта записка попала мне в руки.

В первое мгновение я не поверил Гале. Не мог я потерять эту записку! Но тут вспомнил, что искал какую-то справку, рылся в бумажнике и вот на тебе — выронил...

С этой полоской бумаги, стертой на сгибах, я не расставался никогда. Обыкновенная солдатская увольнительная была для меня всемогущим пропуском. Я предъявлял этот документ не комендантским патрулям, а своей памяти — и сразу проникал в далекие, сокровенные уголки

своей военной молодости. Сквозь сплошной, душный грохот алой жилкой начинала биться мелодия песни про танчанку. И кто-то издалека кричал: «Эй, киндерлейтенант, собирай свою команду, надо ехать к танкистам, они завтра на рассвете уходят в бой...» Еще я чувствовал необъяснимо родной запах шиповника, перемешанный с горьковатым духом пожара. Это от клочка бумаги пахло шиповником и дымом...

Я закричал в трубку:

— Галя, где ты?

— Я в танцевальном классе, слышите? Мы с Димой...

— Ждите меня! Никуда не уходите! Я сейчас!

Сидя в быстрой-медленной машине, я представлял себе, как Галя нашла на полу сложенную вчетверо бумагу. Может быть, под столом, а может быть, под роялем, у бронзового колесика. Представил, как Дима со странной фамилией Молоденький (станет стариком, а все его будут звать молоденьким), заинтересованный таинственной запиской, вытянул свой острый носик.

— Что там у тебя?

— Бумажка какая-то, увольнительная.

— Кого уволили? — полюбопытствовал Дима.

— Не знаю... Тут написано: «Увольнительная записка». Потом «фамилия, имя, отчество» — Тамара Самсонова. Ты знаешь Тамару Самсонову?

— Не-ет. Ее уволили? Читай дальше.

— «Звание» — красноармеец. «Занимается должностью» — балерина политотдела.

Эту увольнительную записку я знаю наизусть. Вижу круглый писарский почерк с нажимом — писарь заполнял бланк увольнительной пером № 86, — вижу лиловую печать с номером воинской части. В увольнительной значилось, что «балерина политотдела» уволена «до 24.00». И дальше шла подпись командира — моя подпись с длинным хвостиком над буквой «Б»: «Корбут». Ребята навер-

няка узнали мою подпись по хвостику. И наверняка удивились, почему я, педагог, балетмейстер, расписался за командира.

Я представил себе, как Дима, слегка заикаясь, сказал:

«Надо позвонить Борису».

Ребята всю жизнь за глаза называли меня Борисом.

Но тут Галя случайно перевернула листок и увидела, что на оборотной стороне тоже что-то написано. Только не чернилами, а карандашом. Слова почти стерлись. Буквы перовные, словно человек учился писать или же писал в машине, которую бросало на ухабах. Но я-то знаю, отчего дрожала рука.

Вот что прочитали мои чада на обороте увольнительной записки:

Милый Вадим, со мной все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Раздобудь пистолет. Очень прошу. Твоя Тамара.

Ребята, конечно, ничего не поняли, но смутное предчувствие беды охватило их, и они бросились к телефону, уверенные, что их Борис может что-то предпринять. Упустили из виду, что на записке стояла дата — 1942 год.

И помочь было нельзя.

Когда я вошел в зал с зеркалами, с поручнями станка вдоль стен, никого, кроме Гали, не было. Она сидела на низенькой скамейке, опершись локтями о колени.

Прямо с порога я спросил:

— Где?

Девочка легко поднялась и бесшумной походкой балерины подошла ко мне.

— Вот.

Листок лежал у нее на ладони, как крыло бабочки.

Я взял бесценную записку и торопливо пробежал глазами по строчкам, чтобы удостовериться, что это она.

Потом, как был в пальто, опустил на стул, стащил с себя шарф и вдруг почувствовал себя таким усталым, словно проделал огромный путь пешком.

Галя пристально смотрела на меня, видимо стараясь установить связь между мной и той драматической историей, которая смутно угадывалась в словах, выведенных дрожащей рукой. Она ни о чем не расспрашивала, только смотрела большими серыми глазами.

Ее ладная, тоненькая фигурка была обтянута черным трико. Маленькая головка, гладкие рыжеватые волосы, собранные в тугий пучок на затылке. Уши аккуратно прижаты, и только розовые мочки слегка отходят в стороны. На нос высыпана щепотка веснушек. Под нижней губой глубокая впадина и сразу подбородок, поднятый вверх бугорком. Длинная шея с голубой жилкой. Плечи отведены назад. Правая ступня перпендикулярна левой, как в третьей позиции.

Она молчала, моя маленькая балерина, но глаза ее спрашивали, требовали ответа. А я тем временем пытался представить ее в гимнастерке, с рукавами до кончиков пальцев, в пилотке. В тяжелых сапогах с железными подковками. И стоит она передо мной, как перед командиром, и ждет, когда я подпишу увольнительную и отпущу ее в Ленинград, как когда-то Тамару Самсонову.

Сколько себя помню, я всегда был беловолосым. Еще в школе меня дразнили «седым». «Эй, седой, дай списать задачку!» И я давал. Не обижался на «седого». Напротив, мне даже льстило, что в отличие от других ребят я был седым. Помню, на уроке физики наш сутулый, усатый учитель воскликнул: «Ты не знаешь элементарных понятий! Постыдился бы своих седи!» Но я не стыдился, со-

вершал массу неожиданных поступков, удивлял друзей и ввергал в отчаяние родителей. Например, вместо того, чтобы выучиться на врача или инженера — стал балетмейстером. И поступил на работу не в Театр оперы и балета, а во Дворец пионеров.

Потом добровольцем ушел на фронт. Был пятым номером на зенитной батарее. Потом стал киндерлейтенантом.

Если волосы от переживаний меняются в цвете, моим бы следовало потемнеть. Они же остались неизменными, только со временем чуть порыжели, словно их подпалило пламя. Кто знает меня недавно, думает, что я поседел на фронте, в первую зиму блокады... Мои переживания все при мне, проросли в сердце горькой, жесткой травой. И порой я чувствую вкус этой травы на губах. Неужели эта горетрава никогда не увянет, не исчезнет, не скроется под снегом!

Но человек всегда ждет счастья.

— Послушай, чадо мое,— оторвавшись от своих мыслей, обратился я к Гале,— ты могла бы расстаться с балетом?

— Нет! — Ее глаза слегка сузились, а локти сильнее прижались к бокам.

— Разве ты бы не нашла в жизни другого занятия?

— Но балет не занятие, он и есть жизнь.

— Ты в этом уверена? Может быть, ты просто не знаешь другого? Только балет?

Мои неожиданные вопросы не смогли ее обескуражить, не потому, что она была такая уж смышленная, — для нее и в самом деле не было иной жизни, не могло быть. Она получала по сочинениям тройки, но могла станцевать любой рассказ. Ей было дано это, а другого дано не было.

— Почему вы меня об этом спрашиваете? — вдруг забеспокоилась Галя.

— Я ищу разницу между тобой...

— ...и балериной политотдела? — закончила она.

— Ищу разницу,— сказал я,— а нахожу сходство.

— Не представляю себе, как вы могли жить без балета! — думая о своем, воскликнула Галя.

— Я и сам не представлял. Война все перепутала. Вернее, все расставила по своим, военным местам. Но даже война не могла обойтись без балета.

2

Наша батарея стояла на дамбе, отделяющей залив от низкого берега. Орудийные дворики, землянки, командный пункт, артпогребок были вырыты, вернее, выдолблены в теле дамбы. Запорошенный снегом лед залива казался полем, а пустынный берег, белый от снега, был неотличим от залива. И казалось, что наша батарея стоит на пустынном острове, отрезанном от всего мира. И вместе с тем, поднятые на гребень дамбы, мы были на виду у врага. Как старательно прятались мы от глаз врага в часы затишья и как отчаянно выдавали себя в бою грохотом четырех орудий и резким желто-красным пламенем, которое после каждого выстрела отрывалось от дульного среза. Пламя на мгновение застывало в воздухе, словно подавая предательский сигнал: батарея здесь, засекайте ее координаты, бейте.

Я вижу себя стоящим у орудия. Я пятый номер — установщик взрывателя. Мне не положено слышать ни выстрелов, сотрясающих дамбу, ни звона гильз, ни гнетущего, непрерываемого гула «юнкерсов», пролетающих над головой. Я должен слышать только данные — цифры 66, 67, 68. Я сжимаю коленками латунную гильзу, кольцо ключа набрасываю на острую головку снаряда и слушаю команды четвертого номера, который считывает с датчика данные взрывателя:

— 73, 74, 75...

Я не вижу ни летящих самолетов, ни шерстяных клубков разрывов в небе — у меня перед глазами деления.

— 77, 78, 79...

Я впиваюсь глазами в шкалу и медленно поворачиваю ключ. Мне тяжело дышать, а от сильного холода слипаются ресницы, и нет лишней руки, чтобы протереть глаза.

И вот она звучит, долгожданная команда:

— Огонь!

Я быстро, можно сказать, молниеносно снимаю с головки снаряда ключ и легко, словно он невесомый, передаю пудовый артвыстрел заряжающему. Я успеваю сделать два вдоха, и раздается грохот. Орудие вздрагивает. Земля под ногами ходит ходуном. Дымящаяся, стреляная гильза, как из печи, вылетает из патрона орудия, ударяется о стальную лапу крестовины лафета и падает на снег, и снег подтаивает от жара и тут же замерзает, превращаясь в ледяную корку. Резкий запах сгоревшего пороха ударяет в нос...

А у меня в руках уже новый артвыстрел. Он кажется тяжелее предыдущего. Глаза еле видят мелкие деления. Рука с ключом наливается тяжестью.

— 96, 97, 98...

И снова грохот, удар в грудь, всполох плотного огня и запах выстрелов, резкий, как вдох нашатыря. А затем долгожданная, неожиданная команда:

— Не заряжай!.. Нулевые установки!.. В укрытие!

До сих пор во мне живет эхо этих команд. Они означали конец боя. Вспышки гасли, стволы орудий опускались, и батарея сливалась с белизной заснеженной дамбы. Но мир — короткий военный мир — не наступал. Почти сразу после нашего поединка со стервятниками — так во время войны называли фашистские самолеты — на нас обрушивался шквал артиллерийского огня — нас засекала фашистская батарея. Мы едва успевали скатиться со

склона дамбы и укрыться в своих похожих на норы землянках, как дамбу начинало трясти и двери ходили ходуном. Потом в месте разрывов на снегу загорались черные от земли и торфа звезды. От этих звезд шел пар.

В тот день, с которого началась эта необычная военная история, все было так же, как и в другие дни. Мы отстрелялись. Опустили стволы орудий — угол места «ноль». Даже успели накрыть свои пушечки маскировочными сетями.

И тут дежурный связист крикнул:

— Корбута на КП!

Я побежал вниз, на ходу поправляя ремень.

В командирской землянке горела слабая лампочка от аккумулятора, и со света я не видел командира, только предполагал, где он находится, и в темноту выпалил:

— Товарищ старший лейтенант...

Но командир перебил меня:

— Здесь старший начальник — полковой комиссар.

Я растерялся: на нашу батарею редко заглядывали гости, да еще в таком большом звании. Но я поборол замешательство, приложил руку к виску и снова в темноту произнес:

— Товарищ полковой комиссар...

— Подойдите поближе, — из дальнего угла послышался низкий, немного сдавленный голос. — Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Я уже привыкал к полумраку. И постепенно увидел полкового комиссара, сидевшего на топчане: невысокого роста, краснолицый, бритоголовый, с маленькими внимательными глазами, которые испытующе смотрели на меня, словно хотели узнать обо мне нечто такое, о чем я и сам не догадывался.

— Садитесь!

Я опустился рядом с ним на краешек топчана, словно получил не приглашение, а приказ сесть.

— Чем вы занимались до войны? — спросил полковой комиссар.

Вопрос был для меня таким неожиданным, что я замешкался, словно не мог сразу вспомнить, сомневался.

— Работал балетмейстером, — наконец ответил я.

Слово «балетмейстер» прозвучало для меня как позывной далекого, бесконечно дорогого времени. Я сразу вспомнил Аничков мост с четырьмя неукротимыми конями, Дворец пионеров, сцену и «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса...».

Вот «тачанка»-танец вырывается из-за кулис на необозримый простор сцены. И всем сидящим в зале начинает казаться, что они тоже мчатся следом за тачанкой. Давай, давай! Пулеметная тачанка — все четыре колеса! Нет никаких колес — есть ребячьи ноги, тоненькие, проворные, гулкие. Они и колеса, они и подковы. Четыре коня вразлет. Гей, гей!

Я еще не военный, а уже командую. Я стою за кулисами, рука вытянута, сжата в кулак. Раз-два! Быстрее! Легче! Легче! Раз-два! Я вижу только руки, ноги, плечи, глаза. Из них я создал тачанку, в которую все поверили.

Исчезли канделябры, пропала лепнина дворцового потолка. Кресла превратились в седла. И вот уже синее окоем. Над головами плывут облака, небольшие, серые, похожие на разрывы снарядов. Ветер гонит поземку пыли, оркестр звучит как бы издали, отстал от тачанки. А она, моя танцевальная тачанка, оторвалась от земли и летит навстречу облакам, похожим на разрывы...

В это время снаружи грохнуло, и мои воспоминания оборвались. С бревенчатого потолка посыпалась земля, а лампочка, подвешенная над столом с полевым телефоном, закачалась.

— Близко шарахнуло, — произнес комбат.

Однако это не отвлекло полкового комиссара от его мыслей.

— Вы нам нужны, — сказал мне полковой комиссар. — Мы решили создать при политотделе танцевальную группу.

— Разве сейчас до танцев? — тихо спросил я.

Маленькие глаза полкового комиссара впились в меня:

— Люди устали. Им нужна разрядка. Танцы нужны как хлеб, как воздух. Да что я вам говорю, — полковой комиссар ударил себя ладонью по колену, — вы же сами это знаете, сидя на вашей дамбе... В блокадном Ленинграде люди ходят на концерты в филармонию. Для забавы? Для развлечения? Для того, чтобы жить!

Взрывной волной распахнуло дверь. Комбат выругался и сам пошел затворять дверь. В другое время это сделал бы дежурный телефонист. Этот телефонист — помню, фамилия его была Афонин — изо всех сил делал вид, что не слушает наш разговор, но время от времени не выдерживал и бросал любопытный взгляд то на полкового комиссара, то на меня и удивленно пожимал плечами.

— Поедете со мной, — решил полковой комиссар. — Разыщите в частях бойцов, умеющих танцевать. Подготовьте программу. Идите собирайтесь...

Он сказал: «Идите собирайтесь», а я продолжал сидеть, ошеломленный таким неожиданным поворотом дела.

— Корбут, ты что! — прикрикнул на меня комбат. — Тебе же приказали...

Да, да, мне приказали. Я балетмейстер, но я и солдат. Я солдат, но и балетмейстер.

Я вскочил. Пробормотал:

— Разрешите идти? — И направился к двери.

Когда артобстрел кончился, мы с полковым комиссаром двинулись в путь. Я впереди, комиссар за мной. Я шел быстро, высоко поднимая ноги, которые вязли в снегу. Комиссар старался не отставать, но я слышал, как тяжело он дышал.

Неожиданно над заливом послышался как бы щелчок и

нарастающий вой летящей мины. Я раньше комиссара понял, что это мина, крикнул:

— Ложитесь!

И сам первый бросился в снег.

Мина разорвалась метрах в ста от нас, но осколки прошипели совсем близко.

Нам едва удалось пробежать метров двадцать, как правее нас одна за другой разорвались три мины. Один осколок уткнулся в снег прямо у наших ног.

Мы лежали рядом. Я слышал тяжелое дыхание полкового комиссара. Он повернулся ко мне и вдруг подмигнул. Как-то не по-военному подмигнул. Я воспринял это как установление доверительных отношений, снова подумал о задаче, которую он поставил передо мной, и, повернувшись к нему, заговорил быстро и горячо:

— Товарищ полковой комиссар, ничего не выйдет с танцами... Я твердо усвоил, что на войне все должно быть настоящим. И танцоры нужны настоящие, профессионалы. Не эрзацы. Со школой, с опытом. Иначе не получится передыха...

— Где я возьму вам профессионалов? — глухо спросил комиссар.

Я не знал. Я теперь знал, как высказывать по тревоге на мороз, как половчей подхватить снаряд, как установить взрыватель, чтобы снаряд разорвался под желтым брюхом фашистского самолета. Знал, где лежит мой обмылок, мой котелок и ложка... Знал, как пыжевать орудие огромным шестом-банником...

Но полковой комиссар ждал ответа, и я, лежа рядом с ним на снегу, сказал:

— Может быть, в Ленинграде поискать... Там много коллективов.

— У вас родные в Ленинграде? — Полковой комиссар внимательно посмотрел на меня.

— Никого у меня нет... И дома нет — разбомбили.

Неподалеку грохнули две мины.

— Простите, — сказал комиссар. И через минуту: — Поедете в Ленинград. Найдете танцоров, каких вам надо.

3

На мне шинель, надетая поверх ватника, стеганые штаны, валенки, подшлемник. В кармане у меня командировочное предписание: пропуск в Ленинград. Я еду туда поездом. Маленьким поездом, удобным, чтобы уходить из-под обстрела. Паровоз и один вагон.

Я не был в родном городе полгода, но мне кажется, что прошла целая вечность. Эпоха! Эта страшная, бесконечно длинная эпоха превратила цветущий город в мертвые, ледяные Помпеи.

Кажется, не снег, а белый остывший пепел занес Невский проспект. Трамваи замерли. Ослепли. Онемели. Стали похожи на ископаемые существа, сохранившиеся в вечной мерзлоте.

Не верилось, что когда-то они пели на поворотах, звонили, издали светили разноцветными огнями: у каждого маршрута свой цвет.

Наши дорогие «четверки», «девятки», «семерки». «Вы выходите у Пяти углов?», «Следующий Невский», «Кто выходит у Кирочной?». Но это было в ту далекую эпоху, которую теперь называют мирным временем.

Я иду по узкой тропке, проложенной в снежных завалах Невского проспекта. Мимо «Колизея», мимо «Художественного», мимо «Новостей дня», к «Титану». Эти кинотеатры как бы вехи моей жизни, здесь я смотрел «Путевку в жизнь», «Чапаева», «Дети капитана Гранта», выпуски хроники из Испании. Теперь экраны погасли. Нет афиш. Нет огней. А темные залы, вероятно, похожи на огромные склепы.

...— Куда вы шли? — вдруг спросила меня Галя, и ее широко раскрытые глаза взглянули на меня в упор.— Вы шли в Ленконцерт?

Но я покачал головой.

— Я шел к Тамаре. Прямо с вокзала к ней.

— Почему к Тамаре?

— Я любил ее, как младшую сестренку. Понимаешь?

— Понимаю,— отозвалась Галя, но глаза ее смотрели на меня настороженно, они чего-то ждали от меня, Галины глаза.

А я уже двинулся дальше по дороге своих воспоминаний. Временами мне казалось, что Галя не пошла за мной, отстала — слишком труден был этот путь.

По радио звучит метроном. Разрушает тягостное безмолвие. Может быть, это не метроном, а кто-то из ленинградцев приложил микрофон к сердцу и его удары слышит весь город? А может, это мое сердце звучит, сжимаясь от боли?

Мимо меня на санях провезли мертвого. Я не сразу догадался, что он мертвый: просто скуластый мужчина сидел в санях — сани были слишком малы, чтобы он мог лечь, вытянуться. Его неподвижное лицо было подставлено ветру и стуже, но его не страшил мороз. Ему уже ничего не было страшно. Две женщины в черном тащили сани. Их лица были скрыты платками. На ухабах сани подбрасывало, и мертвый вздрагивал. Как живой.

Потом я увидел очередь за хлебом. От холода люди жались друг к другу, жались к стене. Очередь как бы окаменела, и только слабые парки возникали и тут же растворялись в стуже — очередь жила, дышала.

И тут я заметил мальчика. На голове у него был башлык из клетчатого платка, и виднелись только глаза и переносица. Края «смотровой щели» обросли колючими

кристалликами мороза. В руке на длинной цепочке мальчик держал часы-«луковицу». Перед ним стоял высокий мужчина в шубе. Уши его были завязаны шарфом, а поверх шарфа была надета каракулевая шапка пирожком. На лице мужчины выделялся нос — крупный, мясистый, весь в щербинках, сизый нос. Мальчик о чем-то просил мужчину и все протягивал часы. Часы раскачивались на цепочке.

И вдруг мужчина ловко поймал их на лету, сгреб цепочку и сунул руку в карман. Из того же кармана он извлек маленький кусочек хлеба и вложил в руку мальчика. Все это он проделал так быстро и ловко, словно показывал фокус.

Мальчик посмотрел на хлеб и протуженным голосом сказал:

— Мало!..

— Хлеб всем нужён,— спокойно ответил ему мужчина. Вместо «нужен» он говорил «нужён» и ставил ударение на последнем слого.

— Не могу я так! — слабо протестовал мальчик.

Но носатый уже шел прочь. Мальчик бежал рядом и о чем-то просил его, умолял, а тот как бы не слышал.

И тут я понял: обманул мальчика, надул его сизый нос! В два прыжка я очутился рядом. Схватил его за отворот шубы и крикнул:

— Отдай! — В какое-то мгновение мне стало неловко за свое «отдай», и я поправился: — Отдайте!

— Тебе-то что, солдат? — спросил мужчина, уставясь на меня слюдянистыми глазами.— Ты ему больше дашь?

Его спокойный, рассудительный голос обжег меня. Я почувствовал, как у меня на висках напряглись жилы.

— Не рассуждать! — крикнул я, скопировав нашего батарейного старшину.— Верните часы!

Я продолжал крепко держать его за отворот шубы. Он не испугался меня, этот проклятый сизый нос, но, видимо, решил, что лучше не связываться с солдатом, и полез

в карман. Я вырвал из его рук серебряную луковичу.

— Я тебе дам хлеба. Верни ему хлеб,— сказал я мальчику.

Тот недоверчиво посмотрел на меня и нехотя разжал пальцы. Сизый нос быстро сгрел хлеб, словно сдул его с ладони. А я уже стянул с плеча вещмешок и непослушными, окоченевшими пальцами развязывал затвердевший на морозе шнур.

— Тебе, солдат, самому хочется иметь часы на серебряной цепочке,— ядовито произнес сизый нос и, шаркая черными ботами, зашагал прочь.

Я достал два сухаря, два куска сахара и протянул все это мальчику. И он, не веря своим глазам, принял это блокадное богатство. Я же, чтобы не смущать его, рассматривал часы. На выпуклой серебряной крышке каллиграфическим почерком было написано: «Обер-кондуктору Николаевской железной дороги Ложбинскому А. А. за безупречную службу».

Ложбинский. Знакомая фамилия. Никакого обер-кондуктора я, естественно, не знаю, но фамилия Ложбинский... Ах, да это же фамилия Вадика, лучшего танцора нашего ансамбля при Дворце пионеров. Я оторвал взгляд от часов и увидел, что мальчик уходит.

— Подожди!

Мальчик нехотя остановился.

— Послушай... на часах написано «Ложбинский». Ты, случайно, не знаешь Ложбинского Вадика?

Два глаза напряженно смотрели на меня в «смотровую щель». Мальчик молчал.

— Жаль,— вздохнул я.— Был у меня такой знакомый. Прекрасный танцор...

Мальчик быстро зашагал прочь.

И тут я узнал его, со спины узнал. По легкой походке, по тому, как он на ходу поводил плечами. Это был Вадик. Но почему он не захотел признаться? Не узнал меня!

Я подхватил вещмешок и сорвался с места:

— Ва-адик!

Он не оглянулся. Я нагнал его, схватил за руку.

— Вадик, ты не узнал меня? Правда?

— Узнал.— Мальчик как-то сжался и отвел глаза, спрятал их в глубине своего странного башлыка.

— Что ж ты не признался, чадо мое?

— Не мог я...

И вдруг он откинул башлык, и я увидел его лицо, худое и серое, с посиневшими губами, с глубокими глазницами, с лихорадочным блеском глаз.

— Я съел мамин хлеб,— глухо сказал он.— Не знаю, как это произошло, съел в каком-то бреду, по крошкам...

Но я как бы не расслышал его слов. Я смотрел на Вадика и, чтобы отвлечь его от беды, все говорил, говорил:

— Ты совсем не изменился... немного похудел. Как там наши ребята? Я часто вспоминал о них на фронте. Как Тамара? Как Левушка, Алла Петунина, Леня Иосимов?

— Леня Иосимов погиб,— тихо произнес Вадик.— Он кормил бездомных собак, помните?

Мы шли по улице, и я крепко прижимал к себе мальчика. Вместе с Вадиком в мою военную жизнь ворвался старый, бесконечно родной мир. Дворец пионеров. Художественный корпус. Танцевальный класс с зеркальными стенами...

Я забыл, куда надо было идти, но хотелось поскорее уйти с этого места, с этой улицы, где стоит окаменевшая очередь и бродят носатые мародеры с завязанными ушами. Может быть, они специально завязывают уши, чтобы не слышать молящих человеческих голосов?

Вадик остановился.

— Вот Тамарин дом,— сказал он.— Дверь на одной петле. Квартира тридцать семь.

— Может быть, зайдём? — нерешительно спросил я.

— Зайдем.

— Понимаешь, я с фронта, на несколько дней...

И вдруг:

— Комендантский патруль, предъявите документы!

Эти железные слова вернули меня к действительности.

Передо мной стояли два солдата с автоматами на груди и лейтенант в полушубке.

Их лица были непроницаемы. Они смотрели на меня, как на врага.

4

— Товарищ капитан, нами задержан боец Корбут... подозрительный. Слоняется по городу. Полный мешок продуктов. Похоже, что выменял у мальчишки часы на хлеб.

С этими словами старший патруля положил на стол мои документы.

— Ясно! — сухо сказал капитан и стал внимательно изучать мою красноармейскую книжку и командировочное предписание.

Комендатура была чем-то похожа на милицию, чем-то на воинскую часть. Столы, скамейки, сейф. На стенах плакаты: «Все для фронта, все для победы!», «Родина мать зовет!». Портреты военных. На окнах решетки.

Посреди комнаты печурка, от которой к окну тянулась длинная труба.

— Кем командирован в Ленинград? — сухо спросил капитан.

— Политотделом. Там все написано, — тихо произнес я.

— Я тебя спрашиваю, а не бумагу, — капитан пальцем ткнул в мои документы, словно хотел их проткнуть. — Цель командировки?

Все это было похоже на допрос, и я растерялся.

— Дело в том, что до войны я был балетмейстером, — пробормотал я.

Капитан оборвал меня:

— Меня не интересует, кем ты был до войны. Что делаешь в Ленинграде? Почему не на фронте? Люди воюют, а он по городу гуляет. Балетмейстер!

— Мне приказано найти артистов.

Капитан не обратил внимания на мои слова.

— Где часы, которые выменял у пацапа?

Я забыл про часы.

— Нет у меня никаких часов! — крикнул я отчаянно.

Капитан резко встал, сорвал с моего плеча вещмешок. Развязал его. И высыпал на стол все содержимое: сухари, несколько банок консервов, пакеты концентрата, горсть сахара... Один кусочек сахара упал на пол. Патрульный наклонился, поднял и осторожно положил на стол.

В комендатуре установилась гнетущая тишина.

— Расстреливать спекулянтов надо, — с горечью произнес капитан. И стал сухарь за сухарем, банку за банкой аккуратно, как вещественные доказательства моей вины, класть продукты обратно в мешок.

— Видите ли, это не все мое... Тут паек полкового комиссара, — попытался объяснить я коменданту, но он не слушал меня.

В это время дверь отворилась, и в клубах пара возникла девочка-подросток, она была так закутана, что лицо ее невозможно было рассмотреть. Из-под пальто торчал белый халат.

— Я из госпиталя, — простуженным голосом сказала она. — Привезли койки, а разгружать некому.

Комендант поднялся. Посмотрел на гостью. Потом решительно повернулся к лейтенанту и сказал:

— Прыгунов! У нас там двое на гауптвахте. И этого, — он кивнул на меня, — балетмейстера. Пошлите. Надо помочь.

...Я иду по набережной Фонтанки и разглядываю огромные круги, которые образовались на льду от снарядов. Я вспоминаю, как здесь до войны устраивали каток. Играла музыка. Горели цветные лампочки. Звучали веселые голоса. Весной каток таял и расколотый на части уплывал в Неву, чтобы вернуться к новому году. Я вспоминаю и как бы смотрю в перевернутый бинокль — все это неестественно далеко. Невообразимо далеко. Война, блокада удалили, отбросили далеко назад то, что было всего лишь в прошлом году. В прошлом году, как в прошлом веке.

Я иду налегке — без вещмешка, который остался в комендатуре. И без ремня, потому что арестован. А за мной автоматчик.

И вдруг Аничков мост без клудтовских коней. Куда девались дикие кони, которых бронзовые атлеты пытаются укротить? Погибли? Умчались в бой? Или их где-нибудь расстреляли из противотанковых пушек прямой наводкой, бронебойными...

Конвоир привел меня во Дворец пионеров, в родной дом, где я занимался со своими ребятами. Где рождался мой любимый танец «Тачанка». Но почему у главного входа во Дворец стоят санитарные машины? Почему люди в белых халатах выдвигают из машин носилки и торопливо вносят в парадный подъезд?

— Здесь давно госпиталь? — спрашиваю я у конвоира.

— Всегда госпиталь, — сухо отвечает солдат с автоматом.

Мы входим в вестибюль, здесь лежит гора только что привезенных коек. Я беру верхнюю койку, поднимаю и несу по белой мраморной лестнице. Я несу койку и смотрю на родные стены сквозь железные ромбики сетки. Люстры в чехлах. Зеркала завешены, словно в доме покойник. Паркет застелен линолеумом. То ли чтобы сохранить редкий рисунок полов, то ли для гигиены.

Я ставлю койку, куда мне велят, и иду обратно. Но мне

кажется, что ромбики остались перед глазами. Что я теперь всегда буду видеть родной Дворец пионеров сквозь ромбики госпитальных коек.

Я подхватываю новую койку и несу ее в комнату сказок — прямо с лестницы налево. Иду не торопясь, чтобы не задеть острым углом койки прекрасные палехские фрески — фрески моей юности. Я разглядываю их сквозь железные ромбики.

И вдруг за спиной слышу знакомый простуженный голос:

— Жили-были старик со старухой.

— Старик ловил неводом рыбу, — отвечаю я и поворачиваюсь.

Передо мной стоит та самая санитарка-подросток, которая приходила в комендатуру.

— Я здесь до войны работал, — объясняю я и опускаю на пол койку.

— Сказки рассказывали?

К нам подходит старая санитарка.

Я смотрю на нее и с трудом узнаю нашу гардеробщицу тетю Валу.

— Тетя Валя! Я вас не сразу узнал, тетя Валя. А Вадика Ложбинского я сегодня узнал по часам...

— Трудное время, — вздыхает тетя Валя. — Люди не узнают друг друга... Я была толстая, а теперь от меня и половины не осталось.

И тут я спохватываюсь, лезу в карман и достаю часы — серебряную луковицу на цепочке. Я же не отдал Вадику часы! Забыл! Как нехорошо получилось.

— Сколько времени? — спрашивает меня молодая санитарка.

Я смотрю на часы невидящими глазами, потом прикладываю их к уху — молчат.

— Они не ходят, — говорю. — Старые часы... старинные.

И вот тут появляется лейтенант Пригунов из комендатуры и говорит:

— Твои дела уладились, Корбут. Все в порядке. Можешь следовать.

Он протягивает документы, ремень, вещмешок.

— Куда следовать? — растерянно спрашиваю я.

— Куда тебе положено... А часики все-таки у тебя? — Он смотрит на меня укоризненно. И от этого взгляда мне становится нестерпимо тошно.

Лейтенант уже спускается по белой мраморной лестнице, а санитарки вопросительно смотрят на меня. И тогда я тоже начинаю спускаться. Я иду медленно, не глядя под ноги, как лунатик. Сам не знаю, куда иду.

И ушел бы, если бы меня не окликнула тетя Валя:

— Ты куда, Боря? Ты живешь на Петроградской?

— Я?... Я нигде не живу. Нет больше моего дома.

— Где же ты будешь ночевать?

— Не знаю, — признаюсь я. И вдруг осознаю, что в родном городе мне негде ночевать.

— Сейчас поздно, — говорит тетя Валя. — Опять в комендатуру попадешь. Идем со мной.

Я не спрашиваю, куда надо идти. Торопливо надеваю ремень. Вешаю на плечо вещмешок. И иду за тетей Валей.

При свете копилки комната, где поселилась тетя Валя, казалась таинственной и странной. Потолка не видно, словно над головой было небо. На стенах мерцали золоченные рамы старых картин. Мебель в комнате тоже была дворцовой, с позолотой. И среди этой старой, утратившей всякий смысл роскоши — бесценная блокадная печурка.

Мы с тетей Валей пили кипяток с сухарем. Макали сухарь в кипяток и откусывали по крохотному кусочку.

— А вы почему не эвакуировались, тетя Валя? — спросил я хозяйку дома.

После некоторого раздумья она ответила:

— Если все уедут из города, тогда и защищать будет некого.

— Я об этом не подумал... Когда мама была жива, она писала мне на фронт. Но по ее письмам я не представлял себе, как живут ленинградцы. Мама жалела меня. Даже про елку писала в Новый год.

— Да уж елка! — вздохнула тетя Валя. — А ты все по части танцев?

— До вчерашнего дня был на зенитной батарее. На орудии. Установщиком дистанционного взрывателя... Тетя Валя, вы о Тамаре Самсоновой ничего не слышали?

— Мне Женя Сладкая рассказывала, что Тамара на фронт просилась, а ее все не брали.

— А Женя жива-здоровая?

— Жива-здоровая... круглая сирота. У них в школе что-то вроде коммуны образовалось. Один старичок учитель собрал всех учеников-сирот. Они там и живут в школе.

Какая-то плотина, сдерживавшая мои чувства, прорвалась. И самые дорогие воспоминания хлынули, окружили меня, заставили забыть все остальное. Я вспомнил своих ребят. И все расспрашивал, расспрашивал тетю Валю. Теперь они, чада мои, были где-то близко, в родном городе. И вместе с тем война, блокада резко отделили их от меня, словно все они уехали в какую-то далекую, безрадостную землю. Но я рвался к ним, и теперь уже никакая сила не могла удержать меня.

— А как Эрн Тамм? А Шурик? Вы Шурика помните?

— Я их всех помню. Но о Шурике ничего не слышала. Ленья Иосимов погиб. Под обломками дома. Бомба попала. А Сережа жив.

Больше всего мне хотелось говорить с тетей Валей о Тамаре.

— А Тамара давно на фронт просилась? Может, ее взяли в конце концов?

— Может быть, и взяли.

— Как она танцевала! Настоящий талант! Если б не война... Я мечтал увидеть ее на сцене.

— Ты, положим, не только об этом мечтал.

Тетя Валя улыбнулась — впервые за весь вечер улыбнулась.

— Она небось уже настоящая барышня, — сказала тетя Валя.

В это время за окнами завывала сирена. И через некоторое время застучали зенитки.

«Только бы она была жива», — подумал я.

— Тетя Валя, а наши танцевальные костюмы целы? — сам не знаю почему, спросил я.

— Целы. Куда же им деться?

— Можно их посмотреть? Наверное, выросли из них ребята. Чада мои!

— Завтра и посмотришь, — сказала тетя Валя и подлила мне кипятку.

Потом я уснул. Помню, натянул на плечи шинель, вытянулся на павловском диване, который после солдатского топчана показался мне бесконечно мягким, и уснул.

Утром я медленно шел между длинными вешалками, на которых в строгом порядке были развешаны костюмы ансамбля. И каждый раз ко мне издали долетала знакомая мелодия, и я как бы ощущал движение танца.

— Гопак, — одними губами произносил я, трогая белые рукавистые рубахи, выпитые красными петухами. — Матросский танец, — над моим плечом проплывали синие воротники. — «Яблочко»... Испанский танец...

Я взял широкополую шляпу от испанского костюма и надел на себя. И вот тут на вешалке показались суконные буденновские шлемы с алыми звездами и гимнастерки с красными полосами поперек груди. «Тачанка»! Здравствуй, «Тачанка»!

Я сразу вспомнил танец. Вспомнил во всех подробностях. И заговорил, как на репетиции, горячо, рассекая воздух кулаком, глухо притопывая валенком:

— Вот «Тачанка» вырывается из-за кулис на необозримый простор сцены. Давай! Давай! Пулеметная тачанка — все четыре колеса. Гей! Гей! Возница натянул вожжи, а сам движется вприсядку, словно сидит на облучке. Пулеметчик — саблю под мышку — припал к пулемету: та-та-та! Боевой разворот. Коня метнулись в сторону, поднялись на дыбы! И снова очередь, похожая на звук трубы, вернее, звук трубы, похожий на очередь.

Раз-два-три! Раз-два-три! Легче, легче! Раз-два...

И вдруг хлопки.

В дверях стояла тетя Валя и хлопала.

— Все помнишь, — сказала она, — ничего не забыл.

— Хоть бы один раз взглянуть на своих ребятешек! — вздохнул я и медленно стянул с головы испанскую шляпу. — Как вы думаете, ребята помнят «Тачанку»?

— Помнить-то помнят. Смогут ли?

5

Я иду по обледепевшему городу и в такт своим шагам бормочу стихи Жуковского:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабаник...

Я вроде того барабаника бью тревогу. Я бужу свою память, свою юность, свои довоенные годы.

План мой таков: первым делом я зайду к Вадиму и верну ему часы. Я верну ему часы и тут же отправлюсь к Тамаре. Я должен повидать Тамару. Но сперва я верну часы.

Я иду к Вадиму. Но неожиданно у меня на пути вырастает Тамарин дом. Во многих окнах вместо стекол —

фанера. Дверь висит на одной петле, жалобно поскрипывает, когда дует ветер. Ранена. Я медленно переступаю порог — зайду к Тамаре, потом сразу к Вадiku.

На лестнице выбиты все стекла, а может быть, разобраны жильцами. На площадках островки снега. Лестница мрачная. Кажется, сейчас, треща крыльями, вылетит летучая мышь. Поднимаюсь на третий этаж. Квартира тридцать семь. Дверь обита дерматином. Костяная кнопка звонка. Жму изо всех сил. Звонок молчит, умер. Я вспоминаю — в городе нет тока. И начинаю стучать. Я стучу долго и отчаянно.

Сердце сжимается. Я впервые ощутил, что значит не открывается дверь в блокадном Ленинграде. Она может не открываться час, два... Может вообще никогда не открыться.

Я уже не стучу, я бью кулаками безответную дверь. Она молчит, безропотно сносит мои удары, терпит.

Я устало опускаюсь на ступеньку, прислоняюсь к стене и впадаю в забытие. Так на морозе тайно засыпают часовые, засыпают на одно мгновение, коротким запретным сном.

Я вспоминаю, как мы с полковым комиссаром лежали на снегу за дамбой, а вокруг рвались мины и над нашими головами, шурша, пролетали осколки с рваными краями. А мы, вместо того чтобы думать о своей жизни, рассуждали о балете. О фронтовом балете. Что же я раскис, пал духом?! Вставай, солдат, вставай, балетмейстер! Приказ есть приказ.

Я решительно поднялся и увидел перед собой Вадика.

— Я знал, что вы сюда придете, — сказал он.

— Это прекрасно, что ты пришел, чадо мое! Я должен отдать тебе часы.

— Вы знаете, что я придумал, Борис? Если собрать всех наших ребят... кто остался... можно будет выступать в госпиталях.

Вадик возбужден. Глаза его горят, рот приоткрыт. Я начинаю узнавать прежнего, довоенного Вадика.

— Это ты здорово придумал!

Меня удивляет, что такая простая мысль не пришла мне в голову. Это же прекрасно — собрать всех наших ребят. Ведь, когда все вместе, не так трудно, не так убийственно трудно.

— Вы нам поможете?

— Конечно, чадо мое! В моем распоряжении пять дней. Надо только собрать всех наших... Как ты думаешь, где Тамара? Она жива?

— Не знаю, — уклончиво говорит Вадик. — Левушка живет неподалеку.

— Я пойду к Левушке. Встретимся у тети Вали во Дворце пионеров. Она устроилась в Художественном корпусе. Я у нее остановился.

Я быстро развязал свой чудо-мешок и протянул Вадiku пачку концентратов.

— Не надо. Спасибо. Вы уже меня выручили.

— Передашь маме, — строго сказал я.

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы...

Нет у меня никакой трубы, нет барабана. Я иду по скользкой мартовской стежке, протоптанной на заснеженной улице, как в лесу или в поле.

Я думаю о Левушке, о нашем мягком, улыбочатом Левушке, и от одной мысли о нем становится легко. Он не был лучшим танцором ансамбля и, если говорить начистоту, танцевал довольно посредственно. Но без него трудно представить себе наш коллектив. Он был его тихой и ласковой душой.

Когда что-нибудь не ладилось или случалась беда, появлялся Левушка. Он возникал незаметно, ненавязчиво, готовый сделать все, о чем его попросят. И одной этой

готовности было достаточно, чтобы улучшилось настроение.

В двенадцать часов по почам
Из гроба встает император...

У Левушки была густая светлая челка, широко расставленные карие глаза...

Я вхожу в арку ворот: она узкая и длинная, как тоннель. И вдруг я слышу хрипловатый голос патефона. Где-то наверху сквозь плотно закрытое окно просачивается мелодия танго «Брызги шампанского».

Я поднял глаза. Стена черная от копоти, наверное, в доме был пожар. Одно окно заткнуто тюфяком. Это из-за тюфяка глухо доносились звуки танго.

Ладно! Мне не до танго! Я поднялся на шестой этаж. Постучал. Дверь открыл мальчик в шарфе, намотанном на шею, в длинном, вероятно отцовском, пальто. Впавшие щеки, пустые глаза...

— Левушка?!

Мальчик посмотрел на меня, как на чужого, и пошел в комнату. Я прикрыл входную дверь и направился за ним. Он приблизился к столу и принялся вертеть ручку патефона. Он вертел ее молча и сосредоточенно, и на всю комнату звучала хрипая, заигранная пластинка.

— Зачем ты вертишь? — спросил я.

Левушка промолчал и тупо продолжал свое занятие.

Странная догадка мелькнула у меня. Я подошел к нему ближе, сел рядом на стул, стал расспрашивать его:

— Как ты живешь, Левушка? Как твоё здоровье? Как мама?

Своими вопросами я хотел оторвать мальчика от его странного занятия.

— Надо крутить, — ответил он и впервые посмотрел на меня с интересом.

— Левушка, ты узнаешь меня? Ты помнишь «Тачанку»? Хочешь опять танцевать?

Левушка опустил глаза, казалось напряженно думая над моими словами, потом сказал:

— А кто же будет крутить?

Я почувствовал горький прилив отчаяния.

— Я! Я буду крутить! А ты будешь танцевать!

Мальчик снова посмотрел на меня отсутствующими глазами.

Тогда я полез в свой мешок и достал оттуда сухарь и кусок сахара. Глаза мальчика болезненно сощурились. Он осмотрел сухарь, сел на диван и, как зверек-грызун, начал слабо скрести сухарь зубами. А я крутил ручку патефона и испытывал почти физическую боль от странного безумия Левушки.

— А кто же ночью крутит эту машину? — сам не знаю почему, спросил я.

— Мама.

Я опустил руку. Патефон замолчал. Опыяненный неожиданной сытостью, мальчик не заметил, что «Брызги шампанского» умолкли.

— Левушка, — сказал я, подходя к мальчику, — вставай, одевайся. Мы поедем в больницу. Все будет в порядке.

Мы вышли на улицу. Это была темная узкая улица, которая одним концом упиралась в Фонтанку. Я нес патефон. Вдруг завывли сирены.

Мимо нас пробежало несколько человек. Они бежали так медленно, что их можно было обогнать обычным хорошим шагом. Они бежали скорее по привычке, чем от страха.

Мы зашагали быстрее. Левушка еле волочил ноги, и у него сразу появилась одышка: видимо, он мало двигался.

Когда мы очутились на набережной, я услышал хорошо знакомый мне металлический шорох приближающегося снаряда. Звук усиливался с леденящим нарастанием, и казалось, снаряд летит прямо в нас с Левушкой.

— Ложись! — скомандовал я мальчику.

Я бросил патефон и упал на мостовую, а Левушка сделал еще несколько шагов и тоже упал. Снаряд разорвался близко. Послышался жалостный звон разбитого стекла. Я хотел было подняться, но тут шарахнул второй. Он разорвался в Фонтанке, подняв столб воды, и на набережную обрушился град осколков льда. Третий снаряд разорвался далеко.

Я встал и подошел к мальчику.

— Левушка, вставай!

Не отзывался Левушка. Я перевернул его с живота на спину. Он смотрел на меня неподвижными глазами.

— Левушка! Ле...

И тут я заметил рядом с его головой на снегу как бы маленький клочок кумача. Я бережно поднял с земли мертвого мальчика и понес его, не разбирая дороги. Я нес его как живого. Как спящего.

Репродукторы ожили, диктор объявлял отбой. Он столько раз повторял слово «отбой», что мне казалось, что это Левушкин патефон крутит пластинку с одним-единственным словом «отбой».

Я сильнее прижал к себе Левушку, словно хотел согреть его, запоздало заслонить от смерти. Но смерть не приходит дважды.

Я похоронил Левушку, можно сказать, по всем правилам. За банку консервов раздобыл гроб из неструганых досок. Положил его поудобней... Когда в последний раз я глянул ему в лицо, то вдруг увидел прежнего, довоенного Левушку: спокойного, сосредоточенного, как бы улыбающегося. Смерть освободила его от страданий, забрала с собой не блокадного, обезумевшего мальчика, а прежнего Левушку, которого я знал и любил.

Я сам заколотил крышку гроба — прибил три доски... Бросил горсть родной ленинградской земли, жесткой, как железо. И пошел.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик.

Где мне найти барабан, чтобы бить изо всех сил, заглушить горе? Не слышать, как осколки земли бьют по крышке гроба, не слышать «Брызги шампанского». Но разве грохотом барабана разгонишь горечь, которая разлилась по сердцу, наполнила его до краев! Левушка, Левушка... Когда я нес его, он был таким легким. До сих пор ощущаю эту пугающую легкость.

Не было у меня барабана. Я шел, съживившись от холода. На плече болтался мой заметно полегчавший вещмешок. Края подшлемника покрылись колючими кристалликами инея.

Куда мне идти? Что мне делать? Кого я должен спасать в первую очередь?

Тамару Самсонову? Аллу Петунину? Женю Сластную? Шурика... Опять забыл его фамилию...

А как же артисты балета для политотдела?

Галя непонимающе смотрела на меня. Ее глаза никогда не видели Невский, занесенный снегом, где по сугробам змеилась небольшая узкая тропа. Весь Невский уместился на этой тропке — последнем ручейке жизни.

Не видела Галя, как падает человек и больше не поднимается. Раны нет. Крови нет. Упал, сраженный пулей-невидимкой... Дистрофия. Утрата интереса к жизни... Трубы остыли, не дышат. Уставились черными безжизненными жерлами в зенит, а над ними, в сером, тяжелом, как вода, небе, серебристые рыбы аэростатов заграждения: город погрузился на дно, над ним плывут рыбы, а ночью сквозь толщу воды чуть поблескивают звезды... Но маленькие печурки выставили свои трубы в форточки-амбразуры, и над ними теплятся слабые призрачные дымки. Словно война разменяла могучие городские дымы на

множество мелких, слабых, немощных. До войны люди приходили к соседям на чай, на пирог. Теперь приходят на тепло. Люди остаются людьми. Понимаешь, Галя?

Трудно понять, если глаза не видели этой невестки, на которой жили и умирали люди. Так и лежали на обочине, Галя!

— Зачем вы мне об этом рассказываете? Мне страшно.

— Разве тебе это не интересно? Ты должна побороть этот страх.

— Зачем? Чтоб быть похожей на нее, на балерину политотдела? Разве обязательно быть похожей на нее? Она хорошо танцевала?

Девочка атаковала меня своими настойчивыми вопросами, на которые не ответишь однозначно: да — нет.

В этот день со мной произошло что-то страшное и значительное. Если бы у меня были темные волосы, я бы поседел. Мне вдруг мучительно захотелось убежать отсюда на дамбу, к себе на батарею, к своим ребятам. Снова стать пятым номером третьего орудия. И никакого балета!

Передо мной возникал безумный Левушка, который, как затравленный зверек, грыз свой сухарь. А танго «Брызги шампанского» звучало как траурный марш. Потом его заглушал звук молотка — это я заколачивал Левушкин гроб-ящик.

Что мне делать? Как спасти их, моих родных ребятшек, от безумного голода и от осколков снарядов?

Когда я добрал до комнаты тети Вали, мои силы были на исходе. Я сбросил с плеча свой мешок и негнушимися пальцами долго развязывал тесемочки ушанки под подбородком. Сбросил заледеневшую шинель.

Тетя Валя сидела у стола и при свете коптилки чишила застиранные госпитальные простыни. Она поняла, что со мной творится что-то неладное, и не стала докучать мне расспросами.

Я заметил, что на столе лежат серебряные часы Ва-

дика. Шел отдавать, а они, оказывается, были дома. Везет мне с этими часами! В тишине было слышно, как они тикают, ходят. Значит, тетя Валя завела их, вернула к жизни.

Я повалился на диван и некоторое время лежал неподвижно. И вдруг почувствовал, что не могу хранить в себе весть о гибели Левушки.

— Тетя Валя,— сказал я, повернувшись к ней.— Тетя Валя, сегодня на моих глазах погиб Левушка... Надо спасать ребят!

Тетя Валя уронила руки с шитьем на колени.

— Он как-то потерял номерок — я ему пальто не хотела отдавать, Левушке,— прошептала, вспомнила она.

— Я соберу их, спасу, а потом буду искать артистов. Ведь я успею, правда, тетя Валя?

Старая женщина подняла глаза и долго смотрела на меня. В это время раздался приглушенный стук. Она поднялась и тяжело зашагала к двери.

— Принимай гостей,— сказала тетя Валя.

Передо мной стоял Вадик.

— Я не гость... я по делу...— Вадик извлек откуда-то из-за пазухи сверток.— Я принес ноты... Здесь весь репертуар ансамбля.

Я почувствовал облегчение. Теперь мной двигало одно желание — собрать ребят, вернуть их к любимому занятию и этим, быть может, спасти их.

Чугунная ограда покрылась ворсом инея — белые узоры, белые цветы. Была в этой белизне какая-то мертвенная красота. И здание бывшей Мариинской гимназии, застывшее в глубине сквера, тоже казалось неживым. Только слабый дымок, курящийся у одного из окон второго этажа,— значит, жизнь в этом доме теплится.

Я вошел в вестибюль. Вешалка была пуста. Только номерки аккуратно висели на крючках, как в мирное время в дни каникул. Поднялся на второй этаж. Пошел по коридору с высокими заиндевевшими сводами. Старался идти тише, но мои шаги глухо отдавались в пустом пространстве. И вдруг кто-то окликнул меня:

— Вы кого ищете, товарищ?

Я оглянулся и увидел человека в пенсне, с белой бородкой-эспаньолкой, в пальто и перчатках. Глаза его слезились, и он поминутно снимал пенсне и подносил к глазам платок.

— Я ищу Женю Сладкую... Женя жива?

Я произнес этот вопрос с опаской, а старик ответил мне спокойно и, как мне показалось, обыденно:

— Женя Сладкая сейчас на уроке.

— Жива!

Раз на уроке — жива. У меня отлегло от сердца. Мучительное напряжение, которое я испытывал со вчерашнего дня, отпустило меня, и я почувствовал слабость.

Шаркая большими ботами, старик подошел ко мне.

— Вы Женин отец? — спросил он.

— Учитель, — тихо произнес я. — Учитель танцев. Балетмейстер.

— Вы Борис Корбут?

Я удивился, что он знает меня, но старик — тоже Женин учитель — пояснил мне:

— Женя часто рассказывает про вас, про Дворец пионеров... Она будет рада. Через пятнадцать минут кончится урок.

Он взялся за ручку двери, но в класс не вошел, а вернулся ко мне.

— Вы хотите забрать Женю? — испытующе глядя на меня, спросил он. — Мы здесь живем одной семьей. Другой семьи ни у кого из нас нет... Нам больше нельзя терять.

И вошел в класс.

Вскоре зазвенел звонок. Я ждал, что дверь класса распахнется и ребята выбегут в коридор. Забыл, что в коридоре было холодно, как на улице, а в классе все-таки топилась печурка.

Дверь действительно отворилась, но вышла одна Женя.

— Борис!.. Борис Владимирович!

Она подошла ко мне и потерлась щекой о рукав моей шинели.

Я обнял ее, и мы молча стояли в холодном коридоре. Спрашивать, как она живет, было бессмысленно. Я теперь знал, как живут ребята в блокадном городе.

В дверях показался учитель.

— У нас сейчас обед, — сказал он, — приглашаем вас... несколько ложек чечевичной каши.

— Спасибо. Я уже ел.

Но тут появились ребята. Они все приглашали меня к столу. Голодные, серолицые дети, маленькие ленинградцы, готовы были поделиться последней крохой.

Я сбросил с плеча свой вещмешок. Достал оттуда банку консервов, три сухаря.

Потом мы сидели за столом и ели чечевичную кашу с мясными консервами.

— Между прочим, мы не сожгли ни одной парты, — с гордостью сказал учитель.

А Женя все не сводила с меня глаз: то ли не могла привыкнуть ко мне новому, в солдатской шинели, то ли, глядя на меня, вспоминала счастливое довоенное время.

Тамару я не нашел. Левушка погиб. Леня Иосимов тоже. Женю не отпускали из интерната. Мои планы рушились. Распадались на кусочки.

Не получалось ничего с выступлениями в госпиталях. Надо срочно искать артистов. Надо выполнять приказ полкового комиссара. Надо действовать, пока еще мой мешок окончательно не опустел. В голодном городе я был как

водолаз: мог существовать до тех пор, пока есть запас воздуха... запасы хлеба. Но здесь я не мог думать о завтрашнем дне, о том, чем буду дышать завтра. Мой мешок стал очень легким.

И все-таки я не сдаюсь. Я опять стою перед дерматиновой дверью и не решаюсь постучать. Постучу — никто не отзовется. А так еще есть надежда. Крохотная надежда. В Ленинграде все, что нужно человеку, — крохотное. И хлеб, и тепло, и сама жизнь. Я стою перед дверью и прощаюсь с Тамарой. Не повстречавшись — прощаюсь. Завтра утром я попытаюсь найти артистов — они легкие на подъем, может быть, сразу и двинемся на Московский вокзал. И паровоз-кукушка потащит свой единственный вагончик от станции «Блокада» к станции «Фронт». Прощай, Тамара!

И тут я ударил кулаком в дверь. Ударил и жду, прислушиваясь. И ничего не слышу, но дверь вдруг отворяется. На пороге стоит сизоволосая женщина в пальто. Она кашляет, подносит ко рту платок и смотрит мимо меня куда-то в пространство.

— Здравствуйте! Тамара... Тамара Самсонова... дома? — спрашиваю я, уловив момент, когда женщина перестает кашлять.

— Нет.

У женщины хриплый голос.

— Но она живет... здесь? Она придет? — Я стараюсь говорить спокойно, но волнуюсь, а женщина смотрит мимо меня, не проявляя ко мне ни малейшего интереса.

— Тамара иногда по несколько дней не приходит с завода.

— Я обязательно зайду завтра.

— Как хотите, — с полным безразличием говорит соседка и снова кашляет, закрывает дверь, и я сквозь дверь слышу ее приглушенный кашель.

А когда возвращаюсь к тете Вале, дверь мне открывает Женья.

Я стою на пороге, смотрю на нее и улыбаюсь.

— Ребята отпустили меня, — говорит Женья и за рукав тянет меня внутрь. — Они решили: раз для раненых, значит, надо.

— Вот и хорошо, вот и прекрасно, чадо мое.

Тетя Валя молчит. Тянет из кружки свой кипяток и искоса поглядывает на меня.

На другой день я должен начать поиски артистов. Но с утра я пойду за Сережей, а Женья приведет Вадика. И может быть, будет дома Тамара.

Тамара Самсонова... Сережа Марков... Шурик Грачев... Вспомнил его фамилию — Грачев... Шурик Грачев... Вадик Ложбинский... Алла Петунина... Тамара... Тамару я уже называл... Эрн Тамм...

Я не сплю. Я провожу ночной смотр. Я подаю команду: по порядку номеров рассчитайтесь!.. Товарищ полковой комиссар, вы не смотрите, что они невысокого роста. Это прекрасные танцоры, они не подведут.

Почему я вспомнил полкового комиссара? Почему мысленно доложил ему о своих ребятах? Какое ему дело до них? Ему надо, чтобы танцоры выступали не в тыловых госпиталях, а на фронте, на переднем крае, для передыха.

А разве они, мои ребяташки, не могут выступать перед бойцами?

Эта дерзкая мысль вспыхнула и тут же погасла. Но ее огненный след остался в моем сознании.

До войны на Сереевском доме был флюгер: железный флажок, на котором можно было разглядеть цифры — 1837. Это был год, когда построили дом, а может быть, это

был год рождения флюгера. Год рождения флюгера, год смерти Пушкина. Сережа очень гордился флюгером.

Высокий молчаливый мальчик, он не собирался связывать свою жизнь с балетом. Его воображение волновали стратосфера, полеты в неведомое. Над его столом висела фотография экипажа стратостата, погибшего незадолго до войны. До сих пор для меня оставалось загадкой, что привело Сережу к нам в ансамбль.

Я без труда отыскал дом с флюгером, но Сережи дома не оказалось. Тяжелая дубовая дверь не открылась под натиском моих ударов. Зато из соседней двери выглянул старик, так густо заросший сединой, что казалось, он надел на лицо серебряную маску.

— Вы, вероятно, к Сереже, товарищ военный?

— К Сереже.

— Он поехал за водой и, вероятно, задержится. Там очередь. Желаете подождать?

Не мог я ждать. Кивнул старику в серебряной маске и поспешил вниз.

Я шел к Неве, и навстречу мне попадались люди, которые на саночках везли воду. Значит, я шел правильно.

Я не сразу узнал Сережу. Он был в шинели, которая доставала ему до пят. Наверно, отец подарил ему шинель. Сережа стоял на льду у проруби и литровой кружкой с длинной ручкой, какими в магазинах разливают молоко, черпал воду из проруби и наливал ее в большой молочный бидон, который стоял на саночках.

И вдруг Сережа увидел меня, узнал и, путаясь в своей не по росту длинной шинели, побежал:

— Борис... Борис Владимирович... Как я рад!

Мы вдвоем впряглись в саночки, на которых стоял бидон с водой. Мы шли, и я рассказывал Сереже о том, что собираю наших ребят, что они будут выступать перед ранеными бойцами. Я был уверен, что Сережа обрадуется. Но он покачал головой:

— Не смогу я. Вот вожу воду больным и старикам. Они не выживут без воды,— сказал Сережа.

— А другого водовоза нельзя найти?

Нельзя было найти другого водовоза. Все ребята были очень слабыми...

До Сережиного дома было довольно далеко. Началась тревога и кончилась. А мы все шли. Когда же свернули на Сережину улицу, то увидели, что Сережин дом окутан дымом и сквозь эту сумеречную завесу проступает обгоревший, наполовину обрушившийся остов.

У дома хлопотали пожарные. Где-то наверху бушевало пламя, оно вздымалось к небу и касалось маленького железного флюгера, заступившего на пост в год смерти Пушкина. Дом погибал с гордо поднятым флагом.

Я посмотрел на Сережу. Он стоял неподвижно и смотрел на родной дом. В длиннополой шинели, в треухе, сдвинутом на затылок, он был похож на молоденького бойца. В уголках его синих глаз накапливались слезы, и губы его дрожали.

— Мама,— прошептал он.— Мама...

— Где мама? — осторожно спросил я.

— На фронте,— был ответ.

И я понял, что родной дом был для него частицей мамы.

У тети Вали горели камелек и лампада — печурка и коптилка. В комнате было очень тесно — собралось много ребят: Алла, Женя, Сережа, Вадик. Мы сидели плотным кольцом, окружив печурку, и пели старую довоенную песню:

Бегут состав за составом,
За годом катится год...

Пели тихо, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Эта песня возвращала нас в далекое и близкое мирное время.

Потом песня затихла, кончилась.

— В мирное время люди мечтали о будущем, а мы теперь мечтаем о прошлом,— вдруг сказала Женя.

— Это потому, что теперь будущее и есть прошлое: жизнь без войны.

И снова звучит песня про старого обходчика путей, спасшего поезд. А когда песня затихает, Сережа говорит:

— Ребята, я читал, что на фронте выступают артисты. Правда, Борис Владимирович, выступают?

Я подтверждаю и поскорей хочу перевести разговор на другую тему, но Женя Сладкая говорит:

— Если бы Борис Владимирович взял нас с собой, мы бы не подвели его. Правда, ребята?

Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу. Два острых чувства столкнулись во мне: желание быть с ними и страх за их жизнь. И еще у меня приказ — привести артистов.

— Не могу. Если бы даже смог, не взял бы.

— Не доверяете нам? — спросила Женя. — Вы, наверное, думаете, что мы прежние дети — юные дарования? Мы такое пережили...

— А здесь разве не погибают? — поддержал ее Вадик. — Вы знаете, сколько ленинградцев погибает ежедневно? Здесь тоже рвутся бомбы и снаряды.

— И голод... убивает, — сказала Алла.

Я почувствовал, что дело зашло слишком далеко, встал и строго, как только мог строго сказал:

— Давайте об этом больше не говорить. Мы будем выступать в госпиталях. Это очень важно и почетно.

8

Все последние дни были пасмурными, серыми. Солнце не появилось в небе, словно боялось вражеской авиации и притаилось в надежном укрытии. Но в это утро оно рас-

храбрилось и вышло, засияло над городом, забыв все предосторожности.

Оно отражалось в окнах, отражалось в глазах людей. И глаза и окна повеселели от этого отражения.

Невский, Владимирский, Кузнечный рынок, улица Достоевского. Я спешу. Я иду, окрыленный надеждой. Меня немного пошатывает от голода, но я приписываю это легкости, которая охватила меня в это утро. Тамара, чадо мое! Раненая дверь, свидетельница моих неудач, приветствует меня издали тонким скрипом. Я нырнул в подъезд и — через две ступеньки вверх! При этом я крепко держусь за перила... чтобы не упасть. И вот дверь, обитая дерматином. Стучу. Не бью ее, дверь, а стучу. И дверь открывается.

Седая женщина с безучастным видом смотрит на меня и не то что не узнает меня, а как бы совсем не видит.

— Здравствуйте, я пришел, — бормочу я.

— Вторая дверь направо, — произносит женщина и уходит, растворяется в бездонной тьме коридора.

Я иду за ней, рукой нащупываю двери. Первая. Вторая. Стучу. Ответа нет. Открываю дверь и вижу девушку, стоящую спиной к двери в эмалированном тазу, — худенькую, вытянутую, босоногую, вообще нагую. Она льет себе на плечи воду, которую черпает из ведра, что дымит рядом на круглой печке-«буржуйке». Вода течет по узким плечам, по глубокой ложбинке, что пролегла между остро выдающимися лопатками, по ребрышкам, обтянутым кожей, по худым, совсем детским бедрам. Она, наверное, не мылась целую вечность и вот набралась сил, распилила последний стул, нагрела воды. Она выливает на себя ковшик и, вероятно, испытывает пьянящее блаженство и поэтому не слышит, как отворилась дверь. Вода течет благословенными ручейками по острым позвонкам, по худенькой спине...

И вдруг Тамара чувствует, что в комнате кто-то есть,

и сразу скрепчивает на груди руки и опускается на колени.

— Кто здесь?

— Это я, Тамара.

Узнала мой голос, но не верит. Опасливо поворачивает голову и рассматривает меня через плечо. То ли не признает меня, то ли не радуется, потому что отучилась радоваться. Смотрит на меня, как на призрак, не верит в реальность моего появления.

И вдруг, как бы очнувшись, восклицает:

— Борис! Закройте глаза! Вы живы?

Тамара опускает голову, прячет подбородок в руки. Шея краснеет.

Я честно закрываю глаза и говорю:

— Я жив, Тамара.

— Вы закрыли глаза?

— Закрыл.

Слышно бульканье воды. Торопливое. Вода шлепается на пол.

— Как хорошо, что вы живы! — Она снова произносит слово «живы», ей нравится произносить его. — Вы живы! — И снова булькает вода.

Я чувствую, что ей трудно мыться. Обессилела она от такой нагрузки. Вода все чаще проливается мимо, не попадает куда нужно. Плюхается на пол маленькими озерцами.

— Вы не открыли глаза? Мама уже вторую неделю как умерла... в больнице, — говорит Тамара. — Как вы очутились в Ленинграде?

Я стою у окна и смотрю на улицу. И замечаю, что во многих окнах люди. Я подумал, что на улице что-то происходит, раз все смотрят в окна. Но потом понял — солнце. Оно слегка греет сквозь стекло, еле-еле, но греет. Словно не дозрело, раньше времени запущено в небо. А может быть, оно теперь всегда будет таким, пережив блокадную зиму, наше бедное ленинградское солнышко.

— Сейчас расскажу, — говорю я и подхожу к Тамаре. Она уже одета.

— Я очень худая? — спрашивает девушка.

— Балерина и не должна быть полной, — отвечаю я.

Она пропускает мои слова мимо ушей и говорит:

— По-моему, я худая, как старуха. Мне так стыдно!

— Глупости! — резко говорю я.

— Как хорошо, что вы живы... Борис, — снова повторяет Тамара. — Что вы на меня так смотрите? Я очень изменилась?

— Я о тебе всегда думал, — говорю я, не сводя с Тамары глаз. — И когда мне было особенно трудно... думал. Мне кажется, что я тебя много лет не видел.

Я тихо засмеялся.

— Что вы смеетесь?

— От радости.

Некоторое время мы сидели молча. И вдруг Тамара сказала:

— Боря, я ухожу на фронт.

Я был готов к этому, и все же мне стало горько.

— Я думал, мы с тобой никогда не расстанемся, — тихо произнес я.

— Но ведь вы сами вернетесь туда.

Вечером мы с Тамарой шли за Шуриком. В моем списке против фамилии Шурика Грачева стоял крестик. Значит, он есть, жив. И может быть, будет с нами.

Тамара, не отставая, шла рядом со мной. Ее маленькая головка была скрыта под большим платком, и я видел только аккуратный нос, щеку и прядь волос, которая выбилась наружу и тут же покрывалась инеем.

Я поймал себя на том, что нынешняя Тамара, осунувшаяся, со складками у рта, бесконечно дорога мне... Может быть, даже дороже прежней, довоенной. Странное беспокойство овладело мной. Что случилось с ней? Что

случилось со мной? Тамара шла рядом, и во мне живительным родником забила радость. Невнятная, неосознанная радость...

И тут Галя, моя сегодняшняя ученица, маленькая балерина Галя, сказала:

— Вы любили ее не как младшую сестренку... Вы любили ее...

Я внимательно посмотрел в глаза Гали: что такое она говорит?

— Я любил ее, как младшую сестренку, — твердо сказал я.

Но Галя не поверила мне, покачала головой.

Я прошелся по комнате. Подошел к станку. Взялся руками за поручень. И, закрыв глаза, прижался лбом к леденящему зеркалу.

— Самое страшное заключалось в том, — сказал я, не открывая глаз, — что артистов балета в городе не было: одни ушли на фронт, другие обессилели, третьи погибли... Каждый день я заходил в Ленэстраду, и мне отвечали: «Пока нет». И я вдруг понял, что это «пока» будет длиться вечно. Командировка кончалась, а приказ полкового комиссара не был выполнен.

Шурика не оказалось дома. Уже три недели, как он был в больнице. Упадок сил, дистрофия...

В темной прихожей нас встретила бабушка. При свете копилки я увидел, что вся прихожая заставлена пустыми птичьими клетками.

Я достал из кармана пачку пшеничного концентрата — мешок был таким тощим, что я уже не носил его с собой, — и попросил передать Шурику.

Пусть, когда поправится, придет во Дворец пионеров, будем выступать в госпиталях.

Домой я вернулся, когда уже было темно. И уже в коридоре услышал голоса. Ребята о чем-то оживленно говорили. Я приоткрыл дверь тети Валиной комнаты и увидел их, сидящих вокруг камелька. Их лица при свете копилки казались еще старше и изможденней, голоса звучали глухо, как чужие.

— Мне, пожалуйста, паштет из рябчиков и перепелок.

— А паштет из гусиных печенок не хочешь?

— Нет, я заказывал его вчера.

Кто-то за столом усмехнулся. Но его никто не подержал.

— Мне форель тушеную с мадерой и раковым соусом.

— А ты знаешь, из чего делают раковый соус?

— Из раков?

— Нет, из ракового масла.

Ребята не просто называли различные блюда — и откуда им, ребятам, знать про соус из раков и паштет из рябчиков! — они передавали друг другу увесистую книгу, листали ее и читали про эти необычные блюда.

— Жареная пулярка с соусом из сарделек, с можжевельными ягодами и трюфелями. Пулярку желательно нафаршировать рисом, печенкой и каштанами.

— Фрикасе из вареных цыплят.

— Жаркое из гуся с итальянскими макаронами.

Перелистывая старую поваренную книгу, ребята играли в еду. Играли с азартом, увлеченно — отвлекались от голода и холода и еще глубже погружались в его пучины.

Их голоса сливались в один монотонный голос:

— Утка жареная с тминным соусом.

— Ты же прошлый раз... утку... жареную...

— Мне очень понравилось, решил повторить.

— Я бы на твоём месте съел жареных фаршированных дроздов... для разнообразия.

Я закрыл глаза и закусил губу.

— Тушеный каплун, фаршированный грецкими орехами.

— Битки из филе глухаря.

Я тихо открыл дверь — ребята не заметили моего появления. Я отыскал в углу вещевой мешок и вывернул его наизнанку — на пол упал обмылок. Спасительный мешок был пуст!

— Салат оливье с крабами...

Я не выдержал. Отбросил пустой мешок в сторону и убежал на улицу.

Я шел по пустынному темному городу, на ощупь находя дорогу. Меня качало от слабости, но я изо всех сил крепился. Перед глазами стояли серые лица ребят, а в ушах звучали далекие, словно взятые из чужого языка слова: каплун, пулярка, артишоки, пудинг из телячьих мозгов, пончики четвертым манером... Но у всех этих слов был один голодный, блокадный смысл: хлеб, хлеб, хлеб.

Мне было трудно идти, не хватало воздуха. С каждым вздохом вместо воздуха в легкие вливался жидкий холод. Ноги стали ватными, плечи опустились, в голове возник какой-то странный шум. Я почувствовал, что теряю равновесие, что вот-вот упаду. Тогда я нагнулся, вернее, меня шатнуло в сторону дома, и я ухватился за водосточную трубу. Я прижался к ней всем телом и щекой. Хорошо, что щека была защищена подшлемником, иначе бы она примерзла к оцинкованному железу. Я стоял, прижавшись к трубе, а все вокруг ходило ходуном. Перед глазами вертелись черные круги. Они приближались, готовые размолоть меня, как жернова огромной гудящей мельницы. Мне показалось, что сейчас труба, а вместе с ней дом рухнет и раздавят меня. Я глотнул жидкого воздуха, закрыл глаза...

Когда я очнулся, то оказалось, что я лежу на топчане в теплом помещении и надо мной склонился капитан, старый знакомый — комендант района. Я подумал, что это

бред, — неоткуда взяться капитану. Но тут он заговорил:

— Ну, Корбут, что ж ты так. Приволок в город мешок жратвы, а сам падаешь в голодный обморок.

Я молча смотрел на капитана. Большеголовый солдат поднес мне кружку сладкого чая. Я сделал несколько глотков и привстал.

— Лежи, лежи... — Капитан мягко надавил на плечо рукой, уложил меня. — Ты приказ-то выполнил?

Я покачал головой:

— В Ленэстраде не оказалось танцоров, кто остался жив — на фронте.

— Что же ты делал все эти дни?

— Спасал своих ребятишек.

Капитан удивленно посмотрел на меня.

Тогда я с трудом приподнялся на локте и стал рассказывать:

— До войны я работал во Дворце пионеров балетмейстером. Там у меня были юные танцоры. Сейчас я собрал оставшихся в живых. Может быть, они будут выступать перед ранеными в госпиталях... Мои ребятишки.

— Хорошие танцоры?

— Отличные. Вы даже не представляете себе...

— Вот и привези их в политотдел, — вдруг сказал капитан, — чего мудрить-то.

И пока я, ошеломленный его предложением, ворочался на жестком топчане, капитан ходил по комнате.

— А я тебя вначале за спекулянта принял, — сказал он и тихо засмеялся.

Утром пришла Тамара, и мы со всей нашей командой отправились в класс.

Я открыл дверь ключом и вошел, ступая осторожно, словно класс был заминирован. Паркет сухо похрустывал под ногами. Ребята стояли в дверях, внимательно наблюдая

за мной. Брезжил рассвет, и казалось, что в окна были вставлены синие стекла. Зеркала заиндевели и стали матовыми. Я увидел мутное, невнятное отражение человека и не узнал самого себя.

Подошел к роялю. Открыл крышку. Взял несколько аккордов. Прислушался. Звуки долго держались, словно застыли. В классе стоял холод. Почти такой, как на улице.

— Что ж вы не заходите? — сказал я ребятам. — Заходите, заходите.

Ребята вошли как-то робко, неуверенно, словно не узнавали свой класс. Вошли и стали снимать пальто.

— Экзерсис помните?

— Помним.

— Попробуем.

Они подошли к стенке. Взялись за поручень. Встали в позицию.

Я заиграл. И ребята стали делать упражнения. В ватниках, в валенках это получалось неуклюже, да и силенок у ребят было мало.

— Раз, два, три. Женья, прямее корпус. Раз, два, три! Вадик, приседай глубже! Раз, два, три...

Незаметно класс заполнился светом. Зажглись люстры. Засверкали зеркала. Вместо ватников и валенок появились трико и туфли. Звучала музыка. И мой голос звонко командовал:

— Раз, два, три!

Это память перенесла меня в старое, довоенное время. И на меня пахнуло праздником, жизнью, юностью.

И вдруг двери резко распахнулись. Загремели тяжелые шаги. И в класс вошли красноармейцы. Они несли железные койки с сеткой ромбиками. Музыка сразу оборвалась. Огни погасли. В лицо пахнул холод. Подхватив свои пожитки, ребята жались к стене.

А я все еще сидел за роялем, не понимая, что происходит.

Какой-то сержант скомандовал:

— Госпиталь расширяется. Освобождайте помещение.

Я медленно закрыл крышку рояля. За окнами завывали сирены.

Когда мы с ребятами шли обратно, в коридорах былолюдно. Несли койки и белую госпитальную мебель. Стуча костылями, шли раненые. Звучали команды.

Мы вернулись в тети Валину комнату. Но едва затворили за собой дверь, как где-то очень близко с грохотом разорвался снаряд. На пол со звоном посыпались стекла. Ребята прижались ко мне, как бы ища защиты. И тогда Тамара сказала:

— Разве здесь не фронт?

Ветер рвал на окне занавеску. Вблизи гремели выстрелы. Я внимательно посмотрел на своих ребят и вдруг почувствовал их правоту, признал за ними право принимать решение. И спросил:

— Вы готовы разделить со мной опасности фронта?

— Готовы! — на одном дыхании ответили ребята. И глаза их были полны решимости.

10

Ребята стоят на снегу перед Художественным корпусом, построившись в одну шеренгу.

Я провожу смотр своему войску: гащу в себе чувство нежности и стараюсь напустить на себя как можно больше суровости. Я командую:

— Равняйся! Смирно! По порядку номеров рассчитайся!

— Первый, второй, третий, четвертый, пятый...

Как мало! Словно уже побывали в бою. Был взвод, осталось одно отделение.

— Вопросы есть? — спрашиваю сурово я.

Сережа, как в школе, поднимает руку:

— Нам дадут автоматы?

— У вас на фронте будут другие дела,— отвечаю.—

Главное — чтоб хватило сил танцевать.

Войско построено. Костюмы в рюкзаках. Рюкзаки погружены на Сережины водовозные сани.

— Часы не забудьте,— говорит тетя Валя. Серебряная луковица болтается на длинной цепочке.

— Пусть они побудут у вас,— откликается Вадик.— Кончится война — заберем.

И почему-то все улыбаются, и тетя Валя тоже.

— Храни вас господь! — шепчет она.

А я команду:

— Напра-во! — Скрипнул снег.— Ша-гом марш!

Не заиграл оркестр. Только метроном — сердце города — отсчитывал шаги моим ребятишкам. Раз-два, левой! Раз-два...

Мы идем по ледяным сугробам Невского. А под снегом — под холодным пеплом — лежат безжизненные трамвайные рельсы. Все забыли о них. А я вспомнил, как они поют, гудят под колесами трамваев, два веселых городских ручейка.

Я наблюдаю за Тамарой.

Ее маленькая головка укутана маминым платком. Платок делает ее взрослой. Она поглощена мыслями о том, что происходит с ней, с ее товарищами. Наверное, все так невероятно, что кажется сном.

Мы идем молча, идем трудно, тяжело дышим. И не видим, как за нами метрах в ста бежит мальчик. Он кричит: «Ребята, подождите!» — мы не слышим, у нас у всех закрыты уши.

И вдруг Алла Петунина оглянулась.

— По-моему, нас кто-то догоняет.

— Это Шурик! — крикнул Сережа и побежал назад. Увидев меня, Шурик виновато улыбнулся.

— Ходить надо уметь, ходить надо любить,— пробормотал он.

— Ходить надо мочь,— улыбнулся Сережа и стал раздавать ребятам рюкзаки с костюмами, чтобы освободить сани.

Шурика, «умевшего ходить», посадили в сани, повезли. А он все говорил, говорил:

— Ребя... я с вами... Я сбежал из стационара, меня бы все равно через неделю выписали... Можно с вами, Борис Владимирович?

— Можно,— говорю я. Хочу говорить строго, а сам улыбаюсь.— Ты уже с нами.

— Ты наш лучший танцор,— неожиданно сказала Женья.— Мы без тебя не можем.

Лицо Шурика, бледное, скуластое от истощения лицо, посветлело.

— Ребя! Верно? Верно, я хорошо танцевал?

— Ты тянул всю «Тачанку»,— вдруг сказала Тамара.— Ты нам поможешь.

— Помогу,— неуверенно ответил Шурик и замолчал. Его стало клонить ко сну.

И снова тихо. Скрип саней. До Московского вокзала недалеко. Улица Марата, следующая Пушкинская. Это перед войной было недалеко, а сейчас...

Впереди показалась башня Московского вокзала.

Маленький паровозик с одним-единственным вагончиком стоял под парами, ожидая часа отправления. Этот час определялся не расписанием, а совершенно другими обстоятельствами, не имеющими никакого отношения к законам железной дороги. Ждали, когда стемнеет и фашистские самолеты и артиллерия не смогут помешать паровозу двинуться к станции своего назначения, к фронту.

На безлюдном, замеченном снегом перроне никто ни с

кем не прощался и никто никого не встречал, не сновали веселые тележки носильщиков, а паровозик, жаркий, дышащий со свистом, покрытый капельками пота паровозик казался существом инородным, выходцем совсем из другой стихии.

Мы сели в обыкновенный дачный вагон со скамейками, узкими столиками у окон, красными ручками экстренного торможения...

Вагон был заполнен военными, и мой маленький разношерстный отряд выглядел по меньшей мере странно. Но в эти трудные дни люди разучились удивляться. Никто не спросил, кто мы и куда держим путь.

Наконец вагон вздрогнул, качнулся и поплыл, поплыл навстречу быстро наступающей мгле. Потом резко стемнело, и вагон как бы оторвался от земли и полетел в неведомую даль. И только короткие жесткие толчки на стыках напоминали, что под нами земля, вернее, сталь.

Над землей светила луна, и заснеженные поля фосфоресцировали в ее свете. «Наверно, с неба видно, как по рельсам ползут два маленьких жука — паровоз и вагон», — подумал я.

Состав ехал с темными окнами и погашенными фонарями. И только искры, вылетающие вместе с дымом, выдавали его жизнь.

Смороленные усталостью ребята спали.

— Спишь? — шепотом спросил я Тамару.

— Нет. Все, что произошло, кажется сном. Поезд, идущий на фронт, и вы рядом.

— Тамара, помнишь игру в запрещенные слова? Десять копеек штраф.

Тамара кивнула головой.

— Вот тебе штраф, — я протянул девушке монетку. — Я люблю тебя.

Политотдел армии помещался в двухэтажном кирпичном здании пригородной школы, что стояла на берегу Невы. Чтобы алый кирпич не очень бросался в глаза, его замазали побелкой, и казалось, что школу занесло натающим снегом. На окнах огромными знаками умножения — крест-накрест — бумажные полосы. Но ни побелка, ни бумажные кресты не могли уберечь бывшую школу от фашистских снарядов. Правый флигель был разбит, покорежен, покрыт ядовитой черной копотью. Средняя часть здания и левый флигель уцелели.

Был уже поздний вечер, когда мы с моими ребятами прибыли к месту назначения.

— Это фронт? Это уже фронт? — спрашивал Шурик.

— Фронт.

Ребята разочарованно переглянулись. У них было совсем иное представление о фронте. И тем не менее в предчувствии тревожных неожиданностей они жались ко мне.

Мимо нас прошел караул. На часовых были длинные, до пят, караульные тулупы. Они появились из темноты, как призраки, и исчезли. Снег похрустывал под их тяжелыми валенками.

У входа в политотдел путь нам преградил помощник дежурного.

— Кто такие? Куда?

— Это артисты, — сказал я удивленному сержанту, — по распоряжению полкового комиссара...

— Сейчас вызову дежурного.

Издали послышалось глухое уханье орудий, небо опалил красный всполох. Где-то на переднем крае заговорили орудия.

Появился дежурный: высокий политрук с серым усталым лицом.

— Вот прибыли артисты, — доложил часовой.
— По приказу полкового комиссара, — пояснил я.
— Странные артисты, — буркнул дежурный. — Однако пропусти.

В физкультурном зале горела тусклая лампочка. На полу лежало много спортивных матов. На двух крайних спало несколько бойцов, накрывшись с головой шинелями. Их винтовки стояли в головах, прислоненные к шведской стенке. Посреди зала в печурке теплился огонь, рядом лежала горка угля.

Ребята не ложились, толпились вокруг меня.

— Сейчас главная задача подкормить вас, чада мои, дать вам набраться сил, — втолковывал я своим ребятам. — Но с первого же дня начнем занятия у станка. Экзерсис — наша боевая подготовка. Надо больше двигаться. Пусть каждая клеточка оживет от прилива свежей крови. А сейчас спать!

Утром к нам в физкультурный зал пришел пожилой человек в гимнастерке без петлиц, с ящиком на плече.

— Здравствуйте. Буду играть у вас на баяне.

— Здравствуйте. Как вас зовут?

— Павел Филиппович Белов. Но вы зовите меня дядей Пашей. Я ведь человек невоенный.

Он поставил на пол ящик и вынул завернутый в тряпицу инструмент. Критически осмотрел его. Взял несколько аккордов.

— Замерз баян, — сказал он и, сев на ящик, заиграл, словно хотел разогреть свой замерзший инструмент.

Я целую вечность не проводил занятий. Давно не испытывал такой радости от простого повседневного экзерсиса. Я ходил по залу без валенок, в носках и отсчитывал, отсчитывал под дяди Пашину полечку:

— Раз, два, три... Раз, два, три... Женя, разверни корпус. Так. Алла, тяни ногу, тяни ногу... Раз, два, три... Раз, два, три...

Но радостное чувство возвращения к своему любимому довоенному занятию было омрачено тем, что ребята — чада мои! — исполняли движения неумело и незлегантно, как новички. То и дело мне приходилось хлопать в ладоши, и полечка замирала.

— Все забыли! Азбуку забыли! Ну кто так делает! Ну кто так делает! Жаль, нет зеркала! Вы бы сами удивились, как плохо у вас выходит. Но зеркало негде взять. Я буду вам показывать. Смотрите все на меня... Дядя Паша, прошу.

Я показывал ребятам, как надо, а они смотрели на меня широко раскрытыми глазами, все было для них как в новинку.

— А теперь вместе! Энергичнее! Энергичнее! Плавно! Раз, два, три!.. Раз, два, три!.. Уже лучше.

Неожиданно Шурик двумя руками ухватился за перекладину. Я не сразу заметил, как вся музыка слилась для него в одну протяжную бесконечную ноту. Зал закружился. Изображение превратилось в негатив: белое стало черным, черное — белым... Он потом рассказал мне.

Ребята обступили Шурика. Я оглянулся. В зале, напротив шведской стенки, стоял невысокий подполковник в меховой безрукавке и белых с коричневой кожей бурках. Из-под шапки, надвинутой на лоб, смотрели темные маленькие глазки — маленькие, но пронзительные, сверлящие.

Заметив старшего начальника, я вытянул руки по швам и, хотя был без валенок, пятки поставил вместе, носки врозь.

Некоторое время подполковник молча разглядывал моих ребят. Потом вдруг уставился на меня и срывающим-ся голосом спросил:

— Ты кого это привез, балетмейстер?
— Артистов балета, — ответил я.
— Артистов? — Левый глаз у подполковника задержался. — Где артисты? Я, понимаешь, вижу детский сад. Ты себе отдаешь отчет, что на фронте не место для детишек?

— Эти дети прекрасно танцуют. Они смогут...
— Мы сами согласились, — вдруг сказал Вадик.
— Мы не дети! — вмешалась в разговор Тамара.
Шурик, преодолев слабость, встал.
— Отставить разговоры! — У подполковника снова дернулся глаз. — Завтра придет полковой комиссар и решит, что с тобой делать за невыполнение приказа... — И, повернувшись к детям, он сказал: — А вас завтра отправят домой, в Ленинград!

И зашагал к двери.
Я посмотрел на своих ребят. Они замерли, вопросительно глядя на меня: неужели завтра им предстоит снова очутиться в безжалостном мире блокады?
— Продолжим экзерсис, — через силу сказал я.

12

Ранним мартовским утром батальон отходил на отдых. Брезжил рассвет. Над землей, вернее, над снегом поднимался туман. И потому, что день еще не наступил, все казалось серым: и небо, и снег, и идущий батальон.
Издали солдаты сливались в одну массу, и казалось, по земле движется тяжелая серая туча. И был слышен частый, приглушенный снегом шум шагов.

Эта грозная лавина не шла, а надвигалась.
Батальон спешил: надо было до наступления дня пройти простреливаемый участок.
— Шире шаг!.. Шире шаг!.. — командовал простуженный голос. — Подтянись!

В этой общей массе командиров не было видно. И казалось, батальон сам себе подает команду, поторапливает.

Я стоял на крыльце школы, наблюдал за движением батальона и думал: что будет со мной? Будут судить трибуналом? Отправят в штрафбат или вернут на батарею? Но заботила меня не собственная судьба — меня тревожили мои ребята: что будет с ними? Зачем полковой комиссар приехал к нам на дамбу?! Разыскал меня среди тысяч других бойцов. Послал в Ленинград...

Мне вдруг захотелось на батарею, на открытую всем ветрам и всем вражеским снарядам дамбу, к моему оружию, в землянку, к ребятам. Так захотелось, словно в целом свете не было роднее места.

И тут рядом со мной возникла Тамара.

— Борис!

Большие серые глаза внимательно смотрели на меня.
— Видите, с плацдарма на отдых отходит батальон... Мы дадим для бойцов концерт.

— Вы с ума сошли! У вас не хватит сил, Тамара!

Но она исчезла так же неожиданно, как появилась. Передо мной белел снег и черной полосой вилась дорога, по которой шли солдаты. Я услышал согласный, сливающийся хруст шагов. Увидел парки дыхания. Увидел лица — усталые, серые, однообразные.

Батальон подходил к политотделу.

Солдаты разделись, повесили шинели на школьной вешалке. Кое-кто сунул в карман номерок, пошутил сам с собой. Оружие поставили к стенке. Потом, подталкивая друг друга, устремились в столовую, расселись за столами, приготовили котелки, достали из-за голенища ложки.

И когда от полных котелков пошел пар и весело застучали ложки, в солдатской столовой появилась «Тачанка». Мои ребята — в гимнастерках с красными полосами поперек груди, в сукопных буденовках с малиновыми звездами. Эх, тачанка-ростовчанка! Что же, тачанка, так мед-

ленно берешь разгон? То ли повозка стала тяжелой, то ли кони давно не отдыхали? Молчит пулемет. Возница опустил вожжи.

Дядя Паша сел на краешек скамейки, прижался щекой к баяну, тонкими сухонькими пальцами пробегает по костяшкам клавиш. Хочет помочь тачанке музыкой. Кони движутся медленно, словно возвращаются из боя, усталые, взмыленные, тяжело дыша, опустив головы.

Мои ребятки танцевали между столами.

А бойцы ели кашу. Ели тупо и сосредоточенно. Уже начался танец, а они ели. Но постепенно искусство брало свое. Вот уже один боец не донес ложку до рта, опустил ее обратно в котелок. Вот его сосед оторвал голову от каши.

Артисты как бы немного разогрелись. Кони задвигались быстрее. Возница замахал кнутом. Пулеметчик оживился — «застрочил из пулемета пулеметчик молодой».

Танцуют, танцуют, помнят каждое движение. Через силу, а танцуют.

Уже половина бойцов оторвалась от котелков, а те, кто ел, исподлбья поглядывали на танцоров.

И тогда в столовой появился полковой комиссар.

Он увидел бойцов, забывших о каше, увидел их спины в ватниках, стриженные головы, а впереди, за массой этих застывших солдат, увидел артистов в буденовках, в гимнастерках с алыми нашивками на груди.

Вначале ребята только обозначали движения, а теперь разогрелись, стали танцевать быстрее. Вырвалась тачанка на необозримый простор. И всем сидящим в столовой начинает казаться, что они тоже мчатся следом за тачанкой. Давай, давай! Пулеметная тачанка — все четыре колеса! Нет никаких колес — есть ребячьи ноги, тоненькие, но проворные. Четыре коня вразлет. Гей, гей! Возница натянул вожжи. Пулеметчик саблю под мышку — и принал к невидимому пулемету. И все видят, как пулемет трясется, дымит, а ветер срывает огненный язычок с дульного среза.

Боевой разворот. Кони взметнулись на дыбы. И снова очередь, похожая на отрывистый звук трубы.

Где командир? Кто подает тачанке неслышные команды: «разворот», «стоп», «огонь»? Я стою в стороне, но ребята видят меня. Рука вытянута, сжата в кулак. Раз-два! Быстрее! Легче, легче! А теперь...

Полковой комиссар стоит в дверях и внимательно смотрит.

«Тачанка» пытается двигаться быстрее, спотыкается. Вот упал Шурик. Вышел на присядку — встать не может. А сидящие в зале думают, что так и надо, — ранили бойца.

— Помогите встать Шурику, — шепчет Тамара.

И двое ребят поднимают его. И он продолжает прерванный танец.

А зрители забыли про кашу. Глаза оживились. Лица стали оттаивать.

И неожиданно кто-то из бойцов забылся и тонким голосом запел:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса...

Еще несколько голосов подхватило:

Пулеметная тачанка,
Все четыре колеса...

И вот уже все поют. Отвыкли петь, забыли, как это делается. А тут запели: ожила в людях застывшая песня. И полковой комиссар вдруг тоже начинает петь.

Пар уже не идет из котелков — каша остыла, недоеденная каша.

А у моих ребятшек силы кончаются, танец затухает, баян смолкает. Шурик падает на руки Сереже. Столовая заполняется радостным грохотом: бойцы не просто хлопают, а бьют ложками по котелкам.

А ребята еле дышат, не могут больше танцевать.

И вдруг я увидел, как Тамара подошла к полной фельдшернице с накрашенными губами и тихо сказала:

— Поцелуйте меня в щеки, только покрепче!

Ребята удивленно посмотрели на Тамару, у фельдшерницы округлились глаза, но она дважды чмокнула Тамару — поставила на щеках две огненные печати.

А Тамара торопливо размазала следы помады. И сразу на щеках загорелся румянец. Не бывают такие худые, со впалыми щеками такими румяными. Она же, наперекор всему, стала. Дядя Паша уже выводил проигрыш цыганского танца. И Тамара вышла на сцену.

Все произошло так быстро, я и сообразить не успел, что она задумала. А Тамара уже развела руки и притопнула каблучком. Ее грудь поднималась и резко опадала, но это было заметно только мне, в зале этого не видели. Она шла между столами, и плечи, ее худенькие плечи были расправлены, головка с пепельными, коротко подстриженными волосами гордо вскинута. На ней не было ни длинной юбки, ни яркой блузы с широкими рукавами, ни звенящих монист. Гимнастерка, солдатские сапоги, сукопный буденновский шлем с малиновой звездой. Нет, это была не цыганка, а молоденький боец-буденновец, после боя решивший станцевать для товарищей. Раз рукой по каблучку, два... «Дядя Паша, почаще!»

Я слышу это «почаще» и показываю дяде Паше кулак. Но он не видит моего кулака. Прижался щекой к баяну и смотрит одним глазом, зорким, внимательным, на который налезает густая рыжая бровь. Он как бы прислушивается не к баяну, а к сердцу Тамары, выбирает ритм, чтобы не загнать сердце.

В стороне еще никак не может отдышаться разбитая «тачанка». Шурик сидит на скамейке. Уронил голову. Руки повисли вдоль тела. Но пусть тачанку перевернула взрывом, пулеметчик танцует, и, значит, тачанка жива.

Я смотрю то на Тамару, то на полкового комиссара. Тамара держится. Полковой комиссар не бушует, неотрывно смотрит на тапчущую девушку. Плечи его опустились, и он, полковой комиссар, уже не старший начальник — искусство уравнило его с рядовыми красноармейцами... Они сидят вокруг. Притихли, покоренные искусством Тамары.

Я-то знаю, что здесь больше мужества, чем искусства. Только бы Тамара не упала! Только бы... Эй, дядя Паша, кончай свою музыку! Если она упадет, то уже больше не поднимется. Но я не смею крикнуть: «Хватит!», не смею скомандовать: «Отставить!» Потому что, когда творится высокое искусство, никто не вправе командовать.

Я закрыл глаза, а открыл их, только когда в зале снова зазвучали аплодисменты. Тамара все еще стояла на месте, не в силах сделать шага. Может быть, даже не слышала, как хлопают бойцы ложками по котелкам.

И только румянец — два поцелуя, размазанных по щекам, — военный камуфляж вводит в заблуждение.

И тогда полковой комиссар вышел на середину столовой и поднял руку:

— Концерт окончен! Артистов — в госпиталь! Балетмейстеру — благодарность!

Бойцы дружно захлопали, загрохотали ложками по котелкам. Сами того не сознавая, они аплодировали приказу старшего начальника.

— А теперь расскажите, как вы додумались привезти на фронт детей, — сказал полковой комиссар, когда мы остались одни. — И кто вам дал право рисковать их жизнью?

Я молча смотрел в глаза комиссара и терпеливо ждал, когда он скажет все, что, будь я на его месте, должен был бы сказать тоже. Когда же полковой комиссар умолк, заговорил я:

— Вы считаете, что в городе, окруженном врагами, де-

ти подвергаются меньшей опасности? Или там не рвутся бомбы и снаряды? А сколько ребячьих жизней уносит тихая голодная смерть? Тут мы их еще побережем. Подлечим. Подкормим. Может быть, кое-кому спасем жизнь. А танцоры они превосходные.

— Ну, Корбут! Ну, балетмейстер! — воскликнул полковой комиссар и заходил по кабинету.

Я почувствовал, что теперь он уже спорил не со мной, а с самим собой, и прежде чем принять решение, обдумывал его — перебрасывал с руки на руку, как горячую картошку.

— Ну, Корбут! Ну, учитель танцев!

Он весь был в движении, работала не только его мысль, но все его ладное тело двигалось, помогало мысли.

— А танцоры они действительно прекрасные. Когда они танцевали, у меня сердце обливалось кровью. Кто это додумался выпустить их?

— Они сами, — ответил я. — Хотели выручить меня.

— И выручили.

Полковой комиссар улыбнулся. И тут я понял, что выполнил его приказ.

Через некоторое время мне присвоили звание лейтенанта. А полковой комиссар стал называть меня «киндерлейтенант».

Часть вторая

БАЛЕРИНА

1

Нашу танцевальную группу поместили в одном из бывших классов. Парты мы сдвинули к стене, на железном листе установили печурку с длинной трубой, выведенной

в форточку, расставили койки, между мужской и женской половинами натянули несколько плащ-палаток.

Черная доска, сохранившаяся в классе с мирного времени, напоминала ребятам школу, их жизнь без тревог, бомбежек, голода...

На доске было написано: «Завтра подъем в шесть, завтрак в семь, политинформация в семь тридцать, экзэрсис в восемь, выезд на концерт в десять».

Мы — фронтовые танцоры. Мы странствуем по частям и подразделениям. Выступаем в заброшенных домах и в землянках. При свете коптилок и свечей, порой гаснущих от вихря, который в танце поднимают мои ребята. Мы разучиваем новые танцы прямо на шоссе, там где асфальт не разбит снарядами. Мы движемся на трясках полуторках, на подводах, пешком. Иногда нам приходится делать большие переходы. И тогда мы, по примеру нашего маленького мудреца Шурика, приговариваем: «Ходить надо уметь, ходить надо любить...»

Идем, раз надо. Идем да еще тащим за плечами вещевые мешки с костюмами.

Раз, два, левой!

Впереди я, киндерлейтенант, за мной дядя Паша, наш старый баянист.

За ним — остальные.

И вот в поле красным островком возникает кирпичный завод. Труба, по всей вероятности сбитая прямым попаданием снаряда, лежит в траве, расколота на несколько кусков. А основание трубы похоже на крепостную башню. Завод частично разрушен: он был превращен в крепость, и его штурмовали как крепость. В стенах зияли проломы.

Мы выступаем в жерле огромной печи для обжига кирпича. Часть жерла — зрительный зал, часть — сцена.

До начала выступления наши дорогие зрители — бойцы потрудились: расчистили от битого кирпича «сцену» и соорудили для себя места в «зрительном зале» все из того же кирпича.

Дядя Паша пробежал своими сухими пальцами по клавишам баяна, и... «тачанка» вылетела из темного тоннеля под закоптелые своды, зазвучали дружные щелчки каблук. Мазутовые светильники горели чающим пламенем. Света было мало, на лицах танцующих ребят играли слабые блики, и пахло дымом. Получился какой-то танец огнепоклонников. Когда зрители захопали, я вышел наружу, на солнышко. И пошел вдоль стен завода.

За моей спиной слышались голоса. Эти голоса долетали до меня из пролома стены. Я сразу узнал высокий голос Вадика и голос Тамары, чуть с хрипотцой.

— Тебе не холодно? — спрашивал голос Вадика.

— Не-ет.

— Что же ты дрожишь?

— Мы далеко забежали. Надо возвращаться.

— Подожди... А теперь тебе тепло?

Я не слышал, что ответила Тамара. И на некоторое время голоса стихли.

— Твои волосы пахнут шиповником, — вновь слышался голос Вадика.

— Вадик, ведь я блокадная девчонка. Я же тебе не нравлюсь.

— Молчи! — отозвался голос Вадика. — Давай здесь остановимся, никуда не пойдем. Будем жить в пещере.

— Как Том и Бекки? — в тон ему спросил голос Тамары. — Ничего у нас не выйдет. Война.

— Ты боишься обстрела?

— Когда ты со мной, я ничего не боюсь, — был ответ.

И снова тихо.

— Мы никогда с тобой не расстанемся? — спросил Вадик.

— Никогда, — ответила Тамара. — Ты любишь меня? Верно?

— Верно, — не раздумывая, ответил Вадик.

— Я думала, нельзя полюбить блокадную девчонку, потому что в ней что-то оборвалось, увяло.

— Глупости! Это тебе кто-то наговорил глупости. Мы будем вместе с тобой танцевать всю жизнь. Это же здорово — танцевать вместе.

— Здорово! — согласилась Тамара.

— А почему твои волосы пахнут шиповником?

— Не знаю.

Я стоял спиной к пролому, боясь пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Потом я услышал хруст щебенки под ногами. Оглянулся. Передо мной стояла Тамара. На фоне закоптелой стены она казалась тоненькой и хрупкой. Глаза ее странно блестели, словно излучали свет. Она вопросительно смотрела на меня — слышал я или нет? Я вдруг тоже почувствовал запах шиповника. К этому запаху привык запах дыма.

— Борис... Владимирович... — Она, вероятно, хотела спросить, слышал ли я их разговор, но вместо этого заговорила совсем о другом: — У меня не получается финал. Вы заметили?

Я покачал головой.

— По-моему, все было в порядке, только мешали, наверно, осколки кирпича.

— Поэтому и финал не получился... Я споткнулась.

— Не беда, чадо мое. Просто тебе никогда не пришлось выступать в печах. Когда-нибудь станешь солисткой балета, будешь вспоминать эту печь.

— Буду, — согласилась Тамара. — Столько придется вспоминать, как бедная память выдержит.

И тут наши глаза встретились, и она поняла, что я все слышал.

Она смотрит с вызовом, который скрывает смущение.

А лицо горит. Но это может быть от танца, а может быть... Я чувствую, что должен помочь ей.

— Посмотри, — говорю, — какой шиповник.

И я подвел ее к кусту, который цвел в полную силу, словно рядом с ним не рвались снаряды, не летели осколки кирпича, не полыхало пламя.

— Я чувствовала, что здесь где-то рядом шиповник, — сказала Тамара, — но подумала, что чудится... Странный запах, с горчинкой.

— Это примешивается запах гари, — произнес я.

Она вскинула глаза и испытующе посмотрела на меня: может быть, я все же ничего не слышал? Но тут же поняла, что не мог я не слышать, ведь стоял рядом.

— У нас на даче в Тарховке рос шиповник, — сказала она, лишь бы что-нибудь говорить. — Колючий.

— Этот тоже колючий, ведь на войне всем надо защищаться, даже цветку.

— Но тогда не было войны. А колючки были.

В это время к нам подбежал молоденький красноармеец.

— Товарищ лейтенант! — Он ткнул себя пятерней в висок. — Надо срочно эвакуироваться, сейчас немцы начнут обстрел. Не дает им этот заводик покоя...

И мы заторопились к своим.

2

Нет, Галя, это были не простые ребята. До того как попасть к нам, они в кровь стирали руки и надрывали неокрепшие спины на оборонительных работах, зимовали в нетопленных квартирах и, когда у них на руках умирал кто-то из близких, копили хлеб — отрывали от своих блокадных 125 граммов! — чтобы заплатить хлебом — золотой валютой блокады — за гроб. Они не прятались по тревоге в бомбоубежище, потому что презирали смерть,

и перебегали улицу под артобстрелом: была — не была! Они становились санитарями и бойцами групп самозащиты. Они тушили зажигалки, хватали их длинными щипцами и в бочку с водой — ш-ш-ш!.. Голод... Дистрофия... Утрата интереса к жизни. Они стали забывать, что такое электричество, телефон, водопровод. Как в страшном фантастическом романе, мои ребята перенесли из эпохи первых Дворцов пионеров в ледяную блокадную Помпею, но не слились с мраком, не задохнулись жутким холодом — преодолели боль, одиночество, режущий голод. И теперь они живы! Они сыты. Они набрались сил. У них гимнастерки с петлицами защитного цвета. А на петлицах маленькие золотые лиры, поскольку эмблему военных артистов балета еще не придумали. Они учатся стрелять из автомата ППШ, носят на ремнях трофейные финки. И мне порой кажется, что они не молоденькие салажата, а бывалые, прошедшие огонь и воду бойцы.

Сами того не понимая, они — танцевальная группа политотдела — стали необходимы армии. И хриплые голоса командиров, которые в трубки полевых аппаратов орали: «Подбросьте огурцов!» — то есть снарядов, те же голоса просили: «Пришлите юных танцоров! Надо поднять у ребят дух!» — «Каких вам танцоров, немец от вас в трехстах метрах!» — «Мы отвлечем немцев на фланге! Это уж наша забота! Ни один волосок не упадет с головы ребят...»

Мы не отказывались. Не жаловались на усталость. Собирались по тревоге — и в путь. Правда, мои ребята еще не научились отвечать «Есть!» или «Слушаюсь!», а говорили по-граждански: «Хорошо!» Но приказ выполняли по-военному. По-фронтовому!

Я пробираюсь в то далекое трудное время и еще веду за собой эту большеглазую девчонку. С пей мне не так трудно, не так одиноко. Вперед! Сквозь толщу лет. Счастливых и несчастливых. Дождливых и засушливых. Сквозь

перемены. Сквозь время, которое люблю, которому предан сердцем.

Я вижу себя — молодого и седого. Киндерлейтенант, нареченный так начальником политотдела армии Васильевым. Командир, педагог, воспитатель. У меня шестеро подопечных, о которых я все знаю. Знаю, что Тамару Самсонову и Вадика притягивает тревожное, таинственное влечение друг к другу, и они в нем не могут разобраться, их обоих радостно лихорадит, переносит в иную жизнь, где нет войны, нет блокады... Алла Петунина ничем не интересуется, она все делает механически и танцует с каменным лицом. Словно заледенела в зимнем бескровном Ленинграде и еще не оттаяла. Женя Сластная вдруг стала проявлять интерес к длинному Сереже, а Шурик, рассудительный Шурик ходит за ней как тень и бросает недобрые взгляды на Сережу, словно тот в чем-то виноват...

В общем, все складывалось нормально. Молодость брала свое! Она оказалась сильнее войны. И огни Дворца пионеров, огни мира и счастья прорывались ко мне сквозь зловещую фронтовую тьму. Манили и звали...

Но было в жизни моих ребят — я только теперь осознал это — нечто такое, на что я, нерадивый киндерлейтенант, рассеянная нянька — простите, дядька! — не обратил внимания. Потому что сам был молод и зелен.

Однажды груше раздали посылки из тыла. Одна из посылок досталась Тамаре Самсоновой. Небольшая такая, зашита в мешковину, на которой черным карандашом было выведено: «Доблестному бойцу». Посылка предназначалась взрослому фронтовику, а досталась девчонке. Тамара осторожно распорол суровую нитку, которой была зашита мешковина, и обнаружила кисет с табаком-самосадам и шерстяные носки. Кисет Тамаре был, конечно, ни к чему, а носки, хотя и были связаны на большую мужскую ногу, она все же надела. Теплые это были носки. Но, кроме носков и табака, было в посылке еще и письмо.

*Здравствуй, доблестный боец! — писал автор письма. —
Посылаю тебе носки и кисет с самосадам. Пусть у тебя
не мерзнут ноги. А захочешь после боя закурить — та-
бачок в кисете. Бей фашистов! Отомсти за моего батьку.
Мамки у меня тоже нет. Я совсем одинокий. Серега Филип-
пов, третий класс.*

Теперь я понимаю, что именно это письмо, обычное, похожее на тысячи других, все перевернуло в душе Тамары и вывело ее на огненную орбиту. Сперва девушка мучилась оттого, что посылку доставили не по адресу — вместо «доблестного бойца» вручили балерине политотдела. Но мы ее убедили, что она такой же боец, как и все.

Это я подумал, что убедили. На самом деле в сознании девушки началась мучительная, напряженная работа.

«Я должна, — внушала себе Тамара, — я должна быть там, где настоящие бойцы, взрослые. Я должна идти под пули, должна бить фашистов, потому что не имею права обмануть Серегу Филиппова».

Во время войны все созревало быстро. И все было немного недозрелым. Как рано сорванные яблоки.

Не будь войны, Тамара была бы обычной девчонкой, немного своенравной, но в общем-то мягкой, отзывчивой. Она была очень похожа на моих сегодняшних ребят, на Галю Павлову. Так же была влюблена в балет, и ее истинная жизнь была в танце. Жизнь и самовыражение. Я невольно сравниваю этих двух девочек, моих любимых учениц, мысленно меняю их местами, снова и снова вижу Галю Павлову в гимнастерке, длинной, чуть ли не до колен, воротничок хомутиком, плечи свисают, пилотка надвинута на брови, хотя по уставу между пилоткой

и бровью должны уместиться два пальца; сапоги, тяжелые, солдатские, на два номера больше.

Тамаре и Гале одинаково по шестнадцать лет. Но Тамара старше Гали на целый год войны. И ее уже не назовешь девочкой. Она — красноармеец-балерина.

И не просто балерина, а балерина политотдела.

Ее глаза видели смерть — от голода, от осколков, от пули. Ее сердце покрылось жесткой корочкой, но само-то оно не почерствело, чувствует чужую боль как свою. Она знает многое такое, о чем Галя даже не подозревает. Яблочко мое зеленое.

Все время эти две девочки сливаются в моем сознании воедино.

И когда я прорываюсь в прошлое, рядом со мной оказывается Галя. Мне порой кажется, что сейчас на сцене Дворца пионеров танцует Тамара Самсонова. Особенно когда исполняют «Тачанку». Прежняя Тамара оживает в танце, за кулисы возвращается Галя...

Помню, как-то раз нашел у Тамары на койке раскрытую книгу. Красным карандашом были подчеркнуты слова: «Мне приходится учиться искусству танца у простых деревенских жителей... В них наш характер, правда жест, тот мудрый язык движений, который приходит от самой жизни... Народный танец — жизненный сок театрального концертного танца».

Потом Тамара как-то спросила:

— Ведь искусство должно выражать свое время. И даже танец, правда?

— Правда, — согласился я.

— Вот я все думаю, — Тамара приложила кончики пальцев к вискам, — как наши танцы выражают сегодняшнее героическое время? Неужели они такие же, как до войны, во Дворце пионеров?

— Нет, — убежденно сказал я. — Ведь когда на сцене появляется наша «Тачанка», за стенами гремят настоящие

выстрелы. И настоящий снаряд — брзантный или броневой — может попасть в «Тачанку». Просто некогда ставить новые танцы.

— Я это чувствую... Я однажды видела, как бойцы шли в атаку под фашистскими пулеметами. Они бежали стремительно и легко... И я потом попробовала. Высокий прыжок, широкая амплитуда движения.

— Ты умница, — сказал я. — Ты не только танцуешь, ты думаешь.

— Я видела, как один боец упал. Его сразила пуля. Он как-то съежился. И затих, словно заснул. И это уже не выразишь... У него был стоптанный ботинок, а на шее большое родимое пятно...

И тут я понял, где она была. Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу, и, стараясь не закричать, сказал:

— Кто тебе позволил?

— Так получилось. Они пошли прямо с концерта, а я с ними. Мне казалось, что если не пойду, то как бы предам их. Я хотела перевязать того бойца. Но он не дышал... И это тоже не выразишь танцем. — И тут она подошла ко мне близко, заглянула в лицо своими большими, так много видевшими глазами и сказала: — Борис Владимирович, пошлите меня в роту.

Она встревожила меня своей просьбой. Но ответил я ей буднично, без всяких объяснений и увещаний:

— Какая от тебя польза в роте? Ты же не держала в руках автомата.

Я думал обескуражить ее, но ничего у меня не вышло. Она попросила у меня автомат и молча стала разбирать его. Она делала это ловко и проворно. Потом, скользнув по мне взглядом, в считанные минуты собрала оружие. Однако я не сдался.

— Стрелять-то ты можешь?

— Могу.

Эта девчонка загнала меня в угол. Я надвинул пилотку на самую бровь и, как полковой комиссар, засунул ладони под ремень.

— Разве ты не на фронте? — спросил я.

— На фронте стреляют, а не танцуют.

— Стреляют тысячи людей. Десятки тысяч. А танцевать — вы уж меня извините! Своими танцами ты помогаешь ковать победу. Ты мстишь фашистам...

Я, кажется, заговорил лозунгами. Тамара посмотрела на меня с сожалением и сказала:

— Вы киндерлейтенант! Вам меня не понять.

— Да, киндерлейтенант. — И окончательно вышел из себя: — Я тебе и учитель, и нянька, и командир. Я, чадо мое... — И тут увидел, что ее глаза полны слез, и осекся.

— Не надо, — сказала она, стараясь сдержать некстати нахлынувшие слезы, — я не ваша. Я теперь Сереги Филиппова.

— Какой еще Серега Филиппов?

И тут она расстегнула кармашек гимнастерки, достала письмо и протянула мне — читайте!

Откуда этому далекому Сереге Филиппову было знать, что попадет его самосад не суровому бойцу, а девчонке, балерине политотдела!

— Ты куда табак дела? — спрашиваю Тамару.

— Отдала дяде Паше. А носки я ношу сама. Они, правда, на пять номеров больше, но теплые... Если бы был жив отец, я бы ему отдала все. Он умирал с голода, а корочки хлеба конил и менял на табак... Обман какой-то получается. Серега отдал последнее тому, кто бы мог отомстить за отца, а я «Цыганочку» танцую.

— Ты еще таццуешь «Тачанку», — твердо сказал я. Так твердо, как только мог. — И чтобы о роте я больше не слышал. Ясно?

Она стояла потупясь. Не слушала меня: ори, ори, киндерлейтенант!

Вскинутая головка с короткой, мальчишеской стрижкой, узенькие плечи, с которых свисает гимнастерка, рукава до пальцев. Глаза большие, а губы нежные, с трещинками от ветра. Маленький подбородок, внадинку под нижней губой. И шея длинная, тонкая — велик воротник гимнастерки, висит хомутиком.

— Разрешите идти? — спросила Тамара.

— Иди.

Повернулась через левое плечо, не по-солдатски, легко и бесшумно. И пошла прочь.

А через день, по пути на концерт, нам предстояло преодолеть простреливаемый участок. Узнав об этом, я хотел было отменить концерт и повернуть назад, мне насторого было запрещено рисковать жизнью детей. Но тут Тамара сорвалась с места. И вышла из укрытия.

— Стой, Самсонова! Тебе говорят, стой!

Не послушалась она меня. Шла вызываясь спокойно. У всех на виду. А я-то знал, что за полем, в синем кустарнике, фашистский снайпер уже вскинул винтовку с оптическим прицелом. И уже подводит перекрестье под левый карманчик ее гимнастерки. И этому фашистскому снайперу наплевать, что она еще совсем девчонка. И что она талантливая девчонка.

— Приказываю, стой!

Напрасно. Я понял, что она уже не остановится. И еще я понял, что, если сейчас что-то случится, я никогда не прощу себе этого.

Тогда я побежал за ней. Я бежал, подгоняемый страхом за Тамару.

Я не верил, что успею добежать. Но фашистский снайпер замешкался, его, видимо, больше заинтересовала. И там, в синем кустарнике, все еще не стреляли.

Я успел! Схватил ее за руку, бросил на землю и сам

неловко шлепнулся рядом. Треснул выстрел. Пуля, свистнув по-птичьи, как ножом срезала веточку вербы рядом с моей головой.

— Мне больно,— сказала Тамара,— я разбила локоть.

— Молчать! — Я забыл, что не просто командир, а киндерлейтенант. И горько пожалел, что рядом нет моих ребят-зенитчиков, что нельзя накрыть этого снайпера тремя снарядами, беглыми...

— Ползи за мной.

— Не умею ползать... Я встану,— сказала она.

— Ползи как можешь! За мной!

Нам надо было добраться до железнодорожного полотна. Метров двадцать. А там уже было безопасно. Если немцы, конечно, не вздумают бить из миномета...

Мы ползли, а немцы стреляли. Они охотились за нами. И пули отсекали рядом с нами веточки вербы с узкими серебристыми листьями.

— Ползешь? — спрашивал я Тамару.

Она не откликалась, была сердита на меня за разбитый локоть. Но по шороху и по тяжелому дыханию я чувствовал — ползет. Вот доберемся, тогда поговорим с тобой, красноармеец Самсонова! Только бы она доползла! Ведь когда человек не умеет ползти по-пластунски, он поднимается выше, и пуля может достать его.

— Прижимайся к земле! — кричал я через плечо.

Она была близко. Видимо, не хотела от меня отставать. Только бы доползти! Только бы ничего не случилось!

И тут началось спасительное полотно. Мы были в безопасности. Я встал. Оглянулся. Тамара уже стояла на ногах. Поднялась раньше меня. Отряхивала юбку.

— А жить нам суждено,— сказала она спокойно, словно мы находились в нашем классе, а не под пулями.

Я схватил ее за руку. Хотел уже накричать, но почувствовал, что не могу. Не было у меня голоса, чтобы

накричать. Только посмотрел в глаза и тихо, совсем не по-командирски — по-киндерлейтенантски сказал:

— Я тебя прошу. Больше никогда не делай этого.

Тамара удивилась, что я не кричу на нее. И тоже не по-военному сказала:

— Вы не волнуйтесь... так. Мы же на войне.

И пока я думал, как ответить, заметил, что по той проклятой простреливаемой тропе ползут остальные ребята. Тащат за собой вещевые мешки с костюмами и ползут. Без приказа. Без разрешения своего киндерлейтенанта.

В те дни Гитлер подписывал директиву за номером сорок пять, в которой приказывал начать подготовку к новой операции с красивым названием «Фойерцаубер» — волшебный огонь, фейерверк. Так вот, этот «волшебный огонь» означал, что группе армий «Север» надлежит начать подготовку к захвату Ленинграда. И потянулись к нашему родному городу эшелоны с фашистскими войсками и техникой.

А войска Ленфронта начали подготовку к прорыву блокады.

3

Ни сон, ни передышка, ни отвод в тыл не могли оторвать бойцов от войны. Война лезла во все щели. Напоминала о себе, требовала жертв, страха... Она сигнализала заревами пожарищ, вулканическим гулом далеких бомбардировок, смрадом не преданных земле останков павших. Она оборачивалась то болью, то голодом. Тяжелой вынужденной бессонницей, щемящей тоской по дому. Даже во сне не оставляла она бойцов, не давала им передышки — снилась.

И только перед танцами моих ребят война отступала,

терялась, расслабляла мертвую хватку. В недолгие минуты фронтового концерта, когда маленькие танцовщицы легко кружились на глиняном полу землянки, а их партнеры солдатскими сапогами отбивали дробь на дороге, превращенной в сцену, люди как бы отрывались от изрытой минами земли и переносились в далекое мирное время, к своим очагам, к детям, братишкам и сестренкам, бойцы оттаивали на наших концертах. Когда же надо было возвращаться к орудиям, боевым машинам, в окопы и на огневые позиции, они, бойцы, были уже другими, обновленными, словно после духоты и смрада надышались живительным кислородом.

Нет, недаром головастый полковой комиссар Васильев задумал создать при политотделе танцевальную группу. Опытный политработник знал тайну силы искусства.

Тамара же поняла это не сразу. Ей казалось, что любой человек с автоматом в руках может сделать для победы больше, чем ее танец. Потребовалось немало времени, прежде чем она, танцовщица, почувствовала себя нужной, необходимой армии. Она вдруг перестала проситься в роту и уже не ходила на стрельбище, сооруженное за школой работниками политотдела. Другая отчаянная страсть пробудилась в девушке: танцевать без усталости для полка, для роты, для пулеметного расчета. Танцевать там, где особенно трудно и особенно опасно. Одиноким Серега Филиппов, приславший ей кисет с самосадом и шерстяные носки, звал ее вперед, требовал от Тамары доблести.

Теперь Тамара предпочитала танцевать одна, там, где всей группе негде было развернуться и куда добраться было сложно. Танцевала в брезентовых палатках медсанбата, без музыки, чтобы не тревожить раненых. Танцевала на переднем крае, на сене, чтобы немцы не слышали стука каблуков. Как маленькая отчаянная комета, проносилась она по войскам нашей армии, оставляя долгий, медленно остывающий след.

Я чувствовал перемены, которые происходили в ней. Ее лицо огрубело, движения стали резче, она мало говорила, часто лежала на койке с открытыми глазами, прислушивалась к шагам в коридоре: может быть, приехали из части, тогда надо собраться быстро, по тревоге — и в путь. На подводе, на разбитой полуторке, пешком. Даже ее чувство к Вадику померкло, ушло вглубь. Только иногда, когда она глядела на него, ее глаза теплели. Но она тут же отводила взгляд, устыдясь минутной слабости.

Ноябрьским вечером, никому ничего не сказав, она ушла с пополнением на плацдарм. До сих пор не знаю, кого она уговорила. И кто согласился взять ее с собой.

Стояла ненастная ночь, дул холодный ветер, и мокрый снег белыми крупными хлопьями густо падал с неба. Над Невой, как лампы, висели осветительные ракеты. И в их резком свете было видно, как белые хлопья, касаясь черной воды, гасли — будто тоже становились черными. Ветер раскачивал летучие лампы, густой мокрый снег делал их свет тусклым. Лодки и понтоны были плохо видны с того берега. Немцы били вслепую. Свистели осколки, стоял грохот. Полк переправлялся на другой берег. На одной из лодок пристроилась Тамара. Она сидела на широкой скамье, маленькая, хрупкая, сжавшись в комочек. И только ее полные решимости глаза смотрели вперед, силиясь различить в мутной мгле надвигающийся берег. Рядом рвались мины. Лодку качало. Бойцов обдавало ледяной, жгучей водой, от которой пахло железом. Иногда совсем близко с сухим шорохом пролетал осколок, все в лодке пригибались и умолкали, словно боялись выдать свое присутствие. Хотя в этом несмолкающем грохоте человеческий голос все равно невозможно было расслышать. Рядом с Тамарой на скамье сидел дядя Паша. В ногах у него стоял баян, который старик обхватил двумя руками,

защищая свой хрупкий инструмент от осколков: поддался старик на уговоры девчонки, пошел с ней в самое пекло. Зачем?

Зачем? Есть вопросы, которые и сегодня остаются без ответа. Ведь у войны своя логика. И старика баяниста поднял в его трудный путь Серега Филиппов. Поднял и повел...

Я не просто вспоминаю — я разбинтовываю рану. Отрываю от живого, и с каждым витком становится все больнее. Я совершил в жизни много ошибок, но эта — самая непростительная. Я должен был не спускать с Тамары глаз, обязан был караулить ее, держать всегда возле себя. Ведь, по сути дела, она была еще девчонка. Шестнадцать лет! А в ней бушевала взрослая боль за свою Родину, за свой город. Когда немцы с Вороньей горы били по Ленинграду, ей казалось, что все снаряды летят в ее дом. И была у нее за спиной блокадная зима. Ее подлинным командиром неожиданно стал Серега Филиппов. Уверовав в силу своего искусства, она не давала этой своей силе отдыха. «Дочка, ты танцевала, а я как дома у себя побывал», — сказал ей один боец. И ей хотелось, чтобы все побывали дома.

Я знал это. Знал, что творится у нее в душе. Но слишком понадеялся на ее благоразумие. Она ускользнула от меня. Понеслась навстречу своей судьбе, не думая о себе, желая всю себя отдать людям.

Потом о концерте на плацдарме рассказывали легенды. Всю ночь полк занимал оборону, окапывался, отстреливался. А утром там, на пятачке, где не осталось живого места и вся земля была перепахана малыми саперными лопатками, перелопачена взрывами фугасок, зазвучал баян. И появилась Тамара.

В этом вывернутом наизнанку мире Тамара возникла как видение. На ней была яркая блуза с широкими рукавами, юбка с бесчисленными воланами. Сверкали зо-

лотые денежки монист, а по плечам струился шелковый платок, черный, расписанный алыми розами. Только сапоги на моей цыганке были не танцевальные, а простые, солдатские, на два номера больше, чем нужно, измазанные в глине, мокрые от невиской воды. Но этих сапог никто не видел. Кого они интересовали, эти сапоги? Тамара развела руки в стороны, и платок превратился в два черных крыла с алыми розами. Нет, она не танцевала, а плыла над землей, невесомая и властная, хрупкая и твердая ленинградская девчонка.

А дядя Паша, наш старый молчун, дымильщик, тихоня, сперва сидел на неизменном ящике от баяна, где еще со времен его стародавней службы во флоте на оборотной стороне крышки сохранились фотографии красоток. Потом встал, и от этого музыка стала разливаться шире по берегу Невы и донеслась до нашего берега. И комдив приказал узнать, что там еще за музыка после такого боя и почему немцы молчат, не драпанули ли?

Оттого, что на мертвой земле распустился такой цветок жизни, война сбилась с толку. Даже фашисты притихли.

Те, кто должен был стрелять, не стреляли. Стволы автоматов и орудий молчали.

Ах, Тамара, Тамара! Она не просто танцевала на маленькой, наспех утрамбованной площадке, она бросала вызов войне. Сотни родных и чужих глаз смотрели на нее. Не было на этом пятачке ни одной живой травинки, деревца, но всему плацдарму огненным валом проигла смерть, но была она — танцующая девчонка, балерина политотдела.

Она стала символом неистребимой жизни, во имя которой стоило держать этот пятачок и не отступать.

«Пляска смерти» — так назвал этот танец пленный немец.

«Пляска жизни» — называли ее танец наши бойцы.

В эту ночь орудия били сравнительно близко, и дом политотдела вздрагивал, как от подземных толчков. Я встал. Не зажигая света, подошел к окну и слегка отодвинул занавеску светомаскировки. Еще не рассвело — было около шести утра, но небо уже стало багровым, как остывающее раскаленное железо. При свете вспышек было видно, что валит мокрый снег. Я прислушался и понял: огонь ведут наши орудия. И подумал: «Как хорошо, что бьют не по городу!»

Стекла вздрагивали и тихо звенели, жаловались.

Все еще не зажигая света, я оделся и отправился к своим. Думал, они спят — их пушками не разбудишь! — но, когда переступил порог бывшего класса, вся моя команда была на ногах.

— Доброе утро, — сказал я, закрывая за собой дверь. — У вас уже подъем? Или не спится из-за артподготовки? По-моему, неподалеку форсируют Неву.

Все это я выговорил довольно быстро. И когда умолк, заметил, что ребята молчат. Видимо, что-то случилось.

Я спросил:

— Все ли у вас в порядке, чада мои?

Не ответили мне чада. Промолчали. И я понял, что не все у них в порядке. Я выжидательно посмотрел на Сережу.

— Борис Владимирович, Тамары нет, — сказал он.

Ребята стояли передо мной, опустив глаза, словно чувствовали себя виноватыми за ее исчезновение.

— Она легла вместе со всеми, — сказала Женя Сладкая. — Она легла, а утром ее койка была пуста.

— Может быть, она встала раньше... может быть, сейчас придет? — сказал наш рассудительный Шурик.

Но я чувствовал, что он не очень-то верит в то, что говорит.

— Не могла ли она махнуть в Ленинград? — робко сказала Алла Петунина.

— Чего гадать! — сказал Вадим.

— Только и остается гадать! — вздохнул Шурик. — И ждать.

Я ходил по комнате, недоброе предчувствие накапливалось во мне, подкатывало к сердцу. Однако я старался не поддаваться.

— Костюмы все на месте?

Алла Петунина — наш костюмер — подошла к стене, где на гвоздиках висел весь гардероб ансамбля. Зашуршали платья. Все молча ждали. Потом Алла повернулась ко мне.

— Борис Владимирович, нет цыганского костюма...

— Ты хорошо посмотрела?

— Нет костюма, посмотрите сами. А Тамара не расстается с ним.

Я не успел ничего ответить. Ребята бросились к нашей костюмерной стенке и стали энергично перетряхивать танцевальный гардероб.

— Действительно нет, — наконец сказал Сережа. — Она, наверно, махнула в соседнюю часть, ее попросили...

— Что значит — попросили? — взорвался я. — Здесь армия, а не художественная самодеятельность. Здесь все вопросы решает командир.

Кому я это говорил? Тамаре? Она все равно никогда не слушала моих командирских наставлений. Ребяткам? Самому себе?

— Вот к чему приводит разболтанность! — раздраженно продолжал я. Потом обратился к Сереже: — Веди группу на зарядку! В 8.00 экзерсис!

И под сводами старого класса прозвучало:

— Становись! Равняйся! Смирно! Нале-во! Шагом-арш!

Сережа нарочито громко выкрикивал слова команды,

по до меня они долетали глухо, как из соседней комнаты. Только бы Тамара вернулась! Только бы она нашлась!

Я не знал, что делать, куда устремиться на поиски Тамары. Отправился на узел связи армии. В частях, с которыми удалось связаться, Тамары не было, не выступала у них Тамара. И вообще в этот день было не до танцев — в частях объявлена повышенная боеготовность.

А мокрый снег все валит и валит. Он не ложился, а налипал на провода, на чехлы орудий, на шапки часовых.

Где Тамара? Когда она наконец придет? Я звал ее. Сам себе давал обещание не ругать ее, лишь бы она появилась. Должна же она в конце концов появиться! В два часа дня в класс вошел дядя Паша.

В этот день все забыли про него. Знали, что старик занемог и отлеживается в хоззведе, где стояла его койка. С ним такое и раньше случалось. Но весь вид старика говорил о том, что он пришел не из хоззвода, а проделал трудный, изнуряющий путь. Шинель на нем была мокрой, хлястик держался на одной пуговице. Щеки запали, глаза лихорадочно блестели и были красными, как после бессонной ночи. Он вошел в класс и, не раздеваясь, сел за парту, служившую столом. Потом дрожащими руками стал сворачивать толстую сигарку. Табак сыпался на колени, кресало не слушалось, фитиль не загорался. Наконец баянисту удалось закурить, и некоторое время он курил с закрытыми глазами.

Я подошел к нему.

— Дядя Паша, Тамара пропала!

Не поднимая глаз, он сказал:

— Знаю.

Я наклонился к старику.

— Вы знаете, где она? Она жива?

— Жива.

Все облегченно вздохнули: слава богу, жива.

— Где же она?

— Она в Ленинграде... Во Дворце пионеров.

— Как? Что она делает во Дворце пионеров? — воскликнул я и осекся — вспомнил, что Дворец пионеров превращен в госпиталь.

Значит, Тамара в госпитале.

— Что с ней, дядя Паша?

Он молчал. Мне хотелось тряхнуть старика за плечи, вывести его из странного оцепенения. С трудом я сдержался, взял себя в руки, понял, что старик сам еле живой, чем-то потрясен.

Наконец баянист заговорил:

— Ранена Тамара. На переправе. Возвращались с плацдарма, и тут ее... миной.

— Какой плацдарм? Какая мина? — Я не мог поверить в реальность того, о чем мне говорил старик. — Вы там были?

— Был.

«Зачем?» — хотел спросить я и тут же понял бессмысленность своего вопроса. Тамара ранена, и теперь уже все не имело значения.

Собравшись с силами, я спросил:

— Тяжело ранена?

— Тяжко, в бедро. Вот тут записка...

Он долго рылся в кармашке гимнастерки, пока наконец не нашел сложенный вдвое листок.

Я протянул руку к дяде Паше, но он покачал головой.

— Не вам. Вадику.

Вадик взял из рук дяди Паши записку и отошел к окну. Записка была короткой, но читал он долго, словно не мог разобрать почерк. На самом деле он все разобрал, но не знал, как понимать ее, что с ней делать.

Наконец он подошел ко мне и молча протянул листок. Это была старая увольнительная записка, которую я подписал, провозжая Тамару три дня назад в город.

— Там, на обороте...

Я перевернул бумажку и прочел:

Вадик. Со мной все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Достань, если сможешь, пистолет. Твоя Тамара.

У меня перехватило дыхание. Я поднял глаза на Вадика, тот по-прежнему стоял рядом.

— Что ты думаешь? — спросил я его.

Вадик пожал плечами.

Тогда я спросил:

— Если бы меня не было, а тебе отдали эту записку, что бы ты предпринял?

— Не знаю.

— Но ведь она надеется на тебя.

— Что ж, по-вашему, надо принести ей оружие? Я не дурак.

— Понимаю, что ты не дурак. Я тебе дам увольнительную. Поезжай в Ленинград. Тамара в госпитале во Дворце пионеров. Побудь с ней. Собирайся.

Некоторое время он топтался передо мной, потом сказал:

— Лучше вы, Борис Владимирович. Чем я могу ей помочь?

Мне захотелось ударить его. Но я только до боли сжал кулаки. И отвернулся.

— Действительно, лучше ехать мне, — пробормотал я. — Иди!

Он пожал плечами и вышел из класса. Записка так и осталась у меня. Навсегда. Я снова подошел к дяде Паше.

— Дядя Паша, вы выступали с нею в Ленинграде?

Он махнул рукой и сказал:

— Какой там Ленинград!.. На плацдарме были мы.

— Вы с Тамарой... на плацдарме?

Этого я уж никак не ожидал, даже от Тамары. Значит, подхватила она свой вещевой мешок с костюмом цыганки и рванула на плацдарм.

— Как же вы решились, дядя Паша? Ведь вы взрослый человек!

— Да вот решился... Уговорила она меня.

...Тамара подошла к дяде Паше и как бы ненароком спросила:

— Дядя Паша, вы давно не получали писем из дома?

— На прошлой неделе получил от внука, — ответил баянист. — Он мне картинку прислал. Дом с двумя окнами и дым над трубой.

— Это хорошо, — сказала Тамара, — когда над трубой дым. Ленинградские малыши рисуют дома без дыма. Правда, страшно, когда на картинке дома есть, а дыма нет?

— Много что страшно, — уклончиво ответил старый баянист.

Он исподлобья посмотрел на Тамару и почувствовал, что она что-то замышляет.

— Ты говори, чего тебе? — сказал он.

— Эх, дядя Паша, я бы сказала, да боюсь...

— Я не кусаюсь.

— Лучше бы кусались. Я не боюсь боли. Могу терпеть. В школе шла первой на прививку. Я боюсь, что вы меня не поймете. Вы ведь были под обстрелом, правда? И ничего?

— Ничего, — ответил дядя Паша, — остался жив.

Он никак не мог понять, к чему она клонит.

— Конечно, остались! — оживилась Тамара. — И не обязательно в бою погибать. Когда боец идет под огонь, он верит, что пуля пролетит мимо, а осколок вопьется в землю. Ведь большинство осколков попадает в землю.

— Ты говори ясней, — не выдержал дядя Паша.

— Завтра на плацдарм идет пополнение. Ночью будут переправляться. Давайте махнем туда... Я договорилась с одним лейтенантом.

— Нам-то с тобой что делать?

— Дадим концерт.

— Там без нас будет концерт, на плацдарме-то.

— Не поняли вы меня, дядя Паша! — заволновалась девушка. — Вы знаете, что с человеком бывает после боя? Радостная усталость? Ерунда! Человек опустошается. И эта пустота давит на него. Ему ничто не помогает, кроме искусства. Вот если станцевать им цыганский танец!

— Ты с ума сошла! Там земля наполовину железная!

— Люди тоже наполовину железные, — возразила Тамара. — Но они все же люди! И защищать Родину они могут, только оставаясь людьми... Вы боитесь, что ли?

Она так прямо спросила, что повергла старого баяниста в смущение. Старик засопел.

И тут Тамара сказала:

— Если вы против, я пойду одна. В конце концов, мне бойцы подпоют.

И тогда в дяде Паше, в старом молчаливом человеке, что-то дрогнуло. Он неожиданно почувствовал в этой отчаянной девчонке больше мудрости, чем в нем, бывалом человеке. Может быть, существует на свете какая-то особая, недоступная старикам молодая мудрость? Задиристая, безрассудная, но... великая! И он подумал, что без этой молодой мудрости мир засох бы, погрузился в скучную дрему. Зеленая мудрость рождает подвиги.

И дядя Паша сказал:

— Пойду с тобой. Околдовала ты меня, девка!

И они двинулись в путь. Снег слепил им глаза, а мокрая глина чавкала под ногами. Шли они как слепые, на ощупь. И было удивительно тихо и безлюдно.словно весь мир спал, завернувшись в одеяло. Только снег крутил водовороты и обжигал лицо, легко пробивая намокшие шинели.

Дядя Паша беспрестанно тянул сигарку, словно никак не мог утолить жажду, и виновато поглядывал на меня.

— Я красноармеец, — наконец сказал он, — и наказа-

ние мне положено. Ушел с нею самовольно. Но я не мог ей отказать. Не мог отпустить одну. Пошел за ней и... недоглядел. Да разве на войне доглядишь! Ведь мина не разберет, где старик, которому и помереть не грех, где девчонка, балерина...

Он вдруг кинул на пол свою сигарку — никогда раньше он не сделал бы этого, — встал и впервые назвал меня не по имени-отчеству, а по званию, как командира:

— Товарищ лейтенант! Надо поспешить к ней... Ведь могут ей ногу... отрезать. Понимаете, какое дело!

Я забыл о своих ребятах, о дяде Паше, о концерте у саперов, вышел на улицу, не чувствуя резкого ветра с Невы, выбежал на дорогу, по которой шли машины в сторону города. Остановил какого-то «козла» и помчался.

5

— Галя, ты можешь себе представить Дворец пионеров госпиталем? У подъезда санитарные машины. В гостиных — белые койки. В зимнем саду с большими фаянсовыми лягушками — операционная. И запах, этот неотступный липкий запах лекарств и страдания. Можешь себе представить?

Галя смотрит на меня большими удивленными глазами. Она все понимает — умная голова, но увидеть ей трудно... Трудно заставить зажмуриться огни люстр. Трудно заглушить музыку, умертвить праздник. И заполнить этот большой прекрасный дом-дворец страданиями. Трудно! Слишком крепки в ее сердце свет, музыка, праздник...

Как переступил я тогда знакомый порог, как ударил мне в грудь госпитальный дух, как увидел людей в белом, так сразу голова пошла кругом. Я растерялся. Где здесь Тамара?

— Вам что здесь надо, товарищ лейтенант?

Передо мной стояла невысокая девушка в белом халате. Ее строгие темные глаза испытующе смотрели на меня.

— К вам привезли бойца... вернее, девушку. Ее фамилия Самсонова. Тамара Самсонова.

— Она ваша девушка или ваш боец? — строго спросила санитарка.

— Она мой... боец! — сказал я. — Понимаете, Тамара Самсонова! Я должен ее видеть.

Санитарка недоверчиво посмотрела на меня и пошла. Потом она снова появилась передо мной и сказала:

— Ее готовят к операции. Будут ампутировать...

Я не дал девушке договорить.

— Стойте! — схватил ее за руку, словно санитарка сама собиралась ампутировать Тамарину ногу. — Да что вы тут, с ума посходили? Ей нельзя без ноги! Она же балерина!

— То боец, то балерина, — буркнула маленькая темноглазая санитарка, освобождая руку. — Я ведь не сама решаю. Майор медицинской службы Гальперин...

— Зовите вашего майора! — закричал я. — Скорее!

Должно быть, в самом моем облике было столько отчаяния и решимости, что санитарка, бросив на меня пугливый взгляд, побежала по белой мраморной лестнице вверх. А минут через десять по той же лестнице сошел невысокий черноволосый майор в золотых очках.

— Вы что шумите? — тихо спросил он, устало потирая рукой лоб.

— Тамаре Самсоновой нельзя ампутировать ногу.

— Вы имеете представление о тяжести ее ранения? Что вам важнее — ее жизнь или...

— Нельзя ампутировать! — упрямо повторил я.

Он, конечно, мог отмахнуться от меня и уйти прочь. Но я бы не пустил его. Я бы вцепился в него двумя руками и не пустил бы. И он почувствовал это.

— Вы меня задерживаете, — сухо сказал он. — Кто вы такой?

— Я ее командир... и учитель. Я отвечаю за нее.

— Перед кем отвечаете? — спросил майор. — Перед кем можно отвечать, если по девчонкам бьют из минометов?

— Она талантливая балерина.

— Что же вы ее не уберегли?

Я промолчал. Нечего было ответить майору, если я на самом деле не уберег Тамару.

— Послушайте, лейтенант, — сказал он. — Вы можете дать подписку? Я предупреждаю вас, что уже началась гангрена. Спасая ногу, можно потерять человека, девочку.

— Я дам подписку.

То, что я ответил, не подумав, рассердило хирурга. И тогда врач — усталый, пожилой ленинградец в золотых очках, которые придавали ему мирный предвоенный вид, — покраснел, шагнул ко мне и тихо закричал:

— По какому праву вы берете такую ответственность? Кто вы ей: отец, брат?

У меня перехватило дыхание, иначе бы крикнул ему в лицо: «Этот человек мне дороже сестры! Понимаете ли вы это!» Но я не мог ничего сказать, а когда дыхание вернулось ко мне, ответил сухо, однозначно:

— По праву командира.

Хирург тяжело вздохнул, и я почувствовал, что это право он признает.

Он сразу смягчился. Спросил:

— Верно, что девушка балерина?

— Она не простая балерина, — ответил я. — Она балерина, совершившая подвиг.

Он еще раз посмотрел мне в глаза. И, ничего не говоря, пошел вверх по мраморной лестнице.

— Я буду ждать! — крикнул я ему в спину.

Он не оглянулся. Медленно шел вверх. Он уже не принадлежал ни мне, ни себе — начал погружаться в свою трудную, нечеловеческую работу, готовиться к своему подвигу.

Я ждал его целую вечность.

Он появился усталый, разбитый. Очки сидели косо. Лицо было красным от долгого напряжения. Он, видимо, шел ко мне, но сделал вид, что случайно обратил на меня внимание. Я молча подошел к нему. Он поправил очки, уставился на меня:

— Чего вы ждете от меня? Хотите, чтоб я сказал: все в порядке? Я не бог! Я только знаю свое дело. — Он достал из кармана платок и вытер лицо. — Ногу я ей, возможно, спас. Год полежит, там видно будет... Насчет танцев не может быть и речи.

— Не может быть и речи! — с отчаянием повторил я.

— Но ведь жить она будет!

— Да, да, главное, конечно... будет жить!

Врач посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— Станный вы командир... очень странный.

Повернулся и пошел.

А мне казалось, что он уходит не один — уводит с собой Тамару.

Уводит из моей жизни, из моей работы, из моей любви.

И нельзя броситься следом, отнять у него девушку.

Я почувствовал, как обжигающая горечь подступает к сердцу, обволакивает его, сжимает. Я уже не смогу смотреть, как мои ребята кружатся в танце, раз среди них не будет Тамары.

Полковой комиссар остановился передо мной, уже в который раз засовывая под ремень ладонь, чтобы расправить гимнастерку, словно она во всем виновата.

Он говорит:

— Что ж ты, киндерлейтенант! Не уберег девчонку!

Я наклоняю голову ниже, чувствуя, что он говорит это без укора, а если и корит кого, так лишь самого себя.

— Ох, Корбут! Ох, учитель танцев!

Я понимаю его.

— Товарищ полковой комиссар, отправьте меня на батарею... только не оставляйте моих ребят.

— Тебя? На батарею? За какие грехи?

— Разве на батарею за грехи...

— Ты меня не прерывай глупыми вопросами. Ты ведь все прекрасно понимаешь.

— Что я понимаю?

— Совесть у тебя чиста! И перед политотделом, и перед самим собой. Мы ведь на войне, что поделаешь! А разве в Ленинграде в своих квартирах, в школах дети не погибают?

Он повторил слова, которые я говорил ему в тот мартовский день, когда мы встретились после возвращения из Ленинграда. Он утешал меня моими же словами. Я молчал.

Что мне еще оставалось делать? И вдруг я посмотрел ему в лицо и увидел в его глазах темную печаль. Всю войну он старался быть твердым, тщательно скрывал свои переживания, даже сбрил седые волосы, но сейчас крепень дал трещину, и из этой трещины робко пробилось отцовское чувство жалости.

Он не стыдился этого чувства, не пытался его скрыть. Все ходил по кабинету, все расправлял гимнастерку ладонями, засунутыми под ремень...

Прошло столько лет, а я не могу забыть его глаз в день, когда на этом проклятом плацдарме ранило Тамару.

Я держу в руках клочок бумаги — бесценный документ далекой драмы — и читаю, как читал впервые, с болью: «Все кончено... Я никогда не смогу танцевать...»

...Мы сидим в пустом танцевальном классе. Как тихо! Словно все вокруг замерло, чтобы не мешать моему трудному путешествию в прошлое. Только изредка долетает голос скрипки и тут же замирает — где-то на втором этаже идут занятия.

Гале стало холодно, она накинула на плечи шерстяную кофту, но не уходит. Не может уйти, стала моим добровольным спутником, идет рядом и своим сходством с Тамарой усиливает остроту моих воспоминаний. И мне кажется, что я ничего не рассказываю ей, а просто она проникла в мои мысли, и они стали ее мыслями, и мы вдвоем думаем об одном и том же и видим одно и то же.

Я так и не снял пальто. Только стянул шарф, и он лежит у меня на колене.

И вдруг я говорю Гале:

— Хочешь, я покажу тебе палату, где после операции лежала Тамара. — И вижу в ее глазах не удивление, а готовность идти Тамариным путем, как бы долог и труден ни был этот путь.

На улице снег. Подгоняемый ветром, он катится под ноги бесшумными валами. И сквозь эту развевающуюся снежную кисею огни главного корпуса тускнеют. Мне кажется, что они сейчас совсем погаснут, скроются за темными шторами светомаскировки, а у подъезда появятся санитарные машины защитного цвета с красными крестами. Сейчас я распахну дверь, и мне навстречу ринется запах йода и карболки, и усталый хирург Гальперин посмотрит на меня как на безумного.

Мы заходим в подъезд. Нас сразу обдает ласковым теплом. Звучат голоса, откуда-то сверху доносится музыка, ребята стайкой бегут по белой мраморной лестнице, обгоняя друг друга. И никаких санитаров с носилками... Так наслаивает время: на горе — радость. А мы с Галей прорываемся к тому горькому слою.

Мы идем мимо комнат сказок, расписанных палеша-

нами, мимо кабинета космонавтики, мимо зимнего сада с большими фаянсовыми лягушками. Здесь тогда была операционная. Здесь дневал и ночевал доктор Гальперин...

Звучит музыка. В зале идет какая-то большая массовая игра. Смех и хлопки. Как трудно пробираться сквозь смех к страданиям, преодолевать этот прекрасный слой мирного времени! Особенно трудно Гале.

В комнате, обтянутой малиновым атласом, я говорю:

— Здесь! Вторая койка от окна. Окно выходит в сад. Он тогда уже облетел. И только отдельные листочки желтели на черных, как чугун, ветвях.

Сейчас на месте «второй койки от окна» стоит старинный павловский диван. На нем сидят три подружки и о чем-то оживленно щебечут. Я подхожу к дивану. Подружки вскакивают и убегают.

— Здесь? — спрашивает Галя и проводит рукой по бархату. И кажется, как я, видит окрашенную в белый цвет госпитальную койку, видит подушку — наволочка желтая, застиранная. Одеяло — шершавое, из шинельного сукна.

А я вижу Тамару. Вижу ее бескровное лицо. Глаза закрыты. Губы запеклись. Мне кажется, что я ошибся и передо мной взрослая женщина, прошедшая трудную жизнь. Я узнаю и не узнаю ее.

— Тамара! Я пришел...

Она медленно открывает глаза — даже это движение стоит ей усилий — и смотрит на меня. Но ее тело, руки, лежащие поверх одеяла, не дрогнули, не восприняли моего появления, хранили каменную неподвижность.

— Загипсовали девчонку, как статую, — шепчет мне на ухо санитарка и подставляет табуретку. — Садитесь.

— Вы пришли, — едва слышно произносит Тамара. Ей и шевелить губами трудно, а может быть, больно.

— Я пришел. Тебе привет от всех ребят. И от дяди Паши.

— Его баян утонул, — говорит Тамара, — он переживает.

— Мы ему раздобудем новый баян, не хуже старого. Я стараюсь всячески подбодрить ее, избавить от забот.

— Где Вадик? — вдруг спрашивает Тамара.

— Его бы сюда не пустили, — уклончиво говорю я. — Но я все знаю про записку.

Она не выразила своего недовольства, что ее записка не сохранена в тайне тем, кому была адресована.

Она сказала:

— Я надеялась, что он придет, что он придет, что он...

И тут я забываю, что надо отвечать тихо. Я расправляюсь и говорю горячо, убежденно:

— Тамара, тебя оперировал прекрасный врач, он спасет твою ногу, вот увидишь!

Тамара качает головой, вернее, делает чуть заметное движение, но я улавливаю его и с жаром говорю:

— Ты будешь жить!

— Не нужна мне такая жизнь, — говорит Тамара. — Моя жизнь в том, в чем я могу себя выразить. В танце. А жить, не выражая себя, — пустота.

— Разве только в танце можно выразить себя? — спрашиваю я.

— Нет в мире другого такого искусства, в котором человек участвует весь... каждым ударом сердца, каждым мускулом, каждой клеточкой. Он весь со своими переживаниями в танце, в удивительном единстве тела и духа... Вы же сами меня учили.

— А любовь? — вдруг спрашиваю я и сам толком не понимаю, почему я заговорил о любви. Может быть, от отчаяния.

— Одной любви человеку мало. Любовь зачахнет без живительных сил, которые дает человеку самовыражение.

— Но ведь, кроме танца, есть много других возможностей выразить себя!

— У меня нет. Вы же все понимаете, Борис... Я раньше мечтала о театре. А теперь мне снится «Тачанка». — Она назвала меня Борисом и этим как бы уравнила меня с собой или себя со мной.

Она устала. Ей было тяжело держать глаза открытыми. Боль накапливалась, переполняла ее, губы побелели.

— Вам пора идти, — сказала мне неизвестно как возникшая санитарка и протянула руку к табуретке.

Табуреток, что ли, у них не хватает? Я встал.

— До свидания, Тамара. Я скоро приду снова. Что передать ребятам?

— Скажите, что я их люблю...

Я еще постоял немного. Потом спросил:

— Что передать Вадиму?

Тамара открыла глаза и, как сквозь дым, посмотрела на меня.

— Привет... Что еще передать?

6

Я очнулся. В руке у меня старая увольнительная записка. Рядом Галя, притихшая, ошеломленная. Я внимательно посмотрел ей в глаза, они слегка потемнели, и мне показалось: они видели все то же, что видела Тамара, и она, моя Галя, стояла на той огненной невиской переправе, и ее освещала ракета, которая раскачивалась над водой. Я смотрел ей в глаза и слышал, как воют мины, и с ледяным шорохом пролетают осколки, и как всхлипывает река, прежде чем взметнуть в небо водяной столб. И я спрашиваю ее, мою ученицу, имел ли я право тогда сказать «нет», если бы Тамара спросила у меня разрешения. И по Галиным глазам, напряженным и решительным, понимаю: нет, не смел я запретить Тамаре выполнить

свой высший долг. И если бы Галя была там, не послушалась бы она моего «нет», разжаловала бы из киндерлейтенантов. Потому что не нужен ей такой учитель танцев и не нужны ей танцы ради танцев, если идет бой.

Я прячу записку во внутренний карман пиджака, как когда-то прятал в левый карман гимнастерки с клапаном и пуговицей.

Когда два человека страдают, это объединяет их, сближает. А если один ранен, выбит из седла, закован в гипсовую броню, а другой цел и невредим? Мне казалось, что Тамара лежит на берегу, а меня относит течением все дальше. Но я боролся, я греб против течения. Не терял ее из виду. И как только позволяла служба, я спешил во Дворец пионеров, обращенный в госпиталь.

— Борис, когда я встану на ноги, вы возьмете меня в группу хотя бы... костюмером?

— Возьму! — уверенно отвечал я. — Мы не можем без тебя.

— А жить нам суждено, — сказала Тамара и в первый раз улыбнулась. В первый раз с того страшного дня, когда все это случилось.

А жить нам суждено! И мы жили. Ходить надо уметь, ходить надо любить! Мы понесли потери, но жили, боролись. Танцевали.

— Танец хромает без Тамары, — сказал однажды Вадик. — Следует изменить рисунок танца. Я могу показать, как надо, но нужны репетиции.

— Не будет репетиций! Нет времени! — сухо сказал я.

— Хорошо, — пробормотал Вадик.

Он все же изменил танец без репетиций, без моего вмешательства. Сам. В его измененном танце он танцевал за двоих: и за возницу, и за пулеметчика. Здорово у него получалось. Глубокий выпад влево, глубокий выпад вправо. Все хвалили его, я молчал.

— Разве плохо? — спросил у меня Вадик.

— Хорошо, — ответил я. — Здорово! Ты, Вадик, настоящий талант... Только ты быстро утешился. Быстро привык танцевать без Тамары.

Вадик пожал плечами.

Он не мог понять, в чем его вина. Он, яблочко зеленое, не созрел до понимания. Еще не прошла детская легкость в его отношениях к людям. Не окрепли косточки, гнулись. Я сердился на Вадика. Сердился на себя, что, будучи киндерлейтенантом, не проявляю достаточно мудрости, не по-взрослому прямолинеен. Но все, что было связано с Тамарой, больно задевало меня и выводило из равновесия.

...А дяде Папе выдали новый баян.

— Решением Военного совета армии за мужество, проявленное в бою за плацдарм, боец балетной группы при политотделе Самсонова Тамара Дмитриевна награждается орденом Красной Звезды.

Полковой комиссар Васильев в халате, накинутом на плечи, как плащ-палатка, стоял перед Тамариной койкой, и на ладони у него лежала тяжелая темно-вишневая звезда. Он как бы взвешивал награду перед тем, как вручить ее.

Тамара сидела на подушках в сереньком больничном халате и болезненно щурилась от волнения. Она вся подавалась вперед, словно в следующее мгновение откиннет одеяло, и встанет, и вырвется из гипсового плена.

Полковой комиссар подошел к ней ближе и прикрепил орден к отвороту серого халата.

— Не вешай нос, дочка! — доверительно сказал он. — Ты еще станцуешь!

— Я еще станцую, — отозвалась Тамара. — Хотите, сейчас станцую?

И не успел удивленный комиссар ответить, как за его спиной раздался перебор баяна. Это дядя Паша, как добрый призрак, возник в дверях палаты, приглашая свою маленькую подругу к танцу. И Тамара начала танцевать. Нет, она не поднялась с постели, потому что чудес не бывает. Тело девушки было неподвижно, танцевали руки, плечи, волосы, глаза.

Ее лицо преобразилось, и на нем появился отблеск жизни. Руки разлетались в стороны, взмывали вверх и тихо приземлялись на одеяло. И столько было в них птичьей легкости, и так прекрасен был их полет, что мы, находившиеся в палате, забыли, что девочка танцует, сидя на койке. А бубен, маленькое ручное солнце, сиял над всей палатой, над зимним городом, только что освобожденным от блокады.

Когда все направились к выходу, Тамара тихо позвала меня:

— Борис, подождите.

Я задержался.

— Сядьте.

Я сел на край постели.

— Если вы не спешите, то побудьте...

— Я не спешу.

— Хорошо, что вы со мной... остались. Мне сейчас трудно быть одной. Такая нечаянная радость. Я давно не делилась с вами радостью. Правда?

— Время такое, — сказал я. — Больше горя, чем радости.

— Но сегодня радость. Правда?

— Правда. Я тебя поздравляю, Тамара. Я горжусь тобой... Я бы, наверное, не смог так. Я всего-навсего киндерлейтенант.

— Нет, — уверенно сказала Тамара. — Вы бы смогли. Я точно знаю. Это из-за нас вы всегда должны быть на месте... Вы спасли нас в первую блокадную зиму. Выта-

щили полуживых, поставили на ноги. Если бы не вы, ничего бы не было.

— Что ты, Тамара! Не я, так другой.

— Другого нет. Вы один.

Она смотрела на меня, и глаза ее горели. В них светилась радость, которая так давно не загоралась. И вдруг она сказала:

— Наклонитесь ко мне.

И когда я наклонился, она поцеловала меня. Крепко. Горячо. И от ее волос запахло шиповником. Сладким шиповником и горьким дымом. Этот запах, родной щемящий запах, теперь принадлежал мне.

Мы с Галей спускаемся по большой мраморной лестнице Дворца пионеров. Навстречу нам бегут ребята. Куда-то опаздывают, обволакивают нас своим бурным, веселым течением, толкают. Мы им мешаем, а они нам помогают сойти с высот героических дней в наше время. Но это не так просто — вернуться оттуда. Не отпускает то время. Затихает медленно, как боль под витками бинта. Я подношу руку к карману, проверяю, на месте ли мой бесценный документ, хотя на обратном пути его предъявлять не обязательно.

Галина тонкая шейка с голубой жилкой вытянута, глаза расширены, не видят бегущих ребят. В них еще не погасли бубен, похожий на маленькое солнце, и орден, горящий на сером госпитальном халате.

— А жить нам суждено, — произносит Галя.

Мы выходим во двор. Снег сыплет густо и бесшумно, заполняет все пространство между двумя корпусами, и освещенные окна мерцают корабельным огнем.

И вдруг я слышу знакомый голос:

— Вы забыли шапку.

— Да, да. Совершенно верно. Спасибо, — механически

отвечаю я, провожу рукой по волосам и тут только понимаю, что это голос Тамары. Вернее, не сам голос, а эхо, приглушенное мягким снегом. Далекое, ожившее чувство жаркой волной захлестывает меня. Я останавливаюсь. Закрываю глаза и прислушиваюсь. Круговорот метели опутывает меня. Я чувствую на губах ледяный вкус снежинок и подставляю лицо снегу.

Я слышу шаги. Чувствую, что кто-то дотрагивается до моей руки.

— А жить нам суждено!

Кто произнес этот пароль моей юности! Тамара? Галя? Или их голоса слились в один бесконечно дорогой голос?

И вдруг снег начинает пахнуть шиповником с горьковатым привкусом дыма.

ОТ АВТОРА

В основу повести «Балерина политотдела» легла подлинная история. В марте 1942 года балетмейстер Аркадий Обрант организовал при политотделе 55-й армии танцевальную группу из воспитанников Ленинградского Дворца пионеров. Ребята дали на фронте три тысячи концертов. Аркадию Обранту и его юным танцорам посвящена эта повесть.

ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?

1

Каждый раз, когда Инга вспоминала тот день, он возникал перед нею с одними и теми же подробностями. И ей казалось, что этот день был вчера.

На фоне дымчатого неба за березняком желтела листва осинки. И когда задувал ветер, листья начинали трепетать, биться, словно между белыми стволами, обгоняя друг друга, бежала стайка девочек в коротких желтых платьях.

Во дворе Инга задержалась. Две старушки выбивали половичок. Они делали это слаженно и забавно, словно играли в забытую игру своего детства. Половичок взлетал вверх, падал вниз и оглушительно хлопал, выпуская облачко пыли.

Потом через двор прошел грязный усатый человек. От него пахло зверем, словно он ночевал в медвежьей берлоге. Инга пошла за ним. Он оглянулся, потер ладонью



заросшую щетиной щеку, и девочка заметила, что один глаз у него стеклянный. Ей стало не по себе, и она вернулась, чтобы посмотреть на играющих старушек.

Но старушки уже ушли. Наигрались! Зато на их месте Ингина подружка Леля рисовала на асфальте «классы».

— Сейчас поиграем, — сказала Леля, из-за плеча глядя на Ингу.

Пальцы у Лели были в мелу, словно ее только что вызывали к доске.

— Давай я тебе помогу, — сказала Инга и неожиданно увидела в воротах отца.

Это удивило Ингу, потому что отец никогда не возвращался домой днем.

— Папа, ты что? — крикнула девочка и заметила, что он очень бледный и глаза у него в красных ниточках.

— Идем скорей домой.

Девочка не узнавала его голоса.

Отец быстро вошел в подъезд. Инга — за ним. Он спешил и хватался за перила, ноги не держали его. Два раза споткнулся о ступеньки. А Инга бежала на своих тоненьких ножках. Обычно она взбегала по лестнице, приплясывая, но сейчас ноги не слушались ее, шагали как деревянные. Смутная тревога овладела Ингой... Она почувствовала голод. Резкий, похожий на боль. Перед глазами пронеслись девочки в желтых платьях...

Отец открыл дверь и торопливо, словно опасаясь преследования, вошел в дом. Инга проскользнула за ним. Захлопнула дверь. Отец вошел в кухню и тяжело опустился на табуретку. Инга села напротив и заглянула ему в глаза.

— Ты плакал? — спросила Инга.

Отец с испугом посмотрел на нее.

— Кто тебе сказал, что я плакал?

Кто сказал? Никто ей не говорил. Глаза сказали. Красные ниточки.

— Ну, плакал! — вдруг вырвалось у отца. В тот день он был раздражителен.

— Тебя кто-нибудь обидел, да? — терпеливо спросила Инга.

Отец поморщился.

— С тобой невозможно говорить!

Инга пожала плечами и стала раскачиваться на табуретке.

— Перестань, — устало сказал отец. — Мне надо тебе сказать...

Девочка перестала качаться и вопросительно взглянула на отца. Ей стало жалко его. Она не могла понять почему, но жалость подступила к горлу и защищала, словно девочка на спор съела ложку соли.

— Мама... — сказал отец и отвернулся. И, не поворачиваясь, чужим голосом произнес: — Мамы больше нет.

Инга не поняла, что он этим хочет сказать. В ушах у нее зашумело, словно задул ветер.

— Почему больше нет? — спросила она и почувствовала, что в горле прибавилось соли. И в глазах тоже появилась соль: стало пощипывать. — Уехала? Папа, что ты молчишь?

— Мама умерла, — выдавил из себя отец.

Он сидел спиной к Инге. Но девочка по спине почувствовала, что отец плачет. Сама же она не плакала, лишь с недоумением смотрела на спину отца, не понимая, что произошло.

Слова не действовали, звучали вхолостую. Их смысл ускользал от девочки.

— Как умерла?

— Свежий асфальт, — глухо сказал отец. — Самосвал не смог затормозить... врезался в машину «скорой помощи»... — Папа всхлипнул, и голос у него стал тонким и слабым, как у маленького.

И от этого Инга почувствовала себя старшей. Она подо-

шла к папе, сняла с его головы кепку и легонько потрясла отца за плечо. И серьезно, с верой в свои слова сказала:

— Мама вернется.

Отец удивленно посмотрел на дочь.

Инга утешала отца, а слезы накапливались в ее глазах, но она не замечала своих слез и продолжала утешать отца. И вдруг девочка почувствовала, что мама где-то очень далеко: дальше бабушкиной деревни, дальше моря, дальше гор, которых Инга никогда не видела. Девочка испугалась этого страшного расстояния. Закрыла глаза и почувствовала на щеках горячие бороздки. Но ведь даже из самых дальних стран люди возвращаются домой. «И мама тоже вернется! — она уже утешала не отца, а себя. — Надо только набраться терпения».

В это время раздался звонок. Папа и дочь не шелохнулись, словно не слышали его. Звонок повторился. Он был похож на мамин: короткий, нетерпеливый. Инга быстро пошла к двери.

Перед ней стояла подружка Леля.

— Что же ты не идешь? Я начертила новые «классы».

Эта подружка прибежала как бы из другого мира, веселого и радостного мира, где никто навсегда не уезжает и все в порядке.

Инга молча подняла на подругу глаза, и та заметила поблескивающие слезы.

— Тебя наказали? — спросила она. — Двойку принесла?

Инга покачала головой.

— Тогда идем, идем!

— Я потом...

Инга закрыла дверь.

Некоторое время Леля стояла перед закрытой дверью. Потом вздохнула, сама себе сказала: «Наказали!» — и побежала вниз по лестнице.

Потом, что бы ни говорили Инге, как бы ни объясняли

ей смерть матери, девочка думала: мама вернется! Она внушала это и папе.

Но в конце того дня вдруг стало невероятно темно. Убежали девочки в желтых платьях. Остались одни черные веточки.

2

Вы когда-нибудь слышали, как на повороте плачут трамваи? Это рельсы больно жмут колеса, как тесный ботинок ногу. Вы замечали, как усталый троллейбус крепко держится за провода маленькими железными кулачками? Боятся оступиться и упасть, потому и держится. Вы обращали внимание, как моргают фары автомобилей, словно в глаз попала соринка?

Инга шла осенней улицей и замечала то, мимо чего множество людей проходило спокойно и равнодушно. Машины, трамваи, троллейбусы становились похожими на живые существа. Мимо, глухо щелкая языком, подобно озорному мальчишке, промчался мотоцикл. На башне с часами ударил колокол. Может быть, он отбивал не время, а сокрушенно звал домой отказавшийся повиноваться мотоцикл? Инга перешла на другую сторону. Она не заметила, как за ней увязалась девушка в куртке с капюшоном, в клетчатых брючках, с сумочкой, висящей на плече, словно у кондуктора трамвая. Эта девушка тайком рассматривала Ингу и шла за ней, как следопыт. Только у ворот дома она окликнула Ингу:

— Девочка, подожди!

Инга остановилась и непонимающе посмотрела на клетчатые брючки и кондукторскую сумку. Еще она заметила бесцветные волосы и широкий носик, белый от пудры, а может быть, озябший.

— Хочешь сниматься в кино? — Девушка улыбнулась, и носик стал еще шире.

— Нет, — ответила Инга.

— Не хочешь? — Лицо у девушки вытянулось. — Все хотят, а ты не хочешь? Шутишь!

— До свидания, — сказала Инга, но от девушки из кино не так-то просто было отделаться.

— Подожди. Давай познакомимся.

На всякий случай — вдруг убежит — она взяла Ингу за руку.

— Ты, главное, не волнуйся... Не сразу же снимаются. Мы тебя сначала попробуем.

— Не хочу, чтоб пробовали!

Инга представила себе, как пробуют на вырез арбуз. И как на базаре пробуют творог. Мама всегда пробовала. Инга захотела убежать, но девушка крепко держала ее за руку. Теперь она говорила мягко, просила:

— Не убегай, пожалуйста! Ты даже не представляешь, какая тебя ждет роль! Я два месяца тебя искала!

— Меся? — удивилась Инга.

— Ну, конечно, тебя. Новые туфли сносила. Видишь?

В доказательство девушка показала свои сношенные туфли. Их невозможно было представить себе новыми.

Инга молчала.

— А не захочешь сниматься — не будешь. Ты только приди... а потом как хочешь. А то Карелин скажет, что я зря целых два месяца бегая... У тебя есть что-нибудь пожевать?

Инга удивленно посмотрела на девушку, протянула ей портфель, из которого торчал батон, и девушка ловко отломала горбушку.

— С утра ничего не ела. — Теперь она говорила с полным ртом. — Тебя как зовут?

— Инга.

— Хорошее имя, — заискивающе сказала девушка. — А меня зовут Вика... Виктория Сергеевна.

Вика жевала булку, а Инга мучительно думала, как

ей избавиться от этого кино. И тут она вспомнила Лелю. Подружка пришла ей на помощь.

— У меня есть подруга Леля, — сказала она. — Знаете, какая она красивая! Позвать?

Но Вика как бы не расслышала Ингиных слов, она повторяла свое:

— Будешь сниматься вместе со знаменитыми артистами, с лауреатами. Усекла?

Инга молчала. Не «усекла».

— Соглашайся, Инга, — не сдавалась Вика. — Я ведь два месяца бегала.

Инга снова взглянула на стоптанные туфли, они как бы подтверждали: бегала! Девушка из кино не дала ей опомниться, она воскликнула:

— Прекрасенько!

Решительно открыла свою кондукторскую сумку, словно хотела дать Инге билетик. Но вместо билетика дала ей бумажку с адресом студии.

— Держи. Завтра в пять часов будь на студии. Только не подведи. Ты же типаж!

— Типаж? — переспросила Инга. — Что такое типаж?

Но девушки из киностудии уже не было — она исчезла так же неожиданно, как появилась. Только бумажка с адресом подтверждала реальность ее существования.

— Новые туфли сносила, — пробормотала Инга и вошла в ворота своего дома.

А потом Инга забыла и о девушке из киностудии и о записке.

Вечером отец обнаружил записку. Она лежала в кухне на столе. Инга вынула ее из кармана, когда вернулась из школы.

— Что это за бумажка? — спросил папа.

— Бумажка? Это мне на улице дали... чтобы сниматься в кино.

— Ты сможешь?

Инга пожала плечами. Папа внимательно посмотрел на нее, словно желая обнаружить в дочери какие-то перемены, и пошел в ванную стирать. Над тазом поднималась мыльная пена — целое гнездо мыльных пузырей.

Неожиданно папа вышел из ванной, на ходу вытирая руки о фартук.

— Слушай, а это должно быть интересно — сниматься в кино? — спросил он у дочери.

— Не знаю, — отозвалась Инга.

— Вот и узнаешь.

Ингу удивило, что обычно молчаливый, тихий папа вдруг оживился и голос его зазвучал иначе:

— Вот и узнаешь! Там интересные люди. Артисты! — Он положил дочке руку на плечо и заглянул ей в глаза: — Может быть, у тебя откроется талант?

— Она сказала, что я типаж. Это хорошо — быть типажом? — спросила Инга.

— Конечно, хорошо, — не задумываясь, ответил папа, — иначе бы тебе не дали этого. — И он победоносно потряс над головой бумажкой с адресом.

3

Странное чувство овладело Ингой, когда она, сжимая в руке бумажку с адресом, шла с папой на киностудию. Порой ей казалось, что едва она переступит порог этой таинственной студии, как увидит маму. Она представляла себе, как мама воскликнет: «Инга, доченька!» И как она, Инга, прижмется лбом к теплему плечу матери. Все будет, как прежде. Инга слышала голос мамы и чувствовала тепло ее плеча. И ускорила шаги. Вдруг мама ждет?

Посыпал снег. Сухой, редкий, похожий на легкие перышки. Инга не заметила, как ее шапка и плечи стали белыми от холодных перьев снега. И как изменился город от этого случайного, преждевременного снега.

Папа шел рядом молча. Несколько раз он спрашивал прохожих, как пройти на студию. Они с Ингой словно очутились в незнакомом городе, на незнакомых улицах со странными названиями.

— Вы не знаете, где здесь... киностудия?

— Киностудия? — переспросил высокий мужчина и остановился перед Ингой.

Девочка подумала — сейчас он засмеется. Мужчина не засмеялся, только внимательно посмотрел на нее, словно на всякий случай хотел запомнить: вдруг она станет известной артисткой?

— Право, не знаю. Я не здешний.

Кто же здесь, в конце концов, здешний? Может быть, этот парень в спортивной куртке на «молнии», что идет, шаркая кедами, по мостовой?

— Хочешь стать артисткой? — сказал он.

— Нет, — ответила Инга.

— Зачем же тебе киностудия? У тебя мать там?

Девочка ничего не ответила, только исподлобья посмотрела на парня и наморщила лоб, словно он сделал ей больно.

— Третья улица направо, — сказал парень. — Я знаю. Снимался в массовке. Три рубля в день.

И он зашаркал кедами, оставляя на занесенной мостовой длинные лыжные следы.

Инге расхотелось идти на студию, где платят три рубля в день. Она почувствовала холодное отчуждение. Наверное, там все не настоящее — и дома, и леса, и дворцы. И артисты — не настоящие герои, а только изображают настоящих. И мамы там не будет. Надо разорвать на мелкие части бумажку с адресом. Но рядом был папа, и какая-то непонятная сила влекла ее вперед и не давала разорвать бумажку. Это была надежда. Маленький, слабый огонек, который если загорится в человеке, то уже погасить его не под силу даже урагану.

«У тебя мать там работает?»

«Нет, нет, нет! Моя мама — врач «скорой помощи»! Она мчится на помощь людям. Когда им плохо. Когда они нуждаются в помощи. У нее белый халат и чемоданчик, резко пахнущий лекарствами. А я никакая не артистка. И никогда не буду артисткой. Я буду как мама. Только бы скорее вырасти, и только бы ее халат стал мне впору. Он висит в шкафу и ждет, когда я вырасту».

Неожиданно перед ними возникло большое серое здание — киностудия. В просторном вестибюле сидело много детей с мамами и бабушками. Папа и Инга в нерешительности остановились посередине, не зная, что делать дальше.

— Вы на пробу? — спросила их маленькая бабушка, рядом с которой сидела рослая полная девочка. — Надо здесь ждать. Садитесь.

— Хорошо, — пробормотал папа.

Старушка подвинулась, давая папе место, но как раз в этот момент появилась Вика.

— Наконец-то! Здравствуй! Ты с отцом? Здравствуй-те! — Вика протянула руку отцу. — Виктория Сергеевна.

— Василий Прокофьевич, — сказал папа, своей большой рукой осторожно пожимая маленькую руку Вики. — Вот мы...

— Идемте скорее, а то Карелин ждет и ругается.

— Идемте, идемте, — согласился папа.

И все трое решительно зашагали по лестнице. А сидевшие в вестибюле враждебно смотрели им вслед.

— Счастливая, — вздохнула крупная девочка.

— Почему без очереди? — послышался чей-то недовольный голос.

— Наверное, есть связи... знакомый режиссер, — отозвалась женщина с копной желтых крашенных волос.

— Может быть, у нее талант? — вставила слово ее соседка, удивительно похожая на девочку, сидящую рядом с ней.

— Талант! — вспыхнула желтоволосая. — Вы посмотрите на ее лицо!

Последних слов Инга не слышала. Она с папой уже поднималась по лестнице.

Режиссер Павел Карелин был худой, длинный и бородатый. Борода мешала ему улыбаться, заслоняла улыбку. Но Инга по глазам чувствовала, что он улыбается. Зачем только он отрастил бороду? Чтобы казаться старым? Или чтобы никто не замечал, когда он улыбается?

— Здравствуй, Инга, — сказал режиссер.

Откуда он узнал, что ее зовут Инга?

— Здравствуйте, — прошептала девочка, машинально согнула в коленях ноги и распрямилась. — Это мой папа.

Режиссер назвал свое имя и протянул папе руку.

— Вы садитесь в кресло. Курите. А мы с Ингой поговорим.

— Да, да, — согласился папа. — Спасибо. Может быть, я покурю в коридоре?

Но, повинувшись режиссеру, опустился в кресло, достал сигарету. Спичек, правда, у него не оказалось. Но тут перед ним возникла Вика. Она щелкнула зажигалкой, зажатой в кулаке, и поднесла огонь к кончику сигареты.

— Не стоит беспокоиться, — сказал папа, однако охотно воспользовался огнем.

А Вика уже снова исчезла.

— Ты любишь землянику? — спросил режиссер Ингу, когда они остались одни.

От этого вопроса сразу запахло сладкой земляникой. Так после леса пахли мамины руки. А подушечки пальцев были розовыми от ягодного сока.

— Люблю, — ответила Инга и покосилась на дверь.

— А я больше люблю чернику, — признался режиссер. И девочке показалось, что борода у него не настоящая, а приклеенная. И если сорвать бороду, то он окажется молодым-молодым, совсем мальчишкой. — Я больше

люблю чернику, хотя от нее зубы и язык становятся черными. Помнишь?

Инга кивнула.

— И еще я люблю, — продолжал режиссер, — растереть между ладонями зелень можжевельника. Тогда от рук долго пахнет хвоей.

Запах земляники незаметно улетучился, и в комнате запахло смолистой хвоей. Инга увидела лес. Почувствовала под ногами мягкий, слегка пушистый мох. Потом лес кончился, и она увидела луг с белыми колесиками ромашек. Эти колесики от ветра катились по всему полю. А мама наклонялась и собирала их в букет. От ромашек — от желтых кружочков в середине — пахло медом. Так же, как от больших банок в бабушкином буфете.

— Я люблю ромашки, — сказала Инга, — и мама тоже...

— И мама тоже? — переспросил режиссер. — Ты никогда не снималась в кино?

— Нет, — призналась Инга и испугалась своего ответа.

Может быть, режиссер сейчас скажет: «Тогда отправляйся домой». Но режиссер довольно улыбнулся и сказал:

— Очень хорошо. Девочка должна быть девочкой, а не артисткой. Я тоже попал в кино случайно.

— Случайно? — удивилась Инга. — Вас Вика нашла... на улице?

Режиссер засмеялся.

— Я сам себя нашел. Работал на заводе. Играл в народном театре. Ты тоже сама себя найдешь.

— Я нашла, — сказала Инга, — я буду, как мама, врачом.

— Будешь лечить детей?

— Нет, я буду ездить на «скорой помощи»... Я надену мамин белый халат. Он будет впору... когда я вырасту.

— Кино не помешает тебе, Инга, — сказал Карелин.

— Не помешает, — согласилась Инга и вопросительно посмотрела на режиссера. — А что надо делать?

— Быть самой собой.

— Как это — быть самой собой? — удивилась девочка. — Я не умею...

— Ты сможешь, Инга. — Режиссер положил на плечо девочки руку. Рука у него была тонкая, длинная, как у музыканта. Инга почувствовала на плече тепло. — Понимаешь, наш фильм о женщине-ученом, которая все время проводит в экспедициях.

— А я?

— Ты — ее дочка. Ждешь ее каждое лето. Все хочешь поехать с ней к морю. И ничего не получается.

Инга внимательно слушала режиссера. И вдруг, сама не зная почему, сказала:

— Я отстаю по русскому письменному.

Сказала и подумала, что режиссер скажет «плохо», но он сказал:

— Догонишь. Мы будем друзьями, будем помогать друг другу... Надень-ка этот паричок.

И режиссер протянул девочке парик, похожий на рыжего мохнатого зверька.

Инга взяла паричок и стала натягивать его на голову, как шапку. Паричок был тесным, и чужие волосы налезали на глаза, но девочка терпела.

— Хорошо, — сказал режиссер, — а сейчас мы с тобой сыграем этюд. Представь, что тебе дали зеленое яблоко, кислое-прекислое. Ты его ешь. Морщишься, но ешь. На, держи яблоко.

И режиссер сделал жест, будто протягивает яблоко.

Инга «взяла яблоко» и долго рассматривала, словно раздумывала — есть или не есть. Потом вздохнула, поднесла ко рту и «откусила». И сразу на ее лице появилась гримаса. Инга морщилась и ела, ела и морщилась.

Вика приснула, а папа засмеялся вслух.

— Что вы смеетесь? — нарочито сердито спросил режиссер. — Думаете, легко есть зеленое яблоко?

Папа почесал затылок и, боясь своим ответом попасть впросак, сказал:

— Я вообще много их съел... в детстве.

— Можно уходить? — спросила Инга.

— Что ты такая невеселая? — улыбнулся режиссер. — Ведь яблоко уже съела.

— Она вообще-то веселая. Конфузится, — в защиту дочки сказал папа.

А Инга спросила:

— В кино нужны веселые, да?

Режиссер посмотрел на Ингу серьезно. И, немного помедлив, сказал:

— Представь себе, если бы в жизни все были веселыми. Одни весельчаки. Глупая была бы жизнь. И кино не проживет с одним весельем... Хочешь, я тебе поиграю?

Инга не ответила. Она ничего не хотела. Карелин подошел к пианино, стоявшему в углу комнаты, и открыл крышку. Он заиграл незнакомую Инге мелодию, которую нельзя было спеть или станцевать. Ее можно было только слушать. Инга обратила внимание на то, что он играл только одной рукой, левой. Правая же без всякого дела лежала на колене. Сперва Инга решила, что режиссер шутит: играет одной рукой, то, что полагается играть двумя. Она заглянула ему в глаза — глаза не улыбались, а борода — жидкая, рыжеватая борода — не скрывала печальных складок. Да и музыка была невеселая. Карелин играл левой, словно правой у него не было вовсе. В какое-то мгновение Инге показалось, что у нее тоже только одна рука. Левая. И все ей приходится делать одной рукой. Одной, одной, одной...

... — Что же ты ни разу не улыбнулась? — Выговаривала Вика, когда провожала Ингу и папу к выходу. — В пробах надо вести себя оживленно.

— Я не умею оживленно, — упрямо сказала Инга и стянула с головы парик.

— Она сумеет. Я знаю, — вступился за дочь папа, — она постарается.

Они подошли к вахтеру.

— Пока! До пятницы! — скороговоркой произнесла Вика. — Сложная ситуация!

Она взяла у Инги парик и побежала вверх по ступенькам.

— До свидания, — сказал папа вахтеру.

— Здравия желаю, — отозвался вахтер.

— Папа, а что такое «сложная ситуация»? — спросила Инга, когда они с папой возвращались домой.

— Это когда трудно, когда не получается, — ответил папа.

— Ну и пусть не получается! — с вызовом сказала Инга. — Я вовсе не хочу. Не надо мне этого кино. Вика говорила: наверное, не выйдет. Она сносила туфли, пока бегала по улицам...

— А я знаешь о чем мечтал, когда ты «ела» зеленое яблоко? — Папа замедлил шаги и наклонился к дочке. — Придем мы с тобой в кино. Погаснет свет. И вдруг на экране — ты, Инга. И все будут смотреть на тебя, а я буду думать: это наша Инга.

Инга удивленно посмотрела на папу и сказала:

— Я буду есть зеленые яблоки, а все будут смеяться? Папа, я больше не пойду туда.

— Надо, Инга. Раз обещала прийти — надо. Никогда не следует подводить людей. Ведь люди работают.

Инга вспомнила Викины сношенные туфли и промолчала.

Когда Инга потом вспоминала Карелина, то почему-то улыбалась. Думала, что улыбалась из-за его бороды, которая кажется ненастоящей, а если дернуть ее посильней, то отвалится. Но дело было не в бороде, а в том, что у этого худого взрослого человека были мальчишеские глаза. Не помогают ни борода, ни очки, они и сквозь очки смотрят

по-мальчишески. Очень смешно: взрослый человек с мальчишескими глазами. Но смешно только первое время. Потом смех проходит, и оказывается, что человек принес тебе облегчение. Чем? Как? Трудно ответить.

4

В этот вечер Инга снова вспомнила последний мамин день. Но не желтых девочек, не старушек, играющих половичком, и не дядьку со стеклянным глазом. Она вспомнила начало дня — солнечное утро. Осенний холодок, влетающий в комнаты в открытое окно. И — маму.

— Ой, я опаздываю! — воскликнула мама, входя в комнату. — Куда он девался?

Мама стремительно ходила по комнате, заглядывала во все уголки, она искала фонендоскоп — трубочки, которыми слушают сердце. Кажется, весь дом пришел в движение, мелькали окна, полки шкафов, стол, спинки стульев. Все предметы перемещались с места на место.

А Инга сидела за столом и спокойно тянула чай из блюдечка, время от времени откусывая от большого бутерброда. Папа прихлебывал чай из стакана, при этом он читал толстый научный журнал. И сопел.

— Ты вчера прослушивала меня, — сказал он маме.

Для него, молчаливого и немногословного, это была целая речь.

— В том-то и дело, — воскликнула мама, — я достала его из сумки.

И тут Инга соскользнула со стула и вышла из комнаты. Вернулась с фонендоскопом. Она держала его в руке, как пойманного ужа.

— Вот!

— Где он был? — радостно спросила мама.

— В ванной. Я вспомнила: видела, когда мылась.

— Как он попал в ванную?

Мама взяла из рук дочери находку и стала запихивать ее в сумку. А фонендоскоп не давался, выскальзывал, словно был живым существом и не хотел в сумку.

— Тебе надо попить микстуру, — защелкивая сумку, говорила она папе, — у тебя хрипы. А ты, — мама повернулась к Инге, — после школы разогреешь суп. Слышишь?

— Слышу, — отозвалась Инга.

Мама уже стояла у зеркала в белом медицинском халате и причесывалась. У нее были темные короткие волосы.

— И оставь свою привычку отдавать суп собакам. Слышишь, Инга!

— Слышу, — отозвалась дочь, откусывая от бутерброда.

— Я сегодня задержусь, — произнес отец, — у меня вызов к слону.

— Будь осторожен. — Мама кончила причесываться и отвернулась от зеркала.

— Да уж...

Мама надела поверх халата плащ, поцеловала дочь, махнула рукой папе и скрылась за дверью.

И сразу стало тихо, словно в присутствии мамы все предметы двигались, мелькали, а теперь замерли.

— Ты не отдавай суп собакам, — повторил папа, — лучше дай им сосиску.

— Я пошла в школу, — сказала Инга. — Пойдем?

— Да, да, — буркнул папа, захлопнув свой журнал, и вслед за Ингой зашагал к двери. Походка у него была неуклюжей. Он переваливался с боку на бок...

Инга помнила это утро наизусть. Словно оно повторялось бесчисленное количество раз, и девочка невольно запомнила его. Выучила.

Таким был последний день с мамой.

Иногда Инга просыпалась и в щелку видела, что в кухне горит свет. Тогда она вставала и шла на кухню. Папа сидел на табуретке и курил. Воздух в кухне был сизый от дыма.

- Ты почему не спишь?
 - А? Не сплю? Я сейчас... зачитался.
 - Где же твоя книга?
 - Книга? Только что была здесь. Где же моя книга?
- Инга брала отца за руку.
- Идем.

И он шел. А один все не решался. Без мамы он стал каким-то беспомощным.

5

— Эй, Инга! Инга!

Инга выходила из дверей школы, а внизу, на первой ступеньке крыльца, стояла Вика и сияла. От улыбки ее носик стал еще более широким. Руки Вика держала в карманах куртки, а ее кондукторская сумка на ремешке лихо свисала с плеча.

— Инга, что я говорила?!

Инга не помнила, что говорила Вика. Она так много всего говорила.

— Здравствуйте! — сказала девочка, подходя к Вике.

— Я говорила, что ты — личность? — спросила Вика, и Инга кивнула головой — так, на всякий случай, из приличия.

— Я говорила, что ты — талант?

Вика вбежала по ступенькам и стала трясти Ингу за руку.

Ребята, сбегавшие с крыльца, с любопытством смотрели на странную девушку в клетчатых брюках и прислушивались, о чем она говорила. Они не понимали, и Инга не понимала, чему так радуется Вика.

— Ну что ты хлопаешь глазами? Не понимаешь? Тебя на роль утвердили! — воскликнула Вика и продолжала трясти Ингу за руку. — Мы победили! Пожалуйте в машину!

Инга посмотрела вниз и увидела машину, на которой было написано: «Киносъемочная».

Она все еще не понимала, как победили и при чем здесь машина. Может быть, теперь ее каждый день будут возить из школы на машине, раз победили?

— Что же теперь делать? — растерянно спросила девочка.

— Едем на студию. Сегодня ты познакомишься с Верой Соловьевой. Это знаешь какая артистка! Звезда!

И Вика побежала по ступенькам, таща за собой Ингу.

Когда машина отъехала, один мальчик, стоявший у школы, спросил другого:

— Почему ее повезли на машине?

— Потому что у нее умерла мама, — ответил другой.

Инга сидела в репетиционном зале и ждала, как ей велели. Ждала и боялась этой встречи. Потом дверь открылась, и она вошла. Инга медленно оглянулась.

Нет! Нет! Нет! Это была не мама. Даже не ее тень. Все было другое. И походка, и голос, и запах. Все, все, все! Инга как-то сжалась. Если бы она была ежиком, то выпустила бы все иголки, превратилась бы в сплошной клубок колючек. А если была бы черепахой, то глубоко спрятала бы голову в круглую костяную коробочку с квадратами на крышке.

У мамы были светлые карие глаза с лучиками в зрачках. А у артистки глаза большие, серые. И, как показалось Инге, холодные. И волосы у нее были светлые, прямые, до плеч. А у мамы темные, короткие — длинные волосы не спрячешь под медицинской шапочкой. И нос, и рот, и подбородок — все у мамы было другим! Как эта артистка может играть роль мамы, если она совсем не похожа на нее? Совсем чужая!

— Здравствуй, Инга! — сказала артистка. — Меня зовут Вера. Нам с тобой придется вместе работать.

Работать? Инга удивленно подняла брови. Ее пригла-

силы сюда сниматься в кино, а не работать. Может быть, они будут вместе подметать пол или мыть окна? Маме-то она всегда помогала. А этой она не хочет помогать. Нет!

— Что ж ты молчишь, Инга?

Девочка исподлобья смотрела на артистку.

— Что я должна говорить?

Вопрос смутил Веру. В нем была какая-то неприкрытая отчужденность: она протянула руку, и ежик кольнул ее.

— Ты ничего не должна... Я хотела тебя спросить, поговорить с тобой...

«Не буду! — сама себе приказала Инга и посмотрела на артистку зверьком. — Ничего тебе не скажу! Ненавижу тебя! Никакая ты не мама! Другая! Другая! Слышишь?»

Инга кричала про себя, без голоса. Навсегда онемела. И теперь вообще не сможет произнести ни слова.

Артистка покачала головой. Села в кресло. Закурила.

И вдруг у Инги прорезался голос. Ни к кому не обращаясь, она сердито сказала:

— Мама не курит... Никогда не курит.

— Мама не курит? — Артистка внимательно посмотрела на девочку и решительно погасила сигарету. — Я тоже не буду... курить. Как твоя мама.

Девочка пожала плечами: мол, ей безразлично, будет артистка курить или не будет. Мама не курит, а она как хочет.

— Скажи, девочка, а ты с мамой танцевала по праздникам? — спросила Вера.

— Танцевала, — неохотно ответила Инга. И снова выпустила иголки.

— Давай с тобой станцуем!

Вот еще! Инга с трудом сдержалась, только спросила:

— Так надо?

— Надо!

Тогда Инга сказала:

— Я буду одна танцевать!

— Хорошо. Я сейчас включу музыку.

Инга подошла к окну и стала смотреть на улицу. Было пасмурно, и слегка моросил дождь. От первого, случайно залетевшего в осенний город снежка не осталось и следа. Ветви деревьев, черепицы крыш, провода, телевизионные антенны были окутаны мутными каплями дождя, лишились четких очертаний, расплылись. И чувства Инги были такими же пасмурными и невнятными. Девочке совсем не хотелось танцевать. Ей хотелось как-то незаметно выскользнуть из комнаты и слиться с осенним городом, заполненным мелким дождем-невидимкой. Пусть город примет ее как друга, пусть уведет по мелким озерцам, возникшим на асфальте, на другой конец, где улицы знакомые и люди знакомые и не надо танцевать, когда хочется плакать.

За спиной зазвучала музыка. Инга вздрогнула, но не обернулась, продолжала смотреть в окно, словно не услышала музыки. Но постепенно звуки скрипок и труб все больше и больше отвлекали ее от пасмурного города. Звуки превратились в новые яркие краски, которые на свой лад — весело и отчетливо — перекрашивали город. Они разрушали печальную картину и рисовали новую. Музыка оторвала Ингу от окна. Сперва ее движения не были похожи на танец. Но постепенно ритм оркестра все больше овладевал девочкой. Инга подняла руки, соединила их над головой, повернулась на носке. Качнулась влево, вправо. Притопнула ножкой. Танец переносил Ингу из одной стихии в другую. Поплыли стены. Пол превратился в волчок. И все вокруг закружилось, зажило новой жизнью. Без нескончаемого дождя, голых веток, мутных окон...

— Кто тебя научил танцевать? — спросила Вера, когда музыка кончилась и девочка остановилась.

— Мама.

— Мама, — как эхо, повторила артистка.

— Мне надо идти, — сказала Инга. — Мне можно идти?

Когда Инга вышла за ворота студии, у нее было готово окончательное и бесповоротное решение: больше она сюда не вернется! Пусть неугомонная Вика скачет по городу и находит других девочек, которые согласны играть любую роль, лишь бы сниматься в кино. Пусть они называют Веру мамой. Может быть, Вера и в самом деле похожа на их мам. Очень хорошо! На здоровье! А Инга слишком любит свою далекую-далекую, близкую-близкую маму, чтобы позволить чужой женщине называть ее своей дочерью. Инга не будет притворяться, что любит Веру. Бородатый Карелин велел ей быть самой собой. Вот она и будет собой. Уйдет за ворота и не вернется.

Дождь прошел, и в лицо Инге дул сухой с морозцем ветер. Он придавал девочке бодрость и без конца напевал о больших снегах, ледяных узорах и узкой лыжне, которая пересекает поле и скрывается в розовой дали. Может быть, в этой морозной дали и есть мама... Может быть, она вернется домой по узкой сверкающей лыжне...

Впрочем, самой Инге сейчас казалось, что она возвращается домой откуда-то издалека. Идет-идет и никак не может дойти. Устала. Выбилась из сил. Но ничего, скоро начнутся знакомые дома. Она вернется домой и к папиному приходу приготовит ему любимое кушанье: цеппелины. Это бабушка научила ее делать из сырой тертой картошки цеппелины. Говорят, так называют таинственные воздушные корабли, похожие на серебристых рыб. Эти корабли забирают пассажиров и плывут высоко над землей. Их обгоняют самолеты и птицы, им мешают боковые ветры, а они плывут. Что, если открыть окно и выпустить на улицу картофельные кораблики? Пусть летят!

Когда Инга в первый раз в жизни состряпала их, мама воскликнула:

«Ты у меня настоящая хозяйка!»

«Вкусно?» — спросила девочка.

«Очень вкусно! Я никогда не ела таких вкусных цеппелинов!» Папа тоже был доволен. Он запивал кушанье пивом и хвалил. Сегодня на обед тоже будут цеппелины. Пусть папа обрадуется. Пусть он вспомнит хорошие времена, когда была мама. Так, размышляя о цеппелинах, Инга очутилась у своего дома. Когда она шла по двору, к ней подошла ее подружка Леля.

— Здравствуй, — сказала Леля. — Ты теперь будешь сниматься в кино?

— Нет!

«Опять это кино», — с досадой подумала Инга.

— Они только красивых берут? Да? — не отступалась Леля. — Мама мне говорила.

Инге не хотелось говорить о кино, не хотелось даже думать. Перед ее глазами возникла Вера, не похожая на маму. Инге казалось, что она, чужая женщина, навязывается ей в мамы. Нет! Нет! Никогда! И сейчас, во дворе, Инга неожиданно подумала, как избавиться от Веры, от Вики, от всего этого кино. И она сказала Леле:

— Хочешь сниматься? Вместо меня.

— Конечно, хочу! — не раздумывая, воскликнула Леля. — А меня возьмут?

— Твоя мама курит? — спросила Инга.

— А надо, чтоб курила?

— Я скажу артистке, что она похожа на твою маму.

— Скажи, Инга! Моя мама не курит, но если надо для кино... Скажи! Скажи!

И тут Леля не выдержала напора радости, она стала кружиться и напевать:

— Я буду сниматься! Я буду сниматься! Я буду сниматься в кино!

Когда порыв радости прошел, Леля перестала кружиться и сказала:

— Пойдем сейчас.

- Куда... пойдём? — не поняла Инга.
- Туда... где снимаются...
- Мне некогда, мне обед надо готовить.

Инга пришла домой и принялась стряпать. Она так усердно натирала сырую картошку, что ободрала себе палец о терку. Но когда вернулся папа, цеппелины уже томились в кастрюле, наполняя квартиру ароматом.

- Что это так вкусно пахнет? — спросил папа.
- Угадай!
- По-моему, пахнет... цеппелинами!

Запах привел папу в кухню к небольшой белой кастрюле. Папа наклонился, приподнял крышку и втянул в себя жаркий дух кушанья.

- Вот это да! Давай скорей обедать, Инга!
- Раздётся и помой руки,— строго сказала дочь.

И улыбнулась.

Но папа все не уходил из кухни.

— Сегодня я спас собаку,— сказал он.— Она очень страдала. Думал, не выживет. Но она так печально смотрела на меня, как бы просила помочь ей. Глазами просила... Ее звали Веста.

— Веста? У неё щенки будут?

Папа покачал головой.

— Главное, что она жива... Как хочется цеппелинов!

Папа знал, что в пальто и с грязными руками он ничего не получит. Поэтому быстро вышел из кухни, разделся, вымыл руки. От него пахло лекарствами. Но он не замечал этого запаха. От него всегда пахло лекарствами.

Когда с обедом было покончено и папа помещивал ложечкой в стакане чая, Инга подошла к нему, виновато посмотрела и сказала:

— Папа, я сегодня убежала оттуда.

Папа перестал помещивать чай.

— Как убежала? Тебя утвердили на роль... как бы

приняли на работу, а ты убежала. А если бы я убежал с работы?

— Ты лечишь,— сказала Инга и, не зная, что сказать дальше, замаялась. Но потом вдруг выпалила: — Она курит! Она противная! Она злая!

— Кто злая?

— Эта Вера... Соловьева. Артистка!

Папа встал с табуретки и заходил по кухне.

— Во-первых, кто тебе сказал, что она злая? Я тоже работаю со злыми. Меня даже кусают иногда. Но что мне делать? Не лечить зверей, убежать?

— Но она совсем не похожа на маму! — отчаянно воскликнула Инга.

— Да,— задумчиво сказал папа.— Мама у нас была одна. Маму никто не заменит. Но нужно жить, Инга. Работать. Учиться. Когда мне бывает трудно и я не знаю, как быть, то я думаю: как бы поступила на моем месте мама?

— Мама не снималась в кино,— возразила Инга.

— Мама любила любое дело доводить до конца. Она бы сказала: «Поднажми, Инга, поднажми!» — Папа задумался, потом улыбнулся своим мыслям и сказал: — Если бы мне предложили сниматься в кино, я бы с радостью.

— Папа,— всполошилась Инга,— папа, но ведь ты ходишь как медведь. Мама всегда говорила...

— Я бы научился ходить как надо,— упрямо сказал папа.

И он попробовал пройти «для кино». Но у него это получилось смешно и нескладно.

7

На другой день, выходя из школы, Инга увидела, как у тротуара остановилась машина с надписью «Киносъёмочная».

Инга тут же смекнула, что в машине Вика, что при-

ехала она за ней. И вместо того чтобы идти навстречу, Инга побежала в другую сторону. Она бежала и тащила за собой Лелю.

— Куда ты бежишь? — спрашивала на бегу Леля.

Но Инга не обращала внимания на подругу. Она бежала. Наконец подружки остановились и перевели дух.

— Инга, верно, тебя не взяли сниматься? — вдруг сказала Леля. — Разве нормальный человек сам не захочет сниматься?

Инга молчала. Ей не хотелось говорить о кино.

— А я хочу сниматься. Отведи меня, Инга.

— Не могу, — ответила Инга. — Но ты ходи по улицам, и Вика найдет тебя. Она целый день ходит. Ищет.

— Кто она?

— Девушка такая из кино... Она подойдет к тебе и спросит: «Девочка, хочешь сниматься в кино?» Ты скажешь: «Хочу!» И все в порядке.

— Все в порядке? — недоверчиво спросила Леля.

— Я сказала «не хочу», и то позвали.

Так они переговаривались и не замечали, что за ними идет Вика. Идет и слушает. И сердится ужасно.

Подружки свернули за угол. И Вика за ними. И вдруг Инга обернулась и увидела «девушку из кино».

— Хорошенькое дело! — сказала Вика. — Я за ней приехала, а она...

— Здравствуйте! — заискивающе сказала Леля.

Но Вика не обратила на нее внимания. Она смотрела на Ингу.

— Не поеду! — хмуро сказала Инга.

— Что ты несешь! — Вика уже стояла рядом и держала Ингу за руку, так легонько держала, на всякий случай. — Не поедешь! Я тебя столько времени искала. По лужам бегала всю осень. Мне за тебя премию дали. Что ж, отдавать премию обратно? Сегодня первый день съемок.

И тут Инга тихонько подтолкнула вперед Лелю.

— Вот моя подруга. Ее зовут Леля. Она хочет сниматься.

— Все хотят сниматься, — отрезала Вика. — Но нам нужен образ.

— Она и есть образ! — воскликнула Инга.

— Я буду стараться, — заговорила Леля. — У меня все пятерки, кроме арифметики... Мама считает...

Она говорила без умолку, а Вика не слушала. Она с укором смотрела на Ингу и вдруг потянула ее за руку и буквально впихнула в машину.

— На вокзал! — крикнула Вика шоферу.

— А как же я? — упавшим голосом спросила Леля.

— В следующий раз! — уже из машины крикнула Вика.

Дверка захлопнулась. Машина помчалась, словно опаздывала на вокзал.

А Леля стояла на краю тротуара и смотрела вслед.

— Вот как у них в кино получается, — сама себе говорила девочка, — все наоборот. Кто хочет сниматься — не берут, а кто не хочет — пихают в машину...

И тут она не выдержала и заревела.

Инга так и не поняла, зачем надо ехать на вокзал. Не ехать, а мчаться, словно поезд вот-вот должен отойти. Инга не раз бывала на вокзале. Это случалось, когда они с мамой ехали в деревню к бабушке. Вокзал пугал девочку. Она становилась маленькой и беспомощной и жалась к маме. Но когда она садилась в поезд, из окна вагона вокзал не страшил Ингу. Напротив, было очень интересно со стороны разглядывать суетливую, разноголосую жизнь вокзала. Потом поезд трогался, и вокзал начинал уплывать назад, как большой пестрый пароход.

Зачем они теперь едут на вокзал? Уезжать? Провожать? Но ведь на вокзале еще и встречают. Может быть, они едут встречать? Инга чувствовала смутное тепло надежды. Она успокоилась.

То, что происходило на вокзале, было похоже на странный сон. Люди прощались, обнимались, что-то кричали, чтобы было слышно сквозь закрытые окна... Раздавался гудок, и поезд медленно трогался. Кто-то бежал за вагоном. Кто-то прыгал на ходу... Но потом поезд неожиданно останавливался, начинал пятиться и возвращался на свое место. И все начиналось сначала: снова прощались, снова кричали, снова махали руками...

Ингу это так забавляло, что она ни о чем другом не думала. Не замечала киносъемочного аппарата, который вместе с оператором на тележке ехал вслед за поездом. Не замечала милиция, которая кого-то не пускала на перрон. И ее тоже никто не замечал. Забыли про нее. Вот и хорошо. Поезд снова пятится. Сейчас в третий раз начнут прощаться. И так без конца: «здрасьте — до свидания».

Неожиданно перед Ингой появились Павел Карелин и Вера Соловьева.

— Здравствуй! — как ни в чем не бывало сказал режиссер. — Выпалась?

— Спасибо, — отозвалась Инга.

— А сейчас за работу. Значит, Вера уезжает. Садится на поезд и... прехала. Ты провожаешь ее. Прощаешься. Бежишь за вагоном и машешь рукой. Не трудно?

— Бежать за вагоном?

— И бежать за вагоном. Все поняла?

— Поняла, — тихо сказала Инга.

— Пойдем, девочка, — сказала Вера.

Они подошли к вагону. И все остальные провожающие подошли к вагонам.

— Давай прощаться, — сказала Вера.

— Давайте, — согласилась девочка. — До свидания.

— Не годится, — из-за Ингиной спины крикнул Карелин. — Представь себе, что ты прощаешься с мамой.

— С мамой? — Инга испуганно посмотрела на режиссера.

— С мамой... Прижмись к ней. Поцелуй.

Инга молчала.

— Ну быстрее!

— Не хочу ее целовать, — выдавила из себя девочка.

— Что же с ней делать?! — отчаянно шепнула оператору Вика. — Никакого воображения! Трудно поцеловать...

И тут режиссер подошел к аппарату, прижался глазом к окуляру и увидел Ингу: растерянную, печальную, недовольную.

«Вот такая нам и нужна!» — подумал режиссер.

Он оторвался от окуляра и скомандовал:

— Будем снимать!.. Где хлопущка?

Инга стояла перед вагоном. Рядом с ней с чемоданом в руке стояла Вера. У обоих был печальный вид. Девочке не хотелось целовать «маму», а «мама» была очень огорчена. Так они стояли у подножки вагона.

Откуда-то вынырнула девушка в комбинезоне. В руке у нее была хлопущка, похожая на маленькую черную классную доску. На доске мелом было написано: «Кадр № 1. Дубль № 1». Карелин скомандовал:

— Мотор!

Девушка хлопнула перед Ингиным лицом, словно хотела прищемить кончик носа, и исчезла.

А Инга все смотрела себе в ноги. И вид у нее был растерянный. Она ничего не хотела делать. Так и стояла, уставясь в одну точку. Вера наклонилась, потерлась щекой об Ингины волосы и вошла в вагон. Поезд тронулся. Инга не побежала за вагоном, стояла как вкопанная. Она чувствовала прилив горечи. А вагоны все плыли, плыли мимо нее — нескончаемая стена вагонов... Если бы на этом поезде действительно уезжала мама... Ведь когда уезжают, возвращаются.

Когда Инга отвернулась от поезда, то увидела множество прожекторов, которые светили мерцающим лиловатым

светом. Глаза девочки были полны слез. А вокруг стояла напряженная тишина. Слышалась только медленная железная поступь удаляющихся вагонов.

— Стоп! — скомандовал Карелин.

И его команде подчинились все: погасли прожектора, задвигались люди. Даже поезд послушался его. Остановился.

— Дубль? — оператор вопросительно посмотрел на Карелина.

— Дубля не будет, — сказал режиссер. — Ты молодец, Инга! Сыграла отлично.

— Ничего я не играла, — призналась девочка. — Я просто вспомнила маму...

— Да, да, — Карелин положил на плечо руку. — Ты и не должна ничего играть... Тебя кто-нибудь обидел?

Инга вздрогнула от этого вопроса. Слезы высохли. Девочка исподлобья посмотрела на Карелина и сказала:

— Меня никто не обижает. Никто!

Поезд медленно возвращался на свое место.

— Что я говорила! — радовалась Вика. Она вся сияла, словно режиссер хвалил не Ингу, а ее саму. — Талант! Характер! Можно сказать, фильм в кармане!

Потом они шли по пустому перрону. Вика обнимала девочку и приговаривала:

— Ты у меня молодец! Оправдала. Понимаешь, они сначала хотели Брусничкину. Смешно сказать. Брусничкину! Таких, как Брусничкина, я им каждый день могу приводить. А ты — типаж! Характер! Мы им еще покажем, Инга! Мы еще прогремим на всю страну!

Когда Вика выговорила, Инга спросила:

— Вы не знаете, когда надо класть морковку в суп, когда закипит или раньше?

Вика удивленно посмотрела на девочку:

— Я никогда не варила суп. Все некогда. На ходу перехвачу в буфете... Зачем тебе суп... с морковкой?

Несколько дней подряд поезд отходил и тут же возвращался. Хоть бы нашелся один такой поезд, который увез бы Веру. Но поезд слушался не начальника станции, а режиссера.

Инга почти не разговаривала с Верой. Смотрела на нее дичком, выпускала все свои ежовые иголки. Она исколола артистку этими «иголками», и однажды в перерыве между съемками Вера вошла в вагон, где отдыхала съемочная группа, распахнула дверь в купе Карелина и сказала:

— Павел, я больше не могу! Ищи другую актрису! Она ненавидит меня. У нас с ней ничего не получится.

— Может быть, ты сама недолюбливаешь Ингу? — спросил Карелин и внимательно посмотрел в глаза Вере.

— Я расположена к ней. Но у меня не хватает сил. Мне кажется, я бьюсь о каменную стену. Она смотрит на меня враждебно. У нас с ней несовместимость. Ты знаешь, что такое несовместимость? Когда кровь одного человека не спасает, а губит другого... Может быть, попробуем Брусничкину, пока не поздно?

— Ты же знаешь возможности Брусничкиной, — сказал Карелин и поморщился.

— По крайней мере она все сделает как надо. Скажут: «Поцелуй маму», — повиснет на шее.

— Она повиснет, — недобро повторил Карелин. — Но она неестественна. А Инга — личность.

— А если эта личность издевается надо мной?

— Мы, конечно, посмотрим Брусничкину... но не уверен, — мрачно сказал режиссер. И вдруг спросил: — Ты помнишь, как твоя мать вернулась с фронта?

— Помню. Я не узнала ее. Я заплакала.

— Может быть, Инга тоже еще не узнала тебя?

Вера вопросительно посмотрела на режиссера. Но тот больше ничего не сказал. Вышел из купе и плотно закрыл

за собой дверь. Вера уронила голову на грудь. В слишком далекое путешествие посылал ее Карелин на поезде, который отходит и тут же возвращается...

Когда мама вернулась с войны, Вере было четыре года и она жила у тети Иры. Она совсем забыла про маму, когда в дом, опираясь на палку, вошла чужая женщина, похожая на солдата. Она прижала Веру к колючей шинели. Вера вырвалась, заплакала и побежала к тете Ире искать защиты. Она так и не подошла к женщине-солдату.

Но когда мама, сломленная усталостью, прилегла на диван и уснула, маленькая Вера опасливо приблизилась к ней и стала разглядывать спящую. Она коснулась ладонью коротко подстриженных волос, погладила грубую мужскую рубашку с завязочками на груди. Вдруг мама стала тихо плакать. Тихо всхлипывая, она плакала во сне. Наверное, ей приснилось что-то страшное. Маленькая Вера растерялась, не могла взять в толк, что делать. Потом она села рядом и стала нашептывать: «Не бойся, я с тобой. Не плачь...» Голос девочки проникал в глубины сна, и незнакомая мама перестала всхлипывать, затихла. Маленькая Вера почувствовала усталость. Прислонила голову к подушке и накрылась шинелью.

Шинель покалывала щеку, как сухая травинка, и от нее пахло перегретым на солнце сеном. От этого тепла в сердце девочки неожиданно оттаял, забился серебряный родник дочерней любви, и она крепко прижалась к плечу матери. И так они спали, закрывшись одной шинелью.

Вагон качнуло. Поезд медленно пополз на свое рабочее место. Вера очнулась и посмотрела в окно. Ей показалось, что она возвращается в родной город после долгого отсутствия.

Перед тем как уехать со съемки, Карелин позвонил Вике.

— Завтра к десяти часам привези на студию Брусничкину, — сказал он.

— Брусничкину? Зачем?

— Это уж мое дело. Ты привези.

— Но ведь Инга талант, личность. Такие девочки на улице не валяются.

Вика пылала. Как будто речь сейчас шла не о постоянной девочке, а о ее близком человеке, которого она любила, верила в него.

— С ней что-то происходит... Но это пройдет. Вот увидите, пройдет... — убеждала она режиссера.

— Посмотрим, — сухо сказал Карелин. — А Брусничкину ты завтра привези.

И он ушел.

Вика стояла одна на перроне, который постепенно из съемочной площадки превращался в настоящий вокзал. Появились пассажиры, носильщики покатали свои тележки. Подали настоящий поезд. А Вика стояла посреди этого людского водоворота, и ей казалось, что идет съемка, большая, бесконечная съемка, а Инги нет.

9

В тот же день Вика очутилась перед двухэтажным зданием с вывеской «Ветеринарная лечебница».

Она решительно открыла двери и вошла внутрь.

Здесь в коридоре сидели люди с больными животными. Собаки лежали на полу у ног, кошки выглядывали из сумок, ежи сухо шуршали в корзинках. Какой-то старичок держал на коленях клетку с огромным попугаем. Попугай тревожно поглядывал по сторонам, и из его тесного горла вырывалось одно-единственное слово: «Табак!»

Вика прошла по коридору и неуверенно остановилась перед дверью с табличкой: «Ветврач Орлов». Дверь отворилась, и оттуда вышла девочка с огромным котом. Она прижимала кота к себе, а лапа у него была забинтована.

— Я с киностудии,— сказала Вика ожидающим и решительно вошла в дверь.

Очередь тихо заворчала.

— Есть такие собачки... карликовые пинчеры,— сказала одна старушка своей соседке.— Таковую собачку можно пронести в кармане... С киностудии!

Но Вика уже не слышала этих пересудов, она очутилась в кабинете, где пахло какими-то лекарствами, а доктор сидел, склоняясь над столом, и что-то записывал в тетрадь.

Вика остановилась. Доктор не заметил ее появления. Тогда она тихо кашлянула. Потом сказала:

— Здравствуйте!

— Да, да,— не переставая писать, произнес доктор.— Что у вас? Собака?

— Нет у меня собаки,— сказала Вика.

— Кошка?

— У меня ничего нет. Я с киностудии...

При слове «киностудия» доктор перестал писать и оглянулся.

Он снял очки и внимательно посмотрел на Вику. Он узнал ее.

— Здравствуйте. Что-нибудь случилось?

Он встал с места и медвежьей походкой подошел к Вике.

— Что-нибудь с Ингой?

— Нет, нет, все в порядке,— поспешила его успокоить Вика.— Так, не ладится немного.

— Не ладится... Ей, наверно, не под силу роль. Ведь она никогда не играла.

— Да ваша Инга — талант! — воскликнула Вика.— Она прогремит. Я понимаю в кинематографе. Но мне необходимо поговорить с Ингиной мамой.

— С мамой?..— Ингин папа изменился в лице.— С мамой нельзя поговорить. Был свежий асфальт, а самосвал мчался сломя голову. Для самосвала «скорая помощь» как скорлупка...

Папа не сказал о гибели мамы, но Вика все поняла. Она опустилась на белый стул и как бы вся съежилась, потускнела.

— Как скорлупка,— произнесла она одними губами.— А как же Инга?

— Я теперь у нее и за папу и за маму... Режиссер не доволен Ингой? Я-то думал, кино ей поможет, отвлечет...

— Кино ей поможет! — полная решимости, сказала Вика.— И Вера вовсе не плохая. Но ведь она не знала, что мамы нет... Никто не знал.— Вика больше ни о чем не расспрашивала папу, она поднялась со стула и сказала: — Извините. Я пойду. А то вас ждут кошки.

— Меня всегда ждут кошки,— тихо произнес папа и долго закуривал сигарету.

— Вы только Инге ни слова, что я приходила,— сказала Вика.

Дверь отворилась, и в кабинет просунулась большая голова дога.

Ах, эта вездесущая Вика, эта девушка из кино, девушка в стоптанных туфлях, с кондукторской сумкой на плече. Никто не посылал ее в эту трудную разведку, никто не поручал дознаваться, что происходит с Ингой. Беспокойное сердце превратило ее в разведчика судьбы — сперва под-сказало, что девочка неспроста не хочет жаловать «чужую» маму, потом приказало: иди узнай, разведай. И она пошла.

Теперь Вика все знает, все понимает. Инга для нее уже не капризная девчонка, не ломака, а человек, которого можно понять. Понять и пожалеть.

В первую очередь надо все рассказать Вере. Пусть все знает. Пусть решает, как быть дальше. Если она человек, то решит, как надо. Правильно. И никаких Брусничкиных!

Потом надо поговорить с Ингой.

А Карелину ни слова. Еще схватится за голову. Скажет, нельзя снимать девочку, если у нее горе. Придется Брусничкину. А она, Вика, не может слышать эту фамилию.

Брусничкина! А он уже распорядился позвать ее. И завтра утром будет поджидать эту краснощекую, нос картошкой, глаза круглые, словно их начертили циркулем, а потом раскрасили зеленой акварельной краской. Эта Брусничкина все повторит, что покажут. Как попугай. Но сыграть она не сможет. Страдания попугаи не изображают. Долой Брусничкину! Никаких Брусничкиных! Будет Инга — и весь разговор!

И вот теперь Вика идет к Вере. Она не застаёт ее дома и бежит в парикмахерскую, где, по словам матери, должна быть артистка. Вика находит Веру, вытаскивает ее из-под фена, с сырой головой и ведет в укромный уголок.

Она говорит:

— Слушайте!

И рассказывает про ветеринарную лечебницу, про больных кошек и собак, про доктора Орлова, про «скорую помощь», которую, как скорлупку, раздавил тяжелый самосвал.

Обе женщины всплакнули. Пожалели Ингу и всплакнули. И еще потому, что не знали, что она недавно лишилась матери, и были такими черствыми обе.

Потом вытерли глаза уголками платков, аккуратно, чтобы ресницы не «потекли». Вздохнули. Закурили.

— Вот ведь какая история, — сказала Вика.

— Я была крохой, когда мать ушла на фронт, — вздохнула Вера. — А потом вместо матери вернулся незнакомый солдат в сапогах, в шинели, с палкой. Мне говорят — это твоя мама, а я не верю и реву. Какая же мама, если это солдат!

Когда Инга сбежала со школьного крыльца, ее ждала Вика. Некоторое время девочка удивленно смотрела на Вику, а Вика молчала. Не бросилась к ней, не хватала за руку, не кричала: «Скорей!» Это насторожило Ингу.

— Съёмки не будет. Не готовы декорации. Свободный день! — наконец сказала Вика.

Она была какой-то новой, словно ее подменили.

Инга удивленно смотрела на новую Вику.

— Может быть, нужно купить молока? Идем вместе купим, — предложила Вика.

— У нас еще есть, — отозвалась Инга. — Две пирамидки, шестипроцентного.

Они зашагали рядом. Вдруг Вика сказала:

— Инга, я все знаю... про твою маму. Раньше не знала, теперь знаю... Ты не сердись на Веру. Она хорошая. Она тоже не знала. Вера не собирается заменить тебе маму. Просто работает с тобой вместе. Она не задавака, хотя и народная... Вера, можно сказать, ради своей матери жизнь загубила.

И тут Инга в первый раз спросила, а до сих пор только слушала:

— Как загубила?

— Мать-то ее прикована к постели.

— Зачем... прикована?

— Ранена была, вот зачем. Вера всю жизнь отдала матери. Врачи, лекарства. Ты — будущий врач — должна понимать. Она могла бы замуж выйти, жизнь устроить. Видная женщина... Народная артистка...

Инга ничего не ответила. Она еще не поняла, почему Верина мама ранена и почему Вера жизнь загубила.

Так они шли молча.

У одного дома Вика сказала:

— Здесь они с мамой живут... на втором этаже... Видишь два окна?

— А мама все боится? — спросила Инга, глядя в Верино окно.

— Она на войне была санитаркой. Рапило.

— Разве в санитарок стреляют? — Инга недоверчиво посмотрела на свою спутницу.

— Пуля не разбирает, где солдат, где санитар.

— Почему... не разбирает?

— Не знаю... почему, — призналась Вика. — Я ведь на войне не была.

Они стояли молча. Инга все разглядывала окно. Потом обе побрели дальше.

— Понимаешь, людей жалко. Веру и ее мать. И тут еще вчерашняя история...

— Какая история? — спросила Инга.

— На вокзале. Сцена встречи не вышла. Три дубля — в корзину. Вера плакала...

Инга удивленно посмотрела на Вику.

— Она плакала по кино?

— Да не по кино, по жизни. Ревела она с горя! Надо ей помочь.

— Надо, — не сразу сказала Инга.

Вика остановилась и вдруг крепко расцеловала Ингу.

— Ты у меня девка что надо! Я знала, что ты — человек. Мы с тобой будем друзьями на всю жизнь. У меня тоже мамы нет. Я детдомовская... Я не зря новые туфли сносила... Мы им покажем Брусничкину!.. Мы им такую Брусничкину покажем!.. Я им каждый день могу приводить по Брусничкиной!..

10

— Привела Брусничкину? — спросил Павел Карелин, когда на другой день Вика вошла в комнату съемочной группы.

— Нет, — поджав губы, ответила Вика. — У Брусничкиной ангина. Температура тридцать восемь и две.

— Этого еще доставало! — вскипел Карелин. — Когда она поправится?

— Не скоро, — спокойно ответила Вика. — У нее осложнение.

— У нас осложнение! Что же нам, закрывать картину? Или переходить в простой?

Карелин пятерней вцепился в бородку.

— Все будет в порядке, — сказала Вика. — Она будет сниматься хорошо.

— Кто будет сниматься?

— Инга. Она будет улыбаться. Она поцелует Веру. Она...

— Да откуда ты все это взяла?

— Я же опытный работник. Я же отвечаю за свои слова. Она придет завтра. И все будет в ажуре. Никаких простоев.

— Прямо не кинематограф, а какой-то аттракцион! Где Вера?

И тут в комнату вошла Вера.

— Я согласна сниматься с Ингой, — подтвердила она. — Я передумала насчет Брусничкиной.

Перед большим серым домом, в котором жила Вера с матерью, стояла Инга и все не могла решиться переступить порог. Она смотрела на два окна на втором этаже, словно хотела увидеть, что скрывается за ними.

Так она долго простояла перед подъездом. Пока наконец решилась и нажала плечом тяжелую дверь. Инга поднялась на второй этаж. Постояла на площадке, не зная, в какую дверь звонить.

Позвонила в правую.

Ей открыла девочка.

— Вам кого?

Хотя они были однолетки, девочка-хозяйка обращалась к Инге на «вы».

— Мне Веру... Веру Федоровну.

Девочка измерила Ингу взглядом и сухо сказала:

— Идемте.

Они шли по длинному коридору, и их шаги гулко отзывались под сводами высокого потолка.

Девочка подвела Ингу к двери и сказала:

— Постучите.

Инга постучала. Тихо, робко.

— Кто там скребется? — послышался изнутри хриплый, низкий голос.

— Заходи! — шепнула девочка. — Не бойся!

И открыла перед Ингой дверь.

Инга увидела женщину, которая лежала на кровати. Рядом стоял столик с телефоном, с книгами и бумагами.

Женщина посмотрела на Ингу.

— Здравствуй, красавица! Ты из семьдесят пятой школы?

— Не-ет... Я из седьмой. Из второго «В».

— Тебя вожатая прислала?

— Не-ет, я сама.

— Садись, — приказала женщина.

Инга послушно опустилась на стул, который стоял около постели, и подумала: это и есть санитарка.

— Ты ко мне по какому вопросу? — спросила хозяйка гостью.

— Я не по вопросу, — сказала Инга. — Меня зовут Инга.

— Слышала, слышала, — оживилась мать Веры. — Ты что, пришла жаловаться... на Веру?

— Я не жаловаться... я не ябеда... Но маму же никто не может заменить...

Женщина приподнялась на локте и внимательно посмотрела на Ингу. Потом спросила:

— Давно это... случилось? — Она уже знала всю историю Инги.

— В конце лета, — сказала девочка, опустив глаза.

— Я тебя жалеть не буду. — Верина мама приподня-

лась на локте. — Я тебе так скажу: держись, девка! Держись!

— Мама тоже говорила: держись! Пусть Вера не сердится... Ей ведь тоже трудно.

— Трудно, — сказала Верина мама, — трудно со мной. Она терпит. Я сама удивляюсь, как она терпит.

— Она не терпит, — вдруг сказала Инга. — Она любит...

Некоторое время больная женщина молчала. Потом она оживилась, и глаза ее заблестели.

— Понимаешь, Инга, случается, что одна маленькая девочка оказывается умнее пяти взрослых баб. Ты только никому этого не говори. Но имей в виду. Она любит.

— А верно, вы были на войне? — вдруг спросила Инга.

— Это было давно.

— Вы забыли? Моя бабушка всегда забывает, что раньше было.

— Рада бы забыть, да ноги напоминают.

— Что напоминают ноги?

— Долго рассказывать...

— Расскажите.

— Я тащила на себе раненого, — сказала бывшая санитарка. — А эти гады из миномета...

— Разве у вас не было винтовки?

— Нет.

— Почему?

— Рук не было свободных... для винтовки. Я же раненых тащила.

— Вы не стреляли, почему же они из миномета?

Старуха ответила не сразу. Она внимательно посмотрела на гостью и сказала:

— Потому что они — фашисты.

Старуха закашлялась, и лицо ее стало багровым. Потом она успокоилась и подняла глаза на Ингу.

— Подойди к этой стенке и посмотри. Фотография старая, но глаза у тебя молодые — разглядишь.

Инга подошла к стене. Из маленькой рамки на нее смотрела санитарка, в пилотке, гимнастерке, через плечо санитарная сумка с крестом. А винтовки действительно не было.

Инга долго рассматривала фотографию. Потом оглянулась.

— Возьми себе... на память, — сказала Верина мама.

— А вам?

— У меня еще есть. Если нравится — возьми.

— Нравится, — сказала Инга.

И сняла со стены старую фронтовую фотографию.

Родился месяц. Он лежал на спине, задрав острый носик вверх, и над ним, как осколочек, сверкала звездочка. Месяц был тоненький и хрупкий. И чтобы не было жестко, ему под голову легла тучка.

Инга стояла посреди двора и рассматривала новорожденный месяц. Ей казалось, что если она крикнет, месяц отзовется тоненьким голосом.

Вечером папа увидел на стене незнакомую фотографию.

— Кто это? — спросил папа, рассматривая фотографию.

— Фронтовая санитарка, — был ответ. — Верина мама. В нее на войне стреляли. А у нее не было лишних рук для винтовки.

Папа внимательно посмотрел на дочь. И тогда Инга спросила:

— Почему в санитарок стреляют? Тех, кто лечит, нельзя трогать, иначе некому будет лечить.

— Ты правильно рассуждаешь, Инга, — после некоторого раздумья ответил отец. — Но в жизни бывает иначе. Сломая голову мчится самосвал. Асфальт свежий. Шофер тормозит. Машину заносит. А для самосвала «скорая помощь» — как скорлупка.

— А на войне?

— На войне, дочка, у всех есть защита. У танков — броня, у пехоты — окопы, только у врачей и санитарок нет защиты. Белый халат — и никакой брони.

— А пуля не разбирает, где боец, где санитар.

— Верно. Не разбирает.

— Все равно я буду врачом, — сказала Инга. И, немного подумав, добавила: — Лучше бы маму ранило на войне...

— Почему? — тревожно посмотрел на дочь папа.

— Она была бы раненой, но с нами. Понимаешь, папа?

Отец ничего не ответил. Он подумал, что когда была война, маме было три годика, и она не могла быть санитаркой. Но было бы хорошо, если бы она была с ними. Раненой, больной, лишь бы с ними.

Все последующее время Инга продолжала думать о Вериной маме, которая на войне была санитаркой. Инга представляла ее в белом халате и в белой косынке, идущей по полю навстречу фашистам. Она шла, а танки стреляли прямо в нее. У нее не было ни брони, ни окопа. Ее ранили, а Ингина мама приехала за ней на «скорой помощи». Почему у врачей и санитарок нет никакой защиты? Почему для самосвала «скорая помощь» как скорлупка?

Инге вдруг стало жалко Веру, словно на войне ранили ее, а не ее мать. Потом Инга подумала, какая Вера счастливая, раз у нее есть мама, пусть раненая.

Потом она подумала о молодом месяце. Наверное, когда он заснет, то погаснет. И во всем мире станет темно. Без месяца.

Киностудия в вечном движении. Все здесь спешат, словно перед отходом поезда. Коридоры студии людны, как улицы. Они и есть улицы, удивительного, тревожного мира кино.

В этих коридорах, как на незнакомых улицах, можно заблудиться. Можно встретить Дон Кихота или Робинзона Крузо. Они похлопают тебя по плечу и будут говорить с тобой как равные.

Коридоры — улицы киностудии, павильоны — площади.

В центре огромного павильона была построена декорация комнаты. В пустом, полутемном пространстве комната казалась счастливым островком тепла и уюта. В комнате стояла нормальная мебель, на стенах желтели обои и висели фотографии в рамках. На столе стояла лампа. И хотя она не горела, в комнате было очень светло. Инге показалось, что ее комната сорвалась с места, перелетела через весь город и очутилась в центре огромного пространства. Инге захотелось войти в комнату, закрыть за собой дверь и остаться одной. И тогда вся эта непонятная суэта останется там, снаружи. Будет тихо и покойно. Как дома.

Вдруг она увидела Веру. Артистка была в белом халате — в таком же, как у мамы! Она шла через павильон, а за ней едва поспевала костюмерша с иголкой и ножницами.

— Какой неудобный халат, — говорила Вера женщине с иголкой. — Я в нем тону. Можно его переделать?

— Подошью, — неохотно сказала костюмерша.

— Он с чужого плеча. Трудно играть, когда с чужого плеча, — вздохнула Вера.

— Халат как халат, — сказала костюмерша. — У нас все с чужого плеча. Скупые играют добрых, смелые — трусов...

Вера как-то странно посмотрела на костюмершу и, ничего не сказав, пошла дальше. Костюмерша воткнула иголку в край синего халата и достала из кармана булку.

— Здравствуйте, — сказала Инга Вере.

— Инга!.. Ты понравилась моей маме. А моя мама строгая, — сказала артистка и улыбнулась. — А я тут халат меряю... Сейчас сниматься.

— Он пахнет нафталином, — сказала Инга и сморщила нос.

— Ну вот и запах не подходит! — вздохнула костюмерша и пошла прочь, на ходу жуя свою булку.

Появился Карелин.

— Привет! Как у вас дела? Инга, ты в порядке? — на одном дыхании произнес режиссер.

— Я в порядке, — сказала Инга.

— Прекрасно. — Карелин критическим взглядом обвел павильон.

А здесь уже кипела жизнь, сумбурная и непонятная, напоминавшая полный разброд. Стучал молоток — рабочие подгоняли декорации. Художник по свету тонким, пронзительным голосом кричал, задрав голову: «Уберите правую дугу! Слышите? А под окном поставьте бубочку. Одну бубочку». Ассистент оператора вставлял новую кассету и протирал оптику. Помреж листал сценарий. Каждый был занят своим делом, и оттого, что у каждого были совсем разные дела, создавалось впечатление неразберихи. Но режиссер понимал, что никакой неразберихи нет. Идет работа. Последние приготовления перед съемкой. И едва прозвучала команда: «Мотор!» — эти люди, как бойцы в одном строю, начнут делать то сложное, требующее выдержки и дисциплины дело, имя которому КИНО.

И вот уже звучит голос Карелина — голос полководца:

— Внимание! Всякая беготня прекращается. По местам!

Жизнь павильона затихла, замерла.

— Инга, подойди ко мне.

Инга медленно подошла к режиссеру.

— Значит, так, — сказал он и стал накручивать на палец прядь своей бороды. — Вера входит в комнату, ты соскакиваешь со стула, подбегаешь к ней и говоришь: «Мамочка, как я по тебе соскучилась!» А ты, Вера, обнимаешь ее и говоришь: «Знаешь, что я тебе привезла?

Отгадай!» — «Собаку», — говоришь ты, Инга. «Вот и не собаку, а совсем другое». Прорепетируем этот кусок. Тише! Тише!

Павел Карелин хлопнул в ладоши.

Инга вошла в комнату. Села к столу и стала рисовать. Дверь отворилась. В комнату вошла Вера в белом халате с чужого плеча. Инга не тронулась с места. «Здравствуй, дочка!» — сказала Вера. «Здравствуй!» — отозвалась Инга.

Карелин хлопнул в ладоши, как выстрелил.

— Почему ты сидишь на месте? — строго спросил он Ингу.

— Мне так нравится, — ответила девочка.

Все переглянулись.

— Что ж ты, Инга, — воскликнула Вика.

— Тише! — крикнул на нее Карелин. Он подошел к Инге, положил ей на плечо руку.

— Тебе не нравятся эти слова? Ты хочешь заменить их другими? Пожалуйста, говори. Мы слушаем. Какие слова ты хотела бы услышать?

Инга стояла на маленьком пятачке, освещенном десятками софитов. Она жмурилась то ли от проникающего сквозь веки света, то ли, чтобы было удобнее думать.

И вдруг девочка заговорила:

— Доченька! Как ты тут без меня?.. Опять гора немытой посуды! Ты каждый день ела суп? Или ты обедала всухомятку? Что-то мне не нравятся твои глаза! Опять начинается ячмень. Придется делать уколы. Да, да! Ты же знаешь, что я делаю уколы так, что ты и не замечаешь. Правда? Ну-ка, подойди сюда... Ты выросла до моего плеча? Давай проверим. И заодно поцелуемся...

В большом съемочном павильоне было тихо. Все осветители, рабочие, операторы, ассистентки и помощники одновременно затаили дыхание и слушали. И только софиты тихо гудели, как потревоженный пчелиный улей...

Инга обвела взглядом всех, кто стоял на съемочной площадке, и спросила:

— Эти слова не подходят?

— Подходят! — одобрительно закивал режиссер. — Подходят. Вера, ты запомнила эти слова?

— Я запомнила. Я поняла их. Только мне надо побыть одной с этими словами.

Она сказала «поняла», как будто услышала что-то очень сложное или произнесенное на другом языке. Да и на самом деле было так. Это были слова, принадлежащие маме, и больше ни одному человеку на свете. Теперь Инга доверила их Вере, артистке, игравшей роль матери.

— Мне надо побыть одной.

Инга подумала, что Вере надо побыть наедине не с самими словами, а с мамой. Что-то спросить у нее, посоветоваться.

— Хорошо, — сказал Карелин. — Перерыв. Ровно пятнадцать минут.

Погасили софиты, стало полутемно, и замолчали пчелы. Все, кто был на площадке, храня молчание, потянулись к дверям. Инга пошла за всеми.

— Инга, — окликнула ее Вера, — ты куда?

— Вы же хотели побыть... одна.

— Останься, — сказала Вера.

Инга вернулась в «комнату». Павильон опустел. Артистка и девочка остались вдвоем. Вера опустилась на стул, а Инга медленно прошла по комнате, села рядом с ней на краешек другого стула и заглянула в глаза артистке.

— Нам бы с тобой в другой картине сниматься, — вдруг сказала Вера. — В какой-нибудь веселой и смешной. А эта... такая трудная. Мы с тобой, наверно, делаем все неправильно.

— Наверное, — согласилась Инга. — А вы знаете, как правильно?

— Это знаешь ты.

— Я?

— Ты будешь играть правильно, а я пойду за тобой.

— Я не артистка.

— Ты не артистка. И я хочу тоже перестать быть артисткой. Понимаешь? — сказала Вера. — Инга, ты когда-нибудь болела сильно?

— Я даже лежала в больнице.

— А что делала твоя мама?

— Мама?.. Она стояла под окном.

— Ты откуда знала? Ты же не вставала с постели?

— Я чувствовала, вот и все... Но один раз я решила проверить: может быть, мне кажется, что она стоит? Было уже поздно. Все спали. Горела синяя лампочка. Я встала и чуть не упала... Но я пошла к окну.

— Она была там?

— Она не могла меня обмануть... моя мама. Она стояла! И тогда мне стало ее жаль. Я хотела закричать: «Иди домой!» Но все спали. И окна были закрыты. Я лежала всю ночь и шептала: «Мама, иди домой!» Может быть, она услышит и пойдет? Ей холодно, она устала... Утром я снова выглянула в окно.

— Она стояла?

— Откуда вы знаете? — Большие темные глаза уставились на актрису. — Откуда?

— Я бы тоже стояла всю ночь.

— Правда?

Вся группа толпилась за дверью, и все приставали к режиссеру:

— Долго мы их будем ждать?

— Время идет! Скоро конец смены, а ни одного метра не отсняли.

— Может быть, поторопить их?

— Нет!

Карелин стоял у двери, готовый преградить путь каждому, кто попытается проникнуть в павильон.

— Вы ничего не понимаете, — говорил он. — Может быть, сейчас решается судьба фильма.

Потом тяжелая дверь павильона медленно открылась. Инга сказала:

— Мы готовы.

И сразу же все хлынули внутрь, заняли свои места и сразу — аппараты, осветительные приборы нацелились на маленький островок, где было только два человека — Инга и Вера, и никто больше не смел вступить на их островок.

— Будем снимать, — тихо сказал Карелин.

Откуда-то вынырнула девчушка с хлопушкой.

Карелин скомандовал:

— Внимание! Мотор!

Хлопушка хлопнула и исчезла.

И тогда Инга направилась к своей «маме». Она шла медленно, нерешительно, словно под ногами был не пол, а хрупкий, еще не устоявшийся ледок, который мог треснуть. Инга подошла к Вере, легонько боднула ее в плечо и стала тереться об него лбом. Плечо было мягким и теплым, почти таким, как у мамы. И пахло оно чем-то привычным и родным. Инга не слышала, как жужжит пчелиный рой, она забыла, что стоит на маленьком пятачке, к которому прикованы взгляды множества людей. Забыла, где она и что происходит. Только плечо мамы было с ней. Оно поглотило ее, оторвало от всего остального.

— Мама... — прошептала девочка.

Наверно, никто не услышал этого слова. Но оно, так долго не срывавшееся с ее губ, заполнило собой весь мир.

— Мама... — шептала девочка и все терлась о теплое плечо и вдыхала его запах.

Когда Инга была маленькой, она не говорила: «Пошел дождь». «Начались точки», — говорила Инга.

Точки появлялись на стекле, на сером асфальте, на

черепице соседней крыши. Точки летели с неба — множество маленьких точек. Многоточие. А потом точки исчезали и появлялись потоки. Мостовые превращались в черные реки, по которым, разбрызгивая воду, плыли машины, троллейбусы, трамваи. Безмолвные крыши начинали греметь. А водосточные трубы — серебряные стебли, поднявшиеся от земли до карнизов, — трубили, булькали и извергали маленькие водопады. Пыль исчезала, и все начинало блестеть, словно город покрасили яркими, невысыхающими красками.

Но все начиналось с точек.

Маленькая Инга любила поспать. Отец успевал уйти на работу, а она все спала. И тогда мама будила ее бабушкиной присказкой: «Ранние птички зобик набивают, а поздние только глазки открывают...»

Инга была поздней птичкой.

Летом Инга с мамой уезжала к бабушке в деревню, на берег большого озера, в котором водились угри. Инга называла их ужами, а себя — Королевой ужей. Это мама рассказывала ей сказку про Королеву ужей. А маме когда-то рассказывала бабушка. Вообще жизнь в деревне во многом походила на сказку.

В поле росла горящая трава — неопалимая купина, а под окном стояла береза, которая ночью так сильно пахла молодой смолкой, что Инга находила ее в темноте по запаху.

Рядом с бабушкиным домом жил старый-престарый плотник. Он учил Ингу пилить.

— Тяни пилу до конца, — приговаривал он. — Чтобы все зубья сыты были.

Пила казалась Инге худой и голодной. И сколько ни пилила — никак не могла насытиться.

Еще сосед-плотник любил приговаривать:

— Помирать буду — всем прощу. Только еловому сучку не прощу!

«За что он так рассердился на еловый сучок?» — думала Инга.

В середине лета она с мамой ходила в поле слушать, как поет рожь. Они ждали, когда поднимется ветер и каждый стебелек превратится в струну. Струна-стебелек звенела тихо-тихо...

Это было давно, но почему-то сегодня, шагая по темным осенним улицам, Инга вдруг вспомнила о той поре, когда она была Королевой ужей. Возвращаясь со съемки усталая, она одновременно испытывала необъяснимое облегчение, почти радость. Она не помнила мрачного павильона, в котором собралось много людей. Перед ее глазами стоял светлый островок-комната с желтыми обоями и фотографиями в рамках. На этом островке они были вдвоем: она и Вера.

Как это получилось, что чужую женщину она назвала самым дорогим словом «мама»? Как это слово слетело с ее губ? Почему она не удержала его? Только бы отец не догадался об этом!

Когда Инга думала об этом, кровь приливала к лицу: девочка стыдилась робкого, необъяснимого чувства, которое неожиданно проклюнулось в ней.

Отца дома не оказалось, и Инга облегченно вздохнула. Она скинула промокшие ботинки и надела мамины тапочки — нога у нее подросла, стала почти как мамина. Потом она открыла шкаф и увидела белый халат, который висел среди других маминых вещей. Инга вынула халат и осторожно надела его на себя. Халат доставал почти до пола, а руки утонули в рукавах. Инга посмотрела в зеркало. И покраснела. Потом быстро сняла халат и пошла в ванную. Она развела в тазу мыльный порошок и опустила халат. Она стирала его очень бережно: не терла, а осторожно гладила ладонькой, словно боялась причинить ему боль.

За этим занятием застал ее отец.

— Устроила стирку?

- Да. Я стираю мамин халат.
- Зачем? — отец нахмурился.
- Просто так.
- Ну ладно, — сказал отец и пошел к себе.

13

Все дни на студии делились на съемочные и несъемочные. В дни съемок студия преображалась, приходила в движение, напоминала аэродром в летную погоду.

К каждому съемочному дню тщательно готовились, и каждый раз на съемочной площадке возникали непредвиденные неприятности: у осветителей сгорал софит, ассистент оператора забывал нужный фильтр, в декорациях не закрывалась дверь, помреж заболел гриппом... Но, несмотря ни на что, кино снималось! Загорался другой софит, появлялся фильтр, под торопливым рубанком дверь становилась послушной, с лихорадкой на губах появлялся помощник режиссера. Самолет поднимался в небо!

Прошло два месяца с того дня, как на улице к Инге подскочила Вика и почти силой ввела ее в таинственный мир кино. Теперь Инга уже не удивлялась, когда заставляла в буфете белых генералов, мирно попивавших чаек с красноармейцами, и мушкетеров, улетающих сосиски. И вместе с тем Ингу совсем не занимала мысль, что через год можно будет купить билет за двадцать копеек и посмотреть на себя в кино. Нечто совсем иное влекло девочку к дверям киностудии.

Вера. Это имя напоминало ей поющую рожь. Когда кажется, что, кроме тебя, никто в мире не слышит этих, едва уловимых звуков. Инга пыталась разобраться, прислушивалась к себе. Но слышала только, как поет рожь, как звучит имя Веры. Инге хотелось еще разок прижаться лбом к ее теплому плечу. И тогда исчезнет тот день со стайкой девочек, бегущих между белых стволов...

Инга накрахмалила и выгладила белый халат. И он обрел новизну и свежесть выпавшего за ночь снега.

Как-то вечером отец сказал:

— Скоро наступят зимние каникулы, и ты поедешь в деревню к бабушке.

Инга испуганно посмотрела на отца.

— Я не поеду...

— Это еще почему? Будешь кататься на лыжах. А после бани будешь бросаться в пушистый снег.

— Я лучше в городе останусь.

— Ты же сама хотела.

— Я тебя не оставлю одного, — ответила Инга.

— Ну, из-за меня оставаться не стоит... Я как-нибудь...

— А кино? — не сдавалась Инга.

Отец внимательно посмотрел в глаза девочке.

— Да, да, я совсем забыл. Скоро кончатся съемки?

— Не знаю. Не скоро.

— Для чего тебе халат?

— Разве нельзя?

— Халат твой. Ты можешь распоряжаться им.

— Вот я и распоряжаюсь.

«Вот я и распоряжаюсь» — эти слова прозвучали как-то по-новому, и папа растерянно посмотрел на Ингу. Он открыл в дочке что-то новое. И это новое поразило его. Он не знал, сокрушаться или радоваться.

— Ну хорошо, — сказал он. — Все хорошо.

И больше ничего не сказал.

Весь вечер Инга исподволь поглядывала на отца. Но он больше не заговаривал о поездке к бабушке. Так все хорошо получилось. Он забыл про бабушку, или ему самому не очень-то хотелось расставаться с Ингой.

Лежа в постели, Инга долго не могла уснуть. Она думала о Вере. Она видела ее большие глаза, светлые волосы и родинку на левой щеке возле уха. Ах нет, родинка была не у Веры, а у мамы. Как это она спутала!

На другой день перед съемкой Инга протянула Вере пакет.

— Что это? — спросила артистка.

— Это вам... Возьмите.

Артистка удивленно посмотрела на девочку и неторопливо развернула пакет. В нем лежал аккуратно выглаженный белоснежный халат.

— Халат? — удивилась Вера.

— Мамин, — сказала Инга. — Я, когда вырасту, буду его носить. А пока ты... Он не с чужого плеча.

«А пока ты... Пока ты... ты...» Инга не заметила, как стала называть артистку на «ты». Это получилось само собой, помимо ее воли. Словно это родное. «ты» произнесли не губы, а отстучало сердце. Ты. Ты. Ты.

Вера взяла халат в руки и осторожно, словно боясь повредить, надела. Он пришелся ей впору. В самый раз. Вера скрестила руки и обняла себя за плечи, чтобы своим телом согреть принесенный с холода халат.

— Тебе не жалко?

Инга покачала головой.

— Я пойду гримироваться. А то Карелин будет сердиться.

Она выбежала. А Вера все стояла посреди комнаты, обнимая себя за плечи. В таком положении ее застал Карелин.

— Пора, пора, — сказал он, — через десять минут...

— Павел, войди в комнату и закрой дверь, — сказала Вера. — Ты видишь, что на мне?

— Халат. — Карелин стал наматывать бородку на палец.

— Этот халат мне принесла Инга... из дома.

— Ну вот, — весело сказал Карелин, — а ты хотела Брусничкину.

И они оба засмеялись.

— Роль вышла из берегов, — сказала Вера.

— Вышла из берегов, — согласился Карелин.

Роль вышла из берегов, но наводнение наступило в тот момент, когда Игна совершенно случайно узнала, что по сценарию — а в кино все делается по сценарию — Вера должна была умереть.

Девочка читала сценарий и раньше. Но тогда ей была безразлична судьба «матери». Теперь «матерью» была не чужая женщина, а Вера... Она должна будет броситься в ледяную воду, чтобы спасти мальчишку, провалившегося под лед. Она тяжело заболевает. Напрасно врачи будут биться за ее жизнь. Смерть окажется сильнее...

Инга сидела одна в комнате Карелина. На столе лежал режиссерский сценарий. Сперва Инга просто листала его, чтобы познакомиться со своей ролью в новом эпизоде. Потом заинтересовалась и стала читать. Странная книжка — режиссерский сценарий! Например, написано на странице: «Девочка подошла к окну и полила цветы», а рядом на полях обозначено — «5 метров». Вся книжка разбита на метры! Это забавляло Ингу до тех пор, пока она не прочитала: «Врач склоняется над матерью. Слушает ее. Потом подносит ко рту зеркало. Говорит: «Все! Смерть победила!» А рядом написано — «20 метров». За двадцать метров побеждает смерть...

Инга захлопнула книжку и подошла к окну. Она увидела, как медленно падают перышки снега. Множество белых перьев. За двадцать метров побеждает смерть!.. Из окна было видно, как красная черепица постепенно блекла, угасала и наконец совсем пропадала в снегу, как огонь пропадает в тепле. Снег налип к проводам, превратил их в толстые белые канаты. У прохожих на шапках появились белые круги. Шел основательный, не собирающийся таять зимний снег. За двадцать метров побеждает смерть... Как она могла победить за двадцать метров? И что такое двадцать метров? Может быть, двадцать больших взрослых шагов?

Инга отошла от окна и направилась к двери. Она пошла по коридору, считая шаги. Насчитала двадцать. Оглянулась. Пошла дальше. Она не замечала встречных. Мимо шел целый полк солдат — не настоящих, а переодетых, загримированных. Инга прошла сквозь строй. И осталась одна. Перед ней был какой-то темный закуток. Она свернула в него. Остановилась. Ей стало нестерпимо горько. Она закрыла глаза и увидела девочек, бегущих в желтых платьях. Обгоняя друг друга, они мелькали между белыми стволами берез. Девочки убегали от чего-то неудобного и трудного, от чего сама Инга не могла убежать, словно ее ноги приросли к земле. Потом выплыли старушки, которые подбрасывали и опускали половичок, и каждый раз раздавался выстрел и поднималось облачко порохового дыма. Потом появился уса́тый грязный человек. Он потер ладонью щетину на щеке и уставился на Ингу холодным стеклянным глазом. Инге стало страшно, она открыла глаза, но тот день не исчез, как исчезает тьма, когда в комнате зажигают свет. Он был вокруг нее, плотный до боли, ощутимый. Он стал невидим, но он звучал, шептал в самое ухо разными голосами.

«Мама больше нет!» — слышался голос папы.

«Почему мамы больше нет?» — отзывался голос Инги, голос, не зависимый от нее самой.

«Мама умерла».

«Как умерла?»

И тут что-то горько сжалось, подступило к горлу, обожгло глаза, и, чтобы заглушить голоса того тяжелого дня, Инга крикнула:

— Мама! Ма...

Неожиданно рядом с ней появилась Вера. Откуда она взялась в этом пустом, бесконечном студийном коридоре? Как разыскала Ингу в закутке, где стоят метла и ведра?

— Инга, что с тобой?

Девочка ничего не ответила, молча боднула артистку в плечо, прижалась к нему и жалобно пролепетала:

— Не хочу, чтобы ты умирала... Лучше я умру. Пусть они придумают так, чтоб я умерла. А ты будешь прощаться со мной.

— Зачем же тебе умирать, доченька?

— Чтобы ты не умерла.

— Но ведь это не на самом деле, Инга.

— Все равно.

Вера обняла Ингу и еще крепче прижала ее лоб к своему плечу. И сквозь одежду чувствовала, как девочка горячо дышит.

— Пусть Карелин спасет тебя. Он может спасти тебя?

Вера молчала, не зная, что ответить девочке, в сознании которой стерлась граница между искусством и жизнью. Для нее все было жизнью — даже нарисованное, загримированное, придуманное, освещенное не солнцем, а софитами и юпитерами. В этом было ее существо. Сказка уживалась с настоящим горем.

— Я поговорю с Павлом. Я тебе обещаю, Инга.

И вдруг артистка почувствовала, как сквозь ткань пробилась слеза. Она почувствовала их плечом. Девочка не всхлипывала и не дышала учащенно, как дышат, когда плачут. В темном закутке ничего не было видно. Но Вера как бы слышала плечом, видела...

На другой день Инга не пришла на съемку. И тут произошел настоящий скандал. Режиссер кричал на второго режиссера:

— Где Инга?

Второй режиссер спрашивал у ассистента:

— Почему нет Инги?

Ассистент подбежал к директору картины:

— Найти Ингу!

Осветительная аппаратура была приведена в боевую готовность. Рабочие стояли на местах. Оператор со своими

помощниками выкатил тяжелую кинокамеру «Дружба», как орудие на прямую наводку. Артисты нервно курили в стороне, ожидая начала съемки.

А маленькой героини фильма не было.

Поехали к ней домой. Дома Инги не оказалось.

Поехали в школу. Не приходила она на уроки.

Позвонили в милицию, дежурному по городу. Никаких происшествий с девочкой отмечено не было.

Все ходили мрачные. Никто не смотрел в глаза друг другу, словно каждый чувствовал себя виноватым.

Но больше всех переживала Вика. Она вдруг забыла, что является «девушкой из кино», ей казалось, что пропала ее сестренка, родной человечек. Что с ней могло случиться?

— Ребята, она найдется! — говорила Вика товарищам. — Она появится. Все будет в порядке.

Она подбадривала других, а у самой время от времени на глаза наворачивались слезы и на скулах появлялись две черные полосы — «текли» глаза.

В тот же день Вера и Павел сидели в студийном кафе за круглым столиком у окна. Оба были расстроены. Оба думали об одном. Об Инге.

Павел почему-то вспомнил, как Инга разыгрывала сцену с зелеными яблоками и как он, внимательно наблюдая за игрой девочки, чувствовал в ней не только дарование, но и внутреннюю силу. Она тогда заставила его поверить в эти «зеленые яблоки». Он даже почувствовал во рту оскомину. Он и сейчас, вспоминая, как девочка естественно морщилась и закрывала глаза, чувствует прилив слюны.

А Вера думала о темном закутке в нескончаемом коридоре и о том, как она плечом почувствовала горячие Ингины слезы. Это был не обычный детский каприз. Тревога и... любовь двигали Ингой, когда она, сорвав съемку, не пришла в студию.

— Что-то с этой девчонкой происходит, — вдруг заговорил Павел. — Может быть, она больна?

Вера молчала. Она отхлебывала из белой чашечки кофе и молчала.

Студийное кафе, чем-то похожее на привокзальное, жило своей суетливой жизнью. Кто-то входил, кто-то, глянув на часы, убегал. В дверь просунулась голова.

— Потехина здесь нет? — спросила голова. — Потехина вызывают к директору.

Не было в кафе Потехина, и голова исчезла.

Неожиданно Вера сказала:

— Павел, я виновата перед тобой. Я не предупредила... У девочки умерла мама.

Павел резко повернулся к артистке.

— Как умерла мама? Когда?

— Еще до съемок.

— И ты знала?

Вера покачала головой.

— Никто не знал. Узнали... случайно.

Павел отодвинул стул, словно собирался куда-то бежать, но не побежал, а стал рассказывать у окна. За окном шел снег, белые хлопья пролетали совсем близко, и казалось, они сейчас опустятся на волосы, на бороду и на плечи режиссера.

Потом Павел повернулся к столику, сел и заговорил возбужденно:

— Почему мне об этом ничего не сказали? Почему молчал ветеринар? Ты понимаешь, в каком свете мы предстали перед Ингой? Она убежала. И я бы убежал, если б у меня умерла мама, а мне бы твердили: «Поцелуй маму!» Кошунство!

— Но ведь вначале никто не знал, что умерла мама. А ветеринар думал, что кино отвлечет девочку от горя.

— Ветеринар думал! Ему кошек лечить, а не думать! Кто узнал об этом?

— Вика докопалась. Совсем недавно.

— Надо было сразу сообщить об этом! — Режиссер стукнул ладонью по столу.

— Сообщать было поздно. Мы боялись, что это помешает тебе.

— Я знаю, почему она сбежала со съемок, — неожиданно сказал Павел. — Она боялась, что ей придется снова пережить смерть матери. Она же не играет. Она живет. И то, что это не на самом деле, а в кино, ей не объяснишь.

— Я хотела сказать тебе об этом, но ты сам понял. Это хорошо, что ты сам понял.

— Что же делать, Вера?

Вера внимательно посмотрела на Павла и сказала:

— Павел, ты знаешь, чем сценарий счастливо отличается от жизни? В жизни ничего не изменишь. Если человек погиб — его не вернешь. А в сценарии его можно спасти.

Глаза Павла широко открылись.

— Ты предлагаешь ради одной девочки изменить сценарий?

— Ради одной девочки — это значит ради всех детей. Ведь дети верят в справедливость, в победу жизни. И это — главное.

— Роль вышла из берегов! — отчаянно воскликнул Павел. — Я заметил, как Инга тянется к тебе. Но что будет потом? Ты думала об этом?

— Я боюсь думать, — ответила Вера.

— В плохих фильмах, — продолжал Павел, — папа женится на женщине, которую полюбила его дочь. Хэппи энд!

— Хэппи энд! Счастливый конец! — тихо повторила Вера. — Но жизнь не похожа на плохие фильмы. Она интересней, хотя тяжелее.

— Инга любит тебя.

— Может быть, и я ее люблю... как дочь...

— Вы не равны, Вера, — сказал режиссер, пощипывая свою бородку. — У тебя может родиться дочь, а у нее мать уже никогда не появится.

— Но ведь я появилась, — прошептала Вера. — Роль вышла из берегов.

14

В глубине парка стоял домик с одним окошком. К домику вела проложенная по снегу тропинка, похожая на молочную речку. Инга подошла к молочной речке и заглянула в окошко. Она увидела двух немолодых женщин, которые сидели за столом и ели картошку. Не боясь обжечься — от картошки шел пар, — женщины ловко счищали кожурку, снимали с картошки мундир и, прежде чем отправить в рот, макали в блюде со сметаной. В уголке рта у обеих появились белые усики. А от жара лица покраснели и ко лбу прилипли пряди сизых волос. Женщины так аппетитно ели картошку, что Инге мучительно захотелось отведать картофеля. Разваристую, с пылу с жару, подбеленную сметаной. Она уже решила войти в домик, как вдруг за ее спиной послышались неторопливые шаги. Девочка оглянулась и увидела мужчину со стеклянным глазом. Он прошел мимо девочки в огромном сторожевом тулупе и, толкнув дверь, скрылся в сторожке.

Инге сразу расхотелось картошки. Она повернулась и побежала в глубь заснеженного парка. Стволы деревьев замелькали черным забором. Сердце застучало громко-громко. Инга остановилась. Прислушалась. И ей показалось, что она слышит, как поет рожь. Этот звук доносился то ли издалека, то ли из-под снега, то ли рождался в ней самой. И девочка вдруг почувствовала, что вместе с белым маминым халатом она отдала Вере нечто большее, принадлежащее только маме...

Страшные двадцать метров из режиссерского сценария

грозили погасить Ингин свет. Мрачный человек из того дня смотрел на Ингу стеклянным глазом. Неужели этот день повторится снова?

Все возмутилось в Инге. Сомнения исчезли. Наступила полная ясность. Не отдать Веру! Спасти ее!

Она шла по пустынному парку мимо впавших в зимнюю спячку веселых аттракционов. На только что постеленном снегу отпечатались ее маленькие следы. Рядом тянулась цепочка крестиков: прошла ворона.

Пустые качели слегка раскачивались ветром, похожие на лодочку без парусов. «Чертово колесо» казалось отлетевшим от огромной колесницы. Сама колесница умчалась неведомо куда на одном колесе.

Инга дошла до карусели. Казалось, она попала в зачарованное царство, которое кто-то недобрый заставил замереть. Вот только что они весело мчались по кругу и вдруг замерли: лошади, припав на задние ноги, львы в прыжке. Правда, здесь были люди — целая бригада маляров. Они красили лошадок, волков, львов. Это были не простые маляры, а, видимо, молодые художники. Длинноволосые, с бородками.

Инга остановилась у зебры. Зебра была белой. Девушка-художник тонкой кисточкой наносила черные полосы.

— Можно я попробую? — спросила Инга.

— Как ты сюда попала, подруга? — спросила девушка-художница. Она была тоненькой, в фартуке с разноцветными пятнами и в очках.

— Там дырка, — сказала Инга и махнула рукой в сторону ограды.

— На, покрась, — сказала девушка-художница и протянула ей кисточку. — Ты с уроков смылась? — спросила она.

— Нет, — сказала Инга. — Я не стала сниматься. Сбежала.

— Откуда сбежала?

— Со студии.

— Ты не врешь, подруга? — спросила художница.

Инга сняла шапку, приподняла паричок, снова надела его. И стала красить.

— Трудно сниматься?

— Не-ст.

— Почему же ты не стала?

Инга перестала красить. Посмотрела на девушку.

— Красить интересней, — сказала Инга, разглядывая неровную черную полосу, нанесенную кисточкой на бок зебры. — И никто не умирует.

Художница удивленно посмотрела на Ингу.

— Я пойду. Спасибо, — сказала девочка и протянула кисточку.

Художница взяла кисточку и долго смотрела вслед Инге.

— Ну, подруга! — прошептала она.

15

На какое-то время Инга забылась, успокоилась. Счастливый дар детей: забывать на время о своем горе.

Под вечер Инга пришла домой. Она уже не чувствовала себя такой разбитой и несчастной. Словно за этот день успела далеко уйти от студии, от всех бед, которые ее там подкарауливали.

Она как бы очутилась на другом, безопасном берегу. И с этого берега смотрела на свой вчерашний день спокойно и почти с любопытством.

Когда папа пришел с работы, Инга лежала на диване, а рядом на столе валялся ее паричок, похожий на шкурку какого-то забавного рыжего зверька.

— Ты больна? — спросил папа и рукой коснулся лба дочери.

— Я здорова, — был ответ.

— Температуры нет? — спросил папа и увидел на столе паричок. — Что это? Парик?

— Можешь его выбросить, — сухо отозвалась дочь.

— Зачем же выбрасывать? Тебе он больше не нужен?

— Не нужен.

— Верни на студию. Вещь же не твоя.

Инга отвернулась к стене.

— Все равно выброси. Я больше сниматься не буду.

— Почему? — встревожился папа. — Ты устала?

Инга повернулась к папе. Потом вскочила на пол и прижалась к папиному пиджаку, пахнущему лекарствами.

— Она искала у папы защиты.

— Устала. Я так устала, папа. Я поеду к бабушке.

— Хорошо, Инга... Ты поедешь. Я напишу бабушке.

Видимо, это кино тебе не по силам.

И тут Инга заплакала. Она плакала, а папа утешал ее, гладил:

— Ну, ну, успокойся... Больше не пойдешь туда...

И все будет в порядке. Слышишь?

Инга постепенно утихла. Успокоилась. Папа ушел на кухню.

Потом вернулся и сказал:

— Никогда не пойдешь! — Он очень твердо произнес эти слова.

И вот тогда раздался звонок.

Папа открыл дверь, и в прихожую вошел Павел Карелин. Его шапка была белая, а борода покрылась инеем, и он был похож на такого худого, моложавого Деда Мороза.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Дед Мороз снял шапку, и с нее посыпался снег.

— Я хотел бы видеть Ингу.

— Ингу, — отец осекся, однако после короткого раз-

думья сказал: — Хорошо. Раздевайтесь. Проходите. Я позову Ингу. Нам надо выяснить отношения. — Голос его звучал сухо.

— Непременно надо, — согласился Карелин, и его голос был тоже жестким.

Гость и хозяин холодно посмотрели друг на друга и направились в комнату.

Тут режиссер заметил, что в глубине коридора мелькнула и исчезла фигурка девочки.

— Инга! — позвал отец. — Инга!

Никто не отзывался.

— Странно. Только что была дома.

А Инга в это время сидела в темной ванной и чувствовала, как пылают ее лицо и уши. Она ждала, что будет дальше.

Отец провел режиссера в комнату. Предложил ему сесть. Сам не сел, а растерянно стоял перед неожиданным гостем.

— Скажите, что случилось? — наконец спросил он. — Почему Инга плачет? Может быть, ее обидели?

— Нет. Ее никто не обидел. Ее любят.

— Странная любовь, — вздохнул отец. — Любят, а девочка рыдает.

— Все наладится, — ответил Карелин. — Все очень скоро наладится.

— Да уж наладится! — пробурчал отец. — Я пойду поищу ее. И поставлю чайник.

Он вышел из комнаты.

И тут перед гостем возникла Инга.

— Пришли жаловаться?

— В отличие от тебя я надежный товарищ, — сказал режиссер.

— Не хочу, чтобы она умирала! — крикнула Инга и осеклась: вспомнила, что отец дома.

— Она будет жить, — заговорщически наклонился к

Инге Карелин. — Я тебе обещаю. Только не думай, что это так просто. Придется крепко бороться.

— За ее жизнь? — Инга широко раскрыла глаза.

— За ее жизнь! — подтвердил Карелин. И уже сам себе под нос пробурчал: — Все думают, что кино — это только удовольствие. Рвутся в институт кинематографии. За трешку идут сниматься в массовку. Никто не задумывается над тем, что кино — это трудная жизнь.

Инга не понимала его слов. Но сейчас он больше говорил для себя, чем для девочки.

И тут вошел отец с чайником.

— Нашлась? Где ты была? — удивился он.

— Я мыла голову.

— Почему у тебя волосы... сухие?

— Высохли, — сказала Инга и пожала плечами. —

Я пошла.

Отец проводил ее взглядом и подошел к Карелину.

— Я должен перед вами извиниться, — сказал он и подвинул к режиссеру рыжий паричок, — но Инга больше не будет сниматься... Так вот... Не может она... Я думал, что кино отвлечет ее, поможет зарубцеваться ране...

— Кино и помогло, — ответил Павел.

— Какое там! Она сегодня плакала. Вы же умный, светлый человек, сами должны понимать.

— А вы, как врач, должны понимать, что лекарство не всегда сладкое. Бывают горькие... Мы с Ингой обо всем договорились. И надо было раньше предупредить нас, что нет... матери.

— Вы бы не взяли ее?

— Взяли бы, — отрезал режиссер, — но знали бы, как вести себя с ней.

— Может быть, это было моей ошибкой, но я исправлю ее. Инга не будет сниматься. Она не пойдет на студию! Инга! — крикнул он. — Ты слышишь? Больше не пойдешь на студию!

Инга стояла в коридоре, прижавшись лопатками к стене, и слушала разговор режиссера с отцом. И в эту минуту она почему-то вспомнила бесконечный, неудобный студийный коридор, и темный закуток, и мягкое, теплое, бесконечно родное плечо Веры. Неужели она никогда не попадет на студию? Никогда не увидит Веру? Не прижмет-ся к ее плечу, так похожему на мамино плечо? Какая-то сила оторвала Ингу от стены. Она решительно вошла в комнату и сказала:

— Я приду завтра на студию. Правда, папа, я приду завтра на студию. Никогда не следует подводить людей. Ведь люди работают.

Отец замер, уставившись круглыми глазами на дочь.

— До завтра! — сказал режиссер и быстро зашагал в прихожую.

Когда Карелин вышел на улицу, там его ждала Вика. Она изрядно замерзла и прыгала на одной ноге.

— Ну как? — нетерпеливо спросила она.

— Скверно. Ветеринар упрямится. Но Инга...

— Что Инга? Она дома?

— Она дома. Обещала быть.

— Раз обещала — будет. Инга — сила! Раз сказала...

— Она сказала... Но перед этим я обещал ей, что Вера будет жить.

Они шли по улице и разговаривали. Но тут Вика остановилась. Как маленькая захлопала в ладоши и, поднявшись на цыпочки, чмокнула режиссера в щеку.

— Вы — гений! — сказала она. — И — человек!

Поезд приходил рано. В эту пору зимой утро неотличимо от ночи, а когда человек поглощен одними и теми же мыслями, то утро может показаться продолжением вечера.

Перрон был пустым. Встречающих было мало. Встречающих почему-то всегда меньше, чем провожающих, словно люди больше любят провожать...

Карелин быстро ходил по перрону. Ему было зябко в коротком пальто, которое он носил во все времена года, как солдат шинель. Нос покраснел, редкая борода покрылась инеем. Окоченевшими, непослушными пальцами достал сигарету. Закурил. Он, конечно, мог бы дожидаться поезда в здании вокзала, где наверняка было теплее, но режиссера мучило нетерпение. Словно поезд придет скорее, если ждать его на перроне.

Режиссер нервничал. Столкнувшись с неожиданными переживаниями Инги, он зашел в тупик. Он знал режиссеров, которые в «интересах искусства» убивали на съемках лошадей и травили борзыми ручного волка. Он был знаком с лозунгом: «Все для искусства». Этот лозунг напоминал ему страшные слова войны: война все спишет! Было в этих двух премудростях что-то общее, отталкивающее, противное человеческому сердцу. Никакой хороший фильм не спишет страдания девочки.

Карелин в глубине души не верил в фильмы о доброте, которые делались злом. Доброта в кино должна начинаться где-то в теплом роднике авторского вдохновения и до конца сохранять нужное тепло.

На студии говорили: снимай по сценарию. Мало ли у кого какие переживания! Кино — искусство мужественное. Но он любил Ингу и не мог даже ради искусства заставить девочку пережить то, что она однажды уже пережила, — смерть матери.

О чем он думал раньше? Не предвидел, что на съемочной площадке в сердце осиротевшей девочки с новой силой оживет дочерняя любовь?

Поезд возник неожиданно. Он выплыл из тьмы зимнего утра. Холодный, в клочьях метели, с окнами, покрытыми серебряной чешуей.

Поеживаясь от холода, автор вышел из вагона. Он близоручко осмотрелся. И приложил руку к уху, которое начало замерзать.

— Здравствуйте! — Перед ним возник Карелин. — Хорошо доехали?

— Хорошо. Полночи не спал... Сосед разговаривал во сне. Но к утру я привык.

— Что ж рассказывал вам сосед... ночью... во сне? — улыбаясь, спросил Павел.

— Он, как штабс-капитан Рыбников, шептал что-то на незнакомом языке. Может быть, он звал мать?

— Мальчишка?

— Вы думаете, что мать зовут только мальчишки? Он старый человек. Но, по-моему, он звал маму. Очень уж жалобно разговаривал во сне... Как ваши дела?

— Даже взрослые зовут во сне маму... — вздохнул Павел. — У нас непредвиденное обстоятельство. Может быть, придется менять сюжет картины.

Автор перестал тереть ухо: ему сразу стало жарко.

— Как... менять? Худсовет? Предлагает менять?

— Нет. Не разрешают менять... Но я знаю, вы любите детей, поэтому призвал вас на помощь.

Автор молча смотрел на режиссера. Они стояли посреди платформы. Мимо прошли последние пассажиры. Носильщики прокатали свои тележки. Промчался какой-то запоздавший мужчина с живыми цветами. Потом стало пусто. Как в поле.

— В чем дело? — спросил растерянно автор и поставил свой командировочный чемодан на снег.

— Второй раз Инга не переживет смерти матери.

— Как второй... раз?

Ничего не понимающий, застигнутый врасплох невнятными и сбивчивыми сообщениями режиссера, автор растерянно смотрел на него. Но при этом он не суетился и не задавал лишних вопросов. Он был автором. Незаметно

пришли в движение глубинные течения. Автор почувствовал, что где-то в глубине выкристаллизовались тревожные догадки: надо спасать маленькую героиню фильма. Он еще не понимал, от кого и как. Но главные силы его души уже были приведены в боевую готовность.

Так они стояли на пустом белом перроне — один с бородой, другой с поседевшей прядью волос, выбившейся из-под шляпы. Два мудреца, похожие на сказочных королей художника Чюрлениса, замышлявшие великие перемены в своих королевствах. И пока они стояли, фонари потускнели, а небо стало светлеть. Ночь разрушилась.

— Я понял... — тихо сказал автор. — Я, кажется, понял. Она будет жить. Врачи сделают еще одно усилие. И жилка на ее виске тихо забьется. И белые губы потеплеют. И грудь поднимется, чтобы сделать первый вздох после безмолвия. И ресницы дрогнут, как острые стрелки приборов, определяющих присутствие жизни. И она произнесет первые два слова: «Где Инга?» Она их произнесет так тихо, что их еле услышит дежурная сестра. Но эти два слова загремят на всю больницу. И их услышит девочка, которая наверняка будет стоять под окнами больницы, не спуская глаз с третьего окна справа на втором этаже. Драма смерти уйдет из фильма под сильным напором жизни. Маленькая девочка своей дочерней любовью отобьет у смерти мать.

Инга поверила режиссеру, что Вера будет жива, и успокоилась. Она была заполнена своей удивительной привязанностью к женщине, которая все больше и больше напоминала ей мать. Инга спешила к ней навстречу и неохотно расставалась, утешая себя мыслью о завтрашней встрече.

Она не замечала, что на студии идет бой за «поправку к сценарию» — так взрослые люди называли выздоровление Веры. Карелин ходил всклокоченный, а клочья бороды воинственно торчали в разные стороны. У автора поднялось давление, и он тайком глотал лекарства, похожие на конфеты. Оператор ругался по каждому поводу и совсем замучил своего главного козла отпущения — ассистента. Бои вспыхивали в разных местах: в коридорах, павильонах, буфете, кабинетах.

Решающий бой происходил в кабинете директора.

— Сценарий утвержден. Берите на себя ответственность — снимайте по-своему, — сказал директор.

И тут с места встал невысокий черноволосый человек в очках — редактор Хановичус.

— Я возражаю, — сказал он. — Она должна погибнуть, в этом драматический пафос фильма. Зритель не простит нам...

— Мы попросим у зрителя прощения, — сухо сказал Карелин, выпуская из рук бороду, отчего она взметнулась вверх.

— У каждого будете просить прощения? Или через одного? — съязвил Хановичус, снимая очки. Без очков он стал похожим на енота.

— У каждого, — не сдавался режиссер. — Каждый, кто увидит картину, поймет нас.

— А я никак не пойму беспринципность автора! — не отступал Хановичус. — Как легко вы отказываетесь от своего выстраданного сюжета!

— Трудно отказываюсь, — мрачно сказал автор, — но вижу в этом большой смысл. Речь идет о добре...

— Добро! — Енот поднял мордочку и блеснул белыми зубами. — Фильм — дело государственное! Он стоит триста тысяч!

— У нас добро — тоже дело государственное, товарищ Хановичус! — вмешался в спор Карелин и с таким ожесточением

чением вцепился в свою бороду, словно это была шевелюра его противника.

И тут заговорил директор:

— Подумайте еще раз, товарищи! Взвесьте объективно все «за» и «против».

Хановичус надел очки и перестал быть похожим на енота.

— Редактора вы не слушаетесь, а каприз девчонки...

Карелин не дал ему договорить:

— Каприз девчонки! Да знаете ли вы, что дети в кино не играют, а живут. Это не каприз, а судьба.

— Громкие слова, — пробурчал редактор.

Карелин побледнел.

— Вы когда-нибудь видели страдания людей? — спросил он, обращаясь к Хановичусу. — Например, во время войны.

— Во время войны я был мальчиком, — невозмутимо ответил редактор.

— Я тоже был мальчиком. Но я видел фашистов. Я видел, как они жгли наши дома, как в нашем городе заставляли людей чистить тротуары... Зубными щетками... Потом я видел: их везли на расстрел. Я помню их лица... Они ехали в фурах...

— Какое отношение это имеет к делу? — не поднимая глаз, спросил Хановичус.

— Я знаю разницу между капризом девчонки и страданиями человека, — сказал Павел и подошел к роялю. — Разрешите, я сыграю, — спросил он директора. — То, что я сыграю, относится к делу.

Директор развел руками. Карелин открыл крышку рояля, потер ладони о колени, чтобы согреть, и заиграл. И все заметили, что играет он одной левой рукой. Только левой. Всю пьесу только левой рукой. В зале притихли, не понимая, что означало это необычайное выступление режиссера. Автор сидел, закрыв лицо руками. Неожиданно

дверь отворилась, и вошла Инга. Никто ее не звал, никто не ждал. Она шла мимо и слышала знакомую музыку. Ее играл режиссер во время первого знакомства. Эта музыка была грустной и тревожной. Она звучала не как жалоба, а как призыв друзей: быть рядом, не отступать, держаться. Ее исполняли только левой рукой, словно правая была занята: сжимала рукоятку оружия.

Инга услышала музыку-призыв. Вошла. Карелин не сразу заметил девочку. А когда заметил, перестал играть.

— Что ты, Инга? — спросил он.

— Почему вы опять играете одной рукой? У вас другая устала?

— Устала, — кивнул Павел.

— У Веринной мамы обе руки были заняты на войне. Она перевязывала раненых. А для винтовки не хватало рук.

Они разговаривали так, словно в кабинете никого не было.

Все молчали. Все боялись нарушить беседу Инги и режиссера.

— У санитаров нет брони. Только белый халат. А пуля не разбирает, кто солдат, кто санитар.

— Пуля не разбирает. Люди должны разбирать, — сказал Карелин и вдруг встал, закрыл крышку рояля и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: — Во время первой мировой войны знаменитому австрийскому пианисту Витгенштейну оторвало правую руку. Он был солдатом. И тогда другой солдат, композитор Равель, специально написал концерт для левой руки. Может быть, это тоже называется беспринципностью? Между прочим, Равель вскоре умер от военных ран... Разные бывают капризы. Пойдем, Инга.

Павел положил руку на плечо маленькой артистке, и они направились к двери.

— Снимайте по-своему, — устало сказал директор и пошел следом за ними.

Чем ближе к весне, тем менее прочной становится зима. Морозы ослабли, и в их владения все чаще и чаще вторгались теплые циклоны, разрушая крепости льда и снега. Солнце, которому зимой полагалось светить, но не греть, неожиданно забылось и стало припекать. Напрасно зима оскалила свои ледяные зубы — сосульки. Не было у этих зубов былой остроты и твердости: они падали на землю и со звоном разбивались. А в довершение всего вместо снега пошел дождь — это зимой-то! — и последние островки снега были разгромлены и выброшены из города.

Больше всех от этих неожиданных перемен страдали кинематографисты.

— Что делать? Ушла зимняя натура! Как снимать сцену «зимой под окнами больницы»?

Но кинематографисты народ хитрый и находчивый. Они набирают номер «01» и вызывают пожарных. Все думают, что пожарные машины мчатся на пожар, но они спешат на съемочную площадку. Они — пожарные машины — выстраиваются под окнами больницы и начинают выпускать белую пену. Целые горы пены! И хотя снег растаял — вся земля белая... Словно выпал настоящий снег. Снег вызывали по телефону «01». Номер снега «01».

«Я здесь, мама, ты слышишь меня? Я говорю с тобой молча. Но ты должна слышать меня... Я знаю, что ты лежишь и не можешь подняться, чтобы подойти к окну... Но ты должна чувствовать, что я с тобой рядом. Я же чувствовала, когда была больна. Все время чувствовала, что ты рядом. Ты только не беспокойся за меня. Я одета тепло. У меня на ногах носки, которые бабушка прислала из деревни. И свитер, который ты сама связала мне. Правда, он немного мал, я выросла... Но он греет. Он теплый, как твое плечо... У меня немного пощипывает нос. Вот бы уткнуться носом в твое плечо... Но ничего, я подожду,

когда ты поправишься. И мой нос подождет, потерпит. Главное, чтобы ты поправилась. Чтобы ты была!..»

Инга не замечала пожарных машин с белой пеной, не замечала софитов, не замечала любопытных, которые всегда собираются на местах киносъемок. Их ни мороз, ни дождь не разгонят. И милиции с ними одно мучение.

— Граждане, пройдите! Вы мешаете съемкам!

— А какой фильм снимается?

— Выйдет на экран — узнаете.

— А Банионис снимается!.. Кто режиссер?.. Вон тот бородатый?

Перекрывая все голоса, в мегафон звучал усиленный в пять раз голос помрежа:

— Гражданка в белой шубе, выйдите из кадра!

Перепуганная гражданка отскочила в сторону.

Нет! Инга не видела и не слышала всего, что происходило на улице перед зданием больницы. Ей казалось, что Вера на самом деле лежит в тихой, пахнущей лекарствами палате, и оттого, что она, Инга, ходит под окнами, ей легче... Какое это прекрасное чувство — знать, что близкий тебе человек рядом. Пусть даже в больнице, но он есть! Есть! Есть!

Девочке не мешала обычная суета, из которой складывается строгий порядок съемок. Она механически делала то, что ей говорил Карелин. Натягивала свой рыжий паричок и начинала проход сначала. Снова поднимала глаза. Снова пальцем от угла отсчитывала окна, чтобы найти нужное. Снимали один дубль, второй, третий. Начинали сначала. Но внутри у Инги ничего не прерывалось. Ее прекрасная жизнь с мамой вдвоем продолжалась. И девочка своим удивительным чувством проникала сквозь каменные стены, сквозь время, подчиняя себе реальную жизнь.

Поглощенная своими переживаниями, Инга не заметила в толпе любопытных отца. Его мешковатое пальто

и съехавший набор треух затерялись среди других пальто и шапок. Зажатый костистым стариком и девушкой, поминутно встававшей на носочки, чтобы лучше видеть, отец наблюдал за Ингой. Что происходит сейчас с дочерью? Почему волнующее напряжение застыло в ее глазах? А ведь когда-то он замечал у нее именно такое выражение лица! Ах да, это было еще тогда... Инга ждала у окна, а мама не возвращалась: она часто задерживалась по службе. Девочка всматривалась в даль, стараясь как можно раньше заметить маму. Вот тогда у нее были такие же расширенные глаза, а лицо затаивало в себе предчувствие встречи... Почему все это вернулось к дочери, а к нему не возвращается? Старик толкал его локтями. Девушка-коротышка прыгала перед глазами. А он стоял, теряясь в догадках, большой и беспомощный.

Несколько раз в перерывах между дублями Инга подходила к режиссеру и спрашивала:

— Когда она появится в окне?

— Она появится! Ведь она остается жить. Честное слово, Инга. Она остается жить из-за тебя!

— Из-за меня?

Девочка снова поднимала глаза к окну, которое теперь находила сразу, не отсчитывая от края. «Я здесь, мама, ты слышишь меня? Я говорю с тобой молча, но ты должна слышать меня. Ты должна, потому что ты будешь жить... Ты будешь...» — И вдруг она увидела в окне знакомое лицо. Она не сразу узнала Веру, потому что на голове у нее была белая косынка.

Она жива! «Жилка на виске тихо забила. Белые губы потеплели. Грудь поднялась, чтобы сделать первый вздох. Ресницы дрогнули, как острые стрелки приборов, определяющих присутствие жизни...» Мама!..

— Вера! — Инга закричала, хотя по роли она должна была молчать. — Вера, ты будешь жить!

Девочка стояла в белой пене, изображающей снег,

а из всех больничных окон смотрели люди в серых халатах. Их привлекло сюда желание как-то скоротать тяжелое больничное время.

Но когда Инга крикнула: «Ты будешь жить!» — все услышали эти слова, и каждому показалось, что это к нему обращается маленькая артистка. Маленький добрый про-рок!

Безмолвные молнии вольтовых дуг делали пену лиловой. Гудели пчелиные ульи софитов. Щелкала хлопушка (номер кадра, номер дубля). Трубный голос помрежа гремел на всю улицу:

— Парень в лыжной шапке, выйди из кадра!

Звучали строгие, как у военных, команды:

— Внимание! Мотор!

Оператор припадал к окуляру, как наводчик орудия, ловящий цель. А Инга, счастливая и взволнованная, не спускала глаз с окна, в котором стояла Вера.

Солнечный день подходил к концу. Инга не слышала, как над площадкой прозвучала команда «Стоп!», не заметила, как погасли фиолетовые блики софитов. Белая пена спала — снег растаял... Инга очнулась, только когда к ней подошла Вика. Легонько потрясла ее за плечо и, широко улыбаясь, сказала:

— Инга, все! Ты сыграла, как бог! А они еще хотели Брусничкину!

И она звонко чмокнула Ингу в щеку.

— Пойдем, все кончено!

— А где же Вера?

— Сейчас придет твоя Вера, — со вздохом сказала Вика.

Но девочка недоверчиво посмотрела на нее.

— Может быть, Вера на самом деле заболела?

— Что ты! Она здорова.

— Здорова... А когда кончится кино, Вера станет другой? — с опаской спросила Инга.

— Кто это тебе сказал? Глупости! — горячо сказала Вика. — Она же человек!

И, схватив Ингу за руку, потащила ее к вагончику, чтобы смыть с лица грим и стянуть с головы рыжий паричок.

19

Съемки фильма закончились. Прошел уже месяц, как к школьному подъезду перестала подкатывать машина с надписью «Киносъемочная» и Вика перестала поджидать Ингу на ступеньках. Все, что было связано с кино, начинало удаляться, превращалось в воспоминания.

Этот день запомнился Инге вместе с апельсинами в оранжевой пористой коже, они пламенели на прилавках и казались Инге яйцами, которые в весеннем городе снесла большая южная птица с оранжевыми перьями. Вот будет весело, если из апельсинов вылупятся птенцы! Оранжевой стаей они взлетят над мокрыми крышами, и людей охватит неожиданная радость!

В этот день Инга встретилась с Верой.

Они шли по городу, в который ворвался теплый циклон весны. На тротуаре поблескивали лужи, а вместо снега шел дождь, мелкий ситный дождь. Он касался щек и серебристой пылью оседал на пальто. И вместе с теплым ветром и преждевременным дождем в сердце девочки вливалась радость. Ей хотелось кружиться и петь — она шла рядом с Верой.

— Хорошо, что ты осталась жива, — неожиданно сказала Инга, заглядывая в лицо Веры.

— Конечно, Инга. Я и осталась. Из-за тебя.

— Я спасла тебя? — спросила Инга, искренне поверив в свои слова.

Вера утвердительно кивнула. И Инга почувствовала себя Королевой ужей, которая может не только ходить по земле, но и погружаться на дно озера. Инге захотелось

поделиться с Верой своей радостью — рассказать ей о своей жизни.

— Рассказать о моем папе? — спросила она. — Мой папа очень интересный человек — он лечит коров и собак. Однажды ему привели больного львенка. И — представь — он вылечил. Хотя никогда раньше не лечил львов. Интересно?

— Очень.

— Рассказать, как папа познакомился с мамой? Это тоже очень интересно. У мамы была кошка Флора. Эта кошка упала с балкона. И ей было плохо... И вот мама пришла с кошкой к ветеринару. Ветеринар лечил корову. Он сказал маме: «Мне не до кошки!» — «Я буду ждать!» — сказала мама. «Вам долго придется ждать! — сердито сказал ветеринар. — Я провожусь до ночи». — «Я буду ждать до ночи!» — сказала мама... Ночью он освободился. Мама все ждала. Он посмотрел на маму и вдруг заметил, что мама красивая. И он все смотрел и смотрел на маму. А она сказала: «Что вы смотрите на меня? Вы смотрите на кошку». И тогда...

Инга вдруг замолчала и внимательно посмотрела на Веру.

— Что тогда, Инга?

— И тогда они поженились.

Им не хотелось расставаться, и они шли все дальше.

Неподалеку от парка им повстречалась старуха, которая несла за спиной большой пучок соломы. Солома золотилась и излучала нежный, согревающий свет. И девочка подумала, что мудрая старуха не поленилась и в летний ясный день набрала впрок солнечных лучей, чтобы в пасмурный день осветить ими город. Инге захотелось сделать что-нибудь приятное Вере, и она сказала:

— Если тебе хочется курить, ты кури. Кури.

Вера обрадовалась. Она даже покраснела от радости и сказала:

— Можно, я закурю сейчас?

Она спрашивала у Инги разрешения, как будто Инга была старшей.

Вера тут же подбежала к киоску. Купила сигареты и спички. Она торопилась, словно боялась, что Инга раздумает и заберет обратно свое разрешение. И пока она прикуривала, Инга внимательно следила за ней.

— Вера, можно я буду называть тебя подругой, а ты меня? — вдруг спросила Инга.

Вера вопросительно посмотрела на девочку.

— Ты будешь говорить мне: «Здравствуй, подруга!», я буду отвечать тебе: «Как дела, подруга?» Меня одна художница называла подругой.

Вера широко улыбнулась, и Инга поняла, что она согласилась.

Подул ветер, и дождь полил сильнее. Теперь он хлестал в лицо и уже не оседал пылью, а мочил пальто и шапки. И вдруг Инга посмотрела на другую сторону и увидела Вику. «Девушка из кино» шла нахохлившись, слегка втянув голову в плечи, а руки держала в карманах куртки, чтобы не мерзли. Кондукторская сумка свободно болталась на плече. Вика наступала в лужи, потому что ей некогда было смотреть под ноги: она вглядывалась в лица прохожих, словно кого-то искала. Инга подумала, что Вике наверняка холодно в легкой куртке с капюшоном и у нее промокли ноги. И может быть, она голодна, если не успела перехватить в буфете сморщенный пирожок, потому что самой готовить ей некогда и она не знает, когда надо класть в суп морковку... Инге захотелось позвать Вику, но «девушка из кино» мелькнула и затерялась в потоке прохожих. Она была занята своим трудным делом: из тысячи незнакомых людей выбирала героя нового фильма. И казалось, сейчас за углом она остановит бегущую школьницу и спросит: «Девочка, хочешь сниматься в кино?»

1



таниславский утверждал, что театр начинается с вешалки. Наш театр начинается раньше — с львиной головы, которая встречает всех у подъезда. В зубах бронзовый лев держит увесистое кольцо, заменяющее дверную ручку.

Если зритель не опаздывает, то обязательно задержится около льва. Погладит косматую гриву, потрогает пальцами холодный бронзовый нос и бесцеремонно сунет руку в львиную пасть. Затем, словно желая помериться силой со зверем, возьмется за кольцо и начинает тянуть на себя. Скажу заранее, что никому еще не удалось вырвать кольцо из грозных клыков. Но зато тяжелая дубовая дверь подается и медленно открывается. Лев остается снаружи, зритель попадает в театр.

Наш театр начинается с львиной головы. Потом уже идут вешалка с перезвоном номерков, мраморная лестница, устланная красной ковровой дорожкой, канделябры с

хрустальными висюльками, инкрустированный паркет фойе, буфет, где бутерброды с докторской колбасой кажутся объединением.

У входа в зал стоят капельдинеры-старушки с поджатыми губами, как солдаты, одетые в одинаковую форму. Они так строго посматривают на ребят, словно рады бы вообще никогда не пускать их в зал. Однако раздается звонок, и суровые стражи, морщась, как от боли, отходят в сторону, уступая дорогу нетерпеливой шумной лавине. Театр вздрагивает, будто от подземных толчков, паркет хрустит, как вафельный, висюльки канделябров жалобно звенят. Бедный театр! Ежедневно он принимает на себя этот грозный натиск. Как только до сих пор его стены не рухнули, стоят, держатся?!

Но вот юные зрители рассаживаются, затихают. Большая круглая люстра, как перевернутый костер, разведенный высоко под потолком, меркнет, догорает. Гаснет совсем. Бархатный занавес беззвучно разрывается на две части, и в большом квадрате сцены неожиданно возникает берег моря или школьный коридор, палуба корабля или обыкновенный двор, где на веревке сушится белье. Лето, зима, дождь, снег. День — ночь, война — мир. Сегодняшний день — древнее время.

В зале становится тихо. Каждое кресло превращается в наблюдательный пункт, откуда, поблескивая, смотрит пара настороженных глаз и где, замирая от нетерпения, бьется маленькое сердце.

И тогда на сцене появляюсь я.

Я невысокого роста, у меня худые ноги и острые плечи, а на руках коротко подстриженные ногти. Желтые волосы закрывают лоб. Брови удивленно подняты. У меня довольно-таки большой рот, особенно когда я улыбаюсь. Подбородок разделен на две половинки, а на скулах румянец, алеющий двумя раздавленными клубничками. Я ловко управляю своим лицом: морщу нос, попеременно под-

нимаю брови, кривлю рот, подмигиваю, хмурюсь так, что мои небольшие темные глаза совсем пропадают за ресницами, а когда улыбаюсь, то видна розовая полоска десен.

Я взрослый человек, но в театре играю мальчишек. Так здорово превращаюсь в мальчишку — никому в голову не приходит, что я не мальчишка и даже не мужчина, а женщина. Такая у меня удивительная способность из женщины превращаться в мальчишку.

Я умею ходить на руках, свистеть, засовывая в рот два пальца, сложенных колечком. Я знаю приемчики, которыми можно свалить с ног любого (самбо!), и умею ходить такой свободной, независимой походочкой, что мальчишки лопаются от зависти: иду неторопливо, вразвалочку, словно не шагаю, а готовлюсь неожиданно ударить по мячу.

Я вообще знаю много такого, что полезно знать каждому мальчишке.

Я — артистка-травести. Так это называется. Очень красивое слово — травести. Оно похоже на название птицы или цветка. Травести.

Каждый день я выхожу из дома с радостным нетерпением. Сперва я иду спокойно, как все прохожие, но потом постепенно прибавляю ходу, начинаю спешить, хотя никуда не опаздываю. Я спешу, как спешат на праздник из боязни, что он начнется без тебя. Моя работа и есть праздник, каждый день замирающий, оживающий вновь на другой день. Праздник, принадлежащий мне одной и всем зрителям, всем зрителям и мне одной. Я выхожу из дома уже не очень молодой женщиной, со своими тревогами, со своими заботами, я думаю об обеде, который не успела приготовить, о белье, которое не успела — так старалась и не успела! — выстирать, о неоплаченных счетах — не было денег! — о лекарстве — опять принять забыла! И еще: о двойках сына Алика.

Вот какой у меня груз мыслей, когда я выхожу из

дома. Но по пути в театр со мной происходят совершенно необычайные перемены: мои мысли меняются, тревоги затихают. Я забываю про неоплаченные счета и недоставленное белье, про перегоревший утюг, про засорившуюся раковину. А то, что у моего сына опять двойка, так это с каждым может случиться. Подумаешь — двойка! Стоит из-за этого расстраиваться? В следующий раз решит задачку правильно или спишет у кого-нибудь.

Я выхожу из дома женщиной, а в пути со мной происходят такие перемены, что к зданию театра я подхожу... мальчишкой. На мне еще джинсовая юбка, батник и легкая косынка вокруг шеи, я еще продолжаю держать в руках дамскую сумочку, но я уже мальчишка. Я подхожу к двери театра, щелкаю бронзового льва по носу и пытаюсь вырвать из его пасти кольцо.

Но вот я захожу в свою комнату — артистическую уборную и, сбросив батник и юбку, натягиваю потертые мальчишеские штаны, рубаху без двух пуговиц, ботинки со сбитыми каблуками, потом надеваю желтый парик, поверх его беретик с суконной вермишелинкой на вершукше — и окончательно превращаюсь в мальчишку.

Теперь я жду звонка. Меня слегка познабливает, хотя в театре тепло. Это от волнения. Словно мне предстоит совершить что-то в первый раз. Каждый день, как новичок, боюсь переступить границу между кулисами и сценой.

Раздается звонок. Второй. Третий. Я делаю глубокий вдох и выхожу на сцену.

Множество огней, театральных фонарей — софитов светит мне в глаза, и от этого зрительный зал кажется большим темным провалом. Я не вижу зрителей, но, даже когда в зале совсем тихо, я чувствую близкое их присутствие — слышу их дыхание, сопение, слышу, как бьются их сердца. Как бьются и как замирают.

Я выхожу на сцену, и все мальчишки, сидящие в зале, через пять минут — мои! Они пойдут туда, куда я их

поведу. Если скажу острое словечко — захохочут, грохнут, как по команде. Будут хлопать мне, а если очень разволнуются, то затопают ногами, и театр вздрогнет, как от подземных толчков. Они будут кричать, когда надо подбодрить, а если в пьесе меня кто-нибудь посмеет обидеть, они еле сдержатся, чтобы не сорваться с места и не броситься на сцену на помощь. Девчонки в зале сидят тихо. Некоторые шепотом даже осуждают меня, веселого хулигана, но в глубине души я им здорово нравлюсь, и они, стыдясь этого тайного чувства, краснеют. Хорошо, что в темном зале не видно, как они краснеют.

Иногда мне приходится играть очень «плохих» мальчишек. И тогда взрослые недовольны. Они говорят, что своей непосредственной игрой я подаю детям плохой пример. И получается, что чем лучше я играю, тем хуже. Я молчу. Не спорю. Слушаю и молчу. Я-то знаю, что в тех, кого называют плохими мальчишками, все равно есть хорошее, только оно, это хорошее, скрыто очень глубоко. Я же стараюсь, чтобы ребята, сидящие в зале, заметили это скрытое хорошее, чтобы те «плохие», которые пришли в театр, сумели бы лучше разобраться в себе и отыскать в себе что-то хорошее. Хорошее, за которое редко хвалят, не ставят пятерки, не дают грамот, просто не замечают.

Я — травести. Я понимаю мальчишек, а они понимают меня. Они сидят в зрительном зале, а я действую на сцене. Но весь спектакль мы вместе. Мы крепко дружим и как бы разговариваем друг с другом. Тайно разговариваем, словно у меня и у них есть такие секретные аппараты для переговоров.

Многие думают, что артистом быть легко, что артисты говорят, делают одно и то же, заученное раз и навсегда. Но это не так. Мне кажется, что каждый раз, когда я выхожу на сцену, я все делаю в первый раз. Ведь в зале каждый раз сидят новые зрители, и я должна убедить их в чем-то, а не механически повторять заученное. А вдруг

мне это не удастся, и они, мои дорогие зрители, уйдут из театра такими же, какими пришли. И в них не произойдет никаких перемен.

Когда спектакль заканчивается и две половинки занавеса соединяются, я чувствую себя счастливой и усталой.

Я опускаюсь на стул перед зеркалом. Из рамы на меня пялит глаза желтоволосый мальчишка с удивленно поднятыми бровями. Остроносенький, скуластый. Я смотрю в зеркало и чувствую, что мне не хочется расставаться с ним, ведь мы хорошо потрудились.

Но пора возвращаться в жизнь. Я поднимаю руку, вцепляюсь в жесткие волосы и стаскиваю с себя парик. Кромка парика перестает давить, и шпильки, которые держат парик, уже не впиваются в голову. В мальчишке сразу происходят перемены, он становится темноволосым, но он еще есть. Тогда я намазываюсь вазелином, беру полотенце и прячу в него лицо. И тру, тру, как бы сдираю мальчишечью личину. И лишь когда щеки, нос и подбородок начинают гореть, отрываю от лица полотенце.

Нет его! Исчез! Из зеркала на меня смотрит усталая женщина с горящим лицом, спутанными волосами. Только глаза остались от того мальчишки. И никуда не денешь эти мальчишеские глаза. Остались. Смотрят — темные, острые, насмешливые.

Я облегченно вздыхаю и иду домой. Постепенно я забываю о нем, о желтоволосом. Он как бы отстает от меня, теряется в городских улицах. Ко мне возвращаются мои женские мысли. И я начинаю думать о сыне, об Алике.

2

Прежде чем появился Алик, я встретила Антея.

Я встретила его на вокзале. Поезд вот-вот должен был отойти, а я с трудом тащила по перрону огромный, тяже-

лый чемодан. Казалось, не я держала свою поклажу, а чемодан схватил меня за руку, не пускал, хотел, чтобы поезд ушел без меня.

И тут откуда-то появился высокий, худой, обожженный солнцем парень. Может быть, он и не был таким уж высоченным, но рядом со мной все кажутся выше, чем на самом деле.

Он, худой, поравнялся со мной и сказал:

— Позвольте, я поднесу ваш чемодан не как носильщик, но как рыцарь.

Какой там рыцарь! В пиджаке с короткими рукавами и в огромных потертых кедах, в какой-то рыжей шляпе. Но пока я разглядывала его и раздумывала, он взял из моих рук чемодан, и я сразу почувствовала легкость удивительную, прямо-таки невесомость. Вот-вот полечу над землей. Я зашагала быстро-быстро, и он, мой добровольный рыцарь-носильщик зашагал быстро-быстро, словно в руках у него был не мой чемодан, а чей-то пустой и легкий. Мне показалось, что эта прекрасная легкость исходит от него и что, пока он будет рядом, мне будет легко и весело.

Потом, уже в поезде, он сказал, что его зовут Антей, это его так отец назвал: время было тяжелое, военное, не было даже пеленок, и его, новорожденного, заворачивали в газету, как селедку. Он так и сказал: как селедку. Тогда отец решил — пусть имя у него будет красивое и сильное. И назвал Антеем.

Так мы ехали в поезде с Антеем. Мы стояли в коридоре. Все пассажиры уже спали на своих полках, а мы стояли. И он все рассказывал, рассказывал. И постепенно мне начало казаться, что я не просто уезжаю, а он увозит меня. Потом стало казаться, что мы едем не с вечера, а уже очень давно: всю жизнь так стоим у окна и едем. И нам не скучно.

Когда начало светать за окном, показалось какое-то

мелкое плоское озерцо. И на его глади — два белых пятна.

— Смотрите, снег! — сказала я.

Мне почему-то показалось, что в воде плавают два комочка снега.

— Это не снег, — сказал Антей. — Это лебеди. Летят на север. И приводнились отдохнуть.

Я никогда не видела диких лебедей. Только читала про них. Они показались мне очень обыденными, похожими на два комка снега. И не верилось, что они полетят. Они были какими-то неподвижными. Но они полетели. Поезд уже начал удаляться, а я все косила глаза на лебедей. И они полетели. Так просто оторвались от воды и полетели.

— Летят, — прошептала я.

— Конечно, летят, — кивнул Антей так, словно для него это было в порядке вещей.

И вдруг я почувствовала, что уже не смогу поднять свой чемодан, мне нужен Антей. Не как носильщик, но как рыцарь.

Потом он стал моим мужем.

Потом у нас родился Алик.

Когда я появляюсь на сцене в потертых штанах и в рубахе без двух пуговиц, когда я хожу колесом и свищу, сложив два пальца колечком, трудно представить, что я мать и что у меня есть Алик. И что я иногда играю собственного сына.

Алик помогает мне. Я присматриваюсь к нему и к его товарищам. Я запоминаю их словечки, их повадки, манеры, хотя это не всегда достойно подражания. Но я хочу, чтобы ребята, сидящие в зале, узнавали себя и своих товарищей. Алик не знает, что я учусь у него. Это моя тайна.

Но есть вещи, которым я не хочу учиться. Не могу. Есть вещи, от которых я хочу отучить его самого. И когда мне это не удается, я испытываю боль.

Когда Алик был маленьким, мы жили с ним хорошо и дружно. Вместе занимались: он учил таблицу умножения, а я учила роль. И мы проверяли друг друга. Он выучивал мою роль раньше, чем я. Такая у него была память.

С ним случались забавные истории.

Помню, Алик заболел ангиной. Мне посоветовали наварить картошки и дать ему подышать паром. Хорошее народное средство. Я так и сделала. Посадила Алика над кастрюлей и накрыла платком. Он сидел тихо. Я забеспокоилась: уж не заснул ли?

— Как ты там? — спросила я Алика. — Все?

— Еще не все, — слышался из-под платка глухой голос.

Значит, не спит. Значит, дышит.

Наконец он откинул платок и сказал:

— Все!

Лицо было красное, волосы взлохмачены, глаза блестели.

Я взяла кастрюлю и увидела, что она... пуста.

— Где картошка? — воскликнула я.

— Я ее съел...

Оказывается, он решил, что для поправки надо съесть кастрюлю картошки, и съел.

— Теперь я поправлюсь? — спросил мальчик.

Я рассмеялась.

Но он все же поправился.

А наш папа Антей был гидрологом, и все плавал на своем научном судне, и каждый раз по возвращении привозил разные диковины: сушеных омаров, зубы кашалотов, маски из дерева, которое тонет в воде. Однажды он привез меч от меч-рыбы. Он приделал к рыбьему мечу рукоятку — получился прекрасный меч. Когда Алик ложился спать, он клал меч рядом с собой на одеяло.

— Знаешь, черногорцы кладут в колыбель своим детям оружие, чтобы они росли смелыми воинами, — говорил сыну Антей.

— Я тоже буду воином,— отвечал Алик.— А потом я буду артистом, как мама.

Алик пошел в школу. Он очень гордился, что его мама артистка. Он любил при удобном случае сказать:

— А моя мама артистка!

Во втором классе к слову «артистка» он стал прибавлять «знаменитая». Его спрашивали, как ее фамилия. Он с гордостью отвечал: «Семибратова Елена Юрьевна». И потом добавлял: «А мой папа — Антей».

Однажды весь его класс пришел к нам в театр. Когда подняли занавес и я появилась на сцене, Алик стал шептать направо и налево:

— Это моя мама... Моя мама это...

Ему никто не верил. Ребята отмахивались от него.

— Врешь! Это Гаврик, а не мама. Не мешай!

Но он продолжал шептать:

— Это моя мама... Моя мама это...

Его кто-то пнул в бок.

— Все равно мама... это.

Но к концу первого акта, захваченный действием, он уже сам забыл, что на сцене мама. Он поверил в Гаврика, как все ребята. А мама незаметно отступила в тень.

Мой сын Алик гордился мной. Моим искусством. Он любил бронзового льва на дверях нашего театра. Любил лабиринт закулисных помещений. Запах грима. Запах краски. Таинственный мир декораций. Пустую сцену, похожую на палубу корабля. Он любил театр моей любовью, словно унаследовал ее от меня.

Я не заметила, как это случилось. Мы с Аликом стали видаться редко. У него появились свои дела, у меня свои. И получилось, что жили мы в одном доме, под одной

крышей, а расстояние между нами вдруг увеличилось, словно мы разъехались и живем далеко друг от друга.

На мой вопрос: «Как дела?» Алик почти всегда отвечал одно и то же: «Нормально». Все всегда у него было нормальным. Сперва это слово действовало на меня успокоительно. Нормально — значит, все хорошо, ладно, никаких неприятностей. А потом...

Меня вызвали в школу. Алик стал пропускать уроки, хватал двойки, плохо вел себя в школе. Ему всегда не хватало денег, которые я давала на завтраки, на троллейбус, на кино. Он стал поздно возвращаться. «Где был?» — «У товарища». От него стало пахнуть табаком... А ответ был один — «нормально». Нормально, когда все было ненормально.

Неожиданно я открыла для себя тайный смысл этого слова. На языке Алика «нормально» означало: «Отвяжись, не желаю я с тобой откровенничать, не желаю делиться своими переживаниями».

Я бралась за перо и писала Антею, который «разъезжал по всему шару»: «Что нам делать с Аликом? Он стал чужим и холодным. Я чувствую, что с ним происходит что-то неладное. И у меня нет времени заняться им всерьез».

И с другого конца света пришел ответ: «Вернусь и займусь им как следует».

Антей возвращался. Привозил подарки. Алик был теплым и приветливым, он любил подарки — «иностранные шмотки». И казалось, что все наладилось. Но это только казалось. Антей уплывал. И снова: «Как дела?» — «Нормально».

Однажды Алик спросил меня:

— Мама, ты могла бы уйти из своего театра?

Этот вопрос был так неожидан для меня, что я ответила не сразу, замешкалась с ответом.

— Как уйти... Почему уйти? Ведь театр — мой дом.

— Но ведь есть много взрослых театров, ты могла бы играть там.

Ах вот оно что! Алик не хотел, чтобы я служила в детском театре. Он был в том возрасте, когда с презрением относится ко всему, что имеет отношение к детству: не читает детских книг, не ходит на детские фильмы, и если мама артистка, то пусть будет артисткой настоящего театра, а не какого-то детского. Ну, это естественно. Ничего страшного в этом нет.

— Зачем это, Алик? — Я постепенно приходила к себе. — Мне хорошо в моем театре, в другом театре я не нужна, ведь мое амплуа — травести, мое место в детском театре.

— Все это верно, но нельзя быть вечно травести. Настанет день...

Мне показалось, что он сжал мое сердце в кулаке. Так сжал, что не продохнешь. Он нащупал болезненное место, болевую точку и нажал.

— Разве я не прав?

— Ты прав, — глухо сказала я. — Но до этого дня еще далеко.

Он спокойно посмотрел на меня. Спокойно и как-то оценивающе. И произнес холодно, как приговор:

— Как знать... Впрочем, тебе жить.

И ушел.

Антей! Где ты сейчас, Антей? В каких морях и океанах? Приди скорей, Антей, не как муж, но как рыцарь. Защити меня от самой суровой в мире жестокости — жестокости сына. Канарские острова, острова Зеленого Мыса, Огненная Земля... Где ты, Антей? Я упала на диван и заплакала. Я не просто плакала. Я оплакивала себя. Мне нестерпимо было жаль себя. Никогда еще мне не было так жаль себя. Сердце больно стучало. Оно слало свои тревожные радиogramмы во все концы света. Где ты, Антей?

А вечером опять спектакль.

Я пришла в театр. Села перед гримерным столиком. Надела парик, помазала лицо оливковым маслом — я всегда перед гримом мазала лицо оливковым маслом. Потом взялась за грим. Я клала грим густыми мазками. Но странное дело: мальчишка не появлялся. На меня из зеркала смотрела несчастная женщина, смотрела сквозь толстый слой грима. И в глазах, в живых черных глазах вместо обычного озорства из глубины смотрела печаль. Я чувствовала, что он, мой желтоволосый, не придет, я не смогу играть. Получится обман, а не игра.

Я сидела с закрытыми глазами, и тут кто-то потряс меня за плечо:

— Лена! Что с тобой?

Я оглянулась.

За спиной стояла моя подруга, артистка Галина Лужина.

— Галя! — Я обрадовалась, что она пришла. — Галя, я не могу играть... Я играть не могу!

— Ты заболела?

— Я постарела. У меня не получается мальчишка. Я старая баба.

— Замолчи! — Она прикрикнула на меня. — Замолчи! Ты актриса или размазня? Возьми себя в руки. Встань!

Она не произнесла, а скомандовала: «Встань!» Я послушно встала.

До начала спектакля оставались считанные минуты. И тут, я не знаю, откуда он взялся, этот проклятый мальчишка! Я как бы вспомнила, что я не просто женщина, мать, я артистка, артистка-травести. Я приказала мальчишке: явись, защити меня! И он явился. Я подняла глаза и увидела желтоволосого, скуластого, с озорными глазами. Боль отпустила меня. Я услышала гул множества ног и почувствовала, как подземные толчки сотрясают

театр. Значит, зрители входят в зал. Штурмуют его, как крепость. Я воткнула в парик две шпильки, чтобы крепче держался, и вышла в коридор.

Через несколько дней в доме появился Антей. Словно услышал тайный сигнал и примчался, мой верный друг. На этот раз он привез огромную морскую звезду кораллового цвета с шершавыми краями.

Увидев звезду, Алик улыбнулся и сказал:

— Звезда мировецкая... — И тут же, отвернувшись от звезды: — Отец, ты же обещал привезти мне американские джинсы.

— Я привез тебе джинсы, — сказал Антей и протянул сыну подарок.

Алик принял подарок, осмотрел его оценивающим взглядом, долго разглядывал яркую этикетку и наконец выдохнул:

— Отец, ты гений!

В какое-то мгновение он напомнил мне дикаря, который радуется дешевому зеркальцу. Но это мгновение прошло, и в доме наступил праздник.

Я не стала рассказывать Антею про свой разговор с сыном. Зачем огорчать его? Ведь он так редко бывает дома, и для него дом и праздник были одним и тем же. Кроме того, я уже не так остро чувствовала боль, которую доставил мне разговор с сыном. Мне уже стало казаться, что я преувеличила значение его слов. Я дала себя уговорить. Я уговорила себя. Морская звезда, привезенная от берегов Новой Зеландии, светила как звезда счастья.

4

Здравствуй, лев! Я берусь за кольцо и тяну на себя, а лев. тянет на себя, мы как бы играем в игру — кто кого перетянет. И я — маленькая, хрупкая — оказываюсь

сильней. Я перетягиваю. Открываю тяжелую дверь и вхожу в театр. И я опять перед туалетным столиком. Превращаюсь из женщины в мальчишку. Желтый паричок... Удивленно приподнятые брови... И прощайте, Елена Юрьевна! До скорого свидания. Первый звонок. Второй...

И каждый раз это похоже на пуск ракеты. Три, два, раз. Пуск! Дым и пламя. Грохот двигателей. Нет, не двигателей, а сердца. Сердце грохочет, когда делаю решительный шаг и попадаю на сцену. Из одной стихии в другую. С земли в космос.

Все системы работают нормально. Самочувствие космонавтов хорошее.

Я стою на бочке, а у моих ног стоит Сенька Шубин (артистка Галина Лузина). Его красное, веснушчатое лицо на уровне моих коленок. Он дышит мне в колени. Он говорит:

— Поклянись!

И я с бочки произношу:

— Слово мужчины!

Он сопит мне в колени. Не слышит, что ли? И тогда я еще громче говорю:

— Слово женщины! Не слышишь, что ли?

Все по пьесе, и по пьесе он должен ответить:

— Ешь землю!

Он не успевает заставить меня есть землю, из зала, как брошенный камень, летит чей-то скрипучий голосок:

— Не верь ему... Он... он... тетка!

«Тетка»! Мое сердце останавливается. Я теряю равновесие. Словно тот скрипучий голосок сбил меня с бочки. Сбил меня с роли. Сорвал желтый паричок, размазал по лицу грим.

Сенька Шубин — артистка Галина Лузина — краснеет еще гуще. Растерялась. Не знает, что делать.

Зал замер. Скрипучий голос еще дрожит под сводами долгим, не проходящим эхом. Я представляю себе это-

го примерного мальчика, который в классе сидит на первой парте и без конца тянет руку: все знает. Редкие зубы, белый воротничок, ботинки блестят, начищены. Я вижу его в темном провале зала, и мне хочется сбежать туда, в партер, отыскать своего разоблачителя и вцепиться ему в волосы. Я найду его даже в темноте. Каким-то шестым чувством найду.

В зале уже поднимается легкий шумок. Дети не знают жалости. Они еще испытали слишком мало боли, чтобы подумать о чужой боли. Они не верят в нее. Этот обладатель скрипучего голоса наверняка радуется: сделал открытие, проник в чужую тайну, в самую сердцевину этой тайны, и чувствует себя героем.

А я стою беспомощная, раздавленная словом «тетка». Мне кажется, что сейчас закроется занавес и моя жизнь кончится. Он убил меня, этот мальчик с ровной шелковистой челкой и редкими зубами.

И вдруг мое остановившееся сердце вздрогнуло, встрепенулось, заработало. Какая-то пружина разжалась, я вновь почувствовала себя мальчишкой. Мальчишка подпрыгнул, потом засунул в рот два пальца, сложенные колечком, и свистнул так, что театр вздрогнул. Потом подскочил к Сеньке Шубину и ловким приемчиком сбил его с ног. Потом встал на руки и пошел на руках, над собственной головой согнув ноги в коленках.

Из груди замершего зрительного зала вырвалось — ох! В следующее мгновение зал аплодировал. Зал хлопал с каким-то послегрозovým облегчением, хлопал от счастья, хлопал не только мне, но и себе за то, что не ошибся, не поверил скрипучему голосу. Все в порядке. Все как надо. Мальчишка и есть мальчишка! Никаких теток!

Я не знаю, что случилось со скрипучим голосом. Вернее, убеждена, что он тут же забыл про свое открытие — про «тетку» — и хлопал вместе со всеми.

Но одним свистом и хождением на руках победу не

одержишь. Наступил перелом, а дальше надо было закрепить его.

Все мои средства были пущены в ход: рот, глаза, брови, голос. Мой резкий мальчишеский голос, который остается со мной, даже когда я без грима и без парика. Меня по телефону принимают за мальчишку, говорят: «Позови кого-нибудь из старших».

По пьесе у меня не было больше реплик. Я должен был гордо удалиться. Но я не удалялся. Я говорил:

— Ты не веришь мне? Можешь не верить. Очень-то надо, чтоб ты мне верил! Катись отсюда, пока не схлопотал еще!

Мой партнер — моя партнерша Галя Лужина — растерялся. Он что-то бормотал и все ходил вокруг бочки. Так ходил, что голова закружилась.

А я играла. Играла так, как давно не играла. Словно мне в грудь вложили настоящее мальчишеское сердце и на моих плечах голова с мыслями, переживаниями, заботами и радостями — тоже мальчишеская. Нет, я не играла, я жила жизнью мальчишки, потому что в тот день, как никогда, жизнь мальчишки была моей жизнью.

Когда две половинки занавеса поплыли одна навстречу другой и наконец слились, я закрыла глаза и почувствовала страшную усталость, словно проделала долгий тяжелый путь. Ноги не держали меня, а сцена качалась, как палуба корабля во время шторма. Стараясь удержать равновесие, я медленно побрела прочь.

А потом я долго сидела перед зеркалом, не решаясь стянуть парик и снять с лица грим. Мне казалось, что если я сделаю это, то уже никогда не смогу вернуть себе мальчишку и навсегда останусь «теткой».

И вдруг я услышала звук трубы — плавный, утробный, жалобный. Я пошла на звук. Он привел меня на сцену. На пустой сцене стоял музыкант и играл на валторне. Валторна поблескивала в его руках, как огромная

серебряная раковина, только что выловленная в море. Музыкант припал к ней и что-то нашептывал, о чем-то тайно просил раковину-валторну, а она пела, отвечая на его трудные вопросы. Пустой зрительный зал был заполнен этим протяжным звуком. Сперва труба пела грустно, а потом заиграла что-то веселое.

Но валторнист заметил меня и опустил трубу, и звук оборвался, хотя еще несколько мгновений, как тень звука, в зале держалось эхо.

Я пришла домой почти спокойная, но отголосок пережитого еще звучал во мне, как звук умолкшей валторны звучал в пустом зале.

Алик не вышел меня встречать. С некоторых пор он перестал выходить: был очень занят.

Я разделась. Позвала его. Он пришел.

— Как дела?

На этот раз я ответила ему:

— Нормально!

Он собрался было вернуться к своим делам, но я удержала его:

— Подожди.

Он вопросительно посмотрел на меня.

— А ведь ты оказался прав,— сказала я сыну,— сегодня один мальчик на спектакле крикнул: «Тетка!»

Я была уверена, что он будет утешать меня. Скажет: «Ерунда, не обращай внимания, всякое бывает!» Может быть, обнимет меня... Ничего такого не сказал Алик и не обнял.

— Я ж тебе говорил!

Мне показалось, что Алик даже радуется тому, что произошло сегодня на спектакле. Мне стало горько. Я вспомнила старую украинскую песню про кузнеца и его мать. Кузнец хочет убить мать и руками достает из горна раскаленное железо, а мать волнуется, что он обожжет рученьки.

— Ты радуешься? — спросила я.

— Я ж тебя предупреждал,— бесстрастно повторил сын.

— Но все обошлось благополучно! — с вызовом сказала я.— Я сумела убедить зал, что я мальчишка... Они тут же забыли про тетку.

Он внимательно посмотрел на меня и ничего не сказал. Он сдержался, но в его холодных глазах я прочла то, что он хотел сказать: сегодня забыли, завтра вспомнят, сегодня не прогнали, завтра прогонят, освищут...

— Иди,— глухо сказала я,— занимайся своими делами.

— Напрасно ты сердишься,— сказал он и пошел прочь.

Я осталась одна. Но со мной было мое искусство. Его великая сила. Я подумала: ведь зрители читают программу, и там написано, что роль мальчишки играет женщина. Никаких секретов нет, но, когда раздвигается занавес, они забывают о том, что в программе. Горечь и веселье переплетались во мне. Я не знала, что делать, где искать успокоения от клокотания противоречивых чувств.

Я посидела на краешке дивана. Потом встала и решительно стала одеваться.

Вы когда-нибудь слышали шепот звезд, невнятный, как бы срывающийся с дрожащих губ? Его можно услышать только очень морозной ночью, когда дыхание замерзает, превращается в ледяную паутинку и издает шорох. Этот шорох и называется шепотом звезд. Но может быть, звезды тут ни при чем? И это шепот твоей печали, твоей тревоги? А звезды безмолвствуют, острыми осколками светят в своей недоступной, непостижимой вышине, вдали от наших тревог и печалей.

Я иду по ночному городу растерянная и опустошенная, я потеряла сына. И теперь ищу его. Сейчас он дома, лежит в своей постели, спит. Но я его потеряла.

И я иду по безлюдным улицам в поисках сына. Я ищущего не в уснувших домах, не в пустынных подъездах, не в вечной суете вокзалов. Я ищущего в своем сердце. Ищущего...

Скрип шагов. Удары сердца, шепот звезд.

Это не звезды, это я шепчу: «Алик, где ты? Алик, вернись! Алик, стань тем, кем ты был, — стань моим сыном. Моим сыном стань!»

Мне самой хочется потеряться, исчезнуть, раствориться в безмолвии ночи, превратиться в порыв ветра. Но я не могу оставить его одного, моего потерянного сына. Ведь он тоже страдает. Может быть, у него тоже потеря — потерял мать. Нет, дети страдают не от того, что потеряли, они страдают от того, что не нашли.

Я потеряла, он не нашел. И поэтому мы оба одиноки.

Когда человек не знает, куда идти, он, как конь, идет к дому или к стойлу. Ночные улицы привели меня к театру. Театр — мой второй дом. В театре я не одинока. В театре я почти всегда счастлива.

Я подхожу и останавливаюсь перед закрытой дверью. Большие матовые шары не горят. В окнах — черные стекла ночи. Лев дремлет, не выпуская из зубов кольца. Театр, мой родной театр спит, отдыхает, набирает сил к завтрашнему дню.

Театр, помоги мне, спаси меня от одиночества, найди мне сына!

Мои губы шевелятся, шепчут. Их шепот похож на молитву. Это я молюсь сама себе. Сама себе рассказываю свою жизнь. Я потеряла сына. Мне надо держаться, чтобы не потерять себя. Чтобы себя не потерять.

Через несколько дней мы беседуем как ни в чем не бывало.

— Знаешь, мать, вчера я был в твоём театре. — Алик со временем стал называть меня не мама — мать. — Со-

вершенно случайно. Инкогнито. Некуда было деваться. А в вашем театре были билеты. Я, наверное, погорячился... в полемическом задоре. Ты играешь, конечно, здорово. Талант есть талант... Но что я тебе хочу сказать: такое впечатление, что на сцене идет историческая пьеса. Нет сейчас таких ребят. Теперь ребята действуют иначе и говорят иначе. А говорят они иначе потому, что чувствуют иначе. На что-то смотрят проще, на что-то сложнее.

Я была удивлена. Давно уже не слыхала от сына рассуждений. Я даже обрадовалась и приняла его вызов.

— По-твоему, Алик, если вместо «познакомь меня с девушкой» сказать «скадри мне чувиху», многое изменится?

— По крайней мере, речь будет современной, — ответил Алик.

— Но не все же сегодня называют девушек чувихами.

— Не все. Но это примета времени.

— А в произведениях классиков девушек именovali барышнями. От этого их произведения не утратили силу. Настоящие пьесы пишутся на долгие времена. Театр должен не только отражать, но и подавать пример. Увлекать. Разве ты не согласен?

— А если театр оставляет равнодушным?.. В твоём театре очень много умиления. Наши ребята жестче. Решительней. Самостоятельней.

— Суше и черствее, — продолжила я его речь. И спросила: — А ты с кем был с театре?

— С девушкой.

— Большого ты мне не хочешь сказать?

— Ее зовут Алла. Между прочим, наши взгляды на искусство совпадают.

Я люблю после спектакля побыть одна в гримерной. Сесть в кресло, закурить сигарету, закрыть глаза и не спеша вернуться на землю, превратиться в самое себя.

В этот день я так устала, что даже не сняла костюм, не стерла грим — так и плюхнулась в кресло.

И тут кто-то тихо, неуверенно постучал в дверь.

— Да! — Я открыла глаза.

Но, видимо, мое «да» прозвучало недостаточно громко, потому что за дверью его не услышали и постучали снова.

— Входите, входите!

Дверь медленно отворилась. На пороге стоял Гоша — давний приятель сына. У него было плоское круглое лицо, похожее на луну, какой ее рисуют дети: широко расставленные глаза, широкий нос, рот скобочкой.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Алик относился к Гоше покровительственно, он как бы перерос Гошу, стал взрослее его. Гоша вообще был неторопливым, с замедленной реакцией.

Гоша молчал. Чтобы как-то начать разговор, я спросила:

— Ты был на спектакле?

— Не-ет.

— Как же ты попал сюда?

— Я к вам... специально...

Тут он запнулся, а я впервые почувствовала смутную тревогу. С какой стати Гоша специально приходит ко мне в театр?

— С Аликом ничего не случилось? — спросила я и почувствовала, как сердце начало биться сильнее.

Мой гость покраснел, переступил с ноги на ногу; он мучительно искал нужные слова, чтобы объяснить цель

своего прихода. Но не нашел этих слов и ответил просто и... страшно:

— Тут ребята собираются бить Альку... Они будут ждать его у изостудии.

— Что ты говоришь, Гоша? Почему бить? Ты ничего не путаешь?

Гоша покачал головой.

— Но расскажи подробнее. — Я не на шутку разволновалась. — За что?

— Не знаю, — пробурчал нежданный гость, — слышал, что собираются. Я пойду, ладно?

— Иди, Гоша, иди.

Я проводила его до двери и осталась одна со своей тревогой. Эта тревога нарастала, заполняла мою грудь, всю меня, весь мой мир. Я почувствовала, как испарина покрыла лицо и ноги стали слабыми. Я опустилась на стул.

Что делать? Звонить в милицию? Немедленно бежать в изостудию и предупредить Алика? Надо что-то делать. Я вскочила с места и стала ходить по комнате, как ходят, когда спешат, а нужная вещь куда-то запропастилась.

Мысль работала напряженно: я должна спасти его, я должна быть рядом.

Властный порыв подхватил меня и понес вперед. Я выбежала в коридор, накинув куртку, с грохотом сбегала по лестнице с железными ступеньками, пронеслась мимо удивленного вахтера и очутилась на улице.

В лицо ударил резкий ветер. Сгущались сумерки, фонари еще не зажглись. И город как бы отступил в тень. Было скользко, вечерний морозец успел прихватить мокрые тротуары. Мчались машины. Сухо хлопали крыльями голуби. Какая-то старушка шла, бессмысленно поднимая над головой раскрытый зонтик, никакого дождя не было. Я прошла один квартал, второй, вышла на набережную. И вдруг провела рукой по голове и почувство-

вала, что на мне парик. Только тогда я поняла, что убежала из театра в гриме и костюме моего героя. Как была на сцене, так и выбежала на улицу.

Моей первой мыслью было вернуться в театр. Стереть грим. Снять костюм мальчишки. Но я боялась опоздать к Алику, боялась, что, пока я буду бегать в театр и приводить себя в порядок, он может выйти из изостудии. И тогда... Ладно, я объясню им, что пришла прямо со сцены. Я все объясню им.

Никогда мне не доводилось идти по городу в парике и в гриме. Я думала, что люди будут останавливаться, указывать на меня, посмеиваться. Но, присмотревшись к прохожим, я убедилась, что никто не обращает на меня внимания. Для всего города я была не артисткой, сбежавшей из театра в костюме своего героя, а обыкновенным мальчишкой. Просто мальчишка. Воротник поднят, волосы мысиком спускаются на лоб, стоптанные тяжелые ботинки. А может быть, ребята, которые ждут Алика, тоже примут меня за мальчишку и мне будет легче с ними договориться. Уж очень унижительно матери просить, чтобы не били ее сына.

В какой-то миг от этого открытия я почувствовала облегчение, как будто я не одна, а со своим верным другом. «Помоги мне,— сказала я ему, и он одобрительно кивнул головой мне.— Ты умеешь ладить с мальчишками, с этим непонятным диким народом, ты можешь постоять за себя и за других, когда надо».

Я спешила... Расталкивая встречающих, перебежала дорогу под носом у машин. Еще не знала, что я сделаю, что скажу мальчишкам, поджидающим Алика у входа в изостудию. Полностью доверилась своему желтоволосому двойнику. Мне предстояло сыграть самый трудный спектакль в моей жизни.

Стемнело. Под ногами похрустывал ледок. И казалось, что я иду по непрочному льду. И в любой момент лед мо-

жет проломиться под моими ногами и черная холодная вода поглотит меня.

Но я не просто шла, а сочиняла роль. Решала, какую роль надо сыграть, чтобы спасти сына. Героя? Простака? Хитрого делягу? Я вспомнила разговор с Аликом о современных подростках. Здесь надо играть современного. Здесь с простачком ничего не выйдет. Простачок может дать в морду и получить сдачи. Вот и все дела.

Их надо удивить, поразить чем-то необычным и хладнокровным отношением к необычайному. Я сунула руку в карман куртки и обнаружила пачку «Кемел». В другом кармане лежала зажигалка «роллес». Я почувствовала, что иностранная экзотика может пригодиться.

У студии я очутилась быстрее, чем рассчитывала.

Кучка ребят топталась у входа. Их было трое. Среди них выделялся рослый парень в вязаной шапке с помпоном, какие носят лыжники, и в куртке на «молнии». У него был нос с горбинкой и не в меру полные губы. Его называли Арсением — это я узнала, прислушавшись к разговору ребят. Другой, Гена, был худенький, тонкий, глазастый, с вьющимися волосами, которые выбивались из-под шапки и доходили сзади до воротника. Третьего звали Шуриком. Он беспрестанно подтягивал брюки, которые были ему великоваты.

Такая это была компания.

Я остановилась неподалеку. Надо было заговорить с ребятами естественно и непринужденно, скрыть свою неприязнь. От того, как я заговорю с ними, многое зависит. Еще лучше, чтобы они сами заговорили со мной.

Я достала из кармана пачку и зубами вытянула сигарету, затем щелкнула зажигалкой, зажатой в вытянутой руке. И широким движением поднесла огонь к кончику сигареты. Я здорово сыграла завязатого курильщика. Рослый парень с помпоном сразу обратил на меня внимание. Небрежно, через плечо, он спросил:

— Ты что здесь делаешь?

— Жду приятеля,— небрежно ответила я.

Он отвернулся. Значит, поверил, что я парень. Значит, первое испытание я, можно сказать, выдержала. Через некоторое время он снова повернулся ко мне.

— Закурить есть?

— «Кемел» годится?

— Годится,— пробормотал он.

Я протянула ему пачку американских сигарет с одногорбым верблюдом на этикетке. Протянула не спеша, можно сказать, царственным жестом. И не успел парень поднести сигарету ко рту, как я щелкнула своим «роллесом». Он закурил, и я почувствовала, что они смотрят на меня с интересом.

— У тебя отец плавает? — спросил он, имея в виду, где я достаю американские сигареты.

— Надо иметь голову на плечах,— ответила я,— и будет все. И «Мальборо» и «Филипп Морис».

— Конечно,— согласился со мной парень.— Конечно...

Тут остальные дружки как бы нехотя, вразвалочку потянулись ко мне. Я молча протянула им пачку. Также молча они вытянули по сигарете, я щелкнула зажигалкой. Шурик, тот, у кого спадали штаны, закашлялся, видимо, был новичок в курении. Худой, тонкогубый Генка курил нормально, при этом он смотрел на меня сверлящим холодным взглядом, и мне казалось, что он проник в мою тайну или вот-вот проникнет.

А вся компания уже дымила и была очень горда тем, что дымит. А я стояла — стоял! — в середине с независимым видом и время от времени сплевывала в сторону. Это у меня всегда здорово получалось на сцене.

Мы болтали о всякой всячине, болтали и курили. А тонкогубый Генка не сводил с меня своих сверлящих внимательных глаз. Чувствовал что-то неладное, и мне казалось, что он вот-вот разоблачит меня.

Вдруг он резко сказал:

— Ладно, до следующего раза!

— Что до следующего раза? — спросила я.

Он посмотрел на меня так, как будто все знал, и сказал:

— Наша приятная встреча.

Я не сдвинулась с места, хотя понимала, что он может ударить меня и остальные поддержат его. Они и без того были настроены воинственно. Но я не испугалась. Я подумала об Алике.

— Гуляй отсюда! — жестко сказал Генка.

А вот как раз «гулять отсюда» я и не могла, должна была оставаться здесь, чего бы мне это ни стоило.

— Не возникай! — глухо сказала я и зло — как только могла, зло! — взглянула в глаза Генке.

Хорошее словечко я нашла — «не возникай». Точное. Он замолчал. Отвернулся. И тогда, чтобы смягчить впечатление, я сказала:

— Может быть, пройдемся.

— Куда пройдемся? — тут же полюбопытствовал Шурик.

Я задумалась.

Приближалось время, когда Алик должен был выйти из студии и направиться домой. Я без часов чувствовала, что это время приближается, стучит невидимым маятником мне в виски. Надо было действовать. Я решила попробовать увести ребят от изостудии: разминировать путь, по которому пойдет Алик.

Я сказала:

— Хотите, проведу вас в театр?.. На вечерний спектакль.

Ребята переглянулись.

— У меня знакомый работает в театре... Все устроит.

Некоторое время ребята мялись, не решались. Но я чувствовала: соблазн уже запал в их сознание и теперь все

зависит от Арсения. А он никак не мог решить для себя — ждать отмищения или идти в театр.

— А как же твой приятель? — вдруг вспомнил Генка.

— Перебьется, — отрезала я.

— Конечно, перебьется, — поддержал меня Шурик. Видно, ему больше всех хотелось пойти в театр.

Но Арсений еще не сказал своего слова. Он продолжал думать о моем Алике, чем-то досадившем ему и его друзьям.

— Ладно, черт с ним, — наконец сказал он. — Пошли.

— Пошли, — облегченно вздохнул Шурик и подтянул брюки.

Я почувствовала, что компания приходит к согласию. Только Генка молчал.

— Пошли. — Я выплюнула сигарету, прямо-таки выстрелила сигаретой. У меня это было хорошо отработано. — Тут недалеко.

И, не дожидаясь ответа, зашагала к театру. Арсений зашагал рядом со мной. Шурик и Генка сзади.

Мне под ноги попался камень. Я поддела его ногой, и он, кружась волчком, устремился вперед. Потом его поддел Арсений. Так, играя камешком, мы двигались к театру. Мы уже были на полпути от цели, когда я дернула за рукав длинного Арсения и спросила:

— А что вы здесь мерзли?

— Да поговорить надо с одним парнем. Он ударил мою сестру.

— Аллу?

Арсений удивленно посмотрел на меня.

— Откуда ты знаешь Алку? Ты учишься с ней в одном классе?

— Что-то вроде этого, — пробормотала я.

Я вдруг забыла, зачем я здесь, чего я сломя голову прибежала сюда из театра. Все мои мысли занял мой сын Алик.

Незнакомую мне девочку, чужую девочку ударил мой сын Алик, а удар пришелся по мне. У меня загорелась щека, как от удара, и сердце наполнилось тягучей горечью.

Я почувствовала, что бледнею. Хорошо, что на мне был грим и под гримом было не видно, как я бледнею.

«Он ударил его сестру. Он ударил девочку. Он поднял руку на женщину!» Все возмутилось во мне. Мне захотелось повернуться и уйти. Пусть расплачивается за свою гнусность. Но я мать — всепрощающая мать. Мне нельзя было уходить, я должна была играть свою роль. Свою самую долгую роль. Роль матери.

Я не знала, что мне делать. Растерялась. Ребята почувствовали мое замешательство. Переглянулись. Кудрявый Генка спросил:

— Не опоздаем?

— Нет, нет, — поспешно сказала я.

Конечно же, я проведу их в театр, раз обещала. Раз обещала, я их проведу.

На мне мой желтый паричок, мой верный шлем, в котором я каждый день выхожу в бой. Грим. На мне была личина мальчишки, но сам мальчишка исчез. Не захотел он, мой дорогой двойник, идти в бой из-за человека, который ударил. Не пожелал. И никакая сила не могла его заставить. Почему же я скрываюсь под чужой личиной? Из страха? От стыда? В одно короткое мгновение мой парик, грим, костюм мальчишки превратились в пустую шелуху. Я пришла защищать своего сына, а получилось, что я должна была держать за него ответ как мать. Я остановилась. Все трое тоже остановились.

— Я, конечно, не учусь с Аллой в одном классе, — сказала я, — с ней учится мой сын.

— Какой сын? — воскликнул Арсений. — Ты что, женоват? У тебя дети?

Генка скривил лицо и отвернулся. Шурик захихикал. Они решили, что я неловко пошутила. И тогда я медленно

подняла руку и стянула с головы парик. У ребят округлились глаза.

Они все еще не могли прийти в себя, а я тоже была ошеломлена, как после удара. Так мы топтались, одинаково растерянные, непонимающие, что произошло и как быть дальше.

Я почувствовала, что должна, обязана все объяснить им.

Я сказала:

— Понимаете, ребята. Я артистка. Артистка-травести. Я играю на сцене мальчишек... Вы, наверное, бывали в театре, видели Гаврика? Я играю Гаврика...

Ребята непонимающими глазами смотрели на меня. Я им говорила одно, они думали другое. Я не знала, что мне делать. Горечь все сильнее жгла сердце. Мысль о том, что мой сын поднял руку на девочку... на женщину, больно сверлила мое сознание. И вдруг я подумала, что эти мальчики тоже могли ударить меня, они не знали, что я женщина. Они видели мальчишку. Мальчишку! А перед Аликом была девочка, и никакого грима.

В какой-то странной неловкости трое мальчишек топтались вокруг меня. Я позвала их в театр. Театр не отменяется.

— Ребята, идемте! Сейчас уже самое время. До спектакля осталось десять минут... Десять минут до спектакля.

Ребята не сошли с места. Удивление, вызванное моим перевоплощением, сменилось смущением; взрослая женщина, мать врага проникла в их мир, узнала их дела. Засветила чувствительную пленку их мальчишеских тайн.

— Уже поздно,— сказал Шурик и подтянул свои злосчастные брюки.

— Дома ждут,— поддержал его Генка.

— Мы, пожалуй, не пойдем в театр,— буркнул Арсений.— Спасибо за приглашение. В другой раз.

— В другой раз,— пробормотала я.

Ребята пошли прочь, а я осталась одна. Я не бросилась за ребятами. Я знала, что они уже не пойдут к студии. Что-то иное, неожиданное и странное, заполнило в них ту пустоту, которую должно было заполнить возмездие. Я стояла оглушенная, не зная, куда идти, что делать. Город стал чужим, люди чужими, они шли мимо, не замечая меня, не обращая на меня ни малейшего внимания, словно не видели. Только натолкнувшись, ворчали: «Что стоишь на дороге!» — и шли дальше, как мимо дерева. И вдруг я услышала голос Алика:

— Мама, что с тобой? Что ты здесь делаешь? Почему ты в гриме? У тебя что-нибудь случилось?

Его слова долетали до меня глухо и невнятно. Не отвечая на вопросы сына, я быстро зашагала по улице.

Он шел рядом со мной, заглядывал мне в лицо и продолжал расспрашивать:

— Мама, ты провалилась? Тебя освистали?

— Провалилась... освистали...— пробормотала я, не сбавляя шага.

— Я же говорил тебе... советовал,— он произнес эти слова мягко, сочувственно. Не так, как в прошлый раз.

«Говорил... советовал...» — как горькое эхо отдавалось в моей груди.

Потом мы долго шли молча, и вдруг он спросил:

— Ты убежала со сцены?

Он бросил на меня острый взгляд, словно уличая во лжи. Я промолчала.

Тогда он сказал:

— Ты обманываешь меня... Скажи правду.

Вместо ответа я запустила руки в карманы и достала оттуда сигареты и зажигалку «роллэнс». Я сжала пачку в кулаке и зубами достала сигарету, как тогда, при мальчишках. Щелкнула зажигалкой. Мерцающий огонек появился на конце сигареты. Алик наблюдал за мной внимательно и настороженно.

— Хочешь? — Я протянула ему пачку.

Алик отказался.

— Я ведь по-настоящему не курю. Что ты делаешь на улице в гриме?

— Изучаю жизнь,— почти не подумав, отвечала я.

— Тогда другое дело,— сказал Алик, но продолжал смотреть на меня вопросительно, почти с испугом.

И от этого его равнодушия я вдруг почувствовала слабый отблеск радости, недолгой радости, которая порой находит себе щелочку в темном горе. Я почувствовала, что ему не все равно, что со мной. Исчезли ледяные слова: «как дела», «нормально». На какое-то мгновение я забыла о главном — об ударе, который пришелся по мне. Об ударе Алика...

— Я тут пристала к мальчишкам,— спокойно заговорила я,— разыграла небольшую сценку.

— Они же могли ударить тебя! — в голосе Алика прозвучал неподдельный испуг.

— Они не ударили меня,— твердо произнесла я.— Могли, но не ударили. А вот ты...

Я оборвала фразу на полуслове, но он все понял. Он понял, что я знаю про то, что он ударил девочку.

— Это совсем другое,— глухо сказал Алик.

— Нет! Не другое...— сказала я.— Она тоже будет матерью. А ты еще до того, как она стала... ударил.

— Мама... Она сама виновата... Она...

И тут со мной произошло нечто страшное — в первый раз в жизни со мной произошло это. Я остановилась. До боли сжала зубы и как-то неумело, неловко — не то что на сцене! — замахнулась и...

Проходившие мимо люди видели двух мальчишек — одного повыше, другого пониже. Они видели, как тот, что пониже, размахнулся и ударил своего спутника. Ударил, а сдачи не получил. И никакой драки не получилось. Им, прохожим, было невдомек, что это мать и сын.

Мать, которая одна пошла против компании подростков, чтобы защитить сына. Хотела защитить, а сама ударила его.

— Ты пожалеешь об этом, мать,— пробормотал Алик и зашагал прочь.

Впервые в жизни ударила сына. Не маленького, а большого, взрослого парня. Ударила на улице при всем честном народе. И эта пощечина прогремела для меня на весь город, на весь мир. И мое сердце готово было разорваться.

Ночью он постучал ко мне в дверь. Я не ответила. Он все равно отворил дверь и вошел. Горел свет. Я лежала на диване одетая и невидящими глазами смотрела в потолок. Когда он вошел, я не пошевелинулась.

— Я знаю, что ты не спишь, мама,— сказал он.— Я понял, для чего ты была в гриме на улице. Ты хотела защитить меня.

— Нет! — вырвалось у меня.— Сперва хотела, потом уже нет.

— Пойми, что я один в целом свете. У меня нет друзей и нет девочки, которая бы мне нравилась.

— До сегодняшнего дня у тебя была мать,— глухо отозвалась я.

Он покачал головой.

Я вопросительно посмотрела на него.

— Ты ничего не знала, что со мной творится. Я говорил «нормально», и ты успокаивалась. Алла сказала, что у всех актрис есть любовники... это обязательно... И у тебя тоже.

— Все равно,— с болью пробормотала я.— Ты не должен был.

— Она оскорбила...

— Все равно!

Он приблизился ко мне, и я обхватила двумя руками его голову. Я сжимала ее изо всех сил и все повторяла, повторяла:

— Все равно!.. Все равно!..

И слезы текли по моим щекам, соскальзывали на губы, и я чувствовала их горькую соленость... Все равно... Я прижимала его голову.

Если я выйду на сцену и сыграю сына Алика, сыграю его таким, какой он есть: холодного, скрытного, жестокого, думающего только о себе, любящего только себя и в чем-то беспомощного, продолжающего оставаться моим. Если я сыграю его таким, какой он есть, понравится ли это ребятам, сидящим в зале? Будут ли они одобрительно хлопать и срываться с мест, когда нужно будет защитить его? Или они останутся равнодушными? А может быть, кто-либо из сидящих в зале узнает в Алике себя, посмотрит на себя со стороны — и тогда что-то дрогнет в нем, сдвинется с мертвой точки? Что важнее? Может быть, мне удастся сказать им — похожим на моего Алика — то, что они не услышат ни от кого, вернее, посмотрев спектакль, они скажут это сами себе. А когда человек говорит трудную правду сам себе, это чего-то да стоит. Это многого стоит.

Я буду выходить на сцену и играть собственного сына. Может быть, мне не будут хлопать и никто не бросит к моим ногам даже скромной ромашки. Пусть. Я иду не на сцену, я иду в бой.

Я натягиваю желтый паричок. Он жмет голову, а шпильки, которыми он крепится, колются, все время дают себя знать. Но я натягиваю на голову парик, как рыцарский шлем или как шлем бойца. Не думайте, что шлем не давит на голову, а сидит легко и элегантно. Это только на картинках или в кино. Я надеваю рубашку без двух пуговиц и потертые — непременно потертые! — штаны. И кеды, и беретку с суконной вермишелинкой на макушке. Я накладываю грим, грубый, цвета обветренного маль-

чишеского лица. Мне трудно ходить на руках, карабкаться на деревья, сбивать с ног хитрым приемчиком. Я ведь женщина. Не очень молодая. Но я пойду, вскарабкаюсь, дам подножку. И надо будет — свистну, сложив пальцы колечком. Потому что я — артистка-травести. И я должна так здорово изображать мальчишек, чтобы никому в голову не пришло, что я не мальчишка. Они должны идти за мной. Они должны верить мне. Потому что никто не сумеет сказать им трудную правду так, как смогу я.

Звенит третий звонок.

Я делаю глубокий вдох и выхожу на сцену.



ГОНЕНИЕ НА РЫЖИХ

Таня стояла в ванной комнате перед зеркалом и внимательно рассматривала себя, словно видела впервые. Она медленно провела рукой по волосам, коснулась пальцами бровей и прижала руку к виску. Она осталась недовольна встречей с самой собой и тихо произнесла:

— Я знаю, это потому, что я рыжая.

Ей на память сразу пришел разговор с Ритой, и она как бы слышала голос подруги:

— Чудачка! Сейчас самое модное — рыжие волосы.

У нас в цирке девочки специально красятся в рыжий цвет.

— А из рыжего можно перекраситься?

— Сколько угодно! Только это глупо.

— Пусть глупо. Мне надо.

Над плечами у Тани две короткие косички, стянутые резинками от лекарства. Таня освободила одну косичку от резинки и медленно стала расплетать ее.

Она все еще смотрела на себя и тихо сама себе говорила: — Не надо дразнить верблюда за то, что у него на спине горб. Может быть, ты тоже кажешься верблюду уродом, потому что у тебя нет горба. Он же не дразнит тебя. Он молчит, только презрительно выпячивает нижнюю губу. Выпячивай тоже губу, но не дразни верблюда... У слона длинный нос. Болтается, как брандспойт. Тигр оранжевый с черным, он похож на осу. Бегемот вообще урод, у него в пасти зубы, как березовые полешки... Но может быть, у слонов считается: чем длиннее нос, тем прекраснее. А тигр без полосок — все равно что ты в полоску. А зубы-полешки — это как раз то, что нужно настоящему бегемоту.

Слова о верблюдах и бегемотах успокаивали ее и как бы переносили в детство. Неожиданно она увидела себя девочкой. Маленькой, энергичной, никому не дающей спуска.

Она увидела дорожки зоологического сада и мальчишку, который дразнил зверей. Он ходил от клетки к клетке и строил рожи, визжал, рычал, кидал камушки. Таня терпеливо шла за ним. Она злилась на него сразу за всех зверей. Она ждала, когда злости накопится столько, чтобы можно было отдубасить мальчишку... Это было давно, в детстве. Мальчишка был толстый. С челкой до глаз и выпуклыми глазами. За щекой у него была конфета.

У клетки с тигром маленькая Таня не выдержала. Она подскочила к мальчишке и вцепилась ему в челку.

— Отпусти! — кричал мальчишка, дразнивший зверей, и все пытался освободиться из Таниных цепких рук. — Отпусти!

Таня не отпускала.

— Проси прощения! — требовала она.

— У кого просить прощения? У тебя, что ли?

— Нет, у тигра.

И тут мальчишка вырвался. Он отскочил от Тани и стал поправлять рубаху. Потом он сморщил нос, выпятил губы и крикнул:

— Рыжая!
— Опять дразнишь тигра? — грозно сказала маленькая Таня.

— Не тигра, — протянул мальчишка. — Тебя.
— Это я — рыжая?
— Ты, ты!

Таня презрительно посмотрела на мальчишку, скорчила рожицу и сказала:

— Сам ты рыжий!

Тут уже опешил мальчишка. Он не мог понять, почему он рыжий, если всю жизнь у него над глазами была густая черная челка. Он даже дотронулся рукой до своей челки, словно хотел на ощупь определить ее цвет.

Таня показала ему кулак, повернулась и пошла домой. Дома она спросила у мамы:

— Мама, я рыжая?
— Рыжая.
— Это очень плохо?
— Чего же плохого? Ничего плохого.
— Нет, это, наверное, плохо, — вздохнула Таня. —

Почему я стала рыжей?

— Ты всегда была рыжей.
— Неужели? — сказала маленькая Таня упавшим голосом и отошла от мамы. — А я думала, что рыжий — тигр.

На другой день дома пропал кусок мяса. Красный, как пожарная машина. С белой сахарной косточкой. Будущий суп и будущее жаркое. Оно лежало за окном. А когда мама принялась за готовку, его не оказалось. Оно исчезло. Лишь небольшая розоватая лужица напоминала о его существовании.

— Куда девалось мясо?

Мама долго и терпеливо искала пропажу. Заглядывала под стол, шарила по полкам. В конце концов кусок говядины приобрел в маминых глазах ценность самородка.

— Куда же девалось мясо? Ты не видела? — спросила она маленькую Таню.

— Ммы, — промычала девочка, не открывая рта.

Маленькая Таня сидела на краю дивана и изо всех сил сжимала губы, чтобы не проговориться. Она держала под замком тайну пропавшего мяса. Но ей стало жаль маму, и она открыла замок:

— Я взяла.
— Ты?! — воскликнули одновременно мама и папа.
— Ну да...
— Зачем тебе мясо?

Таня болтала ногой и молчала. А родители растерянно переглядывались и соображали, зачем девочке понадобился большой кусок сырой говядины. Наконец папа с опаской сказал:

— Ты съела... его?

У мамы округлились глаза: она представила себе Таню, ввущую зубами сырое мясо.

— Нет, я не сама.

Мама облегченно вздохнула. Папа спросил:

— Куда ты его дела?

Таня отвернулась и стала смотреть в окно.

— Я никуда не девала... Я накормила... тигра.

— Тигра?! —

У папы и мамы стал беспомощный вид.

— Какого тигра? — прошептала мама.

— Бенгальского, — спокойно ответила маленькая Таня.

— А мы остались без супа, — грустно сказал папа.

— Я могу пять дней не есть супа, — отозвалась девочка.

— И кормить тигров, слонов, бегемотов, — скороговоркой подхватил папа.

— Бегемоты мясо не едят. Только тигры, — объяснила маленькая Таня. — Его дразнил мальчишка. Тигра надо было утешить. Я принесла ему мясо.

- На тарелке?
- Нет, за пазухой.

Таня стояла перед зеркалом и прощалась с собой, рыжей. Ей казалось, что, после того как она намочит волосы в таинственной жидкости, изменится не только цвет волос, но и все остальное: уменьшится рот, плечи станут не такими худыми, брови изогнутся и потемнеют. На какое-то мгновение ей стало жалко себя, прежней. Она приблизилась к зеркалу, почти уперлась в него лбом. Потом решительно повернулась и наклонила голову к тазу. Она намочила голову и принялась тереть волосы: оттирала от них рыжий цвет, как оттирают ржавчину. Она вообразилась, что под рыжим слоем скрываются соломенные шелковистые волосы.

Струйки воды текли по щекам, по шее, по ключицам. На рубашку летели брызги. Таня чувствовала себя царевной-лягушкой, которая сбрасывает с себя ненавистную зеленую шкурку, чтобы превратиться в девицу-красавицу.

Неожиданно раздался стук в дверь, и мамин голос властно сказал:

— Открой!

Таня приподняла голову. Вода потекла между лопаток.

Мама стояла в дверях и с отчаянием смотрела на дочь.

— Что ты наделала?!

— Надоело быть рыжей... А что? — спросила Таня.

— Ты уже не рыжая, — сокрушенно сказала мама. —

Ты — красная.

Таня повернулась к зеркалу. Стекло запотело. Его как бы заволокло туманом. Таня сделала в тумане окошко, посмотрела на себя и чуть не вскрикнула. Волосы стали красные, как мех лисы-огневки.

— С такими волосами впору идти в цирк. Работать клоуном, — сказала мама.

— А Рита сказала, что волосы будут соломенного цвета...

Мама ничего не ответила. Она открыла кран и сунула голову дочери под струю теплой воды. И стала изо всех сил тереть и мылить голову Тани, чтобы вернуть волосам былой цвет.

— Я несчастная, потому что некрасивая. У меня большой рот, длинная шея. Совсем нет плечей. А свитер сидит на мне, как на мальчишке. Но самое страшное — что я рыжая. Ненавижу себя за то, что рыжая, — жаловалась Таня, а мыльная пена затекала ей в рот.

— Глупая ты у меня, Татьяна, — сказала мама, намыливая голову дочери.

Таня умолкла. Ей вдруг стало все равно, что получится. Рыжие так рыжие. Красные так красные.

На другой день утром Таня шла в школу. Она знала, что волосы у нее теперь огненно-красные, жесткие и торчат во все стороны. Они напоминают красный клоунский парик. Но Таня старалась внушить себе, что все по-старому, в порядке. Она не замечала удивленных взглядов прохожих. Держалась молодцом.

На Тани куртка. Видавшая виды. Пригодная для всех случаев жизни. Куртка давно обтерлась и стала мала. Но Таня не признает ни пальто, ни жакетов. Она носит куртку. Руки в карманах. Локти прижаты к бокам. Над плечами две маленькие косички, стянутые резинками от лекарств.

И в это время ей встретился Князев. Он сказал:

— Здравствуй! Что это с тобой?

И засмеялся.

Таня опустила глаза и прибавила шагу. Он не стал ее догонять, а пожал плечами и пошел сзади. Он ждал, что Таня оглянется. Но девочка не повернула головы.

Она не оглядывается, но видит его. Длинного, худого,

подстриженного под бобрик. Глаза его насмешливо щурятся. Свободный воротник зеленого свитера не обтягивает шею, а располагается вокруг, как кольцо Сатурна. Одна рука засунута в карман, другая размахивает портфелем. Она видит его, не оглядываясь, не поднимая глаз, — плечами, затылком. Видит чернильное пятно на его руке, пушок на подбородке, неглаженные брюки, похожие на две трубы.

Нет, у нее на голове не красные волосы, а пламя. Оно охватило голову и в конце концов сожжет ее всю. Ей захотелось натянуть куртку на голову. Спрятать под ней огненные волосы.

И тут она не выдерживает и пускается бежать. Она перебегает на другую сторону и влетает в двери школы. Она бежит по лестнице, не различая лиц, — лица слились в сплошную полосу.

Вслед ей летят сердитые слова: «Сумасшедшая!», «Взрослая девица!», «Тише ты, как дам!».

Таня вбежала в класс и захлопнула за собой дверь. Класс пустой. Можно сесть за парту и перевести дух. И достать зеркальце.

В маленький осколочек не умещается все лицо. Видишь себя по частям: одни глаза, один рот, один лоб, одни волосы...

Таня подняла глаза. Князев стоял перед ней и наблюдал, как она рассматривает себя в зеркало. Он не смеялся. Только губы его слегка улыбались.

Таня отдернула руку с зеркальцем и встала. Он переминался с ноги на ногу и размахивал портфелем.

Можно было оттолкнуть его и выбежать в дверь. Но Таня не решилась это сделать. Она отбежала к открытому окну. Он все еще размахивал портфелем. Таня вскочила на подоконник. Он бросил портфель на парту и зашагал к окну.

В следующее мгновение Таня исчезла.

Таня подняла глаза и почувствовала, что небо рядом.

Оно нахлынуло влажной голубизной, и девушке показалось, что щеку холодит мягкое прикосновение облака. От близости неба и плавного движения облаков все стало легонько покачиваться, плясать, кружиться. Таня оторвала глаза от неба и сильнее прижалась к шершавой кирпичной стене. Стена медленно подавалась вперед, давила на плечи, и Таня вся напряглась, чтобы удержать падающую стену. Ей захотелось врасти в кирпичи плечами, локтями, спиной — тогда стена не сможет столкнуть ее вниз.

Девушка опустила глаза и увидела темный серебристый асфальт. И запрокинутые лица людей. Их было так много, что они сливались в одну массу, от которой доносилось несмолкаемое гудение. Что они там гудят?

— Надо принести лестницу... Лестницу надо!

— Нет, надо натянуть брезент!

— Тише. Может быть, она сама уйдет.

— Пусть не шевелится.

— Боже мой, она же сорвется!

Таня стояла на карнизе третьего этажа. Под ногами у нее начиналась пропасть. Но девушка не испытывала страха. Напротив, она чувствовала себя спасенной, попавшей в такое место, где ее уже никто не настигнет. И, стоя на виду у целой улицы, наслаждалась жутковатым покоем человека, которому удалось укрыться от преследования.

— Что вы все стоите! Она же сорвется... — звучал внизу знакомый голос Генриетты Павловны, учительницы русского языка и литературы.

И без того тонкий голос показался Тане еще тоньше, словно говорила не сама Генриетта Павловна, а кто-то передразнивал ее.

Таня стояла на узком карнизе и сильнее прижималась к кирпичам, как бы хотела отеснить стену, отвоевать у стены еще несколько сантиметров. Она уже не видела толпу на асфальте. Не слышала, как внизу кричали:

— Не двигайся! Слышишь, не двигайся!

Но она и не смогла пошевелинуться. Как бы окаменела. Стала кариатидой, поддерживающей крышу.

Тане вдруг показалось, что если она оторвется от стены, то не упадет, а полетит. Расставит руки, как крылья, и полетит. Куда-нибудь подальше от школы. А главное, от него, от Князева. И сразу все прекратится.

Она исчезла так же неожиданно, как и появилась.

— Слушайте, заберите от меня эту дикарку!

Тонкий резкий голос Генриетты Павловны, срываясь, звучал в кабинете завуча Михаила Ивановича. Михаил Иванович сидел, скрестив руки и наклонив свою массивную косматую голову. Казалось, эта голова растет прямо из плеч и никакой шеи нет. Он смотрел на учительницу русского языка исподлобья. Глазные яблоки у него были большие, слегка навывкате. А густые каштановые волосы свалились и спадали на лоб неровными космами. Толстыми короткими пальцами он сгонял их обратно, в общую копну.

— Представляете, если бы она упала? Кто отвечал бы? Я! А если она завтра прыгнет с моста в реку? — без умолку говорила Генриетта Павловна.

Она была молода и привлекательна. А рядом с нескладным беспешим Михаилом Ивановичем выглядела просто красавицей. Темные, коротко подстриженные волосы, и большие голубые глаза, и ровные полукруглые брови. Правда, когда Генриетта Павловна не высыпалась или нервничала, под глазами появлялись тени, тоже полукруглые. Вместе с бровями они образовывали круги.

— Заберите от меня эту сумасшедшую!

— Хорошо, хорошо, — примирительно сказал Михаил Иванович, голос его звучал с непроходящей хрипотцой, — мы что-нибудь придумаем.

— Придумайте, — сухо сказала Генриетта Павловна.

— И не переживайте так. Все обошлось, — сказал Михаил Иванович.

Генриетта Павловна молча поднялась и, стуча каблуками, направилась к двери. Каблуки у нее высокие и тонкие, под ними потрескивает паркет.

Таня сидела в маленькой комнате, где хранятся таблицы и чучела. Сидела на краю стола и гладила рукой лису-огневку. Лиса тянулась к ней узкой мордочкой и вопросительно смотрела черными пуговками, заменявшими ей глаза. Она как бы утешала Таню: «Зачем грустить? Я тоже рыжая, еще порыжей, чем ты. Ну и что из этого? Не плачу. Посмотри мне в глаза — ни одной слезинки».

Таня всю жизнь была рыжей, и ее это нимало не тревожило. И если ее дразнили рыжей, то это не выводило ее из себя. Да, рыжая, а что? Впрочем, дразнили ее давно, а потом все привыкли.

Таня посмотрела на лису и как бы самой себе сказала: «Никогда не видела таких рыжих!»

И сразу вспомнила, как он впервые появился в классе.

Шел урок русского языка. Генриетта Павловна рассказывала про вводные слова.

В дверь постучали.

— Войдите! — отозвалась учительница.

В класс вошел Михаил Иванович. Он имел привычку не входить в класс без стука. Михаил Иванович был не один. Вместе с ним в класс вошел какой-то парень в зеленом свитере. Он был худой, высокий, с темным бобриком волос, которые мысом выдавались вперед. В его независимой походке, в складке между бровей вырисовывался будущий мужчина.

— Извините, Генриетта Павловна, — сказал Михаил Иванович, — я привел новичка. Князев его фамилия. Прошу любить и жаловать.

Ребята сразу забыли про вводные слова и устали на новичка. А он стоял и ждал, когда ему укажут место.

Генриетта Павловна взглянула на Князева и машинально поправила волосы. Потом она обратилась к Тане:

— Вьюник...— Она всегда называла Таню по фамилии.— Вьюник, рядом с тобой место свободно?

— Свободно,— ответила Таня.

— Садись, Князев.— Учительница кивнула на Танину парту.— Итак, вводными словами называются...

Князев не спеша прошел между рядами и сел рядом с Таней. Некоторое время он сидел прямо и слушал про вводные слова. Потом он повернул голову и пристально посмотрел на Таню.

— Что ты смотришь на меня? — тихо спросила Таня.

— Никогда не видал таких рыжих,— ответил он.

— Посмотри! — с вызовом ответила Таня и вдруг почувствовала, что краснеет.

Она не находила объяснения, почему краснеет, но ничего не могла с собой поделать. Из сорока голосов она сразу узнавала его голос. В топоте ног слышала его шаги. Она закрывала глаза и затыкала уши. И все равно слышала его голос, видела его прищуренные глаза.

Неожиданно дверь распахнулась. На пороге стоял он. Он тяжело дышал и стоял молча, не зная, с чего начать. Таня смотрела в окно, однако сразу почувствовала, что это он. Почувствовала, но не шелухнулась, как будто никто не распахнул дверь, никто не пришел.

— Ты плачешь? — спросил он.

— И не думаю.

— Повернись.

— Уходи отсюда.

Лиса выручила ее. Таня незаметно вытерла о мех слезы. Теперь она действительно не плакала.

— Пойдем,— тихо сказал он.

Она повернулась к нему и спросила:

— Никогда не видел таких рыжих?

Он промолчал.

— Уходи! — крикнула Таня и захлопнула дверь перед его носом.

Да, да, надо кричать и хлопать дверями. И еще бы хорошо, как в детстве, оттащить его за челку. Только не говорить с ним мирно и спокойно. Не смотреть ему в глаза. Не думать о нем.

Сосед по квартире, двадцатилетний Павлик, сидел на кухне и со сковородки ел макароны. Он не всасывал их со свистом, а резал ножом и аккуратно поддевал на вилку. Это стоило ему труда и отравляло весь вкус макарон. Но с некоторых пор в присутствии Тани он чувствовал себя скованно и старался быть воспитанным, галантным и современным.

— Хочешь спагетти? — предложил он Тане, когда она вошла в кухню.

— Нет,— ответила Таня,— не люблю макароны, даже когда их называют спагетти.

— А в Италии макароны — как хлеб,— обиженно сказал Павлик и облизал блестящие губы.

Он надулся, словно обиделся за всю Италию. На лбу у него появилось множество мелких морщинок, а подбородок побелел. Он энергично принялся жевать макароны. Он так работал челюстями, словно беззвучно произносил обидные слова.

Неожиданно он перестал жевать и сказал:

— Я сегодня иду в концерт. «Карнавал» Шумана.

Он будто хотел подчеркнуть: я иду, а ты не идешь.

— Ты становишься культурным парнем,— примирительно сказала Таня.

Павлик кинул вилку в пустую сковородку и молча пошел прочь.

Таня села на табуретку и стала ждать, пока закипит чайник. Ей казалось, что он вообще никогда не закипит, и она грызла горбушку всухомятку.

В дверях снова появился Павлик. Он все еще почесывал подбородок, но на лбу уже не было морщин. Не глядя на Таню, он сказал:

— Я тебя хотел позвать на концерт. У меня два билета.

— Спасибо, Павлик,— сказала Таня,— я ничего не понимаю в музыке.

— Напрасно,— сказал Павлик,— надо расти.

— Я расту без музыки.

— Билеты хорошие. Второй ряд балкона. Мне на работе дали.

— Павлик, ты по крышам никогда не лазал? — неожиданно спросила Таня.

— Это еще зачем? — пробормотал Павлик.

— А по карнизам домов?

Павлик почувствовал себя оскорбленным. Он почесал подбородок и пошел прочь. Таня пожала плечами и подошла к окну. Серые облака плыли над крышами. Таня представила себя стоящей на узкой полоске карниза и ощутила спиной холодный шершавый кирпич. По телу, как разряд электричества, прошла дрожь. Тане стало нестерпимо страшно. Она испугалась с опозданием.

«Как это я не сорвалась? Такая невезучая — и не сорвалась», — думала Таня, не отрывая глаз от плывущих облаков.

— Вьюник, если ты еще раз выкинешь такой номер, я тебе всыплю. Не посмотрию на то, что ты взрослая девица, сниму ремень и всыплю. Что, тебе жизнь не дорога? Отвечай. Дорога тебе жизнь?

— Нет, не дорогá.

— Правильно, не дорогá. Иначе бы не полезла. На фронте такие девчонки раненых выносили... А знаешь, почему тебе жизнь не дорогá?

— Знаю. Я неудачница.

— Ты коза-дереза. Не знаешь ни что такое жизнь, ни что такое смерть.

— А вы знаете?

— Я со смертью за руку здоровался.

— Как — за руку?

— Меня расстреливали. Что ты глаза вытаращила? Расстреливали. Нас человек двадцать поставили к стенке... Конечно, никакой стенки не было. Просто вывели в поле за побег из плена. Ну и расстреляли.

— Так вы же живы!

— Это не я... это уже другой. Того убили и сбросили в противотанковый ров. Тот был молодой, отчаянный, веселый. А это старый. Истекая кровью, вылез ночью и чудом добрался до своих...

— А я думала, что вы всю жизнь тангенс-котангенс.

— Думала, думала... Если бы в один прекрасный день все бывшие солдаты надели свои выгоревшие гимнастерки и забинтовали свои старые раны грязными, ржавыми бинтами, тогда бы вы все кое-что увидели и кое-что поняли... Тангенс-котангенс...

Таня стояла перед Михаилом Ивановичем и разглядывала его пристально, как будто видела впервые. Они стояли в пустом коридоре у окна — тонкая девушка с красными волосами и грузный, нескладный мужчина, у которого голова растет прямо из плеч. Он дулся на Таню, молчал, но девушка почему-то не испытывала к нему неприязни. Напротив, она чувствовала доверчивую тягу к пожилому учителю. Тане показалось, что Михаил Иванович похож на крупного зубра с косматой гривой, с выпуклыми глазами — на особенного зубра, который грозен

с виду, но в жизни никого не обидит. И ей захотелось коснуться рукой косматой гривы.

— Иди,— сказал Михаил Иванович,— и чтобы я о тебе больше не слышал.

— Хорошо,— сказала Таня,— не услышите.

Михаил Иванович сверкнул глазами и, переваливаясь с боку на бок, тяжело зашагал по коридору.

«Это не я... Это уже другой. Того убили и сбросили в противотанковый ров».

В первый раз снег выпал в начале октября. Еще деревья были одеты в листья и трава на газонах не успела пожелтеть. А с неба валил снег. Большими хлопьями снег падал в зеленую траву и оседал на зеленых листьях. Получилась полная неразбериха: зима смешалась с летом. Из этой смеси не могло выйти ничего путного.

Мостовая и тротуары покрылись слякотью, и белые снежинки, достигнув земли, гасли. Первый снег шел на верную гибель, но не мог остановиться.

Таня ощущала снег на губах, на щеках, на ресницах. И ей становилось весело. Тогда она запрокинула голову и оказалась в центре огромной белой воронки, заполненной стремительно летящими снежинками. Снежинки летели прямо на нее. Они как бы попадали внутрь и наполняли сердце веселым холодком.

Девушку охватила тайная радость. Это новое безымянное чувство наполнило ее и не оставило места для других чувств. Как сильная, высокая вода, оно поднималось, заполняло все уголки Таниной жизни, грозя выйти из берегов.

И в мыслях снова появился Князев. Какое отношение он имел к этому чувству? Почему оно не могло вспыхивать само по себе, без его участия?

Таня старалась перевести мысль о нем на другие рель-

сы. Но стрелка не работала, и с другими рельсами ничего не выходило. Тогда, думая о нем, Таня старалась вызвать неприязнь и сгустить краски. Но краски не сгущались. Она испекала его, а он возникал из пепла.

Она скрывала это странное чувство от людей, от дневного света, от самой себя. Она хранила его в дальних тайниках. Но самым важным было утаить это чувство от него. Это чувство не должно его касаться. Он не должен знать о нем. Не выдать себя дрогнувшим голосом, взглядом.

Да здравствует белый снег, и не надо смотреть под ноги. Там уже все погашено и затоптано, веселая мимолетная жизнь снежинок кончена. Надо смотреть ввысь, быть в центре белой воронки. А он пусть идет рядом, если ему хочется. Таня подняла глаза и увидела его. Он шел рядом, щурясь от снега.

Таня ничего не сказала. Она отвела глаза. Но через несколько шагов ей захотелось снова посмотреть на своего спутника. Она опасливо покосилась на бобрик, побелевший от снега, на складку между бровей, на прищуренные глаза. И вдруг кровь прилила к лицу.

Он, конечно, не заметил, как она покраснела. Но она думала, что он заметил, и покраснела еще сильнее. И тут из-за угла вышла Генриетта Павловна и двинулась им навстречу. Она была молода и хороша собой. И чувствовала, что хороша собой. И всем своим видом хотела подчеркнуть, что хороша собой.

Поравнявшись с ребятами, учительница чуть наклонила голову и подняла полукруглые брови. Она уставилась на Танию, и девушка подумала, что эти глаза видят все насквозь, что они бесцеремонно раскрывают чужие тайны и от них ничего невозможно скрыть.

— Прогуливаетесь? — спросила учительница, не сводя глаз с Тани.

Таня покраснела. У нее неудобное лицо. На нем отчетливо написано, о чем Таня думает. С таким лицом нель-

зя ничего скрыть. Оно выдает все тайны. Прямо-таки предательское лицо. И вдруг Таня заметила, что глаза учительницы смеются. Они смеются и кричат: «Рыжая!» Они кричат так, что слышит одна Таня. Кричат зло и больно. И им нельзя ответить, этим вечно смеющимся глазам.

Если ты родился рыжим — считай, что тебе не повезло. Каким бы ты ни был хорошим человеком, тебе постоянно будут напоминать, что ты рыжий. Каждый встречный считает своим долгом крикнуть: «Рыжий-бесстыжий!» В трамвае тебе будут говорить: «Эй, рыжий, подвинься!», в театре требовать: «Эй, рыжий, убери голову!» Тебя будут называть рыжим, как будто у тебя нет другого имени.

Сколько времени длится гонение на рыжих? Почему никто не выступит в защиту рыжих? Настоящие люди никогда не бывают рыжими. Ведь клоун в цирке, над которым все смеются, рыжий.

— Ну что ж, прогуливайтесь,— сказала Генриетта Павловна и пошла дальше. Ее каблучки зазвенели за Таниной спиной, как подковы тонкой лошадки. Таня посмотрела себе под ноги. Никакого белого снега не было. Черная слякоть поблескивала на тротуаре. Таня повернулась к своему спутнику и спросила:

— Ты можешь уехать в другой город?

Она всегда ошеломляла своими вопросами. Он сказал:

— Нет.

— А перейти в другую школу можешь?

— Зачем мне переходить в другую школу?

— Значит... не можешь?

— Нет.

— Ну, ладно.

— Да скажи, наконец, в чем дело? Чем я тебя обидел?

Что я тебе сделал?

Он вспыхнул. И каждое слово не произносил, а выстреливал. Но Таня как бы не слышала его слов.

— Ладно,— сказала она.— Я пошла. Пока.

И она побежала на другую сторону, как бегают девочки, а не взрослые девицы.

Потом она шла быстрыми шагами, а снежинки гасли у нее в ногах. Таня думала:

«Она красивая, а я рыжая. Все дело в том, что я рыжая. Иначе бы Генриетта Павловна не смотрела на меня смеющимися глазами. И вообще все было бы в порядке».

Дома в коридоре Таня встретила с Павликом. Она хотела уже пройти мимо, но он сказал:

— Подожди... Я был на концерте.

— Очень приятно,— сказала Таня.

Павлик стал чесать подбородок. Потом выпалил:

— Ты не пошла со мной, а я познакомился.

У него, видимо, с детства сохранилась интонация: у меня есть, а у тебя нет, я познакомился, а ты не познакомилась.

Таня усмехнулась:

— С кем же ты познакомился?

— С девушкой... С Ниной.

— Очень приятно,— сказала Таня, словно он сейчас знакомил ее с Ниной.

— Она красивая.

— Тебе повезло... Но почему ты мне об этом рассказываешь?

Павлик замолчал. Таня собралась идти дальше, но он удержал ее.

— Ты единственный человек, с кем можно поговорить,— сказал он,— я тебя уважаю. Я тебе буду рассказывать о ней. Хорошо?

— Как хочешь.

— Вообще-то, когда влюбишься, надо писать дневник.

— Это гимназистки писали.

— Александр Блок тоже писал дневник... Но ты зря не пошла со мной на концерт.

- Я-то тебе зачем? Думай о красивой Нине.
- Я думаю. Но лучше бы на концерт пошла ты.
- Ладно, Павлик, спокойной ночи.
- Спокойной ночи.

Что такое раздвоение личности? Это когда один человек превращается в двух. Но на этих двух остается один нос, одна голова, одно сердце. Разбирайся как хочешь. Можно поделить так: одному голову, другому сердце, а нос может быть общим. Словом, два человека живут в одном теле, как в коммунальной квартире. Ни развешаться, ни разойтись. Потому что на двоих один нос.

Раздвоение Таниной личности произошло из-за Князева.

Одна Таня ненавидела его, другая — тянулась к нему. Он раздвоил Таню, расщепил, как атом.

Одна Таня говорила ему:

— Уходи!

Другая просила:

— Останься!

Получалась полная неразбериха.

Если на уроке одна Таня забывалась, другая тут же поворачивала голову и с тайным любопытством рассматривала густой бровик, прищуренные глаза, зеленый круг Сатурна...

И вот что произошло: одна Таня забылась, другая оглянулась. Генриетта Павловна заметила, что девушка смотрит не на доску и не слушает объяснений. Некоторое время учительница наблюдала за Таней. Потом она сказала ледяным голосом:

— Вьюник, не смотри на Князева.

Она могла бы сказать: «Вьюник, слушай урок». Или: «Вьюник, не вертись».

Но она сказала: «Вьюник, не смотри на Князева».

По классу покати́лся ядовитый смешок. Таня покраснела и посмотрела в глаза учительницы. Глаза смеялись.

Они дразнили Таню, издевались над ней: «Вот я тебя подловила! Теперь я над тобой покуражусь! Ха! Ха! Ха!»

Тане захотелось вскочить и крикнуть учительнице что-нибудь обидное. Обозвать франтихой. Сказать, что она, Генриетта Павловна, влюблена в физика. Но горячий стыд так сковал девушку, что она не могла ни пошевелиться, ни вымолвить ни слова. А смеющиеся глаза продолжали проникать во все Танины тайники и смеяться над ними. Таня опустила глаза.

— Вьюник, иди к доске,— сказала Генриетта Павловна.

Ей было мало того, что Таня опустила глаза, ей нужно было выставить девушку перед классом, чтобы все могли разглядеть Таню и смеяться.

Таня заставила себя встать. Она пошла к доске. Она шла между партами, как сквозь строй. Подошла к доске. Взяла в руки мелок.

— Пиши,— сказала учительница и стала диктовать: «Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель».

Таня сжала, сильнее сжала холодный мелок. Он казался ей гладким крымским камушком. Она повернулась к доске и стала писать:

«Генриетта Павловна, вы злой, холодный человек...»

— Написала? — не оглядываясь, спросила учительница.

— Написала,— ответила Таня.

Класс замер. Смешок сгорел. Было тихо.

Учительница диктовала дальше:

— «Я ударил: он перевернулся в воздухе и упал».

Таня стиснула мел и, вдавливая его в доску, написала: «Я ненавижу вас».

Мел перестал скрипеть. Учительница решила, что Таня забыла конец фразы, и повторила:

— «...он перевернулся в воздухе и упал».

Мелок не скрипел. Генриетта Павловна повернулась к доске и прочла. Ее глаза округлились. На этот раз они не смеялись.

— Что это значит, Вьюник? — глухо спросила учительница. — Что ты написала?

Таня пожала плечами.

— Возьми портфель и уходи, — выдавила из себя Генриетта Павловна.

И, не дожидаясь, пока Таня уйдет из класса, стала торопливо переписывать то, что было написано на доске.

После урока Генриетта Павловна быстро вышла из класса и застучала каблучками по длинному школьному коридору. Она спешила в учебную часть. Она распахнула дверь и, подойдя к столу Михаила Ивановича, молча опустила на стул.

Михаил Иванович запустил короткие пальцы в сваленные косматые волосы и спросил:

— Вьюник?

— Вьюник, — выдохнула Генриетта Павловна.

— Что же?

Вместо ответа учительница достала листок бумаги и положила его перед завучем. Он машинально полез за очками, но так и не достал их, прочел без очков: «Генриетта Павловна, вы злой, холодный человек. Я ненавижу вас».

Он прочел записку и поднял глаза на Генриетту Павловну. Она смотрела в окно.

— Так... — сказал Михаил Иванович.

Он хотел, чтобы учительница первой начала разговор. Но она молчала и ждала слов от него.

— Так... — повторил Михаил Иванович. — Что же вы, собственно, хотите от меня?

Большие круглые глаза посмотрели на Михаила Ивановича. Теперь они были похожи на две амбразуры.

— Что я хочу... от вас? — тонким голосом произнесла

Генриетта Павловна. — Я хочу, чтобы меня оградил от подобных оскорблений.

— Подождите, разве в этой записке есть что-нибудь оскорбляющее? Кстати, вам известна причина этой ненависти?

— Ученики не имеют права ненавидеть педагога.

— Разве есть такой циркуляр министерства? — Михаил Иванович начинал сердиться.

— Это не циркуляр, а простая логика. Если все ученики будут ненавидеть всех педагогов...

— Да почему все и всех? — вспыхнул Михаил Иванович. Он поднялся со стула и двинулся к Генриетте Павловне.

Он встал перед ней, грузный, косматый, с крупными глазными яблоками.

— Чем вы обидели Вьюник? — спросил он.

— Это вопрос? — сухо спросила Генриетта Павловна.

— Это вопрос, — буркнул Михаил Иванович.

— Я сделала ей замечание, а она написала это... Я не виновата, что эта взбалмошная девица влюблена в Князева и не сводит с него глаз.

— Ах, вот оно в чем дело! — сказал Михаил Иванович и засунул руки в карманы.

Он долго молчал. Сонел. Ходил по комнате. А его руки оттопыривали тесные карманы.

— Придется вам проглотить эту пилюлю, — наконец сказал он.

Теперь уже Генриетта Павловна поднялась со стула.

— То есть как проглотить? — Круги вокруг ее глаз замкнулись. — Вы отказываетесь... помочь мне, — она искала подходящее слово, — поставить на место эту разболтанную девчонку?

— Генриетта Павловна, я советую вам проглотить пилюлю. А там как знаете. Запретить любить или ненавидеть нельзя даже школьнику. Нельзя!

Генриетте Павловне захотелось ударить этого косматого человека. Ей так мучительно захотелось ударить его, что она поспешно вышла в коридор. И долго стояла у окна, стараясь обрести равновесие.

Назавтра Таня снова шла в школу. Вернее, не шла, а как бы плыла по течению. Это невидимое течение несло ее мимо одних и тех же домов, заставляло пересекать одни и те же перекрестки, поворачивать в навсегда введенных местах.

Течение начиналось у ворот дома и кончалось у школьного крыльца. Оно действовало весной и осенью. И не замирало зимой, как не замирает Гольфстрим. Тане никогда не приходило в голову двинуться против течения!

Прямо. Направо. Опять прямо. Теперь бегом через перекресток и опять направо. Знакомые дома стерлись в Таниных глазах, как стираются монеты, они пролетали мимо, как приглушенные от частого употребления слова. Таня не видела домов, как будто вокруг было поле. Но она увидела форточку, из которой валил дым. Клубы дыма протискивались в прямоугольник форточки и расплывались по стене. Таня могла пройти мимо. Но ее взгляд зацепился за дым. Она остановилась и стала наблюдать, докапываться. Так она докопалась до пожара.

Когда Таня была ребенком, у нее возникало множество неожиданных вопросов, на которые взрослые не могли дать вразумительный ответ. Например: почему из черной земли растет зеленая трава? Папа толковал маленькой Тане про какой-то хлорофилл. Это слово невозможно было произнести. Получалось «хролофилл», «холофил», «хорофифил». Но даже произнесенное правильно, оно не вносило ясности: почему из черной земли растет зеленая трава? Маленькая Таня взяла лопату и стала рыть яму в надежде найти скрытую зеленую землю... Она всегда стремилась докопаться до причины.

Так она сейчас докопалась до пожара. Никто не замечал его. И все вели себя так, как будто никакого пожара не было, просто подгорели котлеты. Но Таня понимала, что это пожар, и ей стало жарко от одной мысли, что дом горит.

— Пожар! — сказала Таня старушке, которая семенила с большой торбой.

— Пожар! — крикнула Таня бегущему мальчишке.

— Врешь! — на бегу крикнул он. — Пожарных-то нет!

Да, пожарных действительно не было. А дом горел. Из окна второго этажа валил дым. А в соседнем окне, прижав к стеклу растопыренные ладони, стояла девочка. Таня заметила, что девочка плачет.

Таня вбежала в подъезд. Одним махом очутилась на втором этаже у двери, за которой был пожар. Дверь не горела и не дымилась. Это была обыкновенная, заурядная дверь. Но Таня знала, что там пожар. Она позвонила.

Через некоторое время за дверью послышался пестреливый голос мальчика:

— Кто там?

— Я, — отозвалась Таня. — Открой!

Мальчик сопел за дверью. Потом он сказал:

— Мама не велела. Посиди на ступеньке.

Самое время сидеть на ступеньке! Тане захотелось заорать на мальчика, но она вовремя сдержалась.

— Ты один дома? — выдавила она из себя.

— Нет, еще Мариша.

— Слушай, у вас дымом пахнет?

— Не знаю, я не нюхал.

— Понюхай!

— Ладно, пойду.

Он ушел и долго не возвращался. Тане стало страшно от собственного бессилия.

Таня снова позвонила.

— Чего тебе? — послышался недовольный голос.

— Пахнет дымом?

— Нет... только глаза щиплет.

Тане захотелось поколотить мальчишку.

— Слушай, открой скорее! — крикнула Таня: она уже не могла сдерживаться.

— Мама не велела.

— Велела! Слышишь, велела. Честное слово!

— А ты не врешь? — донеслось из-за двери.

— Не вру! Ты большой, умный парень...

Лесть победила бдительность. В замке повернулся ключ. Загремела цепочка. Дверь медленно открылась, и из темного коридора потянуло горьковатым дымом пожара.

— Где Мариша? — Таня трясла мальчика за плечо.

— Там, — он неопределенно махнул рукой.

Таня кинулась в темный коридор. Она нащупала рукой дверь. Распахнула ее — и сразу густой жаркий дым окутал ее со всех сторон. У Тани перехватило дыхание.

Она крикнула:

— Мариша!

Вместо ответа с другого конца комнаты донеслось всхлипывание. Таня вбежала в комнату и увидела огонь. Это был совсем не тот огонь, который весело вырастает над оханкой хвороста и щелкает орешки в печке. Огонь был острый и душный. Он обдавал тяжелым жаром и давил, давил на грудь.

— Мариша, беги сюда! — крикнула Таня.

Но девочка не побежала. Она забилась в угол. И ее не было видно за мутной завесой дыма. Таня с трудом пробиралась вперед. Она не видела стен. Не видела потолка. И ей вдруг показалось, что она заблудилась и уже не сможет выбраться из этого удушливого огненного кольца. На что-то наткнулась. Что-то грохнуло. Это упал стул. Таня отшвырнула его ногой и, выставив вперед локоть, бочком двигалась вперед.

— Мариша!

Теперь плач зазвучал совсем близко. Таня присела на корточки и руками стала прощупывать пространство перед собой. Так она наткнулась на маленькое трепетное тельце девочки. Она схватила девочку и притянула ее к себе. Девочка изо всех сил обвила Танину шею руками, как будто она тонула и только Таня могла удержать ее на поверхности воды.

Пламя было рядом. Оно жгло щеки, шею, руки. Но огонь не давал света. Дым заглушал свет. Заглушал дыхание, жизнь. Таня почувствовала себя в огромной топке, откуда уже невозможно выбраться. Еще шаг, другой, и они вместе с маленькой Маришей задохнутся. Пламя раздавит их. Превратит в черный дым. И в это мгновение ей особенно стало жаль девочку, обхватившую ручонками ее шею. Таня собралась с силами и медленно стала пробираться к двери.

Когда она очутилась в коридоре, у нее звенело в ушах и перед глазами вертелись темные круги. Сквозь открытую на лестничную площадку дверь бежали люди. Таня не видела их лиц. Перед ней вырастали огромные силуэты, и рядом гремели тяжелые кованые ботинки.

Когда Таня очутилась на улице, там уже стояли кислельно-красные пожарные машины и толпились зеваки, как на настоящем пожаре. Никто не проходил мимо, все верили, что пожар.

Таня отошла в сторонку и прислонилась к стене. Она дышала. Ей ничего не хотелось делать, только дышать. Она глотала воздух, как прохладное лечебное питье. А Мариша все еще продолжала сжимать ручонками Танину шею. И все всхлипывала.

— Где мама? — неожиданно спросила малышка.

Голос у нее был густой, низкий, совсем не такой тоненький, как плач.

— Мама сейчас придет, — ответила Таня.

Вокруг Тани и Мариши тоже собрались люди. Они что-то горячо обсуждали. Кажется, хвалили Таню. Но Тане было безразлично, что они говорят. Она прижимала к себе Маришу. Потом перед Таней возникла женщина с большими плачущими глазами. Она хотела взять у Тани Маришу, но маленькая девочка держалась за шею, все боялась разжать ручонки. Наконец она узнала маму. И сразу забыла о Тане.

— Боже мой, какое горе! — крикнула Маришкина мама и вместе с девочкой побежала к подъезду.

Таня стояла, окруженная толпой зевак, и не знала, что ей делать. Она все еще не могла надышаться. Она пила воздух. К Тане подошел пожарный. Он достал блокнот и спросил:

— Как фамилия?

— Зачем вам?

— Для протокола, — сухо сказал пожарный.

Таня назвала. Пожарный записал огрызком карандаша и ушел. Зеваки стали расходиться.

Ах да, надо идти в школу. В общем, очень удобно, что есть то самое незамерзающее течение. Не надо думать, где поворачивать, где идти прямо. Это течение подхватило Таню и стало уносить от душливого запаха дыма, от жуткого мечущегося жара, от перепуганного личика маленькой Мариши, от светящихся любопытством глаз уличных зевак, которые всегда появляются там, где дело уже сделано.

Быстрая ходьба привела Таню в порядок, и, когда она переступила порог школы, все переживания остались далеко позади. Только от куртки пахло дымом.

Таня разделась и поднялась на третий этаж. У двери класса она поправила растрепавшуюся косичку.

— Можно?

Генриетта Павловна подняла свои полукруглые брови и нехотя сказала:

— Заходи.

Таня вошла.

— На кого ты похожа? — спросила учительница, продолжая рассматривать Таню.

Глаза Генриетты Павловны начали смеяться.

Таня не поняла, в чем дело. На кого она может быть похожей? Она нерешительно остановилась.

— У тебя все лицо в саже... Ты была на пожаре? В классе захихикали. Таня сказала:

— Да, на пожаре.

— Что ж ты там делала? — продолжала допытывать-ся Генриетта Павловна.

Глаза ее смеялись. Таня сразу заметила, что глаза учительницы смеются. Она почему-то представила себе Генриетту Павловну девочкой, своей сверстницей. Эта сверстница хохотала и строила рожи. Тане захотелось хлопнуть дверью и убежать. Но она продолжала стоять, мучительно думая, чем ей ответить на эту тайную насмешку.

— Что ты там делала?

И вдруг в Тане заработал упрямый механизм, который все переворачивает, путает, меняет цвета и говорит «нет», где следует сказать «да». Таня пристально посмотрела в смеющиеся глаза учительницы и, расставляя слова, сказала:

— Что делала?.. Я подожгла дом.

Генриетта Павловна поднялась со стула. Ее глаза перестали смеяться.

— Не болтай глупостей.

— Я серьезно, — спокойно ответила Таня.

Класс замер. Таня стояла и спокойно смотрела на учительницу.

Если ты придешь и скажешь: «Я спас из огня человека», тебе никто не поверит. Ты бросился в горящий дом? Ты, задыхаясь от дыма, шел по темному коридору? Чуть

не погиб под рухнувшей балкой, но спас человека? Не рассказывай сказки! Где тебе решиться на такой поступок!

Но если ты заявишь, что поджег дом, тебе поверят. Хотя до этого ты никогда не поджигал домов. Все подожмут губы, отведут глаза, начнут в твоём присутствии разговаривать шепотом. И ты почувствуешь, как между тобой и окружающими тебя людьми образуется некое безвоздушное пространство: тебе поверили.

— Ты отвечаешь за свои слова? — холодно спросила учительница.

— Конечно! — с готовностью отозвалась Таня.

— Но это же преступление!

— Преступление, — согласилась Таня, — ну и что из этого?

Полукруглые брови метались над широко раскрытыми глазами. По лицу пошли красные пятна. Учительница тяжело дышала. А класс молчал, ошеломленный этой новостью.

— Вьюник! — почти закричала учительница. — Может быть, ты поясничаешь?

— Нет. Я действительно подожгла дом. Неужели вы не верите?

Генриетта Павловна поднялась и быстро зашагала к двери.

Таня направилась к своей парте и бросила на нее портфель. Потом она достала зеркальце и стала платком стирать с лица сажу.

В классе все еще удерживалась тишина.

На перемене школа начала гудеть. Шумный беспроволочный телеграф разносил по всем этажам страшную новость: Таня Вьюник подожгла дом.

— Таня?

— Какая Таня?

— Ну, знаете... такая рыжая.

— Зачем она подожгла?

— Из мести.

— И дом сгорел?

— Дотла.

— Ничего подобного, только два этажа сгорели. Успели потушить.

— Она и школу подожжет! Что ей стоит!

— Она всегда поджигает...

Школьный телеграф не просто повторял новость, он увеличивал ее, раздувал, лепил из нее, как из глины, то, что подсказывало воображение.

— Она одна подожгла?

— Нет. Целая банда поджигателей. А она — главная.

— Они, рыжие, все такие.

— Ребята, по-моему, пахнет горелым. Может быть, она уже подожгла школу?

Первоклассники пробирались на третий этаж, чтобы посмотреть на Таню Вьюник. Они с опаской подкрадывались к двери и заглядывали в щель.

Гудели этажи, лестницы, классы. Гудела учительская.

— Что теперь делать?

— Вызвать родителей. Сообщить в милицию.

— Ее надо исключить из школы. Я буду настаивать.

— Да не могла она поджечь! Что вы!

— Я верю своим ушам.

— А вы не верьте!

— Надо вызвать из отпуска директора.

А Таня как ни в чем не бывало сидела на уроках. Она вела себя так, словно разговоры о пожаре ее вовсе не касались. И ее спокойствие подливало масла в огонь.

Один раз Князев повернулся к ней, посмотрел на нее своими прищуренными глазами и сказал:

— Я не верю. Ты все придумала.

Потом кончились уроки, и она пошла к выходу. Ее никто не вызвал, никто не требовал привести родителей. От нее вообще ничего не требовали.

Таня вышла из дверей школы и вдруг почувствовала, что очутилась в чужом городе. Вокруг стояли незнакомые дома, мимо шли незнакомые люди, мчались автобусы по незнакомым маршрутам. Все здесь было чужим и холодным, и Таня, потерянная, заблудившаяся, стояла посреди тротуара и не знала, куда ей идти. Теплое течение застыло, перестало действовать.

Таня оглянулась. Высокое кирпичное здание школы тоже было незнакомым, чужим. Весь город изменил Тане, и даже этот самый знакомый дом утратил всякую теплоту, стал мрачным. Таня повернулась спиной к школе и зашагала прочь. Ею вдруг овладело тупое безразличие ко всем событиям сегодняшнего дня. Они как бы перестали касаться ее, стали чужими.

Таня вышла к реке. Здесь дул холодный ветер, который пробивал старую куртку и лохматил волосы. Таня прислонилась к перилам и стала смотреть в воду. Вода была грязной, по ней, как маленькие зеленые гондолы, плыли арбузные корки.

«Раньше были лишние люди... Например, Онегин и Печорин,— подумала Таня.— Теперь тоже есть лишние люди. Например, я».

Зеленые гондолы уплыли под мост.

По набережной шагал мальчишка в зимнем пальто. Пальто было длинным, купленным на рост. Мальчишка поравнялся с Таней и тоненьким голоском протянул:

— Рыжая!

Тане показалось, что этот голос донесся откуда-то издалека, из родного города. Она улыбнулась этому слову и добродушно ответила:

— А ты серо-буро-малиновый.

От удивления рот у малыша превратился в большое розовое «о». Он быстро зашагал дальше. Из-под длинного пальто блестели новые галоши.

И вдруг она вспомнила о Марише. Она увидела ее

большие черные глаза и опаленную прядку волос. Она почувствовала на шее маленькие, крепко обвившие ее руки. Услышала тихое всхлипывание.

Мариша... Мариша...

Это маленькое существо одно в целом свете понимает Таню, понимает правильно, а не шиворот-навыворот, вверх тормашками, как все остальные. И для Мариши она, Таня, не лишний человек. Не Онегин и не Печорин.

Таня вдруг стала узнавать улицы, дома, трамваи. Она шла к Марише.

Она думала, что возле дома до сих пор толпятся зеваки, алеют краснопламенные пожарные машины и жметя к стене маленькая Мариша. Но когда остановилась на углу, улица была пустой. Никакой толпы и никаких пожарных. Таня медленно двинулась к Маришину дому. Дом мало чем отличался от соседних. Только два окна на втором этаже были забиты фанерой и стена над окнами стала черной от копоти.

Трамвай запел на повороте, и из-под его дуги вылетела веселая фиолетовая искра.

Таня вскочила на подножку трамвая. Она даже не посмотрела, какой это номер, не сообразила, куда он идет. Ей просто захотелось уехать куда-нибудь.

Она ехала до тех пор, пока кондуктор не объявил: — Следующая — цирк.

Слово «цирк» как бы вернуло Таню к действительности. Она поднялась и пошла к выходу.

Почему-то в ушах у нее зазвучали слова:

«С такими волосами впору идти в цирк... Работать клоуном...»

Таня сошла. Трамвай укатил дальше.

«В цирке так в цирке»,— сама себе ответила Таня и повернулась к большому круглому зданию.

«Что мне делать в цирке? Неужели в самом деле переступить порог и сказать: «Возьмите меня на работу

рыжим... то есть рыжей. А если у вас рыжих хватает, то все равно возьмите меня кем угодно. Я осталась без места в жизни. Мне нужно хотя бы самое скромное местечко...»

Таня стояла на площади, и перед ней возвышался цирк. Он весь был увешан радужными афишами и плакатами. С них на Таню смотрели улыбающиеся клоуны и свирепые львы.

И тут Таня вспомнила про Риту, про свою веселую подружку, которой живется легко и просто. Может быть, ей живется так потому, что она работает в цирке?

В другое время у Тани никогда не хватило бы духу войти в цирк без билета, с черного хода. Но после событий сегодняшнего дня невозможное стало возможным. Таня открыла дверь. Какое-то новое течение подхватило Таню и понесло вперед по гулким коридорам, по крутым лестницам, по конюшням, в которых стояли слоны.

Она шла и спрашивала:

— Вы не знаете, где Рита? Вы не видели Риту?

И люди, странные люди в необычных костюмах, на ходу отвечали:

— Не знаю!

— У нас четыре Риты. Тебе которую?

— А какая она из себя, твоя Рита?

Никто не спрашивал Таню, кто она такая и что ей здесь надо. словно все знали ее и не удивлялись, что она ходит по коридорам.

Куда же делась Рита?

Таней вдруг овладело странное щемящее чувство. Удивительно знакомое и непонятно откуда взявшееся. Ах да, это было в детстве. Она шла по лабиринту, шла и все время попадала на то же место. Где-то совсем близко играла музыка, звучали голоса, но Таня не могла найти выхода. И тогда к ней пришла мысль, которая никогда не приходит людям в лабиринте. Таня полезла на забор, и все оказалось просто.

Таня вспомнила про лабиринт и неожиданно для себя толкнула первую попавшуюся дверь. Она очутилась в большой комнате с цементным полом. Здесь пахло, как в рыбном магазине. И пол был мокрый. В нем даже отсвечивали лампочки. Посредине комнаты на низкой скамейке сидела женщина в синем халате и чистила рыбу. Ее руки до локтей были усыпаны рыбьими чешуйками.

Таня сделала несколько шагов. Женщина бросила в бак с водой серебристую тушку рыбы и оглянулась. Некоторое время она молча смотрела на Таню. Потом спросила:

— Что тебе, рыжая команда?

— Мне Риту,— отозвалась Таня.

— Какую Риту? Откуда ты взялась?.. Из номера или из униформы?

Таня не знала, что ответить.

— Нет. Я... с улицы,— призналась она и тут же подумала, что это прозвучало, должно быть, очень смешно — «с улицы».

Но женщина в синем халате не рассмеялась.

— Если хочешь,— сказала она,— помоги мне чистить рыбу.

— Хочу,— сказала Таня и села рядом с ней на низкую скамейку.

От холодной рыбы у Тани очень скоро замерзли и покраснели руки. Но ей нравилось это занятие. И она старалась работать проворней, только спросила:

— Зачем столько рыбы?

— У меня ребята прожорливые. Тридцать кило в день. Вынь да положь.

— Какие ребята?

— Ты не знаешь моих ребят? — женщина перестала чистить рыбу и уставилась на Таню.— Нет, ты серьезно не знаешь моих ребят? Рыжая команда, ты и меня не знаешь?

Таня покачала головой.

— Ну да, ты пришла с улицы,— вспомнила незнакомка.

— Мне уйти? — спросила Таня.

— Нет, если можешь, помоги мне. Понимаешь, тетя Домаша заболела, я не справлюсь. Нет, подожди. Вытри руки, я познакомлю тебя с моими ребятами.

В большой клетке на деревянном настиле, рядом с бассейном, лежали три странных существа. Они лежали неподвижно, и их влажные лоснящиеся тела были похожи на блестящие морские камни, по которым только что прошла волна.

Едва Таня и ее новая знакомая приблизились к клетке, камни ожили. Вернее, совсем пропали, потому что тела животных оказались такими подвижными, гибкими, эластичными, что их уже невозможно было представить камнями. Три маленькие мордочки просунулись между прутьями клетки. Из-под длинных упругих усов сверкнули белые зубки, а глаза, налитые темной влажной синевой, уставились на Таню.

— Вот мои ребята. Морские львы,— сказала хозяйка.— Знакомься. Это — Лель, это — Зина, это — Тонни.

Таня смотрела на три доверчиво тянувшиеся к ней мордочки. Они были удивительно похожи друг на друга. Таня хотела отличить Тонни от Леля и Леля от Зины. Но у нее ничего не вышло.

— Вы не путаете их? — спросила Таня.

Хозяйка рассмеялась.

— Как же их можно спутать! Посмотри на Леля, какой он мужественный, как у него топорщатся усы. А глаза у него большие, круглые, удивленные. А у Зины глаза миндалевидные, они все время смеются. И она вся изящная, кокетливая, меняет позы, словно стоит перед зеркалом. Разве ее можно спутать с Тонни? Это увалень и лентяй. Он спит на ходу. И потом, у него на лбу отметина. Это он расшибся. Видишь, над правым глазом... Конечно,

вожак у них Лель. Они его слушаются. Он и работает лучше всех. Правда, Лель?

Лель сразу же оживился, задвигался. Потом вытянулся, как солдат перед командиром, и издал ломкий звук, похожий на лай.

— А ты говоришь «путаете»,— довольным голосом сказала хозяйка и кивнула на бак с рыбой.— Можешь дать им по рыбке...

Таня взяла рыбу и пошла к клетке. Она не знала, как угощать новых знакомых, но хозяйка тут же пришла ей на помощь.

— Кидай, кидай! Они поймают.

Таня кинула рыбку Лелю, и этот тучный, тяжелый зверь с необыкновенной легкостью поймал угощение. Даже лентяй Тонни оказался очень проворным, когда дело дошло до свежей рыбы. Нетерпеливая Зина не стала дожидаться, когда до нее дойдет очередь. Она воспользовалась тем, что Таня замешкалась, и ловко выхватила салаку из ее рук. Ее миндалевидные глаза лукаво поблескивали.

Таня задумалась. Вся ее прежняя жизнь неожиданно отодвинулась далеко-далеко. Ее школьные знакомые как бы уменьшились в размере. А Генриетта Павловна стала величиной с палец. И от ее лица остались только два глаза, заключенные в круги. Глаза не смеялись. Они вообще были еле видны. Тане почудилось, что она села на поезд и уехала далеко-далеко от родных мест. И сошла в чужом, незнакомом городе. И вообще вокруг нее все новое, незнакомое и... приятное.

— Ну, как мои ребята? — послышался за спиной голос хозяйки.

Таня услышала голос, но не разобрала слов. Она оглянулась. Женщина в синем халате уже снова сидела на скамейке и чистила рыбу. Таня неторопливо подошла к ней и принялась тоже за дело.

— О чем ты думаешь? — спросила ее хозяйка.

Таня не смогла ответить. Она сказала:

— Так...

— Ты где-нибудь работаешь или учишься? — спросила хозяйка.

Таня покачала головой.

— Ты не пошла бы ко мне ухаживать за животными?

— Пошла бы, — не задумываясь, ответила Таня.

Она оглянулась на клетку. Три маленькие черные мордочки с белыми усами настороженно смотрели в ее сторону.

— Меня зовут Таня... Таня Вьюник, — сказала Таня своей новой знакомой.

— А я — Викторина Гай, Викторина Сергеевна Гай, — ответила новая знакомая.

Так они познакомились.

Самым трудным оказалось позвонить в собственную дверь. Таня долго топталась на лестничной площадке и все строила догадки: знает ли мама о всех ее злоключениях? Может быть, ее уже вызывали в школу и Генриетта Павловна рассказала ей о том, что Таня подожгла дом, а глаза ее в это время смесились над Таниной мамой... А может быть, маму вызывали в милицию? Шутка ли — дочь подожгла дом. Ведь пожарный, который огрызком карандаша записал Танину фамилию, мог тоже поверить, что Таня подожгла дом.

Наконец Таня решила позвонить.

— Где ты пропадаешь? — спросила мама.

И по тому, как мама спросила: «Где ты пропадаешь?», по ее глазам и по ее спокойным движениям Таня поняла: мама ничего не знает. Тогда Таня сказала:

— Сядем.

Мама удивленно посмотрела на дочь и села. Таня тоже села.

— Ты ничего не знаешь? — на всякий случай спросила Таня. — К тебе не приходили из школы? И про пожар ты тоже ничего не знаешь?

— Про какой пожар? — мама поднялась со стула.

— Сиди. Не в этом дело. Я хочу тебе сказать... Я бросила школу.

Пройдет время. Много забудется. Отойдет в тень. И будет казаться, что все произошло просто, как-то само собой. Вошла в дом. Сказала маме: «Я бросила школу».

Услышала ответ:

— Не городи чушь.

— Нет, я серьезно. Бросила. Поступила на работу.

— На какую работу?

— Как ты советовала — в цирк.

— Я тебе не могла советовать такую глупость.

— Вспомни, мама. «Тебе впору идти работать в цирк».

— Дай мне сигарету.

Мама долго курила, не произнося ни слова. Она переваривала новость, которую преподнесла ей Таня. Она мучилась и потому молчала. Она почувствовала себя беспомощной, старой, ни на что не способной. Дочь вышла из-под ее крылышка. Делает что хочет. Сегодня бросила школу и поступила в цирк. Завтра приведет за руку парня и скажет: «Знакомся, это мой муж...» Но после будет казаться, что мама просто надулась и молча курила.

Таня сидела на стуле. Прямая. Спокойная. Так, по крайней мере, казалось маме. Спокойствие дочери выводило ее из себя. Она с трудом сдерживалась. И потом ей тоже будет казаться, что Таня была спокойной. А Таня чувствовала себя побитой и чудом спасенной.

— Что ты собираешься делать в цирке? — глухо спросила мама.

— Не бойся, — сказала Таня, — я не буду выступать на манеже с клоунами. Работа у меня простая: я чищу

клетки, чищу рыбу, ухаживаю за морскими львами. Они очень славные. Я тебе когда-нибудь покажу их. И вообще, мама, ты не волнуйся. У меня все в порядке... А в школу я никогда не вернусь.

Надо отдать должное маминей выдержке. Она не закричала. Не нахлопала дочку по щекам. Она молча курила. И все силилась найти смысл в поступках дочери. И не находила этого смысла. Чтобы легче понять дочь, она вспомнила себя в Танины годы.

— Я тоже бросила школу,— тихо сказала мама.— Но я не делала глупостей, не поступала ни в какой цирк, а ушла на фронт. Стала зенитчицей. По ночам мерзла на посту и прислушивалась к шуму моторов. Один раз обнаружила самолет, который там, впереди, прозевали. Подняла батарею по тревоге. Самолет отогнали. Потом про меня написали в газете «Тревога». У меня где-то хранится эта газета...

— Мама, все будет хорошо,— тихо сказала Таня.— Вот увидишь. Я поступлю в вечернюю школу. Ты уж не сердись.

— От тебя пахнет рыбой,— сказала мама.

— Ну да, мы с Викториней Сергеевной начистили тридцать килограммов. У меня руки покраснели.

Мама встала и пошла на кухню.

Что еще было в этот день? Ах да, опять на глаза попался Павлик. Он нес в комнату чайник.

— Я купил Нине цветов,— сообщил он, глядя в стенку.

— Молодец,— похвалила его Таня.— Она была счастлива?

— Да, она обрадовалась. Она сказала, что я первый, кто купил ей цветы... Но лучше бы я купил их тебе.

— Иди пить чай,— отрезала Таня.

— Успею... Ты не думай, она в самом деле обрадовалась. Потом я угощал ее мороженым.

— Тебе больше некому это рассказывать?

— Некому. Я ребятам не говорю. Они ведь только посмеются. Я и цветы завернул в газету, чтобы никто не смеялся. А что?

— Все в порядке,— сказала Таня и пошла к себе.

— Рыжая команда, как наши дети?

— Резвятся.

— Как у них животы?

— В порядке.

— Ты им не давала рыбы?

— Нет.

— Не врешь?

— По одной рыбке.

— Подлизываешься. Надо завоевывать любовь не рыбками. За рыбки каждого полюбят. А ты без рыбок.

— Я им витамины давала.

— Лопают?

— Еще как!

Таня стояла в клетке. На ней был огромный фартук до земли и косыночка, которая аккуратно скрывала волосы. Из бассейна торчали три острые мордочки. Массивных гладких тел не было видно, и казалось, что их вообще нет, а есть маленькие зверьки с маленькими мордочками. Они выглядывали из воды и смотрели то на Таню, то на Викторину Сергеевну.

Дрессировщица скинула норковую шубку и бросила ее на стул, как будто это был простой засаленный тулуп.

— Мы отправляемся на манеж, а ты заканчивай уборку.

В ее голосе звучали командные нотки. Но они не обижали Таню, девочка очень точно улавливала за ними добродушную иронию. Ей даже нравились эти нотки: самой бы неплохо научиться.

Таня прыгнула из клетки на пол. Викторина Сергеевна скомандовала:

— Мальчики-девочки, на берег!

Три зверя внимательно выслушали распоряжение и стали выбираться из бассейна. И сразу превратились в больших лоснящихся морских львов. Они весело лаяли и шлепали лапами. Морские львы обступили дрессировщицу и тыкались в колени своими мокрыми мордочками.

— Лель, не отталкивай Зину! А ты все спишь на ходу, Тонни? Кому я говорю? Тонни! Дети, на манеж! А ты, рыжая команда, закончишь уборку, приходи тоже. Начищенная рыба есть? Опять дали мелочь костлявую! Надо бы самого завхоза накормить такой рыбой.

Таня стояла рядом и наблюдала за Викториной Сергеевной. И прислушивалась к ее словам, к ее ноткам.

В дверях появилась Рита. Она все время вертела ногой, одетой в красивый чулок, и казалось, что нога у нее заводная. А оранжевая шляпа была похожа на абажур: круглая, с проступающими ребрышками каркаса. Может быть, когда-то внутри светила лампочка, а теперь абажур надели на голову.

— Манеж готов, реквизит на месте,— сказала Рита.

— Спасибо, деточка. Идем!

Викторина Сергеевна шла впереди, морские львы, хлопая лапами, переваливались за ней. Таня осталась одна. Рита все еще стояла в дверях и вертела заводной красивой ножкой.

— Вкалываешь? — спрашивала она.

— Вкалываю,— отвечала Таня.

— У вас тут рыбой пахнет. Фу!

— Я привыкла. Мне даже нравится...

— Ты прямо как Золушка. Культурная девушка. И вкалываешь. А меня Вальтер Мокин обещал взять в номер. Я способная.

— Ты способная. У тебя получится.

— Я тогда тебя перетяну. Ему много девушек потребуется для номера.

— Спасибо, Рита. Я уж лучше здесь, со своими мальчиками-девочками.

— Ну, приветик!

Рита повернулась на своей красивой ножке, как флюгер от порыва ветра. И исчезла.

Если бы кто-нибудь сказал Тане, что это чувство называется любовью, она бы очень удивилась. Она бы пожала плечами и ничего не сказала бы в ответ. Потому что это была не любовь и не дружба, а нечто другое, что имеет старое прочное название. Нет, у этого чувства вообще не было названия, потому что ни один человек на земле не мог испытать этого. Это было ее, Танино, чувство. И называть его можно было только Таниным именем, как называют именем мореплавателя открытую им землю.

С тех пор как Таня ушла из школы и поступила на работу в цирк, в ее жизни наступило равновесие. Она как бы перешла границу и попала из одной жизни в другую. В этой жизни не было ни Генриетты Павловны, ни Мариши, ни пожарных. Но Князев каким-то образом следом за Таней перешел в новую жизнь.

Каждый раз, возвращаясь из цирка, Таня шла по набережной. Несмотря на мороз, вода в реке не замерзала, стала только темной гущей. И в ней отражались спелые полнолуния фонарей.

Таня остановилась у перил и стала смотреть в воду. Шел снег, и снежинки не растворялись в воде, а как бы проваливались в темную бездну и продолжали полет где-то в глубине, вне поля зрения. Таня глазами провожала снежинки до воды и силилась рассмотреть их дальнейший полет. Ей начинало казаться, что она смотрит в небо, которое лежит у ее ног и в которое, отрываясь от земли, летят снежинки, чтобы превратиться в белые звезды. Девушка вдохнула в себя холодящий воздух, почувствовала

легкость. От радостной легкости, от веселого холодка, от неба, которое почему-то оказалось у ее ног, Таня почувствовала себя всеильной.

Она вспомнила губастого Павлика, который ходит с красивой Ниной на концерты и дарит ей цветы, завернутые в газету. Хорошо, она тоже подарит цветы. Сама. Князеву. Сегодня же.

Таня решительно направилась в цветочный магазин.

Зимой цветочный магазин подобен оазису. Стоит толкнуть легкую стеклянную дверь, и сразу попадешь из зимы в лето. За спиной останутся ветер, снег, поднятые воротнички, посиневшие носы... И в лицо повеет ароматной ласковой свежестью летнего утра.

Таня стояла на выложенном шашечками кафельном полу и разглядывала флору маленького оазиса. Белые хризантемы были похожи на лохматых болонок, которые свернулись клубками и в теплой шерсти спрятали черные озябшие носы. В жесткой темно-зеленой листве горящим елочным фонариком желтеет лимон. Кактусы были похожи на зеленых ежей. Ствол пальмы укутан бурым войлоком...

Но все это не было чудом. Чудо было маленьким, прозрачным, хрупким. Это был ландыш. Как попал сюда житель весеннего леса? Как сумел он обмануть время, преодолеть стужу и зацвести в декабрьском городе, где вместо солнца светят лампочки?

Таня присела на корточки и стала разглядывать ландыш. Длинные листья с тонкими зелеными жилками. Стебель светло-зеленый, нежный и упругий. Цветы, похожие на капельки молока...

— Ландыш продается? — спросила Таня: ей все еще казалось, что это маленькое зимнее чудо не имеет цены.

— Продается, — спокойно ответила продавщица. — Плати деньги и забирай.

Таня бережно взяла в руки ландыш и спрятала его под куртку осторожно, чтобы не повредить соцветие и корни.

Она вышла из магазина и зашагала по снежным улицам. Она шла в надежде встретить его. Сворачивала в какие-то переулки, пересекала площади, где мело, как в поле. И все всматривалась в лица прохожих. Все надеялась увидеть при свете фонарей серьезную складку между бровей и прищуренные глаза. Все ждала: вот-вот за поворотом покажется он. Но он так и не встретился ей.

Таня долго шла, прижимая рукой ландыш, чтобы он не замерз. Она согревала его, стараясь заменить этому живому существу весеннее солнце своим теплом. Потом она очутилась у здания школы. Было уже поздно. Свет в доме не горел, но несколько окон еще светилось.

Таня сразу подумала о Михаиле Ивановиче. Она почему-то вспомнила его слова: «Это не я... Это уже другой. Того убили и сбросили в противотанковый ров...»

Интересно, каким был тот? Наверное, он не был Зубром, а высоким, худым, с серьезной складкой между бровей. На нем была выцветшая гимнастерка и ржавые бинты.

Некоторое время Таня в раздумье стояла перед школой, прижимая рукой ландыш. Потом поднялась по ступенькам.

— Тетя Паша, Михаил Иванович здесь? — спросила она нянечку, которая пила чай из блюдца.

— Давеча был здесь...

— Я посмотрю его пальто.

— Посмотри.

Таня вошла в учительскую раздевалку и сразу увидела бурую, порядком засаленную дубленку. Это была его дубленка. Шкура Зубра.

Таня достала из-за пазухи ландыш и осторожно положила цветок в глубокий карман шубы учителя.

— Только не говорите, что я заходила, — сказала Таня.

— Ладно уж, — отозвалась старушка, наливая чай в плоское блюдце.

Таня быстро скрылась за дверью.

...Меняются теплые течения. На смену одному приходит другое. Оно так же подхватывает тебя у ворот дома и так же легко и просто несет тебя мимо других домов, через другие перекрестки. И тебе не надо задумываться, где поворачивать, где идти прямо. На помощь приходят трамваи и троллейбусы. Они, как корабли, плывут по течению.

Старое течение приводило Таню в школу. Новое выносит ее к круглому зданию цирка.

Таня приходила в цирк пораньше, чтобы успеть до прихода Викторины Сергеевны начистить порцию рыбы. Она распахивала двери, включала свет. Лель поднимал голову и, моргая, привыкал к свету. Он издавал скрипучий звук. Он приветствовал Таню. И сразу три головы просовывались между прутьев.

Таня открывала холодильник. Доставала оттуда бак с рыбой. Надевала фартук и вооружалась ножом. Она быстро очищала три серебряные тушки, а морские львы на это время превращались в морские камни: они застывали в томительном ожидании. Таня бросала им по рыбке. Камни оживали. Начинался новый день.

В это утро Танино внимание привлек странный звук. Он напоминал плач ребенка. Таня механически вытерла руки о фартук и вышла в коридор. Теперь звук доносился отчетливей. Он был похож на непрерывный жалобный вой. Таня пошла на звук. Она быстро шла по полутемному коридору и вскоре очутилась на манеже.

На манеже было двое: дрессировщик Эрозин и медвежонок. Дрессировщик бил маленького медведя длинным бичом, а тот пытался, отворачивая морду от свистящих ударов.

Таня замерла у края манежа. Ей показалось, что хлыст не зажат в руке дрессировщика, а как бы является продолжением руки.

Манеж был освещен, а полукруглые, уходящие к потолку ряды кресел тонули во тьме. И Тане показалось, что

они заполнены зрителями. Что сотни людей, затаив дыхание, смотрят на медвежонка и слушают этот полный боли и отчаяния вопль.

Таня не выдержала, она бросилась на манеж мимо человека, машущего рукой-хлыстом, и закричала:

— Не смейте!

Она бежала к медвежонку, как кидаются на помощь маленькому беззащитному существу. Она забыла, что он дикий, обиженный зверь. Что человек уже убил хлыстом все теплое и живое, что теплилось под этой косматой шкурой.

Дрессировщик успел схватить Таню за руку и с силой отшвырнул ее в сторону. Таня упала в мягкие опилки.

— Сумасшедшая девчонка! Убирайся вон!

Таня вскочила на ноги и снова крикнула:

— Не смейте!

— Сейчас же убирайся вон! Не мешай мне работать!

Стояла оглушительная тишина. Только стон медвежонка прервал ее.

Если бы огромный круглый зал был заполнен людьми и если бы эти люди пришли сейчас на помощь Тане!.. Но зал был пуст. И это пустота сейчас внушала страх и отчаяние.

Таня бежала по коридорам. Она бежала и кричала:

— Все на манеж!

Никто не откликался. Цирк был пуст.

Вдруг Таня услышала за спиной голос:

— Что случилось, рыжая команда?

— Викторина Сергеевна... там... он... избивает...

— Кто избивает? Кого? Говори внятно.

— Эрозин... медвежонка... Идемте скорей.

— Негодяй,— тихо произнесла морская львиная мама.

Когда они вошли в зал, там уже собралось несколько человек. Вероятно, Танин сигнал долетел до тех немногих служащих, которые были в цирке.

Эрозин уже не бил медведя. Он кричал на собравшихся людей:

— Не ваше дело! Уходите! Уходите!

— Игорь Садыкович, так нельзя,— говорил старый пожарный, одетый в нескладные брезентовые доспехи.

— Иди-иди, туши-гаси,— огрызнулся Эрозин.

И тут в разговор вмешалась Таня:

— Вы не смеете,— кричала она,— это советский цирк! Эрозин взорвался.

— Опять ты! Скажи спасибо, что я спас тебе жизнь! Тебя бы медведь отделал будь здоров как. Надо было не удерживать тебя.— И тут он закричал всем: — Если эта девчонка такая слабонервная, то пусть она убирается из цирка! И нечего устраивать общее собрание... Я заслуженный...

Он захлебывался от злости. Викторина Сергеевна подошла к Тане и тихо сказала:

— Пойдем, рыжая команда.

И они пошли по длинным коридорам к своим питомцам.

— Он не будет больше бить? — спросила Таня.

— Не будет.

Дрессировщица все еще держала Таню за руку. Потом она оглядела свою помощницу и сказала:

— А ты девка что надо! Из тебя выйдет человек.

Да здравствуют рыжие неудачливые люди! Которые суют нос куда их не просят и готовы подставить себя под удар, когда надо защитить слабое существо, которые до последнего бьются с несправедливостью. Их вечно заносит в сторону. И когда занесет, они уже не могут остановиться и ударяются.

Но они не отступают и не хнычут. Они переносят гонение подлецов и не складывают оружия.

Да здравствует рыжая команда! Все рыжие команды! И вообще рыжий — это не цвет волос. Это цвет характера.

...Таня стояла перед закрытой дверью и тихо плакала. Она уперлась локтем в дверь, а лицо спрятала в согнутую руку. На лестнице было тихо, и каждый звук усиливался, становился гулким, как в ущелье. Таня тихо всхлипывала.

Когда нет подходящего человека, у которого можно плакать на плече, плачут прислонясь к деревянной двери. Дверь хотя не утешает, но зато не сует в нос рецепты, как надо жить, и не читает морали. У двери куда больше такта, чем у некоторых людей.

Таня оторвала лицо от руки и начала легонько поглаживать дверь. Дверь щербатая. Ее давно не красили, и на ней сохранились отметины, которые Таня делала, когда была девочкой. Каждый год после лета. Сейчас эти отметины достают до локтя, до плеча, до уха. Так Таня росла. И вот выросла.

За спиной послышалось покашливание. Таня быстро обернулась. На лестничной площадке стоял Зубр. Выпуклые глазные яблоки уставились на Таню. Из-под шапки торчали темные космы волос. При тусклом свете лестничной лампочки девушка не сразу узнала его.

— Здравствуйте,— тихо сказала Таня.

Михаил Иванович сел на подоконник и поманил Таню коротким пальцем.

— Садись,— сказал он хриплым голосом.

Таня послушно села рядом.

— Рассказывай,— приказал он.

— Что... рассказывать?

— Рассказывай, как подожгла дом.

Ей очень не хотелось говорить о доме. Ей вообще не хотелось говорить о той жизни. Но Михаил Иванович просил.

— Значит, взяла спички,— нехотя сказала Таня.— И подожгла. Вот и все.

— И дом сразу всцыхнул?

— Нет, он разгорался медленно.— Таня начала входить

в свою роль. — Сперва загорелся первый этаж. Потом второй, потом...

— Третий, четвертый, пятый, — подхватил Михаил Иванович. — Только ты упустила одну деталь.

— Какую?

— Маришу.

— Ах, да, Маришу, — не сдавалась Таня. — Я подожгла дом, а там была Мариша... Что вы на меня так смотрите?.. Я вынесла Маришу... Откуда вы знаете про Маришу?

— Знаю, — буркнул Михаил Иванович и сунул руку в карман.

— А как же с домом? — неуверенно спросила Таня.

— С каким домом?

— Ну, с тем, который я подожгла.

— Этого дома не существует.

— Нет, он существует. Я подожгла его. Разве вы не верите? Все верят. Спросите ребят. Спросите Генриетту Павловну.

— А я не верю, — отрубил Зубр.

— Вы должны верить, раз все верят.

— Замолчи! — сердито прикрикнул он и сразу отошел, успокоился и, уже успокоенный, сказал: — Иди домой. Завтра придешь в школу.

Таня покачала головой.

— Я больше не приду в школу. Я работаю.

— Не валяй дурака.

— Я не валяю. Я теперь работаю в цирке. Все уладилось.

— Ты говоришь мне правду?

— Да, правду. Я работаю в цирке. Рабочей по уходу за животными. Ухаживаю за морскими львами, чищу рыбу. Разве вы не чувствуете — от меня рыбой пахнет?

Таня соскользнула с подоконника, подошла к двери и позвонила. Потом она быстро подошла к Зубру и скороговоркой сказала:

— Вы здесь ни при чем. До свидания. Я люблю вас.

— И все-таки ты придешь завтра в школу, — твердо сказал Зубр и медленно стал спускаться по лестнице.

Поздно вечером Таня спросила Павлика:

— Ты любишь зубров?

— Не знаю, — неуверенно сказал он.

— А ты слышал о зубре Пульпите?

— Нет.

— Это удивительный зубр. Он родился на юге, а его маленьким перевезли на север.

— Ну и что из этого?

— Молчи. Тебе все кажется просто: родился на юге, перевезли на север. А для зубра это оказалось не просто. Он вырос, и его потянуло в родные места... Он их не помнил, потому что на юге был крохотным зубренком. И его потянула не память, что-то другое.

— Инстинкт?

— Нет. Инстинкт — это очень примитивно. Зубра влекло беспокойство.

— И что же сделал твой зубр?

— Он разбил головой ограду и двинулся на юг... Ты когда-нибудь видел зубров?

— По-моему, нет.

— Так вот, представь себе огромное существо, покрытое бурым войлоком. Вместо шеи — бугор, тоже войлочный. Рога короткие, полированные, изогнутые внутрь. Глаза навывкате. Под нижней губой борода — клок войлока. А дыхание такое сильное и жаркое, что вокруг тают снежинки... И вот этот зубр идет по полям, по дорогам, по деревням...

— И все разбегаются?

— Ничего подобного. Дети подходят к нему и кормят его с руки.

— Откуда они знают, что он не подденет их на рога?

— Они угадывают. Глаза у зубра налиты кровью и

смотрят грозно, исподлобья. Рога нацелены в каждого, кто приближается. А дети подходят спокойно, и он теплым языком слизывает с их ладоней сахар.

— Странный зубр.

— Ничего странного. В том-то и дело, что зубр обыкновенный. Но в нем пробудилось беспокойство, и ему кажется, что во всех пробудилось такое же чувство. Его никто не боится. Его никто не пугает. Ночует он в деревнях. Рядом с коровниками. Но внутрь не заходит. Наверное, стесняется... Ты что-нибудь понял?

Павлик уставился на Таню непонимающими глазами.

— Я так и знала,— сказала Таня.— Я так и знала, что ты не поймешь. Этот зубр похож на нашего учителя — Михаила Ивановича. Он такой же... без шеи, и волосы у него торчат, как войлок, а на лбу — две припухлости: кажется, прорежутся рога. Но не в этом дело.

— Объясни, наконец, в чем же дело?

— Не кипятись... Дело в том, что он тоже сломал ограду и идет напролом. Он самый справедливый человек в школе. Он только с виду страшен, как Пульпит. Он смотрит исподлобья и идет с севера на юг...

— По школьным коридорам?

— Где придется. Всюду. Ты не смеешься?

— Нет.

Таня внимательно посмотрела на него — проверила, не смеется ли он,— и сказала:

— Хорошо, что ты ни разу не рассмеялся. Я боялась, что ты будешь смеяться.

Таня пошла в школу только из-за Зубра. Из-за его доверчивых глаз. Из-за его хрипловатого голоса. Из-за того, что он терпеливо поджидал ее на пустой полутемной лестнице.

Еще она пошла потому, что хотела хоть раз в жизни

почувствовать себя в школе свободно и независимо. Теперь она не обязана спрашивать разрешения, покорно плестись к доске, усиленно делать вид, что слушает урок. И глаза Генриетты Павловны могут смеяться сколько угодно. Она не обязана смотреть в эти глаза, а в любую минуту может повернуться к ним спиной.

Но не это было главным, что в этот день заставило Таню изменить новому течению и пуститься в путь по старому. Таня надеялась увидеть Князева.

Все эти дни в той, другой, жизни он был с ней. Он шел рядом с ней в цирк. А когда она кормила своих новых питомцев, стоял за ее плечом. Таня подолгу рассматривала его и вела с ним разные разговоры. Она спрашивала его: «Правильно я поступаю?»

А на большой глубине возникал вопрос, который она даже мысленно не решалась задать: «Нравлюсь ли я тебе? Или, может быть, тебе нравится Генриетта Павловна?»

Она спрашивала, а он молчал. Даже в Таниных мыслях он оставался неразговорчивым, непонятным, ни на кого не похожим.

Таня устала думать о нем. Ей хотелось увидеть его наяву. И она отправилась в школу.

Перед этим она долго рассматривала себя в зеркало. Красный огонь погас. Волосы приняли свой обычный цвет. Они были рыжими, и никакими больше... Большой рот, длинная шея, на висках золотой пушок...

Если в пятнадцать лет ты недостаточно хороша собой, не падай духом. Выровняешься. Все острые углы округлятся. Яркие краски приглушатся. А большой рот неожиданно придаст лицу известную привлекательность. После пятнадцати лет можно здорово похорошеть.

Чем ближе Таня подходила к школе, тем трудней ей было идти. словно старое доброе течение ушло на глубину и путь затянуло льдом.

Она прошла мимо дома, где был пожар и где жила

Мариша. Окна на втором этаже сверкали новыми стеклами. И только черный след на стене напоминал о пожаре.

Может быть, остановиться? Вскочить на подножку трамвая и уехать к морским львам? Они небось просунули головы между прутьями клетки и смотрят на дверь, ждут свою Таню.

Таня не вскочила на подножку трамвая. Она пришла в школу.

Шли занятия. Таня тихо поднялась на второй этаж. Ей хотелось пройти по коридору шумной независимой походкой. Но она почему-то шла на носочках. Она подошла к своему классу. Остановилась у двери и прислушалась. Оттуда доносился знакомый голос англичанки. Она с таким напряжением произносила слова, словно при этом привставала на носочки.

— Выз-з-з-з, ыз-з-з...

Так Таня дошла до учебной части.

— Пришла? — спросил Михаил Иванович, не поднимая глаз. — Садись.

— Спасибо, — сказала Таня и села на кончик стула.

Он писал, а она сидела и ждала, что будет дальше.

— Так вот, — не глядя на Таню, сказал Михаил Иванович, — с сегодняшнего дня цирк отменяется. Это я тебе говорю.

Ах этот Зубр! Он хочет поднять Таню на рога, но у него ничего не выйдет.

— Чего вы от меня хотите? — Таня встала со стула. — Я работаю. Родители об этом знают. Все уладилось. Все в порядке.

— Нет, не все в порядке. Сядь!

Зубр встал и запихнул руки в карманы.

— Нет, не все в порядке. Когда человек обижен...

— Я не обижена.

— Обижена! А обижать тебя не следовало...

Он замолчал и стал ходить по комнате.

Таня задумалась. Она почему-то вспомнила пожелтевшую, порвавшуюся на сгибах бумагу, на которой был напечатан приказ, где маме за обнаружение вражеского самолета объявлялась благодарность. И она представила, что приказ тогда читал Михаил Иванович, четко и твердо произнося каждое слово.

— Из преступников — в герои, — тихо сказала Таня. — Как у вас просто получается.

— Это у вас просто получается. — Зубр начал сердиться. Встал и опять стал ходить по комнате.

Потом он запустил пятерню в темную копну.

— Как здоровье медвежонка?

Он все знал! И о Марише, и о медвежонке. Таня опустила глаза.

— Так как здоровье медвежонка, рыжая команда?

Таня вскочила со стула. Она не знала, что делать: хлопнуть дверью или... Он окружил ее со всех сторон, этот непоседливый Зубр, который вечно идет с севера на юг, не разбирая дороги и ни перед чем не останавливаясь, идет потому, что его ведет вперед непреходящее беспокойство.

— Сядь, — сказал он.

Таня села.

Зазвенел звонок. За дверью нарастал гул голосов, топот ног, крики. Можно было подумать, что все бегут от стихийного бедствия. Но просто началась перемена.

Дверь отворилась. На пороге стояла Генриетта Павловна. Заметив Таню, учительница попятилась, хотела уйти. Но Михаил Иванович жестом пригласил ее войти.

— Здравствуй, Таня, — сказала учительница. — Как поживаешь?

Таня молча стояла перед учительницей и смотрела ей в глаза. Глаза не смеялись. Полукруглые брови и тени под глазами сомкнулись. Образовали два круга. Генриетта Павловна стала похожей на грустную сову. Таня сделала

это открытие, и внутри что-то смягчилось, потеплело.

Михаил Иванович отвернулся к окну, как будто все происходящее не интересовало его. Девочка и учительница молчали.

Наконец Таня не выдержала и сказала:

— Все в порядке.

Тут в разговор вмешался Михаил Иванович:

— Что все в порядке? Что все в порядке? Ушла из школы — и все в порядке? Завтра к первому уроку быть в школе. И не опаздывать. И никаких цирков. Кончишь школу, тогда отправляйся в цирк. Сейчас уроки кончились. Иди домой... А за Маришу тебе спасибо.

Таня и Генриетта Павловна стояли рядом и смотрели на Михаила Ивановича. Он ходил перед ними от стены до стены, и все говорил, и мучился от своих слов. Словно все слова попадались маленькие, неподходящие, из совсем другого, заурядного разговора, а нужных слов не было под рукой.

И он сердился.

— Не понимаю, как из таких рыжих девчонок вырастают настоящие люди? А ведь вырастают! Но прежде чем вырастут, они нам плешь проедят, измотают нервы, выставят нас в самом дурацком свете. И в результате мы еще окажемся виноватыми. А? Что вы на это скажете? — Он говорил так, как будто Таня уже ушла и его слушает одна Генриетта Павловна. — Тут надо быть сверхчеловеком. Молчать. Мучиться и улыбаться. И все-таки у нас с вами стоящая работа, Генриетта Павловна... Ты еще не ушла? — это он Тане. — Иди, иди. Нечего слушать, когда взрослые разговаривают.

Таня направилась к двери.

— Стой!.. Завтра первый урок мой. Спроси у ребят, что задано. А теперь пошла, пошла... Интересно, где зимой растут ландыши? — И, не дожидаясь Таниного ответа, легонько вытолкнул ее в коридор.

...Он ждал ее перед школой. Не спеша ходил взад-вперед, как будто просто прогуливался. Но на самом деле он ждал ее. Таня сразу почувствовала это, но стояла на крыльце и оглядывалась по сторонам. Но на самом деле она набиралась смелости, чтобы подойти к нему.

Так продолжалось несколько мгновений. Он прогуливался, а она смотрела по сторонам. Потом Таня спустилась с крыльца, и он подошел к ней.

— Здравствуй!

— Здравствуй.

Они пошли рядом.

Таня была в своей неизменной куртке. Руки в карманах. Локти прижаты к бокам. Голова не покрыта. Ее слегка познабливало от ветра.

Вскоре ее волосы перемешались со снегом, и в ранних сумерках они уже не горели рыжим огнем, а стали голубоватыми.

Он шел рядом. Высокий, худой. В коротком пальто с поднятым воротником. Тоже с непокрытой головой.

Сейчас Тане он казался совсем необычным, ни на кого не похожим пришельцем с другой планеты. Она все скашивала глаза и все старалась, чтобы он не заметил, что она скашивает глаза.

Вокруг них колобродил снег. Он обвинил их множестве мохнатых нитей, и оба они как бы очутились в невесомом снежном коконе. Сквозь белые стенки кокона не проникали ни ветер, ни холод, ни разноголосица города.

Они молчали. Но каждый про себя напряженно думал об идущем рядом.

Они заполнили друг друга собой, своими мыслями, своей стыдливостью, своей никому не ведомой радостью.

Белый кокон становился все теснее, и они незаметно для себя прижались друг к другу плечами. Таниному плечу стало тепло, так здорово тепло.

Неожиданно он сказал:

- Я люблю снег.
- Я люблю антоновские яблоки,— отозвалась Таня.
- Я люблю синие сумерки.
- А я люблю зубров.

В их тихой переключке не было особого смысла. Но каждая фраза начиналась словами «я люблю». Эти слова невольно стали важными, необходимыми. Они должны были звучать не умолкая. Потому что, если они погаснут, затеряются в хлопьях снега, жизнь остановится.

- Я люблю запах цветущей лины.
- Я люблю пение трамваев на повороте.

Их позывные начинались словами «я люблю», потому что весь мир был для них любимым.

- Я люблю росу на листьях,— говорил он.
- А я люблю морских львов,— откликнулась она.

И вдруг он остановился, посмотрел на Таню и в том же ритме произнес:

- А я люблю... рыжих.

Эти слова вырвались наружу помимо его воли. Сами по себе. Таня испуганно посмотрела ему в глаза. Они были прищурены, а на ресницах держалось несколько снежинок, и на зеленом кольце Сатурна тоже лежал снег. Таня испугалась его голоса. Испугалась белого снежного кокона. Испугалась себя. Она кинулась бежать. Нет, нет, она убегала не от него. Она спасалась от самой себя. Она бежала долго. По улице, через площадь, не разбирая дороги. Она очутилась на набережной и остановилась. А сердце еще продолжало бежать. Она слышала его удары-шаги.

И вдруг Таня зажмурилась и засмеялась от счастья.

...Эй, звезды, держитесь крепко за небо! Как разбежусь, как подпрыгну, как достану самую крупную! А потом буду перебрасывать горячую звезду с ладони на ладонь, как печеную картошку, вынутую из костра.

Эй, рыбы, прячьтесь поскорее в темных водорослях! Я сейчас опаснее самой зубастой щуки. Могу вскочить на перила моста, и прыгнуть в глубокую воду, и ухватить за хвост любую из вас, какая придется по вкусу.

Берегитесь, желтоглазые машины, и отходящие поезда, и витрины, освещенные, как сцена театра, и деревья, и фонарные столбы, и старушки, седые от мудрости. Я могу сейчас все перевернуть, перепутать, превратить в сплошной веселый хаос. Я не пьяная и не сошла с ума. Я, кажется, счастливая, а когда человек счастлив, он распоряжается рыбами, звездами, поездами и старушками. Всем!



ПОГОНЩИК СЛОНА

Мы редко бываем в цирке. Зато когда уже переступим цирковой порог, то как бы переносимся на веселую планету, где забываются земные заботы, горести и начинается удивительная жизнь. В цирке легко оживают забытые ощущения детства: начинаешь верить во все бутафорские чудеса, переживаешь за жонглера — только бы он не уронил тарелку! — и ни на минуту не сомневаешься, что звери знают язык людей и не разговаривают только потому, что от природы молчаливы.

Раньше говорили — бродячий цирк. Теперь нашли новое слово — цирковой конвейер. Этот конвейер проходит через всю страну, движется из города в город. Вечные переезды. Только устроишься, обживешься, привяжешься к людям, и снова — прощай!

Цирк всегда бродячий, как его ни называй. Вагоны, самолеты, машины — те же цирковые фургоны. Потомкам шутов и гладиаторов снятся старые сны...

В цирк и не следует ходить часто. Чтобы он не потускнел, не стал обыденным, всегда оставался прыжком на веселую планету. И чтобы хоть изредка чувствовать, много ли крупиц детства удалось сохранить в сердце.

1

В небольшом двухэтажном городке шло цирковое представление. Медные трубы исполняли веселый марш-галоп, трескучий горох барабанов рассыпался в стороны. Смех заглушал раскаты хлопков. От раскаленных юпитеров тянуло печным жаром.

Велосипед встал на дыбы, и клоун помчался на одном колесе. А потом сверкающие никелем части полетели в разные стороны, и велосипеда не стало. Остались колесо и человек, оседлавший его. Колесо мчалось, подпрыгивало, останавливалось. Оно хотело сбросить навязчивого седока, а он смеялся над колесом.

И зрители смеялись. Они не замечали жары, примирились с духотой. Не чувствовали локтей своих соседей. Они вместе с клоуном катились на одном колесе — на большом красном колесе циркового манежа... Но главное — они не знали и не могли знать, что через несколько часов начнется война, неожиданная, как многие войны, и кровопролитная, как ни одна из войн.

Цирк «Шапито» — это огромный шатер, который разбили на базарной площади. Он выкроен и сшит из грубого корабельного паруса. Парус старый, выбелен дождями, с большими квадратными заплатами. Когда поднимается пыльный городской ветер, парус вздрагивает, рвется со строп.

Интересно во время представления походить вокруг шатра и прислушаться к его жизни. Гремит музыка. Доносятся возгласы. Рассыпаются хлопки. Такой шум, будто весь город уместился под сводами шатра. И вдруг уста-

наваливается чистая, без единого пятнышка тишина. Цирк как бы пустеет. Это значит — кто-то идет по канату, или держит на голове многоэтажный баланс, или совершает прыжок с трапеции на трапецию.

В старом парусе много крохотных дыр. Их обнаружили — а может быть, проделали сами — мальчишки, которые приросли к шатру и с трепетным напряжением смотрят внутрь. Мальчишки — наружные зрители — не подпрыгивают от радости, не кричат — они застыли в самых неудобных позах, притаились, как снайперы в засаде: один глаз закрыт, другой прищурен. Растопыренные пальцы — на парусине.

Можно подойти к такому мальчишке, похлопать его по плечу, он даже не вздрогнет. Его душа там, внутри циркового шатра, а здесь, снаружи, только круглая голова, поднятые плечи, черные локти...

На краю арены, в лучах «юпитеров» появился одутловатый мужчина во фраке. Блестящие черные волосы, как сабельным ударом, рассечены пробором. Брови квадратные. Под двойным подбородком бантик — маленький пропеллер. Человек отвел назад руки, словно собирался подпрыгнуть или взлететь, и хорошо поставленным голосом объявил:

— Новый аттракцион Зинаиды Штерн. Пиратский фрегат «Блэк Близ».

Слова вылетали из него упругими мячами.

Трубы подняли сверкающие воронки, и отрывистые звуки марша заполнили шатер цирка «Шапито».

На арене появился фрегат с черными парусами. Фрегат плыл с собственными сатиновыми волнами, которые колыхались над опилками манежа. На палубе в полосатой тельняшке, в синих шароварах и малиновых ботфортах стоял маленький капитан. Из-за пояса у него торчали рукоятки пистолетов и кипжалов. Усы и феска придавали пиратскому капитану свирепость.

Фрегат плыл по круглому морю. На носу покачивался фонарь.

Конферансье объявил:

— Начинается буря!

Оркестр изобразил завывание ветра и шум волн. Фрегат стал качаться. Опускался нос, взлетала корма. Опускалась корма, взлетал нос.

— Ветер изменил направление!

Теперь корабль бросало с боку на бок. А капитан стоял неподвижно и еще подносил ко рту увесистую бутылку с надписью: «Ром». Потом в руках у капитана очутились три такие бутылки, и он стал ими жонглировать.

— Пиратский фрегат «Блэк Близ» идет на abordаж!

Капитан побросал в море бутылки и выхватил из-за пояса пистолеты. Поднялась страшная стрельба, и запахло серой.

— Корабль наскочил на риф! В борту две пробоины. Фрегат идет ко дну! Спасите наши души!

Корабль остановился и стал заваливаться набок. Сатиновые волны смялись. Черные паруса мягко легли на опилки.

Капитан прыгнул в море. Ему навстречу полетели спасательные круги, которыми он тут же принялся жонглировать. Потом он отбросил их, и они покатались за кулисы.

Загремел барабан. Капитан подошел к затонувшему фрегату и стал отбрасывать в стороны мачты, паруса, волны. И на глазах ошеломленной публики фрегат «Блэк Близ» превратился в... слона. А сам капитан оказался девушкой.

Грянули аплодисменты. Шатер затрепал по швам.

— Bravo! Бис! Bravo!

Слон поднялся с опилок, отряхнулся и с достоинством прошелся по кругу, отвечивая публике снисходительные

поклоны, а в хоботе он держал корабельный фонарь.

Служители в униформе торопливо уносили с манежа остатки корабля. Один из них, поравнявшись с дрессировщицей, шепнул:

— Как все хорошо получилось...

Запели скрипки. Слон и девушка стали танцевать вальс. Слон танцевал плавно и бесшумно, словно он ничего не весил, был надувным.

Публика вскакивала с мест, хлопала, не отпускала артистов.

...До первого огневого удара оставалось пять часов...

Слона звали Максимом. Он был массивным, ушастым, широколобым, с мерцающими глазами. Землистосерая кожа была рассечена множеством морщинок и складок. А на покато́й спине, по самому хребту росли редкие, как реснички, волоски. В маленьком городке для слона не нашлось ни клетки, ни вольера, и его поместили в темном дворе, огороженном легким забором. На заднюю ногу надели обруч с массивной цепью, и слон как бы стоял на якоре.

— Ешь, Максим, ешь,— говорила Зинаида Штерн, подсыпая в кормушку свежих отрубей.

Слон ел лениво и неохотно. После представления у него пропадал аппетит. Он долго не мог прийти в себя, переступал с ноги на ногу и тяжело вздыхал. Дрессировщица гладила его и подносила слоновое лакомство — горсть соли.

Над двориком плыла низкая теплая луна. Она излучала сильный свет, и на нее, как на солнце, нельзя было смотреть в упор. Сморщенная кожа Максима отсвечивала в лучах этого ночного солнца бронзой. Рядом с ним Зинаида Штерн выглядела совсем маленькой и хрупкой. Черные, коротко остриженные волосы закрывали лоб мальчишеской челкой, а большие синие глаза — сейчас они были темными — смотрели грустно и удивленно. Ши-

рокие скулы придавали лицу необъяснимую привлекательность. Маленькой рукой она почесывала большое крылатое ухо слона и уговаривала его, как капризного ребенка:

— Ешь, ешь, Максим.

И Максим нехотя, без всякого интереса запускал хобот в кормушку.

Орлов стоял в глубине дворика и не сводил глаз с Зинаиды Штерн. На нем была расшитая галуном куртка униформиста, а в руках он держал два ведра и коромысло. Окруженный призрачным светом лунной ночи, он смотрел на девушку до тех пор, пока она не почувствовала его присутствия и не спросила:

— Орлов, это вы?

Он ничего не ответил. Молча подошел к ней. Она вскинула темные глаза:

— Что же вы не идете за водой?

— Да, да,— поспешно сказал Орлов,— я пойду.

Слон посмотрел на Орлова и снова принялся за отруби.

Орлов некрасив. Высокие неровные брови над впалыми глазами. Лоб, пересеченный тремя глубокими волнистыми морщинами, маленький подбородок. С волосами дело тоже обстояло плохо: их было мало. А над висками они росли густо и буйно. Приходилось все время приглаживать ладонями. Чем меньше волос, тем больше с ними хлопот! Орлов подошел к Зинаиде Штерн. У него был растерянный вид. Коромысло волочилося по земле.

— Что-нибудь случилось? — спросила девушка.

— Нет, все в порядке,— отозвался он.— Я сейчас принесу воду. Тут колонка не работает, я схожу к колодцу.

Слон тяжело вздохнул — выдохнул целый ветер.

Орлов постоял на месте, потом он сказал:

— Сегодня ровно год.

Зинаида Штерн испуганно посмотрела на него:

— Неужели год?! Орлов, милый, вам пора возвращаться домой. Хватит скитаться.

Орлов покачал головой. Девушка положила руку ему на плечо и заглянула в лицо:

— Вы опоздали родиться. Это в прошлом веке люди бросали все и уходили с бродячими комедиантами или с цыганами.

— Не гоните меня,— тихо сказал Орлов.— Я от вас ничего не требую. Какая разница: копаться в моторах или подметать манеж. Главное — это вы... И никакого прошлого века... Я пошел за водой.

Орлов повернулся и зашагал по дворику.

— Максим, что с ним делать? — спросила Зинаида Штерн слона.

Слон вздохнул и ничего не ответил.

Потом она шла рядом с Орловым по пустынному спящему городку и молча слушала его. Он был человеком на редкость молчаливым, но этой ночью заговорил. И все, что он говорил, было похоже на исповедь.

— Вы меня не понимаете? Хорошо, я объясню вам. Люди не довольствуются счастьем быть рядом. Они требуют — будь моей, будь моей женой. Потом — выстирай мне рубашку... Они не понимают, что быть рядом — это великое счастье.

— Орлов... — Девушка смотрела ему в лицо, и ее глаза начали синеть от приближающегося рассвета. — Со временем люди лучше понимают друг друга, а я вас понимаю все меньше и меньше. Вы недоступны моему пониманию. Слышите! Ваше «быть рядом» звучит нереально, призрачно... Скажите, что будет, если я вас полюблю?

Ее слова ошеломили его. Он ничего не ответил.

— А если я полюблю,— продолжала она,— то я захочу стать женой и захочу стирать рубашку. Пошли на мост.

Они долго стояли на мосту и смотрели, как вода светлеет и над ней курится туман. И в это время в вышине послышался густой нарастающий звук.

— Что это? — спросила девушка.

— Самолеты. Наверное, идут воздушные маневры.

Они задрали головы и стали искать в небе самолеты. Гул плыл с запада... Вскоре они увидели несколько летящих машин. Небо на западе было еще ночным, но летящие машины высвечивались лучами невидимого восходящего солнца.

— Красиво летят,— сказала Зина.

— Да, красиво.

Самолеты приближались. Теперь их гул расплывался над всей землей и постепенно заглушил все звуки оживающего утра. Звук был плотный и ровный, и самолеты летели ровно.

И вдруг один самолет отвалился в сторону и стал падать. Он падал с пронзительным воем. Девушка прижалась к Орлову. Небо стало тяжелым. Оно упало на землю и придавило ее. И это падение было настолько стремительным и неожиданным, что Орлов и Зина не побежали, не бросились наземь. Они стояли у перил, и Орлов только успел обхватить руками маленькую черноволосую голову и прижать к себе каким-то произвольным защитным движением.

Крылья закрыли небо, и сквозь рев мотора зазвучали частые-частые удары молотка по железу...

Грохот надорвался и стал затихать. Железные молотки замолчали. Орлов разглядел желтый самолет с короткими крыльями, с длинными, хищно выставленными вперед шасси.

Девушка выскользнула из его рук. Он решил, что она оправилась от страха. Но когда он оторвал глаза от желтого самолета, Зина лежала на серых досках моста.

Орлов медленно спускался с моста, держа на руках мертвую девушку. Она оказалась удивительно легкой. Черная челка сбилась набок, освободила белый лоб. Глаза широко открыты, только синева в них погасла, заволоклась дымкой... Орлов был настолько ошеломлен гибелью Зины, что на первых порах не мог установить связь случившегося с реальной жизнью и воспринимал все как сон или как бред. Ему требовалось время, чтобы выйти из оцепенения... Время милосердия.

С каждым шагом Зина становилась тяжелей.

Военная смерть была рангом выше обычной смерти, и Зину похоронили на высоком берегу реки, рядом с пожарным, который десять лет назад спас ребятишек из горящего дома, и рядом с милиционером, погибшим от руки бандита.

На похороны собралось много людей. Каждый понимал, что пуля, оборвавшая жизнь девушки, была первым сигналом огромной надвигающейся беды. Эта пуля касалась всех. Сегодня она срезала Зину. Чей черед будет завтра? Может быть, кто-то откуда-то уже берет тебя на прицел. И ждет только удобного момента, когда прорезь, мушка и твое сердце окажутся на одной линии... Война не уместилась в хрупкие рамки привычной мирной жизни: они трещали по швам и ломались. Было страшно. В людях накапливалась решимость — устоять, не дать себя раздавить, уклониться от пули.

Шел второй день войны, и у свежевырытой могилы еще не задумывались над тем, что скоро поля, перелески, берега, ложбины, городские парки, склоны гор, скалы, отмели покроются тысячами могил. И каждого погибшего окружит простой и скорбный ореол Бойца, павшего за свободу и независимость своей Родины.

Вырыли могилу, еще никому не напоминавшую одиночный окоп. Цирковой оркестр сыграл траурный марш. Директор, сверкая стеклышками пенсне, произнес речь:

— Зинаида Штерн была хорошим, отзывчивым товарищем. Она любила цирк и работала не покладая рук во славу советского искусства. Война вырвала из наших рядов Зинаиду Штерн. Память о ней будет жить в наших сердцах. Спи спокойно, дорогая Зина!

Потом к могиле протиснулся партерный акробат Изюмов, старший из братьев Изюмовых. Он тоже стал говорить:

— Так вот, значит... я знал Зину девочкой, когда старик Эдуард Штерн привел ее в цирк... Так вот, значит, однажды слон наступил ей на большой палец, а она даже не заплакала. Так и осталась без одного пальца... Она выросла человеком... Выручала нас деньжатами... Мы, значит, любили ее... Что еще надо сказать?

Директор объявил:

— Прощайтесь, товарищи!

Все стали подходить к гробу. Смерть изменила ее лицо: не обезобразила его, а стремительно состарила, наложила печать страдания и горя. Скулы обострились, губы сжались. За сутки смерти девушка как бы успела прожить десять лет горестной жизни...

Орлов не появлялся. Он исчез. Никто не вспоминал о нем. Кому было до него дело? Есть Орлов или нет Орлова...

Он пришел, когда все уже кончилось и рядом с холмиками пожарного и милиционера вырос Зинин холмик, обложенный зеленым дерном.

Он пришел вдвоем с Максимом. И, склонясь над могилой, все тер ладонью свой лоб, словно хотел стереть с него глубокие морщины. А слон стоял за его спиной неподвижно. Он был похож на памятник. На большой бронзовый памятник дрессировщице Зинаиде Штерн.

— Любимая моя... Красавица моя... Ты все равно будешь рядом со мной... одна-единственная, — одними губами

шептал Орлов, и слезы текли по его колючим небритым щекам.

Слон слушал его запоздалое признание в вечной любви.

Они ушли с берега в сумерках.

2

Что случилось с Орловым! Он осунулся, потемнел. Скулы, щеки, подбородок заросли густой щетиной, а волосы на висках торчали в стороны, как два куста. Его глаза раскалились и болезненно блестели. Они не видели, что происходило вокруг, они искали то, что невозможно было найти: черную челку, широкие скулы, грустные и удивленные глаза. Орлов все еще не верил, все ждал, что она появится. Ждал вопреки здравому смыслу... Ждал, хотя в ушах еще стучали железные молотки, вколачивающие пули, вколачивающие гвозди. Орлов переживал не смерть, а бесконечную разлуку.

Все, что было ее жизнью, стало теперь необходимым условием для его существования. Он не мог бросить цирк и уехать к себе, тем более что единственным существом, которое делило с Орловым горе, был Максим. Со слоном творилось что-то неладное. Он перестал есть, а по ночам издавал звук, похожий на стон. Он осунулся. Складки и морщинки на его коже стали глубже. А временами он силится разорвать цепь.

И хотя третий день шла война, уже успевшая перевернуть всю жизнь людей, в цирке еще думали о слоне.

Что делать с Максимом? Он не притрагивается к пище. Убавил в весе...

Директор сидел на черном клеенчатом диване, упершись локтями в колени и подперев ладонями щеки. У директора большое, плоское лицо, тонкая переносица, при-

щепленная пенсне, большие светлые, будто выгоревшие глаза, нижняя губа выступает вперед, нависает над подбородком.

— Что делать со слоном?

— Эвакуировать,— мрачно посоветовал клоун Комов.

— Я подал заявку на вагон. Сказали — ждите. Не представляю себе, сколько придется ждать. А пока...

— Поговорите с Гуро,— посоветовал Комов,— она работает с собаками, но, может, найдет подход к слону.

— Не вытянет Гуро... слона,— пробасил Беленький, тот самый Беленький, который был черненьким и выступал во фраке.

— Теперь время военное, надо вытягивать,— буркнул Комов.

— Этот слон дороже всего нашего цирка,— признался директор.— Его отловили у подножия Килиманджаро. Заплатили золотом.

Дверь кабинета со скрипом отворилась. На пороге стоял Орлов. Директор не сразу узнал его.

— Орлов? Что у тебя, Орлов? — спросил он и поднялся с дивана.

— У меня ничего,— глухо ответил Орлов.— Я к вам с просьбой.

Директор снял пенсне и, протерев платком, водворил на место:

— Может быть, зайдешь позже?

— Я зайду,— согласился Орлов.— Я насчет слона... Максима.

— Что такое со слоном? — брови взметнулись над стеклышками директорского пенсне.

— Со слоном ничего... Я просто хотел взять его.

— То есть как так взять? — подскочил Комов.— В собственности?

Орлов поморщился:

— Взять на себя в смысле ухода.

— Он третьи сутки не ест, — сказал директор.
— У меня он ест. Я его кормил хлебом с солью. Он три буханки съел.

Директор оживился.

— Ты кто по образованию, Орлов? — спросил он.

— Механик.

— Механик?

— Да, механик по моторам.

— А откуда ты в слонах-то разбираешься? Ты хоть знаешь, сколько стоит слон?

— Не приценивался...

— А я приценивался. Он куплен на золото. Не дай бог его загубить.

Орлов повел плечами. Ему начинал надоедать этот разговор.

— Со слоном будет все в порядке, — сухо заметил он.

— Только учти, зарплату я тебе не прибавлю. Не имею права.

— Точно, — подтвердил клоун, — не имеет права.

— Мне и не надо, — сказал Орлов. — Я был в военкомате, сказали: пока нет распоряжения.

Когда дверь за ним затворилась, Комов наклонился к директору:

— Подозрительный тип. Спину под слона подставил.

— Оригинал, — протрубил Беленький.

— Ну, со слоном мы уладили, — вздохнул директор и кончиками пальцев разгладил брови.

Кончились представления. Остановился цирковой конвейер. А на опустевшей базарной площади все еще стоял парусиновый шатер, и клоун с вызывающим круглым румянцем по-прежнему улыбался с афиши... Умолкли трубы. Остыли «юпитеры». Исчезли мальчишки — вечные спутники цирка.

С проходящим полком ушел на фронт цирковой оркестр. Музыкантов не успели обмундировать, им выдали

только пилюльки со звездочками. И они прошли через город впереди колонны в пиджаках и брюках, исполняя марш-галоц, под который обычно на арену выбегали партерные акробаты братья Изюмовы. Теперь под эту музыку шли бойцы... Проходя мимо цирка «Шапито», музыканты перестали играть. Они прощались с родным домом тишиной.

Свято место пусто не бывает, и люди нашли новое, военное применение старому шатру. Они превратили его в караван-сарай, в котором на ночь останавливались беженцы, идущие через город. Беженцы располагались на узких скамейках амфитеатра, на мягких опилках манежа, в проходах. Иногда они заходили в шатер вместе с коровами и козами. Тогда животных сгоняли на манеж. И создавалось впечатление, что сейчас выйдет дрессировщик, щелкнет длинным хлыстом и начнется представление. Но дрессировщик не выходил.

Когда в цирке ночевали солдаты, шатер сразу становился похожим на огромную солдатскую палатку. У входа становился часовой с винтовкой. Клоун с афиши подмигивал ему и скалил меловые зубы.

Фронт с каждым днем приближался к городу, в котором застрял цирк.

Утром шатер пустел. Временные постояльцы покидали его. Оставались только обессиленные и больные.

В это утро в цирке задержалось человек пять. Старики и женщина с больной девочкой. Беженцы лежали на опилках; спали они или бодрствовали, никто не знал. Женщина уговаривала больную девочку:

— Ну сосни... Ну сосни маленько...

И тут в цирк вошел директор. Он осмотрелся, привыкая к тусклому свету, который просачивался сквозь парусину, и громко сказал:

— Граждане! Прошу освободить помещение!

Никто не откликнулся. Те, кто спал, продолжали спать, а кто бодрствовал — не обратили на него внимания.

— Ну сосни маленько...— приговаривала мать.

Директор выждал и повторил:

— Прошу вас, освободите помещение.

Один из стариков заворочался и, приподнявшись на локте, спросил:

— Ты чего раскричался? Зачем тебе помещение?

— Оно подлежит уничтожению,— пояснил директор.

— Зачем же уничтожать, если оно людям нужно? — резонно заметил старик.

— Вы хотите, чтобы он достался немцам? Да? — тихо спросил директор.— Вы приказ Верховного Главнокомандующего слышали? Все уничтожать, ничего не оставлять врагу.

— Да кому он нужен, твой балаган? — неожиданно гаркнул рыжебородый мужик с одной рукой.— Ты лучше молока достань. Здесь больные. И транспорт нужен.

— Я транспортом не ведаю. Я директор цирка... Если вы не уйдете, вынужден буду удалить силой.

Рыжебородый поднялся на ноги. Он был весь в опилках. Даже в бороде натающими снежинками белели опилки.

— Ты немца силой удаляй,— трубным голосом пробасил он.— Немца, а не старых и малых. Бери винтовку и иди туда... удаляй!

Глаза рыжебородого сверкали из-под нависших бровей, а единственная рука пророческим жестом указывала на запад.

— Может быть, вы немцев здесь поджидаете? — тихо спросил директор.

— Поджидаю,— спокойно ответил рыжебородый,— чтобы драться с ними, когда у начальников вроде тебя засверкают пятки.

— Тише... она уснула...— шепотом произнесла мать.

В тот же день директор вызвал Орлова.

— Машины не будет. Последний поезд ушел. Возьми винтовку и застрели его, чтобы он не достался немцам.

Орлов ничего не ответил. Он молча взял винтовку и направился к двери.

— Подожди! Ты забыл патроны. Две обоймы хватит? — холодные стеклышки пенсне поблескивали под бровями.

— Хватит,— буркнул Орлов и взял со стола патроны. Они были покрыты смазкой и прилипали к пальцам. Он их сунул в карман, а винтовку надел на плечо, как охотник, стволом вниз.

Во дворе его поджидал Максим. Услышав знакомые шаги, слон отвел в сторону ухо и, поскольку не мог повернуть голову — для этого надо иметь шею,— повернулся сам.

Орлов, не глядя на слона, прошел мимо.

На улице он столкнулся с Комовым. Клоун остановил его и скороговоркой произнес:

— Слону могилу руками не выроешь. Проси экскаватор.

Он боялся, что его заставят рыть могилу слону.

Орлов отстранил клоуна плечом и зашагал дальше. Весь день ходил он по разным учреждениям и все просил машину для слона. На него смотрели непонимающими глазами и переспрашивали:

— Слон? Какой слон? Зачем слон? Сейчас война, немцы под городом, а он лезет со слонем.

Орлов поворачивался и уходил. И стучался в другую дверь.

— Я детский дом эвакуирую!— кричали на него здесь.— Ты что хочешь, чтобы я детишек бросил ради твоего слона?

В третьем месте его приняли за сумасшедшего.

— Все будет в порядке,— сказали ему.— Иди домой, успокойся. И не думай о слоне.

— Как же не думать о слоне!

— Очень просто. Взять себя в руки. Мобилизовать все силы. И не думать о слоне.

Орлов плюнул и ушел прочь.

Слон стоял на цепи. Он сохранял спокойствие. Лишь изредка поднимал ухо, прислушиваясь к шагам, к голосам, к несмолкаемым звукам фронта.

Вечером Орлова снова позвал директор:

— Ты что, решил слона подарить немцам?

— Нет.

— Чего же ты, на самом деле, тянешь? Может быть, поручить это дело другому?

— Нет, нет!

Даже сквозь густую темную щетину было видно, что Орлов побледнел.

— Я сам... До утра управлюсь.

— Ладно, — ответил директор, — до утра. Только отведи его подальше. В какой-нибудь буерак... Люди жгут горячее. Взрывают электростанции, мосты, институты. А он не может слона... Мне тоже жалко, но сейчас не время жалеть.

Директор говорил как-то неестественно, он повторял чьи-то чужие слова, но старался выдать их за свои.

— Словом, отведи его в буерак.

— Хорошо. Отведу.

— Смотри, Орлов! Время военное, строгое.

— Да, да, — сказал Орлов и зашагал прочь.

Директор все-таки поджег свой цирк. Выгнал беженцев. Прикатил бочку керосина, облил шатер и поджег. Пламя быстро полезло ввысь. В шатре образовались темные выгоревшие провалы, обнажился каркас. Цирк горел, как парусный корабль, подожженный вражеским ядром.

Афишный клоун с улыбкой пропадал в огне. Едкий дым поднимался в небо. К вечеру шатер догорел. На его месте образовался черный остров, от которого едко пахло гарью.

Они двинулись в путь на рассвете. Орлов отстегнул железную цепь и освободил слона. Потом он набросил на спину Максиму попону, навьючил на него два мешка отрубей, ведро, коричневый чемодан с никелированными застежками.

— Пойдем, Максим, — тихо сказал Орлов, и слон качнул головой, будто хотел сказать: «Пошли, раз надо!»

Они вышли на улицу.

Редкие прохожие не обращали внимания на шагающего слона, как будто это был не слон, а собака или лошадь. Людей занимало только то, что имело отношение к войне, несло тревожные перемены, угрожало жизни. Им было не до слона.

Орлов и Максим не сразу вышли из города, а свернули на берег. Они остановились перед холмиком, обложенным свежим дерном. Орлов наклонился и задумчиво провел рукой по траве. Рука стала влажной от росы. Слон переступал с ноги на ногу.

— Прощай, Зина, мы пошли, — тихо сказал Орлов и оглянулся на Максима.

«У слона бронированная кожа. Только между глазом и ухом есть нежное место: одной пули достаточно». Орлов не понял, почему он подумал об этом. Обоймы неприятно оттягивали карман, ему захотелось выкинуть их, но он не сделал этого.

Когда они вышли из города и очутились на шоссе, поток беженцев пришел в движение. Лошади, повозки, коровы, детские коляски, овцы, грузовики, велосипеды, телята, собаки; тысячи ног, колес, копыт, палок; голоса людей, плач маленьких, грохот колес, цокающее многообразие копыт, мычание и блеяние; множество разных красок, перемешанных, потускневших от пыли, лишенных всякой гармонии, — все это, живое и неутомимое, двигалось в одном направлении — на восток, навстречу убежи-

щу, безопасности, жизни. Вся страна встала на колеса, превратилась в огромный кочевой табор.

Никто не удивился, что рядом идет слон,— утратили способность удивляться.

Чей-то глухой голос заметил:

— Крупная скотина. Ее бы на немцев напустить.

— Обыкновенный африканский слон,— отозвался высокий костлявый старик.

И белая старушка пролепетала:

— Господи боже мой, у людей горе, а он слона водит.

Худой сутулый мальчик, трясущийся на груженой фуре, сказал своему соседу:

— А по-немецки слон — дер элфант.

Немецкая речь еще не вызывала к себе ненависти.

Слон не забегал вперед и не отставал. С молчаливым достоинством шагал он рядом с коровами, лошадьми, козами, с легким шуршанием опуская тяжелые ноги.

Люди несли на себе все, что можно было унести, на что хватало сил. Порой их выбор падал на самые необычные вещи. Высокий костлявый старик нес на спине картину Шишкина «Утро в сосновом бору». Картина была в потрескавшейся тяжелой раме, и веревка больно резала плечо. Но старик нес картину не как смиренный несет свой крест, а как вызов войне, несогласие с ней. Пот блестел на его висках, сердитые желваки ходили под впалыми щеками, а за спиной перевернутые медведи поднимали морды к небу.

Женщина в темном платке сидела на повозке, прижимая к себе горшок с фикусом. Большие мясистые листья со стуком ударялись друг о друга. Зачем ей понадобился фикус?

Объяснить все это можно было только фанатическим и вместе с тем естественным стремлением людей сохранить из мирной жизни все, что им было дорого. Скарб. Хлеб. Книги. Цветы.

Орлов должен был сохранить слона. Никто не давал ему такого приказа. Напротив, приказ был — уничтожить. Но молчаливый униформист по-своему распорядился судьбой Максима. В этом огромном молчаливом существе сейчас сошлись главные чувства Орлова. Максим был частью Зининой жизни, единственной частью, которую еще можно было сохранить от пуль и от пожаров.

Когда поток останавливался, Орлов кормил слона отрубями и бегал с ведром к колодцу, чтобы напоить его. Иногда, если привал был долгим, он водил слона к реке. Максим спускался с берега и шел до тех пор, пока вода не доставала до живота. Тогда он начинал пить, а потом поливался, а заодно поливал ребятишек, которые приходили смотреть, как слон купается. На водопое к Орлову подошел парень в стеганом ватнике.

— А пахать на нем можно? — спросил он, кивая в сторону слона.

— Не пробовал,— ответил Орлов.

— А по-моему, можно,— парень прищуренным глазом рассматривал Максима.— Только б он борозду не портил ножищами. Его можно впрягать вместо трактора... И много надо харчей, чтобы прокормить такую скотину?

Орлов недовольно повел плечами — навязался ты на мою голову! — но сказал:

— Восемь килограммов отрубей, хлеба полпуда, сено, рис, ведер пятнадцать воды.

— Пятнадцать ведер! — парня больше всего удивили пятнадцать ведер.— Баню можно справить с пятнадцатью ведрами! У меня бык четыре выпивал. Хороший бык... черный с белыми пятнами. И дорого за слона просят?

— Дорого! — рассердился Орлов.— Десять тысяч рублей золотом.

— Зо-ло-том! Дорого! — Парень произнес эти слова с таким видом, словно собирался купить слона для хозяйства, но слон оказался не по карману.

— Полпуда хлеба — это можно, — рассуждал он сам с собой, — но десять тысяч золотом... У нас колхоз небогатый.

В это время с дороги закричали:

— Пошли!.. Пошли!..

И Орлов со слоном поспешили в строй.

Иногда навстречу беженцам попадались воинские части. Тогда поток сворачивал в поле или вытягивался в струнку, пропуская идущих на запад. Слон занимал бойцов.

— Вот это противогаз! — кричал ушастый боец в большой, налезавшей на глаза пилотке. Его круглые мальчишеские глаза весело блестели.

И все сразу обратили внимание, что голова слона в самом деле похожа на большой противогаз. А что, если под этой несуразной огромной маской скрывается очень симпатичное лицо с коротким носом...

Боец совсем недавно был мальчишкой, и, как видно, озорным. Он тут же расстегнул брезентовую сумку и натянул на себя противогаз. И сразу стал похожим на слона. И они зашагали рядом: четвероногий слон и двуногий слоненок. Может быть, это была его последняя шутка.

За полдень к Орлову на кривых ногах подкатил низкорослый мужик с редкими, коричневыми от табака зубами, с выпуклым кадыком:

— Слушай, хозяин, у меня лошадь пала... Мне тягло нужно.

— А я здесь при чем? — спросил Орлов. Ему не сразу пришло в голову, что коричневозубый имеет виды на слона.

— Я твоего... в телегу впрягу, — сказал мужичок.

— Это не вол и не лошадь, — отрезал Орлов.

— Где я тебе возьму лошадь? А? Отвечай! Сейчас не время разбираться. Впрягай.

Мужичок лез на Орлова с кулаками. Униформист отстранил его и зашагал дальше.

— Впрягай! — требовал мужичок.

— Отстань. Лошадь уморил, а за слона я отвечаю.

— Граждане! Что же это получается? — закричал коричневозубый. И кадык, как поплавок, запрыгал под кожей. — Выходит, человек пусть пропадает, а слон топает?! Колонна загудела.

— Давай, давай не задерживай!

— Одолжи ты ему слона!

— А чего его спрашивать. Запрягай. Закинь ему веревку на шею...

Орлов снял с плеча винтовку. Патроны лежали у него в кармане, но оружие он взял на изготовку.

— Это что ж, в своих стрелять будешь? Ты что, немец? Отвечай, ты немец?

— Что у тебя в телеге? — тихо спросил Орлов.

— Скарб.

— Брось свой скарб и шагай, как все.

— Не брошу! Я свое не брошу. Не ты наживал — и не командуй.

— Если тебе барахло дороже жизни, — спокойно произнес Орлов, — оставайся с ним. А слона я тебе не дам. Слон государственный.

— Будь ты проклят! — крикнул мужик злобно.

Он так и остался на дороге со своей телегой.

Слон шел дальше, оставляя на пыльной дороге большие круглые следы. Он не оглядывался и не видел, как его следы тут же исчезали; их смывала волнадвигающихся подошв, шин, копыт, колес. Шел, слегка покачивая головой, и у него в ногах поднималось душное облачко пыли.

Люди привыкли к Максиму. Отрываясь от своих мыслей, искали его глазами, как ищут необходимый ориентир. Он создавал равновесие, успокаивал и незаметно как бы стал вожакот потока.

И когда под вечер, потемнев от пыли и усталости, отрывисто дыша, слон остановился, поджав сбитую переднюю

левую ногу, поток замер. Пора было сделать привал, расположиться на ночь.

По обеим сторонам дороги раскинулось пшеничное поле.

Оно колыхалось на легком ветру, поворачивая из стороны в сторону пожелтевшие глазастые колоски. Каждый колосок оцетинился тонкими штыками, защищая еще мягкие, незрелые зерна. Зерна были похожи на капельки загустевшего топленого молока, и вкус у них был тоже молочный... Над пшеничным полем звучал непроходящий шепот. Так разговаривает мать, чтобы не разбудить спящее дитя. И во всем этом щедром, широком разливе было что-то спокойное, живое, материнское.

Беженцы стояли на дороге, не решаясь сделать первый шаг в поле. Они боялись смять стебли и колоски — были приучены к этому с детства, как были приучены не бросать на пол хлеб... Они не думали о том, что завтра это поле растопчут и перепашут фашистские танки и родное дыхание поля исчезнет в жарком чаду...

Но потом они решились...

Они входили в поле, как в море. Медленно, опасливо, раздвигая руками пшеничные волны, стараясь не мять их.

Пройдет еще немного военного времени, и сердца людей почерствеют, как черствеет хлеб. Но черствый хлеб не перестает быть хлебом. Даже самый черствый хлеб не превращается в камень. Пройдет время... Но оно еще не прошло. И глаза людей были влажными. Они жалели поле.

А зеленые стебли шуршали под ногами, и поднимались, и снова падали.

Маленькая девочка, полдороги проспавшая у матери на руках, проснулась и, моргая заспанными глазками, бегала по полю, собирала васильки. И радовалась. Пшеничное море подбрасывало ее на волнах.

Последними в пшеницу вошли слон и Орлов, серый от усталости и горя.

В начале войны люди редко думают о будущем. Оно далеко и туманно. И, кроме того, не так много шансов, что оно вообще будет: пуля и снаряд слишком часто обрывают жизнь, а вместе с ней и будущее. Охотнее думают о прошлом. Оно как бы и есть будущее, если удастся остаться в живых. Обыкновенные мирные дни представляются счастливыми и желанными. О чем же еще люди могут мечтать, как не об их возвращении.

Лежа на мягкой пшеничной соломе, Орлов мечтал о прошлом. Он вспомнил, как в его город приехал цирк. Он никогда не ходил в цирк — не любил. И попал туда совершенно случайно. Хлынул проливной дождь. Негде было укрыться, а рядом возвышался шатер цирка «Шапито». Дождь звонко бил по натянутой парусине. Люди бежали к шатру на спектакль. Орлов побежал тоже. И в конце концов очутился внутри, чтобы переждать дождь в цирке.

Мокрый пиджак прилипал к лопаткам. И Орлов все время поводил плечами, чтобы отклеить его. Пиджак не отклеивался. Орлов смотрел на арену, а думал о приклеившемся пиджаке. И какой-то человек раздраженно кричал ему в ухо:

— Да перестаньте вертеться!

Он перестал вертеться и стал подумывать о том, как бы выбраться из этого балагана. В цирке было жарко, от промокшей одежды шел душный пар.

Сквозь веселые голоса труб Орлов старался расслышать, не кончился ли дождь. Но звонкие заклепки били по парусине, и их не мог заглушить даже цирковой оркестр.

А потом на арене появилась Зинаида Штерн со слоном. И все кончилось. Все кончилось и началось заново. Но первое время он не обращал внимания на Зину, а следил за выступлением слона. Ему сперва понравился слон. Чего только не делал слон! Он переваливался с боку на бок, как мальчишка, катящийся с зеленой горки. Потом он ходил

на задних ногах, потом на передних ногах. Потом он подхватил свою дрессировщицу, обвил ее хоботом и посадил к себе на спину... Дрессировщица Зинаида Штерн была хрупкой девушкой с черной мальчишеской челкой; с лицом, широким в скулах. У нее были большие синие глаза...

Орлов спал, как спят после болезни: глубоким, непробудным сном. Вероятно, такой сон — разновидность летаргического. Короткий летаргический сон... Орлова можно было толкать, обливать холодной водой, он бы не проснулся.

Он спал и видел во сне свою жизнь с такими подробностями, как будто он не спал, а заново переживал пережитое.

Но самое удивительное было, когда он проснулся.

Уже рассвело. И беженцы не спали. Они сидели на пшеничном поле кругами, а те, кто был в самых крайних кругах, стояли. Они образовали ряды амфитеатра. А в середине — круглая пшеничная арена. А на этой арене выступал слон.

Он шел на задних ногах и покачивал хоботом, и каждый его шаг сопровождался хлопками. Хлопали в ладоши дети, хлопали взрослые, хлопали старики и старухи. Орлов сразу очутился в знакомом цирке «Шалито». Ничего не произошло, просто подул сильный ветер и сорвал парусиновый шатер. И представление продолжается без шатра, под открытым небом.

И вот слон уже идет на передних ногах. Ему трудно сбалансировать свое тяжелое тело. Но он идет, вдавливая в землю глазастые колоски пшеницы. И люди, затаив дыхание, следят за каждым его шагом.

Орлов смотрел на беженцев и не узнавал их лиц. Куда девались усталость, озабоченность и тревога! Глаза светились, и покойные улыбки расплывались безмятежно, по-детски радостно.

Может быть, никакой войны нет? Люди едут на ярмарку или на праздник или просто переезжают на другое

место. И Зина жива! Ее просто не видно! Но где-то рядом она командует слону: «Алле! Ап! Алле... Ап...»

И он делает все по ее воле.

Слон принялся танцевать. Он тяжело кружился слева направо, слева направо. Он утрамбовал круглую площадку. Такую же, как манеж. И перемолотая его ногами солома превратилась в манежные опилки.

Люди хлопали, смеялись, нахваливали слона... Только шатер унесло ветром... Нет, шатра не было, потому что директор накануне сжег его. Облил керосином и поджег...

4

Начался новый день пути. Сухой паек Максима подходил к концу. Отрубей оставалось на два приема, и Орлов с тревогой думал, чем он будет кормить Максима, когда отруби кончатся.

То, что произошло на рассвете, еще больше привязало Орлова к большому доброму зверю. Почему Максим устроил представление? Может быть, принял сидящих вокруг людей за зрителей и повторил то, что привык делать при зрителях? Или он понимал людское горе и решил облегчить его тем, на что способен? Или же к его сердцу подступила тоска по Зине и утреннее представление было его отчаянным зовом?

Орлов шагал по бесконечной дороге, слышал над ухом тяжелое дыхание слона и, когда поднимал голову, видел большое сосредоточенное око.

Слон устал. Он привык к мягким опилкам манежа, а здесь под ногами — булыги и засохшая корка глины. Сбита передняя левая, и ее нельзя подковать... нельзя поставить набойку... А вдруг Максим остановится?

Жарко. Душно. И ноги гудят, как телеграфный столб, если прижаться к нему ухом. Но все идет. И длинные

подолы пыльных старушечьих юбок колышутся над дорогой, как черные волны. Эти старухи обладают точным чутьем на опасность. Еще не успели запылать их дома, а они ударили в набат. Они забыли про свои годы, перестали чувствовать хвори, поднялись, бросили дом, скarb, нажитый годами, и двинулись в путь, полный опасности и неизвестности... Они были вещими.

К полудню колонну чаще стали обгонять машины. Они мчались на восток, бесцеремонно оттесняя беженцев к обочине и обдавая их удушливой пылью. Люди привыкли дышать пылью и не отворачивались. Но грохочущие машины оставляли у них щемящее чувство отставших от поезда.

Одна из машин поравнялась со слоном и остановилась. С подножки соскочил военный. На зеленых петлицах красная шпала и золотое колесико интенданта. Пенсне, крепко прищемившее переносицу. Человек поскрипывал новыми хромовыми сапожками, а в руках вертел желтую планшетку. В суконной гимнастерке ему было жарко.

Военный обошел слона и зашагал рядом с Орловым.

— Орлов!

Орлов узнал директора цирка. Ему помогли два ровных холодных стеклышка, которые сверкали на солнце.

— Здравствуйте,— сказал Орлов.

— Ты все-таки нарушил мой приказ? — сухо спросил директор. — Ну, с этим мы разберемся позже. При удобном случае. Сейчас меня интересует другое: слоновое мясо съедобно?

Орлов пожал плечами.

— Некоторые африканские племена едят. Вялят, потом мелко нарезают...

— Повара сообразят, как готовить. Мне надо людей кормить.

— При чем же здесь слон?

— Его можно пустить на мясо.

Орлов заволновался. Три морщины на лбу покраснели.

— Я должен сдать слона в зооцентр,— сказал он.

Бывший директор сверкнул стеклышками.

— Какие сейчас, к черту, зооцентры! Сейчас война. Война все спит... и слона тоже... В общем, если к концу дня не изыщу резервов, пустим твоего слона... в расход. Имей это в виду.

С ними поравнялся старик с шишкинской картиной. Вербка, видно, крепко резала, и он поставил картину на плечо, как стеклыщик ящик со стеклом.

— Трудно будет,— сам себе сказал,— трудно будет, если начнут все списывать. Такое могут списать...

— Оставьте вашу болтовню,— сухо сказал бывший директор цирка и зашагал к машине.

Орлов шел дальше. Рядом со слоном он обретал устойчивость... Шуршащий шаг. Ветровое дыхание. Прикосновение хобота к плечу. И тень — большая, постоянная, не пробиваемая никаким солнцем. Тень от облака, не отстающего ни на шаг.

Орлов старался не думать о ровных холодных стеклышках, но они все время возникали перед глазами, и это повторяло стеклянные слова — «война все спит». Эти слова были страшнее, чем пуля, или осколок, или эта бесконечная изнуряющая дорога на восток. Они целились не в руку, не в висок, не в грудь, а в живое чувство, в то святое и вечное, без чего человек — обычное двуногое млекопитающее.

Орлову подумалось, что директор цирка надел военную форму для какого-то странного представления, и она сидит на нем так же, как сидел бы костюм клоуна Комова или фрак Бельянского. Этим маскарадом директор хочет что-то скрыть, хочет обмануть, прикинуться другим, но его выдают ровные холодные стеклышки. Он — троянский конь. Этот конь еще разгуляется, еще побьет копытом по родной земле, разоряя сердца, превращая алмазы в пепел.

К исходу дня в колонне хватились, что слона нет. Одни говорили, что слон отстал, другие — что он не вернулся с водопоя. Третьи — что его угнали на бойню.

— Хороший был слон, — жалели люди.

Мальчик на фуре просклонял по-немецки:

— Дер элѣфант, ден элѣфант, дем элѣфант.

И все вспоминали о слоне не в прошедшем, а в далеком времени, будто он шагал с ними бог весть когда.

А Орлов и Максим шли лесом. Они воспользовались небольшой заминкой в пути и свернули в кустарник. Кустарник перешел в лес. За стволами деревьев и переплетением ветвей дорога скрылась, и ее звуки затерялись.

«Держи карман шире, директор, — с тихим злорадством говорил Максиму Орлов. — Так я тебе и отдам Максима. Ты слишком мал, чтобы списать такое большое...»

Со стороны у Орлова был свирепый вид: заросшее густой черной щетиной лицо, кусты волос над висками, серый от пыли городской костюм, винтовка на плече. Казалось, это идет отчаянный зверолов, который много суток гонялся за добычей и победил — добыча покорно идет следом в виде обыкновенного африканского слона.

Трещали ветки, пригибались к земле и снова распрямлялись тонкие стволы.

Влажное дыхание леса. Треск ветвей. Упругое сопротивление стволов. Голоса птиц. Густые нотки шмелей. Крутые спуски в овраги и подъемы. Неожиданные водопой у мелких лесных ручьев. Все это странным образом подействовало на слона. Он стал не по годам резвым и почувствовал себя независимым и веселым. Он сорвал хоботом ветку орешника и, делая вид, что отмахивается от мух, несколько раз огрел ею Орлова. Потом он облил его водой, и Орлов долго ворчал на своего расхажившего друга. Слон то бежал, наслаждаясь легкой зеленой бурей, которая возникала вокруг него, то останавливался и подолгу стоял, поводя ушами, как звукоуловителями.

В этом русском летнем лесу Максим почувствовал себя в родной стихии и вспомнил свое далекое килиманджарское детство. Он тогда был маленьким слоненком, сосунком. Держался между ног матери, под ее надежной защитой, а иногда убегал, доставляя слонихе беспокойство и тревогу.

От переживаний и трудных перемен слон спрятался в безопасное место: в мир своего детства.

Орлов тоже вспомнил, что последний раз он был в лесу со своей матерью. Они собирали голубицу — крупную, подернутую туманом ягоду, а мама говорила, что у нее дома голубицу называли гоноболью, или гонобобелем. Вокруг рос пахучий дурман, и у мамы от него болела голова. У нее часто болела голова. И без лесного дурмана. Мать говорила, что голова у нее болит от жизни.

Когда Орлов увидел Зинаиду Штерн на арене цирка и неожиданно решил, что самое большое счастье его жизни — быть рядом с ней, он пришел к маме и все рассказал ей. Мама сокрушалась, отговаривала его:

— Как же так? Бросить работу и уехать с цирком? Что там будешь делать? Шарики подбрасывать или ходить на голове?

— Это неважно, — говорил ей Орлов. — Это не главное... Я буду с ней... рядом... поблизости...

— Да что это за жизнь!.. Это несчастье.

— Мне будет хорошо. Отпусти меня с миром.

И мать отпустила его.

5

Потом в лесу пошел дождь. Сильный, холодный дождь с грозой. Воспоминания слона и Орлова кончились.

Уже стемнело, когда Максим и его погонщик очутились на берегу реки. Деревянный мост был разрушен и горел. В воду с шипением падали дымящиеся головни.

Над рекой слышался далекий неперестающий гул. Слон остановился, настороженно поднял ухо. Орлов тоже прислушался. Он не сразу понял, что это был за звук. Звук то дробился на части, то тянулся долго и раскатисто, то обрывался, как бы переводя дух, и звучал с новой, напряженной силой. Он не был похож ни на гром, ни на барабан. Он был каким-то утробным, ударялся в грудь, и от него слегка кружилась голова.

Это был звук действующего фронта.

Ниже моста через реку переправлялись артиллеристы. Бойцы перевозили орудия на плотах. Река была неширокой, и плот довольно быстро достигал противоположного берега, но там орудия вязли в раскисшей глине, и машины-тягачи ревели, буксовали и наконец сами вращались в липкий неодолимый грунт.

Над рекой стояли крики и ругань. Все кричали, давали советы, подставляли плечи, а орудия не двигались с места, словно успели пустить корни.

Орлов велел Максиму стоять чуть поодаль, а сам подошел к переправе.

— Ребята,— обратился он к артиллеристам,— мне надо слона переправить.

— Катись ты со своим слоном! — пробасил массивный старшина, зло посмотрев на Орлова.

— Где слон? Какой слон? — спросили на плоту.

— Слон прибыл из Африки!

— Разговорчики! Бросьте дурить. Осторожнее, плот не наклоняйте! Орудие завалите.

— Где слон? Эй, там, на берегу, где слон?

Весть о том, что появился слон, переправилась на другой берег. Она внесла некоторое оживление. Бойцы как бы повеселели: слон стал большой шуткой.

И тут мокрый, забрызганный глиной майор крикнул:

— Что, действительно есть слон?

— Так точно! Есть, товарищ майор!

— А ну, переправляйте его сюда!

Орлов не успел сообразить, что произошло, как уже у берега стоял плот и красноармеец, хлюпая по глине кирзовыми сапогами, бежал к нему, крича на ходу:

— Скорее на плот. Майор велел переправить слона.

Плот медленно скользил по хмурой холодной воде, а на сырых неошкуранных бревнах стоял слон. Волны перекачивались через плот. Они как бы хотели снять слона и унести его отсюда. Но слон был устойчив и спокоен. Красноармейцы, работая шестами, опасливо косились на своего пассажира, стараясь поскорее пересечь реку и избавиться от него. Слон положил хобот на плечо Орлову.

— Где погонщик слона? — крикнул в темноту майор.

— Я,— отозвался Орлов.

— Фамилия?

— Орлов.

— Так вот, товарищ Орлов, надо помочь... пушки застряли. Он сможет? — майор кивнул на Максима.

— Не знаю,— ответил Орлов,— у него сбита нога...

— У всех сбиты ноги,— буркнул майор.— А между прочим, Дарий применял слонов в битве с Александром Великим.

— Этот слон не боевой и не рабочий. Он из цирка.

— Где я вам возьму рабочего слона! — рассердился майор.— Ну что вы стоите, действуйте!

Орлов не торопился. Он осмотрел пушки, застрявшие в глине, потом перевел взгляд на слона и тихо сказал:

— Нужен канат.

Тут же появился канат. Его привязали к орудийному лафету. На другом конце сделали большую петлю. Ее накинули на грудь животному. И Орлов скомандовал:

— Максим, вперед!

Слон сделал шаг. Орудие вздрогнуло. Ожило. Нога слона скользнула по глине. Слон упал на колено. Он тут же встал и снова навалился на канат. Канат натянулся.

Задрожал. Максим вытянул от напряжения хобот и слегка шевелил им, словно искал в воздухе опору, за которую можно было ухватиться.

— Максим, голубчик, вперед, вперед!

Эти слова звучали не как команда, а как просьба. Слон рванулся вперед. Тяжелое орудие вдруг подпрыгнуло и пошло, пошло. Слон ставил ногу в глину, проделывал в откосе ступеньку и снова делал рывок. Орудие медленно выползало на берег. Оно уже катилось за слоном.

Кто-то из бойцов крикнул:

— Молодец, слон!

— Еще три пушки, — сказал майор.

И слон, освободив из глиняного плена одно орудие, медленно брел к другому.

— Он ослабел в дороге, — объяснял Орлов майору. — И он голоден.

— Вы нам пушки вытащите, мы его накормим, — пообещал майор.

Через час все четыре орудия были на твердом грунте. Слон тяжело дышал. Он покрылся глиной, как панцирем, и стоял на берегу под холодными струями дождя.

Батарея уехала. Слона забыли покормить. Обещать обещали, но забыли. Рядом с Орловым появился молодой лейтенант. Он был в мокрой гимнастерке и в мокрой пилотке, и его трясло от озноба.

— Извините, — тихо сказал он Орлову. — Нам крепко досталось. Три орудия погибло под танками. От всей батареи осталось одно орудие и пять бойцов. Вы помогите нам... У нас пушечка легкая — «сорокапятка»... Но бойцы совсем выбились из сил.

— Он тоже еле живой, — сказал Орлов про Максима.

В это время к ним подошел пожилой остроносый боец.

— Товарищ лейтенант, — сказал он неторопливо. —

Прицельная труба у орудия сбита. Снарядов нет. Может быть, оставим... пушку?

— Нет, — твердо сказал лейтенант, — это наша матчасть, мы без нее не бойцы.

— Мы и так уже не бойцы, — проворчал остроносый и побрел прочь.

У лейтенанта мелко стучали зубы. Он обнимал себя руками за плечи, хотел согреться.

— Попробуем, — сказал Орлов.

Несмотря на просьбы Орлова, Максим долго не двигался с места: стоял, поджав сбитую ногу. Орлов уже решил, что ничего не выйдет. Но, выждав время, слон поставил на землю тяжелую ногу и побрел к берегу. Он шел очень медленно, не желая зря тратить оставшиеся силы.

Легкую противотанковую пушечку он вытянул одним махом. Для него это было плевым делом. Он как вытянул ее, так и повез на себе, словно его навечно запрягли в пушку. Бойцы поплелись сзади. Лейтенант с Орловым шли поодаль.

— Самое обидное, — доверительно сказал лейтенант Орлову, — что наши снаряды не берут их броню. Отскакивают. Для такой брони нужен другой калибр и другая начальная скорость... Сбоку еще можно поразить... в бензобак. А когда танк идет фронтально — одно несчастье. Но ничего, приспособимся. Нам главное — приспособиться.

— Это верно, — сказал Орлов.

Река пропала за их спиной. Впереди на пригорке была деревня. Дождь не унимался. И фронт тоже работал не переставая.

— Очень жалко ребят. Утром были, а сейчас нет, полегли.

Вероятно, это было очень необычное зрелище: слон, запряженный в противотанковое орудие, пять промокших до нитки бойцов и человек в пиджаке и брюках — тоже мокрый и к тому же с заросшим лицом. Все были так густо покрыты глиной — хоть ставь на гончарный круг. Все еле держались на ногах. Но стояла плотная ночь. Ничего не

было видно. Было только слышно, как цокали, вырывались из глины сапоги, как тяжело дышал слон и как постукивали зубы простуженного лейтенанта.

Так они дошли до деревни. И остановились под окнами единственного дома, где горел свет.

Лейтенант сказал: «Ждите!» — и направился к избе. Он споткнулся о высокий порожек и чуть не упал, но удержался на ногах и закрыл за собой дверь.

Остальные молча ждали его возвращения.

Он появился довольно скоро.

— Договорился. Нас принимают на ночлег, — сказал он, и его слова дробились на части непроходящим ознобом. — Заходите. Один останется на посту при орудии...

Лейтенант замолчал, видимо обдумывая, кому из его бойцов оставаться на посту — заступать в первую смену.

— Давайте я останусь... на часах, — предложил Орлов.

Предложение Орлова было заманчивым, но лейтенант не согласился с ним:

— Нельзя... Не положено гражданскому человеку.

— Какая разница... — сказал Орлов.

— Вы тоже намаялись — будь здоров! — сказал лейтенант, стараясь побороть озноб. — Рывчун!

— Я! — глухо отозвался голос из темноты.

— Заступишь в первую смену. Тебя сменит Соловьев. Слышишь?

— Слышу... А как быть со слоном?

— Он смирный, — сказал погонщик. — С ним на посту спокойнее: ни одна живая душа не подкрадется с подветренной стороны. Он спит стоя, как солдат.

— Он тяжело дышит, — заметил Рывчун. — Вдруг околеет?

— Он намаялся. Отойдет... Все намаялись.

— Пошли! — скомандовал лейтенант.

В избе было двое: мать, женщина с узким лицом и темными ввалившимися глазами, и мальчик лет десяти.

Хозяйка не выражала ни радости, ни недовольства незваными гостями. Она молча кивнула им на скамью у стола и стала доставать из печи все, что хранилось в ее темном душном чреве. Появился чугунок с картошкой и горшок с топленым молоком. Из шкафчика достала хлеб с коричневой корочкой и ноздреватым мякишем. Крупнокалиберную соль.

— У вас паек есть? — спросила хозяйка, когда все было на столе.

— Ни черта у нас нет, — сказал кто-то из бойцов.

— Мы оторвались от части, — пояснил лейтенант. — Нашу батарею помяли танки, а часть мы потеряли.

Он оправдывался перед хозяйкой за то, что у них нет пайка. Тогда хозяйка достала брусок белого сала с коричневыми прожилками.

— Это все, — сказала она. — Харчуйтесь.

Над столом горела керосиновая лампа.

Глина стала высыхать, и одежда солдат превращалась в хрупкие серые доспехи. Бойцы принялись за еду.

Хозяйка вышла из избы и тут же вбежала обратно. Она была бледна и прикрыла рот ладонью.

— Что это у вас... за чудовище?

— Это не чудовище, это слон, — сказал лейтенант.

— Уже на слонах воюют? — спросила женщина, и ее лицо еще больше вытянулось.

— Да, — сказал остроносый, — скоро на коровах начнут воевать. На козах. На поросятах.

— Замолчи! — приказал лейтенант.

И все принялись за картошку, за сало, за хлеб. Они ели молча и при этом постепенно оживали, приходили в себя.

Хозяйка долго не могла оправиться от встречи с Максимом и поглядывала на дверь, словно опасалась, как бы слон не вошел в дом. А мальчик то и дело выбегал на двор, чтобы посмотреть на заморское чудовище: любопытство побеждало страх. В конце концов он так осмелел, что даже

протянул слону охапку сена. Слон понюхал угощение, но есть сено не стал.

— Маманя, дай сахара, — попросил мальчик, — мне для него...

— Для кого еще?

— Для слона.

— Я сейчас прута дам! — рассердилась мать. — Не подходи к нему. Калекой хочешь остаться?! Пойди нанеси в избу соломы.

Мальчик принялся носить солому. Он расстилал ее желтыми полосами на широкие половицы. И постепенно весь пол покрылся шуршащим слоем соломы — получилась общая солдатская постель: чистая, сухая, пахнущая полем. Соломенный матрац и соломенное одеяло. И бойцы, покончив с ужином, молча жались к стенке, не решаясь ступить грязным сапогом на свою соломенную постель.

Когда бойцы разулись и, поставив сапоги поближе к печке, улеглись, хозяйка спросила:

— А он корову... не уморит?

— Не волнуйтесь, — сказал Орлов, — он смирный... Вот покормить бы его малость. У вас хлеб найдется?

— Найдется, — ответила хозяйка. — Два хлеба есть.

— Вот и хорошо. Хоть два хлеба.

Все улеглись. Хозяйка задула лампу. Было слышно, как за рекой ухают орудия. Они били долго, без передышки. В окне тонко звенело отошедшее стекло.

Никто не спал. Солдаты простуженно покашливали. Ворочались. У лейтенанта тихо стучали зубы.

— Вот тебе и бьем врага на его территории, — неожиданно произнес остроносый. — Войны мы не хотим, но к обороне готовы.

— Сегодня одних подмяли танки, завтра до нас докажутся, — отозвался ему густой голос из другого угла.

— Мы еще будем бить врага на его территории, — твердо произнес лейтенант.

— Кто «мы»? — спросил остроносый. — Мы с тобой, товарищ лейтенант, до их территории не дойдем. Не в ту сторону идем. Его территория совсем в другой стороне. Ты хоть старше меня чином, да зелен, товарищ лейтенант.

Лейтенант молчал. Прижатый к стенке остроносым, он старался сбросить с себя, освободиться от его липких цепких слов. Он чувствовал, что бойцы ждут его решающего слова.

От отчаяния он поднялся с соломы и громко, как на плацу, гаркнул:

— Молчать!

Он крикнул «молчать!», хотя все и так молчали.

Он крикнул не остроносому, а людским страхам, сомнениям, малодушию — всем темным силам, которые поднимали головы.

— Мы победим, — сказал он твердо. — Вот увидишь, старый черт, мы победим. Мы не можем не победить. Понимаешь? Потому что, если нас придавят, весь свет кончится. А он не может кончиться.

Никто не решился заговорить, не рисковал вставить словечко. Все как бы находилось под властью команды-взрыва: «Молчать!»

Но не только окрик молоденького командира заставил притихнуть этих замерзших, испачканных в глине, измученных людей. Бойцам больше хотелось верить этому трясущемуся от озноба, необстрелянному пареньку, чем умудренному опыту остроносому.

Сперва они притихли. Потом успокоились. Где-то в углу послышалось легкое посапывание. Ему отозвался храп у двери. Бойцы засыпали.

Орлов долго не мог уснуть. Он лежал с открытыми глазами и прислушивался к незатихающему голосу фронта. Он слышал, как хозяйка на печке зашептала сыну:

— Не знаю, кому верить: старому или молодому?

И как мальчик ответил:

— Верь молодому. У него ремень с кобурой.

Потом мелькнули холодные круглые стекла, щипчики, прикрепленные к тонкой переносице. Бывший директор стоял в костюме клоуна Комова и, приплясывая, говорил:
«Война все спишет!..»

Слон обвил его хоботком, припаднял над землей и закинул куда-то за линию горизонта. И директор цирка очутился на манеже под брезентовым куполом цирка «Шапито». Гремели барабаны. Раздавался треск, гул. Вспыхивали и гасли разноцветные огни. А директор стоял посреди манежа в клоунском одеянии и раскланивался... И бросал в толпу короткие выкрики:

«Россия — кладбище слонов... Россия — кладбище...»

Публика хранила молчание. Никто не смеялся. Никто не хлопал в ладони. И тогда на манеже появился Комов. Лица его не было видно. А был белый круг, на котором — точка, точка, запятая, минус... Комов прыгал и кричал:

«Что же вы не смеетесь? А? Это же так смешно! Что же вы не смеетесь?..»

А директор цирка раскланивался и щелкал каблуками. Зина так и не пришла...

6

Орлов проснулся от нарастающего грохота. Время от времени изба вздрагивала от подземных толчков. Багровые всполохи орудийного огня вспыхивали и гасли на белой стенке русской печи, словно печь горела и огонь просвечивался сквозь побеленный кирпич. Орлов почувствовал надвигающуюся опасность и сразу подумал: «Хорошо, что здесь нет Зины и ей не грозят разрывы». Он не запомнил погасших глаз и белого лба, соскользнувшую набок челку... Большие синие глаза смотрели на Орлова то укоризненно, то весело, то устало. Рядом звучал ее голос — не слова, а именно голос, согретый дыханием с едва уло-

вимой хрипотцой. Шаги слышались то близко, то удалялись, и он тревожно прислушивался, чтобы не потерять их...

Дверь резко распахнулась. Боец в грязной шинели крикнул:

— Подъем! Тревога!

Бойцы вскакивали с соломы, торопливо обувались, подхватывали оружие и пробирались к двери, топчя свою соломенную постель. Они не успели толком проснуться и проделывали все это механически, в полусне.

Орлов поднял с пола свою винтовку и вышел на улицу. Слон стоял, прижавшись к бревнам хлева, а у него в ногах топтался маленький теленочек. Наверное, с перепугу он принял слона за мать и искал у него защиты. Теленочек терся о большую слоновую ногу, чесал бочок.

Орлов подошел к слону и тихо сказал:

— Держись, Максим!

И сунул в хобот кусок хлеба, который сохранил в кармане.

Слон тяжело вздохнул.

Лейтенант стоял, окруженный своими бойцами, обдумывая, что предпринять. Его зубы уже не стучали: в теплой избе молодой организм успел справиться с ознобом.

— Фронт приближается, — тихо сказал он. — Надо поправить прицельную трубу. И раздобыть снарядов.

— Где их раздобудешь? — спросил остроносый.

— Где положено! — отрезал лейтенант, хотя понимал, что снаряды «положено» добывать в арснабжении, а где сейчас арснабжение...

Орлов подошел к лейтенанту и тихо сказал:

— Я по специальности механик, может быть, помогу вам с прицельной трубой?

— Вы ремонтировали орудия?

— Я всю жизнь налаживал механизмы... Орудие — тоже механизм.

— Да, конечно,— подтвердил лейтенант.— Правда, гражданским не положено...

— Какой я гражданский,— сказал Орлов.— На плече винтовка.

— Ось канала ствола и ось оптического прибора должны быть строго параллельны,— пояснил лейтенант.— Вот и все.

Орлов взялся за дело.

Мать и сын несколько раз появлялись на крыльце, но их отпиряляли домой:

— Идите отсюда, дома безопаснее.

Какое там безопаснее! От чего могла оградить серая драночная крыша? От бомб? От снарядов? Да любой зенитный осколок запросто пробил бы ее насквозь. Но это была крыша родного дома, древнего убежища от всех бед.

Лейтенант послал двух бойцов добывать снаряды.

— Постарайтесь найти,— напутствовал он,— если у нас будут боеприпасы, мы окопаемся похитрее, на фланге... С фланга мы сможем поражать танки.

Где-то совсем близко разорвался снаряд, в избе вылетели стекла, и сразу на зеленой земле образовался черный, пахнущий дымом ожог.

В деревне появились беженцы... Их было мало, и брели они поодиночке, словно вчерашний поток пропустили через фильтр: одни пробились, другие... Они шли согбенные, изнуренные, ввалившиеся глаза не видели ни домов, ни деревьев, ни воронок от разрывов. Они не увидели даже слона.

Среди беженцев оказался директор цирка. С первого взгляда трудно было определить, военный он или штатский. Он был без пилотки, в гимнастерке с расстегнутым воротом, но петлицы и знаки различия отсутствовали. Сапоги и брюки были облеплены глиной. Лицо стало серым от пота и пыли, и только две отметины — следы от пенсне — воспаленно алели на переносице... Если военная

форма и в самом деле была его цирковым костюмом, то он потерпел фиаско, его прогнали с арены, освистали, закидали грязью...

Он увидел слона и когда, шатаясь от усталости, подходил к нему, то на его лице изобразилось нечто вроде радости. Орлов закончил починку орудия и тоже подошел к Максиму.

— Орлов?! — Близорукие глаза директора, перед которыми не было спасительных стеклышек, заморгали.— Понимаешь, что произошло?.. У меня разбилось пенсне... вдребезги. А ты все со слонем?

— Со слонем,— сухо произнес погонщик.

Директор опустился на порожек и уперся локтями в колени. Его голос дрогнул:

— Понимаешь, дорогу перерезали танки. Что там было, Орлов... Еле ушел живым. Всю ночь бежал по раскисшему полю... Тут нигде нельзя раздобыть очки?

— Откуда здесь очки? — ответил Орлов и почувствовал, что директор чего-то недоговаривает и все свои беды переводит на очки.

— Ну ладно, очки мы достанем после,— сказал директор.— Я пока буду сопровождать слона.

— Сам управлюсь,— ответил Орлов.

— Что значит «сам»? Что значит «сам»?

— А то и значит.

— Послушай, Орлов, не будь подлецом... не будь. Еще возможны повороты... Случилось несчастье...

Орлов молчал. Он все силился понять, что произошло с директором цирка, если за сутки из самоуверенного, жесткого повелителя он превратился в растерянное существо, вызывающее брезгливую жалость. Орлов заметил, что на зеленых интендантских петлицах нет красной шпалы и золотого колесика, и понял: страх разжаловал директора и превратил его в дезертира...

И все же молчаливый погонщик слона не прогнал его.

Он нашел в себе милосердие и предложил директору единственное спасение:

— У вас есть оружие?

— Нет... А зачем?

— Чтобы идти туда. — Орлов кивнул в сторону грохочущего фронта. — Найдите винтовку. Это не так трудно — найти винтовку...

Плоское лицо директора искривилось, его бесцветные глаза потемнели.

— Тебе не надо искать оружие, у тебя есть винтовка, что же ты не идешь туда? — спросил он. — Прикрываешься слоном?

Он ничего не понял. Он и не мог понять и смотрел на Орлова, как на врага. Орлов покраснел. Потер ладонью лоб и тихо произнес:

— Я вернусь сюда. Исполню свой долг и вернусь. Я не могу бросить слона, понимаете? Это ее слон!

Где-то совсем близко хлопнул разрыв. Директор поморщился.

— Каждый спасается по-своему, — сказал он.

Орлов сжал кулаки. Ему захотелось крикнуть: «Молчать!» — но он отвернулся от беглеца и зашагал прочь.

— Товарищ лейтенант, есть снаряды! Там много нашего калибра! — кричал круглолицый боец, подходя к избе.

Он нес снаряды на согнутых руках, как носят дровишки. Только эти дровишки были потяжелее.

— Где раздобыл?

— На берегу. Там машина с боеприпасами разбита.

— Отлично. Давайте все быстро, — скомандовал лейтенант. — Несите, сколько донесете.

И тут лейтенант заметил директора цирка:

— Товарищ красноармеец, пойдете с ними.

— Почему с ними? — спросил директор. — Я из другой части, я интендант третьего...

— Не рассуждать! — прикрикнул лейтенант.

Он у кого-то научился кричать «не рассуждать!» и «молчать!», и эти резкие, не его слова были сейчас необходимы и помогали в трудной, непривычной обстановке.

— Пошли, интендант, — сказал остроносый, — все равно, где помирать.

— Я пойду тоже, — тихо сказал Орлов.

— Хорошо, — ответил лейтенант. — Я присмотрю за ним.

Он кивнул на слона.

На берегу реки Орлов был ранен осколком немецкой мины. Бойцы принесли его к избе. Положили на порог. Неумело перевязали. Потом с оказией отправили в тыл. Перед отъездом он пришел в себя и позвал лейтенанта. Говорить ему было трудно, и лейтенант наклонился, чтобы расслышать его голос.

— Я вас прошу... заклиная всей жизнью, — шептал Орлов, — сберегите слона. Он должен жить.

— Постараюсь, — сказал лейтенант, — я не знаю как... но постараюсь.

— Только не доверяйте слона... интенданту...

— Его нет. Или погиб, или смылся. Ребята не видели, как он исчез.

— Слона надо отправить в зооцентр... есть такой в Москве... Это очень хороший слон... Зинин... Понимаете?

— Да, да, — кивнул лейтенант, — я постараюсь. До свидания.

— Спасибо.

Полуторка рванулась с места. Слон заволновался. Какой-то утробный, жалобный звук вырвался из него и затерялся в грохоте рвущихся снарядов.

Старый слон любил теплые летние ливни. Он становился посреди открытого вольера, а дождь щелкал его по толстой коже и стекал по животу на землю. Слон закрывал от удовольствия глаза и вытягивал морщинистый хобот, чтобы пополоскать его в отвесных струях. Даже когда небо с треском раскалывалось от грома и фиолетовые вспышки били в глаза, слон не уходил в укрытие и, не в пример многим жителям зоологического сада, не забивался в угол, а выставлял вперед блестящие бивни.

В эти минуты он переставал чувствовать свой вес и, окруженный со всех сторон водой, воображал, что плывет по теплой реке.

Галя сердилась на слона. Она не видела никакой реки и с детства боялась грома. Она выбегала на дождь. Сарафан сразу намокал, коленки розовели, а пряди темных волос приклеивались к щекам.

— Что ты стоишь в луже, как утка? — выговаривала она слону, пытаясь загнать его в помещение. — Вот ударит тебя молния, будешь знать, старый водолей.

Слон прикидывался глухим и стоял на месте, легонько помахивая сморщенным хвостиком.

Слон родился где-то в Африке, но понимал он только украинский язык, как будто родиной его была Полтавщина и в детстве он щипал нежные початки кукурузы и срывал хоботом желтые тарелки подсолнухов.

— Довольно-таки странный слон со знанием украинского языка, — говорили о нем в зоопарке.

На самом деле все объяснялось очень просто: Галя говорила с ним по-украински. Если бы она говорила по-чувашски или по-эстонски, слон понимал бы эстонский или чувашский.

Галя не была ни ученой, ни дрессировщицей. Она ничему не учила слона. Она «ходила за ним». Слон не

представлялся ей заморским чудным зверем, а был для нее существом деревенским, крестьянским, которого нужно кормить, содержать в чистоте, защищать от кусачих шершней. Галя разговаривала со слоном, как обычно разговаривают с коровой или лошастью. То прикрикивала на него, то ласково причитала. Звала она его дедом — «диду».

— Диду, Диду, иди, наконец, с дождя! — кричала она, а слон стоял с закрытыми глазами: он прикидывался спящим.

Он напоминал Гале подвыпившего отца, которого никакими уговорами нельзя было увести в хату и уложить спать.

Намокший сарафан прилипал к телу, девушка, скрестив на груди руки, убегала под крышу.

А слон все плыл по воображаемой реке. И у него не болели ноги...

Когда-то слона не уберегли, и теперь в круглых ступнях образовались трещины. Слон стал двигаться медленно. Каждый шаг причинял ему боль. Ноги были густо смазаны ихтиоловой темной мазью, и от слона пахло дегтем, как от телеги.

Галя пыталась разузнать, откуда взялся её слон Диду, но ей всякий раз отвечали:

— Прибыл из зооцентра.

Как будто зооцентр был родиной слона и до этого не было леса, перевитого лианами, высоких трав, обжигающего солнца, не было слона и слонихи, не было никакой судьбы.

Старый слон подкрадывался к Гале и запускал хобот в карман синего халата, и там всегда оказывался кусок хлеба, побеленный солью. Слон опускал нижнюю губу, острую, как борода, и отправлял лакомство в рот.

Можно было подумать, что девушка привезла слона из своего родного села. И что там, дома, она запрягала его

в большую скрипучую фуру или пахала на нем землю. А когда строили новую хату, слон месил своими ножищами сырую бурую глину, перемешанную с соломой и навозом.

Иногда старый слон подшучивал над Галей. Делал он это так: набирал полный хобот воды и, поливая себе спину, ненароком окачивал Галю.

— Будь ты неладен, старый баловень! — сердилась девушка. — Резвится, как молодой бугай.

Слон про себя улыбался и отходил в сторону. Он понимал свою зависимость от Гали, но никогда не унижал себя заискиванием, не терял достоинства. Он относился к девушке, как старый дряхлый отец относится к дочери: ворчит, ершится, но в глубине души сознает, что, не будь ее рядом, все пошло бы прахом.

Галя не любила посетителей зоологического сада. Считала их праздными соглядатаями и бездельниками, которые глазекуют на чужую работу и на чужую жизнь. Она не ждала от них ничего хорошего и, стоя в стороне, исподлобья поглядывала на розовощеких детишек, которые тянули к слону растопыренные пальцы и кричали:

— Хочу слона!

А слон, старый молчаливый Диду, в присутствии зрителей оживлялся и прихорашивался. Да, у него болят ноги, но не так уж сильно. И чтобы доказать это, он начинал прогуливаться по вольеру, хотя каждый шаг причинял ему боль. При этом он кланялся и в такт поклонам раскачивал хобот.

В такие минуты Гале хотелось крикнуть: «Уходите прочь! Разве вы не видите, что ему больно!»

Это случилось в летний безоблачный день. Сухой солнечный настой расплывался по аллеям зоологического сада. Обитатели жарких стран с благодарностью шурились на солнце: солнце передавало им привет родины.

Посетителей в этот день было особенно много. Они

окружили вольер слона шумным полукольцом. Полукольцо гудело, смеялось, отпускало шутки, тянуло руки, при-вставало на цыпочки. А слон прогуливался, осторожно переставляя ноги.

Неожиданно он остановился и замер. Он слегка опустил голову, и хобот, коснувшись земли, свернулся улиткой. Так слон стоял несколько минут, кого-то разглядывая, изучая. Потом он поднял бивни и начал... танцевать. Он легко двинулся по кругу и в такт вальсу делал повороты. Никто не слышал музыки. Он же слышал по памяти, как раскатисто потрескивали трубы и оглушительно рассыпали медь тарелки! А скрипки с веселой дрожью пели, пели... Слон лишился веса, забыл про боль, с удивительной легкостью кружился он в вальсе, и зрители стали хлопать и кричать «браво», «бис», как кричат в цирке.

Галя испуганно смотрела на своего питомца. Ее смуглое лицо побледнело. То, что для всех было радостью, для нее обернулось бедой.

— Диду! — позвала она тихо.

Куда там! Слон не слышал ее голоса. Не видел ее, будто ее и не существовало.

Потом он остановился. Отвесил поклон. И забыл про боль, оторвал от земли передние, пахнущие дегтем ноги и встал на задние.

— Диду, ты рехнулся, старый! У тебя ноги... — не понимая, что происходит, крикнула Галя.

Слон стоял на задних ногах, а передними перебирал в воздухе, изображая барабанщика.

Галя смотрела на публику ненавидящим взглядом. Ее глаза сузились. Каждый шаг слона отдавался у девушки живой болью. И вдруг ее взгляд остановился на седом человеке в зеленой рубашке. Его худое скуластое лицо и жилистые руки были, как копотью, покрыты дымчатым загаром. Человек стоял, скрестив руки, не отрывая от слона напряженного взгляда. Его лоб пересекали три

глубокие складки, волосы на висках росли двумя белыми кустами, а глаза смотрели откуда-то из глубины. Он стоял неподвижно, и только с его губ слетало чуть слышное имя:

— Максим... Максим...

Галя подбежала к незнакомцу, схватила его за руку и с силой оттащила от вольера.

Слон тут же сделал несколько шагов следом. Он дошел до бетонного барьера с острыми шипами. Он не увидел шипов, занес ногу и тут же отдернул ее. Тогда он вытянул хобот и отчаянно затрубил. Он требовал, чтобы человек в зеленой рубашке вернулся.

А Галя бежала и тащила за руку незнакомца, и тот, человек уже немолодой, едва поспевал за ней.

Она привела его в служебное помещение, что за вольером, и только тогда остановилась:

— Что вы с ним делаете? Кто вы такой? Почему он танцует? Ведь у него больные ноги...

Она не давала человеку произнести слова, засыпала его сердитыми вопросами. А он смотрел на нее как зачарованный и тер рукой лоб.

Гале показалось странным, что он так пристально ее рассматривает. Она не выдержала его взгляда:

— Что вы на меня смотрите?

— Вас зовут Зиной? — тихо произнес незнакомец.

— Нет, Галей. А вам-то что.

— Как вы сюда попали?

— По объявлению.

— Жаль, что вы не помните парусиновый шатер цирка «Шапито». Пиратский фрегат «Блэк Близ». И фонарь в хоботе.

Удивление Гали нарастало. Незнакомец уводил ее в странную непонятную жизнь, и она шла за ним с полукрытым ртом, с округленными глазами.

— Ну да, вы не помните... Вас тогда не было на свете... Но когда вы смотрели на Максима...

— На какого Максима?

— На слона.

— Его зовут Диду.

— Ах, вот как? Но это не так важно, слон остается слоном.

— Кто вы такой? — наконец не выдержала Галя.

Незнакомец потер рукой лоб.

— Я — погонщик слона... Переднюю левую ногу он сбил давно... в первый месяц войны... Он вас любит?

— Не знаю.— Галя покосилась на ворота, ведущие в вольер.

— Она очень любила его, — тихо произнес погонщик. — Когда она переживала за Максима, у нее глаза болезненно сужались, как у вас. Вообще у нее глаза большие и синие. К вечеру они темнеют.

В это время раздался треск, и ворота распахнулись, как от взрывной волны. В помещение вошел слон. Он услышал знакомый голос и сломал замок. Он подошел к погонщику и нежным розовым окончанием хобота осторожно провел по лицу. Он узнавал морщины лба, впалые щеки, колючие брови, словно не верил глазам и хотел на ощупь убедиться, что никакой ошибки нет, что перед ним старый друг. А тот стоял рядом, почесывал крылатое ухо и сам себе говорил:

— Жив Максим... жив...

— А почему ему не быть живым? — осторожно спросила Галя.

Погонщик повернулся к девушке:

— Вы любите цирк?

— Я люблю кино. Что хорошего в цирке?

— Хорошего мало. Но все же встречается. А раз встречается, надо идти. Хорошее встречается даже на войне. Вот встретился нам один лейтенант... молоденький, зеленый, а сделал он невозможное.

— Что же он сделал?

— Он спас слона, когда меня ранило. Не пустил на мясо. Не списал. Довел дело до конца... Очень важно доводить дело до конца. Не останавливаться на полдороге, не отступаться. Правда, Зина?

— Меня зовут Галя. А разве слона можно... на мясо?

— Этот огромный зверь в чем-то беспомощный, как ребенок. У него есть место от глаза до уха, величиной с ладонь. Одной пули достаточно... Его надо беречь...

— Вы какой-то странный... Влюбились, что ли? — спросила Галя.

— Влюбился.

— Давно?

— Лет двадцать назад.

— И все любите одну... Зину?

— Подойдите сюда, я вам кое-что скажу... Если полюбите один раз навсегда, то этой единственной любви хватит на всю жизнь... и я землю, и на деревья, и на людей, и на капли дождя, и на снег, и на слона...

Они сидели на лавке в прохладном помещении, куда не проникает летний жар и где пахнет соломой. Они молчали. А когда слон вздыхал, поднимался маленький ветер.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Временный жилец	5
Игра в красавицу	25
Сретенские ворота	34
Сердце земли	59
Сын летчика	74
Автопортрет	92

© «Знамя», № 1, 1979 г.

«Иван-Виллис»	117
-------------------------	-----

© «Знамя», № 2, 1982 г.

КОМАНДИР РОТЫ	158
-------------------------	-----

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

ПОВЕСТИ

Зимородок	171
Балерина политотдела	235

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

Девочка, хочешь сниматься в кино?	335
---	-----

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

Травести	415
--------------------	-----

© Издательство «Молодая гвардия», 1979 г.

Гонение на рыжих	450
----------------------------	-----

Погонщик слона	508
--------------------------	-----



Для старшего возраста

Юрий Яковлевич Яковлев

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

Рассказы и повести

ИБ № 6944

Ответственный редактор

Е. М. Подкопаева

Художественный редактор

А. Б. Сапрыгина

Технический редактор

Е. М. Захарова

Корректоры

Ж. Ю. Румянцева и Н. Г. Худякова

Сдано в набор 22.07.82. Подписано к печати 10.02.83.
А02978. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Шрифт
обыкн. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 30,24.
Уч.-изд. л. 24,75. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1322. Цена
95 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательства
«Детская литература» Государственного комитета РСФСР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового
Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Ростлав-
полиграфпрома Государственного комитета РСФСР по
делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сушеvский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Яковлев Ю. Я.

Я47 Неприкосновенный запас: Рассказы и повести/
Оформл. Б. Кыштымова.— М.: Дет. лит., 1983.—
559 с.

В пер.: 95 коп.

В книгу входят известные повести и рассказы Ю. Яковлева о подростках и
для подростков.

Я 4803010102—221 542—83
М101(03)83

P2